



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

7-8 (523)

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Наталия Азарова. теория плавания. <i>Стихи</i>	3
Марианна ИONOва. Меркурий. <i>Роман</i>	10
Кирилл Александров. «Каждый день как годовщина всего...» и др. <i>стихи</i>	88
Наталия Черных. «Старый органист» и др. <i>стихи</i>	93
Евгения Скобина. О крысах, людях и лабиринтах. <i>Рассказ</i>	98
Елизавета Чернова. Необратимое. <i>Стихи</i>	104
Андрей Торопов. «Что ты выбираешь – славу или счастье?..» и др. <i>стихи</i>	107
Сергей Антипин. Человек имени... <i>Рассказ</i>	114
Анастасия Никитина. Жмурки. <i>Рассказ</i>	122
Костя Ямщиков. «моя годзилла мне сказала...» и др. <i>стихи</i>	127

ДРАМАТУРГИЯ

Владимир Друк. Кавычка. <i>Пьеса</i>	137
---	-----

NON-FICTION

Тимур Уразбахтин. Между Хайдеггером и баяном. <i>Автоэтнографический очерк</i>	145
--	-----

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Сергей Морейно. Одиссей не возвратился.....	148
--	-----

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Во всяких приключениях (<i>Окончание</i>).	193
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Елена Севрюгина. Экскурсия с лёгким привкусом ностальгии <i>О кн.: Вет, где хочет. Где и как жила русская поэзия в 1990–2000-х</i>	245
--	-----

Оксана Штайн. Вторая навигация <i>О кн.: Вторая Навигация. Альманах. Выпуск 18</i>	247
--	-----

Елена Севрюгина. Новые «страшные» смыслы мировой литературы <i>О кн.: Андрей Бычков. Наконец-то не конец</i>	249
--	-----

Кирилл Ямщиков. Прогулка вдоль полночи с переносным ненастьем за плечами <i>О кн.: Жан-Жак Шуль. Явление призраков. Роман. Пер. с французского Анастасии Захаревич</i>	253
--	-----

Наталия АЗАРОВА

теория плавания

Только длительное плавание является магическим

Греле

а.

эта недолжность солнца
уже и небеса приспущены
аутичные куски неба повисли над городом
моя заначка причалов
в зажёванной воде исчезает
пенный тремор
дрожь правящей руки
душа прошлого раза
вспоминает радость первого шлюза
глаз утыкается в забытые одёжки божества
наставшая пропажа очевидна
ты стоишь на балконе и как будто не замечаешь
что я ещё не родилась
но каждый месяц уже не удерживается
в своём времени года

средиземноморский круиз

на рассвете
море
плывёт само́

море
умеет плавать
как оказалось

тогда
и лайнер
не нужен

Наталия Азарова родилась в Москве, окончила филологический факультет МГУ, доктор филологических наук. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Арион», «Воздух», «Волга» и др. Автор 13 поэтических книг, в том числе: «Соло равенства» (2011), «Раззавязывание» (2014), «Календарь» (2014), «Революция» (2019), «Онкология» (2026). Лауреат Премии Андрея Белого (2014). Стихи Азаровой переведены на 12 языков.

к морю
причаливаю

к движению
пришвартовываюсь

к сердцевине
морской
пристаю

плывём
с морем
вдвоём

и снюсь из плаванья

на лайнере остались
соседки по столу

и эта их простая непрерывность жизни

каллиграфия

с т у п е н ь к и р е к

эскапизм

вечером баржа поросла лесом
баржа стала островом
островом пригодным босиком

там на остров по всем признакам
не дотянется по пятам
инстаграмм храм хаммам

лицом к острову рядом
по близкой воде пешком
перебраться на баржу утром

прямоком поселиться разом
островом плавать хором
хором таким особняком

по огонькам прикидывали как нам
перейти по волнам головам

чтобы по правилам
плавать недвижимым летом
с ночью пополам

* * *

плывём
всё тут датут
нос
нас
направляет
напролёт

* * *

палубой
слышно
птиц
только их
лиц
не видишь

* * *

пифагор ничего никогда не писал
пифия не умела писать
персефоне не хватало лета

сибирь ждала как собственное детство
на барже
сплавщики варили уху
инородцы умирали от кори
собачки персефоны
охраняли ссыльных
это не то что интерьерные предки

до возникновения личных вещей
когда ещё и никакой пустоты
не было

против течения

тогда ещё мир мёртвых в низовьях реки
дух реки тогда ещё мог похитить

за это время слегка нарастили мощь Бога
подкормку погоды

и научились не дразнить соседний мир
его капризные каверзы

раздрай это лодка – вразнойой это мы
мы смотрим беззубым глазом

на дух законный поросший
собственной похотью

мост

не со из ме ри мост

неизбежность

проплыть под мостом который попался первым
который попался

в противоположную сторону от красоты плыть
пройти все перерывы

от красоты отвернуться напротив пересечь
не поворачиваться

это радость обязательного однообразия
мост разобран

вернуться туда где нас ещё не было
туда перелетают птицы

я вся рассыпана по островам
с шершавыми камышами

порт
воспетый
в семи фото
пессоа
он в нём
и не был никогда

порт
потерял облака́
в бетоне
порт
шаттл шторма

качка
дробь бёдер
тварь ветра
дебри и дребезги
глубокие клубки
выходят на поверхность

дыры радости
дрязги рыдания
и вдруг
порог порога
затихает
это был пробный прибор

послевкусие насилия
Левинас

хорошо ходить
по середине моря
за спиной
по бока́м
вода
и отслеживать успокоение
морская старость
искрится
со скоростью
красоты
круго́м
мельчают неровности
баранчиков
бурунчиков
народ
бандит
плохая рифма
будто
растворение
бунта

плыву по енисею
в толщъ
подножной воды
вступаю телом
послушай ду фу
прими моё толкование лодки
неотдельное

с кормы на нос
переместилось прошлое
идёт на север
навстречу рейсовый
пароходик задрипанный
он верит в спуск по реке
верит в подъём

послушай пессоа ты помнишь
эту однонаправленность времени
её вынести невозможно
пока ещё сравнительно плоский песок
поплёскивание
пока ещё возможно погладить воду
по голове

пространства так много
что заметно
его вторжение
в тело
и мы тоже вторжение
мы займ из неземного
чем тут отличаемы от человека

спуск сходящей ночью
ночная жизнь на реке
цвет инферно-зефирный
бездна создана
но пока не освоена
по берегам аскезы непокой
несдержанный

утро у туруханска
понуру
ровно
рьяное утро
тепло нетопленное
послушай свердлов
нам говорят начинания в основу зол
заложены

идём на север
где-то москва зарастает по новой
где-то питер с его красноречием
частностей
качается революций колыбель
на волнах серых
неухоженных

болезнь как детство
болезнь как здешние
народы
мы знаем пользу позора
на севере сидим раздевшись до небес
река как болезнь
полноценна

идём на север
в заполярной духоте
мы зяблики озябшие
жара в обрамлении
белого снега
теперь мы все вчетвером
лодка

идём на север
всё меньше границ
всё меньше созданий
страны смотрят на нас малышами
мы смотрим
малым лицом
на своё большое лицо

идём на север
вперёд
в разветвление
рукавов смертельный вес
дельта
смерть
рек

полярный день
он путает
неверный разворот к солнцу
правильный но неверный
похоже плаванье
в нём нет пути
в дельту мы не поплывём

Марианна ИОНОВА

МЕРКУРИЙ

Роман

Р. К., с любовью и благодарностью

1. Магистерий на курьих ножках

Мне приснилось, что я работаю в частной гинеколого-стоматологической клинике «Vagina Dentata», и вот ее директор, он же главврач, Рамадан Караевич Уматгиреев собрал всех на планерку для обсуждения текущих проблем и промежуточных результатов. Первым пунктом шли цифры, а именно необходимость поднять их в кратчайшие сроки без дополнительных вложений. Затем Уматгиреев отметил тех стоматологов, которые назначили своим пациентам УЗИ органов малого таза, и тех гинекологов, которые назначили своим пациентам КТ зубов. (Хотя сон только начался, откуда-то я уже знал, что в клинике поддерживается дух дружеского соревнования между стоматологами и гинекологами.) Обсуждалось также недавнее пополнение материальной базы: комплект смотровых кресел-трансформеров, набор расширителей и имплантов – все подержанное, зато немецкое. Под конец Уматгиреев напомнил, что академик Будберг, которого за пределами столицы многие считают фигурой легендарной и даже собирательной, а между тем, как прекрасно известно москвичам, тот не только существует, но и возглавляет Институт земной коры, так вот, академик Будберг является нынешним хранителем кадуцея, стало быть, понемногу все более насущно встает вопрос, кому он его передаст. Тут все начали перекидываться пылающими взорами, и я проснулся весь в поту.

Как советует Парацельс, чтобы постичь скрытое значение сна, я тихо лежал, оттягивая приятие пищи, но значение не открылось и через полчаса, а есть захотелось даже раньше. Быстро поджарив и еще быстрее проглотив яичницу, я позвонил маме и сестре, надеясь, что подойдет сестра, однако подошла мама, и сон пришлось рассказать ей.

«А главное, – сказала мама, – что ты ведь ни дня врачом не работал».

Лаура подытожила бы как-нибудь по-другому, но и мама на свой лад права, хотя я сам не назвал бы главным именно это. Я не пошел после пятого курса в ординатуру по уже выбранной специализации, а поступил в аспирантуру на факультет истории медицины. Я огорошил всех, а больше других профессора, читавшего у нас химию на первом курсе. Он еще уговаривал меня, из-за моих успехов по его предмету, перейти с лечебного дела на фармацию, но я расправил грудь и заявил, что мое дело – лечебное и только лечебное... Тот профессор присутствовал на моей защите – кандидатская называлась «Парацельсианская иатрохимия и спагирия в контексте герметической философии», – а после подошел и, пока другие жали мне руку, покачал головой и сказал: «Магистерий на курьих ножках».

Для того чтобы, отдав учебе шесть лет и почти блестяще сдав экзамены, на пороге ординатуры решить, что ты не врач, мало быть идиотом, мало потерять отца, мало древнеегипетских жрецов, алхимии, естественной магии и симпатической медицины. Не говоря об остальном, те

Марианна Ионовна родилась в 1986 году в Москве. Окончила филологический факультет Университета Российской академии образования и факультет истории искусства РГГУ. Как прозаик и критик печаталась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «НЛО» и др. Автор трех книг прозы. Живет в Москве.

исторические финтифлюшки, которые так украшают первый семестр первого курса и после первой сессии сдаются в утиль, я пронес через все шесть лет. Но для того, чтобы в последний момент решить, что ты не врач, надо прежде всего *понять*, что ты не врач. А помог мне в этом Парацельс.

В курсе истории медицины нам, разумеется, поведали о том, что Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм, прозванный Парацельсом, двинул вперед фармацию, расширив перечень применяемых лекарственных растений и первым начав использовать препараты на основе химических веществ, а также о том, что именно он описал профессиональные болезни горняков, додумался лечить недавно завезенный из-за океана и всех и вся косивший сифилис ртутью; что он отрицал галеновскую теорию четырех гуморов, заменив ее теорией трех принципов, прибавив к двум алхимическим принципам – сере и ртути – соль; что он лечил бедняков бесплатно и обновил врачебную этику; что с некоторой натяжкой его можно назвать отцом экспериментальной медицины... А еще он верил в то, что разные хвори посылаются разными планетами и врач должен соотносить лечение пациента с планетной конstellацией, верил в русалок, леших и гномов и просто в колдовство. Но еще – в магию не как ворожбу, а как волю к вечному изменению, природу как великую магию, воображение как великую магию, которой и звезды подвластны, в душу как великую силу и в великий огонь, первичный огонь, *Elementum ignis* как мировую душу (о Гераклите я – лапоть, подобно большинству медиков, – слыхом не слыхивал) и этим внутри горящим огнем живет всякая вещь и внутри него обитает душа человеческая. В то, что душа человеческая – это Слово Божье, а человек – книга Божья, которая всю мудрость о мире содержит, но и мир есть книга о человеке, написанная буквами-вещами. В Великое Таинство, *Mysterium Magnum*, которая не Бог и не природа, не сила и не источник, не дух и не материя, но начало и основа всего. В Илиястр – единый первый элемент, от которого произошли четыре. В Архей – дух жизни, благодаря которому всякое сущее, будь то металл или человек, живет, и растет, и движется. В свет природы, который исходит через нее от Бога к человеку ради того, чтобы мир был познан. В то, что можно достичь бессмертия, в трансмутацию металлов и в то, что человек собой отражает Вселенную до полного соответствия, один и тот же дух жизни проникает все члены человека и все вещи мира, видимые и невидимые, и, стало быть, внутри самого человека находится и единственное подлинное лекарство, панацея – звездный бальзам, который и есть Жизнь, который и есть его собственное совершенство и первообраз...

Нет, не все из этого нам поведали в курсе истории медицины. И даже не все это так уж напрямую относится к Парацельсу. Не то чтобы я в какой-то момент перестал различать свое и его, как тронувшийся герой советского фильма по роману братьев Вайнеров. Если бы за тридцать лет сосуществования мы с Парацельсом немного перемешались, это было бы простительно, но я рано предвидел соблазн и поставил заслонку. Сходство дразнило, но отличия, сохранившие, возможно, мое психическое здоровье, всегда были тут как тут. Парацельс постоянно странствовал, собирая в народе домашние рецепты и лечебные методики, и любил бродяжничество, а я неохотно выезжаю из Москвы. Парацельс считал труд не проклятием, а чуть ли священным долгом человека, а я, положив руку на сердце, лентяй. Парацельс знал себе цену и даже завышал ее, а я запретил себе думать о том, правы или не правы те, кто считают меня никчемным. Наконец, Парацельс был от горшка два вершка, а я вечно пригибаюсь, и девять из десяти моих собеседников всегда где-то внизу.

И все-таки в тот день после лекций некоторая часть группы пошла домой, еще некоторая – пить пиво, а я поехал в РГБ и попросил принести мне все, что имеется по-русски о Парацельсе. Своего Парацельса я собирал как мозаику из разнокалиберных кусочков – статьи в сборниках, упоминания на абзац, но так, между тем, прочитал «Алхимию как феномен средневековой культуры» Рабиновича и несколько работ Юнга. Самыми крупными «фрагментами» стали глава в книжке Александра Койре о немецких мистиках XVI века и очерк сподвижника Блаватской Франца Гартмана, у которого Парацельс оказывался посвященным восточными махатмами и вообще было много мусора. Причем мое разыскание то и дело выбрасывало побеги, а те в свою очередь двоились, и получалось дерево: от Парацельса как ствола я уходил по ветке гностицизма к

патристике с одной стороны и античной философии с другой. Читал я, конечно, не оригинальные тексты, а научные рецепции – Карсавина и Лосева, например.

Как же я, лапоть, все это осиливал? Ну, лаптем я был относительно. Я еще в начальной школе открыл для себя мифы Древней Греции, потом к ней присоединился Древний Египет, затем был квантовый скачок к христианству, а путь от религии до философии извилист, но короток – в противоположность пути туда же от естествознания, прямому, но долговому.

От одного старичка, библиотечного завсегдатая, который, как я понял, был на короткой ноге с самим Якобом Бёме, я узнал, что в Зальцбурге, где скончался доктор Теофраст, находится штаб-квартира Международного общества Парацельса. Через посольство Австрии (середина 90-х, интернет в колыбели) я достал почтовый адрес и написал им – по-английски, – что, будучи студентом-медиком, хочу создать студенческий кружок почитателей Парацельса, а потому прошу выслать мне хотя бы несколько современных изданий его трудов и что готов оплатить рублями наложенный платеж. Все это были вранья. Не собирался я создавать никакого кружка, и денег на оплату бандероли из-за границы у меня не было. И только отослав письмо через то же посольство, я сообразил, что, если даже для сочинения письма в помощь моему школьному английскому понадобился словарь, то для чтения и осмысления трудов Парацельса... Книги пришли через месяц, и мне ничего не пришлось оплачивать – в сопроводительном письме сам председатель общества выражал мне благодарность за речение о пышных всходах Парацельсова наследия на русской почве. Книги были не на латыни – уж латынь-то я одолел бы, а на немецком. Так, со второго курса, началась моя новая и тайная жизнь – началась стыдом за обман и грамматикой немецкого языка, в которую я ухитрился нырять даже на лекциях. Я едва не завалил сессию, но к концу учебного года уже мог разобрать со словарем несколько страниц прилагательных.

Тот библиотечный старичок попытался сманить меня в теософию, и позже, когда я уже был издателем, меня осаждали «астральщики», народ страшно прилипчивый, но каждому, начиная с того первого, я давал понять, что у них свой Парацельс, а меня – свой.

Я с детства пытался понять, что такое жизнь. И пошел в медицинский не только и даже не столько по семейной инерции, сколько потому, что врачу, как мне казалось, понять это легче. Я просчитался. Медицина знает порчу жизни, но не жизнь. Биология знает жизнь как органический процесс, то есть процесс в основе своей химический, но подчиненный некой цели. Какой же цели? Жить, то есть сохранять и преумножать организм как целостную форму. Получается замкнутый круг. Все, что отличает живое от неживого: питание, дыхание, развитие, – отличается весьма условно и нечетко. Живое активно, неживое пассивно. Живое всегда единично, оно всегда замкнуто-целостная форма, тогда как неживое – масса и множество. Но элементарные частицы, из которых состоит вся материя, «живая» и «неживая», ведут себя как организмы, более того – как некие деятели, субъекты: обмениваются энергией, движутся, рождаются и умирают. И все же эти «единицы» суть единицы мнимые, всего лишь этапы превращения энергии, которая и есть жизнь. Гераклитов огонь, как не я первый подметил, в современной естественной философии, которая ныне прозывается физикой, соответствует энергии, «живой силе». Она, огненная сила, и есть жизнь, а жизнь есть попросту единственная Сила.

Парацельс был одержим этой силой. Говоря о Первоматерии, Великом Таинстве, Илиастре, Архее, Звездах, бальзаме и мумии, он говорил о ней. Жизнь – это дух в природе, а по сути – безграничное и неустанное воображение. Так возникает бытие из небытия, нечто из ничего. Воображение – сила порождающая и трансформирующая. Воображение – Великое Таинство. Воображение – жизнь.

Нет ничего только материального и только духовного, но если Бог – Отец всего, то материя духовна и дух материален. Бог воплотился в мире и весь мир запечатлел в человеке. Человек – врач Вселенной. Из-за человека она больна, и человек должен ее исцелить. Христос излечивает и восстанавливает душу человека, а человек – душу мира. Поэтому каждый врач – алхимик: лечит пациента, он лечит мир. «Сила воображения – великое орудие в медицине» (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм, прозванный Парацельсом). И я понял кое-что: пациент, пройдя

через руки врача, должен стать не таким, каким был до болезни, а лучше. И я понял: и я, и вся эта прорва, которая шесть лет слушает лекции по анатомии, физиологии, гистологии, биохимии, фармакологии, проходит практику, сдает экзамены, оканчивает наконец ординатуру и получает заветную лицензию, – все мы собираемся не лечить, а чинить. Не врачами мы будем, а починщиками. И, сколько бы ни учились, не выучимся главному, ибо главное все еще скрыто за второстепенным.

В Парацельсе важны не его фантазии о происхождении болезней и механизме действия препаратов; например, он верил в корреляцию между душой человека и душами звезд, но как? Поскольку все высшее идет изнутри наружу, то душа формирует тело и проявляется по средствам его, стало быть, звезды могут буквально заразить человеческий организм какой-нибудь хворью, напрямую, а не окольным путем через гороскоп. В этом весь Парацельс – в грандиозной интуиции, которая перемалывает самые завиральные выводы. Важно не то, чего он не знал, а не знал он почти ничего из того, что знает нынешний первокурсник мединститута, и даже из того, что знали его коллеги-современники, поскольку не признавал вскрытие. Важно то, к чему он подошел так близко, что стало совсем горячо, – некий принцип, не привязанный ни к самому доктору Бомбасту, ни к его эпохе. Принцип этот – смотреть на медицину как на Идею. Каждая наука – это Идея, причем с точки зрения каждой науки Идея единственная. Каждая наука описывает мироздание так, как если бы других подходов к нему не существовало. И у медицины есть свое слово, своя мысль о мироздании, свой взгляд на него. Короче говоря, благодаря Парацельсу я понял, что необходима философия медицины, точнее, метафизика медицины, она же метафизиология (в названии я до сих не пришел сам с собой к согласию). И что это, как говорится, дорога длиною в жизнь. Тогда я как раз начал преподавательскую карьеру и еще был уверен, что теперь-то стою на резине, которая доставит меня к цели раньше, чем жизнь закончится.

Увезла меня карьера недалеко. Преподавание оказалось очень нервной работой, в моем случае затруднявшейся еще и придирками руководства. Не исключаю, что переживал с Парацельсом и собственной интерпретацией его учения в ущерб другим врачебным системам. Возможно, я немного уклонялся в философию медицины от ее истории, так или иначе, после первого семестра был вызван на ковер и за двадцать минут разговора трижды услышал слово «мракобесие», а трижды, как известно из сказок, – это предел. Нет, преподаванию было со мной не по пути, и прыгать надо, пока не разогнался. «Да не принадлежит другому тот, кто может принадлежать самому себе» (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм, прозванный Парацельсом).

Создавать с нуля и в одиночку новый раздел философии или даже новую форму знания – все равно что создавать вручную континент, и требует уймы психических сил, и это единственная причина, почему я ни на одной работе дольше четырех лет не держался. Мама с Лаурой, конечно, придерживаются иного мнения. Они обе меня любят, даже, пожалуй, очень, но ставят невысоко. С другой стороны, в отличие от доктора Теофраста я и сам не превозношусь, а так жить гораздо легче.

*

Меня разбудила боль. Нет – боль прошивала сон, а разбудило меня отчаянье. Отчаянье от того, что прежде ночью никогда не болело, от того, что опять придется начинать сначала, от того, что ночью в своей кровати человек одинок как на необитаемом острове, а если ему жгуче больно, то этот остров – единственный посреди океана.

Боли с одной стороны лица, по траектории от уха к верхним зубам, появились вскоре после ковида. Мне поставили диагноз «невралгия тройничного нерва» и в течение двух лет прописывали НПВС, потом миорелаксанты, потом антиконвульсанты; приступы прекращались на месяц-другой, как-то раз даже на три месяца, и возвращались внезапно, стоило тронуть щеткой верхние зубы однажды утром или рассмеяться.

Я позвонила брату и сказала, что, похоже, момент настал и пусть он связывается со своим Васильевым.

Два года назад Леша как-то раз позвонил взбудораженный; он и вообще звонит лишь когда его что-то *проняло*, а принимает его только очередное откровение очередного метафизиологического постулата, но тут брат был взбудоражен, как он сам, наверное, выразился бы, *сугубо*.

«Слыхала, что Вселенная расширяется с ускорением?»

Я молчала, даже не пытаюсь угадать, куда полетит Леша с этого трамплина.

«Так вот, враки! Она сжимается! Экспоненциально! И скоро мы будем сталкиваться лбами с людьми, которых не видели тридцать лет! Перехожу к сути: я тут давеча наполовину в стремлении тебе помочь, наполовину из абстрактного любопытства спросил Великий Оракул...»

«То есть запросил нейросеть...»

«...о твоём диагнозе, и кого же выдал мне Великий Оракул? Рому Васильева! Моего однокурсника! Мы с ним вечно рядом на лекциях садились, а теперь он высококласный нейрохирург, медицинское сообщество признает его «намба ван» именно в операциях на тройничном нерве, пациенты такие отзывы пишут, что это уже какое-то идолопоклонство... Нет, ну ты подумай! Рома Васильев – крупнейший специалист по тройничному нерву! Роман Триждывеличайший, ха-ха! Хоть завтра тебя к нему запишу – только чур пойдем вместе!»

«Зачем мне хирург?»

«Да просто для консультации, раз уж он такое светило. В двух частных клиниках сияет, не хухры».

Но тогда надо мной взял верх суеверный страх пополам с гордыней – не хотелось служить Лешиной наживкой для преуспевшего однокашника. Теперь я процитировала брату его самого двухлетней давности: «Просто для консультации».

В тот же вечер Леша перезвонил взбудораженный как никогда на моей памяти.

«Нет, ну в такие повороты уже не верится! Диккенс! Латиноамериканское «мыло» – помнишь, «Тропиканка» и все такое?..»

«Переходи к сути».

«К сути. В общем, Рома Васильев с этого года подвизается и у Черновицкого. Стало быть, уже в трех клиниках. Ну как есть Триждывеличайший!»

«А деньги?» – не спросила, а скорее констатировала я, но тут на Лешиной стороне случилось что-то вроде игрушечного конца света, и несколько секунд спустя я догадалась, что брат выронил телефон, причем, кажется, в воду.

С тех пор как я больше не пою, забыть на время о чем-либо, о чем надо забыть, помогают прогулки. Я посетила немало городов – большей частью городков, – и если пение не для себя, пение на публику всегда было тем, что хочется скорее проскочить, то городские улицы мне всегда хотелось растянуть, продлить, не только в пространстве, но и во времени. Я всего один раз была на море и не полюбила его, простор меня угнетает. Я люблю лето в городе, деревья вдоль тихих улиц. Бесконечности не нужен простор, и вечности не нужна глубина. Достаточно улицы, фланкированной деревьями, и я вот уже я иду по проходу, сделанному из зеленого сиянья, и я то ли пришла оттуда, куда он ведет, то ли он ведет меня туда, куда я иду. Я останавливаюсь и смотрю назад или вперед и вижу, как в беззвучье сияет зелень. То, на что можно, кажется, смотреть вечно, и есть сама вечность. Андрей Николаевич говорил, что человеку нужна вечность, но, наверное, я понимаю ее скромнее: вечность – это доброе слово и лекарство от боли, когда их нет.

Прогулка, как обычно, помогла, а войдя в прихожую, я услышала мамин голос, на поверхности сердитый, под ней же бодрый от счастья:

«Сколько раз я тебе говорила: не тащи пылесос за хобот!»

«На руках мне его, что ли, нести?»

У нас был Леша, а у мамы, соответственно, счастье. Вот они уже появились в прихожей паровозиком: Леша, пылесос, мама. Вместо приветствия брат наставил на меня указательный палец.

«Записал тебя – ровно через месяц идешь к Васильеву! И то повезло – менеджер сказала, к нему и по полгода добиваются».

«А деньги?» – повторила я.

«Какие деньги?! – вскинулась мама. – Леша ведь сотрудник Черновицкого!»

Секунду мы с братом молчали, передавая друг другу полномочие разбить мамины иллюзии, наконец Леша выдохнул.

«Черновицкого, а не клиники, то-то и оно. – И на мамину решимость возмущаться так замостал головой, что его давно не стриженные и почти не чесанные волосы пустились в пляс. – Ни-ни! Журнал – лавочка Черновицкого, а клиника – лавочка его нанимателя, де юре и де факто я не имею к ней ни малейшего отношения. И не надо меня так смотреть! – это маме, а следующее уже мне: – Не волнуйся – видно, настало время растрести НЗ».

Крестная оставила нам в наследство квартиру, которая пригодилась брату дважды: первый раз – когда он женился, второй – когда у него начались перебои с работой, а издательство не окупалось. Квартиру крестной Леша продал, и вплоть до развода они с женой и дочкой снимали жилье, однако некий практичный знакомый тогда посоветовал открыть счет в банке и положить на него часть остатка. Это и стало нашим НЗ, хотя Леша признавался, что его не раз подмывало назначить очередной день своей жизни «черным», но всегда достаточно было вспомнить крестную.

*

Сестру называли Лаурой не потому, что родители обожали Петрарку. Ее называли в честь нашей будущей крестной, а ту ребенком вместе с другими такими же военными сиротами вывезли из Испании, хотя к тому времени, когда мы ее узнали, испанский она почти забыла и веры была русской. Но лучше все по порядку.

Мы росли в семье врачей: отец – нарколог, мама – педиатр. Кажется, что у матери-педиатра дети должны или вовсе не болеть, или болеть постоянно. Но обычно в жизни бывает так, что там, где ждешь либо «да», либо «нет», между ними выскакивает что-то третье. Лет до восьми я был прямо-таки ненормально здоровым, но классе во втором начались странные обмороки. Я не просто по меньшей мере раз в день терял сознание, но минут на десять-пятнадцать становился как мертвый – так мне говорили. Для меня самого те минуты сгущались, нет, не до секунд, а в какой-то комок безвременья. Считается, что где нет времени нет и пространства, а значит не будет и тела, то бишь комка. И тем не менее безвременье было и длящимся, и протяженным, в общем интервальным, к тому же комкообразным – у Бога всего много.

Мама прогнала меня через строй своих коллег, от невролога до гастроэнтеролога, я обследовался всеми возможными в СССР первой половины 80-х способами, и они ничего не дали. Папа обмолвился бывшей пациентке, которая к тому времени стала считай другом семьи. Она попала к нему алкоголичкой с десятилетним стажем, от которой отступились все, включая ее саму. Среди советских наркологов бытовало мнение, что женский алкоголизм неизлечим, но папа взялся – и победил. Вероятно, он был хорошим врачом, во всяком случае, дома мы его почти не видели, а когда видели, то не слышали – работе отец отдавал себя, как говорится, с потрохами, и я помню его вечернюю пустоту, когда он присутствовал, отсутствуя, и часто засыпал перед телевизором. Помню я и людей, мужчин в основном, которые иногда подходили к нему на улице, а некоторые появлялись у нас дома, чтобы поблагодарить и рассказать о своей новой жизни, но Лаура была особым случаем. Исцелившись, она создала собственную систему упражнений для тела и духа, так что, пока все советские граждане осваивали йогу, мама с папой практиковали упражнения по Лауриной методике. И вот, как только папа обмолвился, Лаура пришла впервые не к ним с мамой, а именно ко мне, и мы начали заниматься. Лауре было тогда столько же, сколько мне сейчас. Художник по тканям, она всю жизнь проработала на текстильной фабрике, откуда ее – знаю с маминих слов – дважды выгоняли за срыв сроков и дважды принимали обратно, а ткани ее дизайна несколько раз брали всесоюзные премии. Замужем она никогда не была. Лаура приходила ежедневно по утрам, мы занимались полчаса, затем я шел в школу, а она на службу. Вот уже сорок три года, как я начинаю день с тех упражнений – ну, если не ленюсь. Тогда я не ленился. Спустя пару месяца припадки стали случаться раз в неделю, потом не чаще раза в две недели, а к концу

третьего класса прекратились. Через два года родилась моя сестра, и мама предложила, а отец согласился назвать ее Лаурой.

Что сестра заикается, стало ясно, когда она заговорила уже не словами только, а фразами. Теперь мне ясно, что мои обмороки и ее заикание одного корня и корень этот уходит в толщу отцовских генов, и пусть ни сам отец, ни его родня не страдали ничем подобным – след ведет туда, я просто знаю. Лаура-старшая попыталась было применить к сестре свои упражнения, но те вдруг дали обратный эффект: Лаура-младшая отключилась после первого же занятия, на том эксперимент и закончился. Тогда Лаура-старшая надоумила младшую не говорить, а петь, и той так понравилось, что перед поступлением в первый класс пришлось переводить ее на речитатив. А вскоре открылось, что у сестры и слух, и неплохой голос. Правда, от заикания она так и не избавилась, но теперь и ей, и всем нам стало как-то легче. Однажды Лаура – тогда уже не младшая, а единственная – сказала, что для зайки говорить означает каждый раз переживать свою бессмысленность. Когда она поет, то переживает свою осмысленность.

Если отца мы дома почти не видели, то маму в сравнении с ним видели, конечно, часто, но в сравнении с чужими мамами все-таки редко. Сестру воспитывала крестная, к ее рождению как раз вышедшая на пенсию, а когда подросток, то, в меру сил, и я. Однако я забежал вперед: о *крестной* до поры до времени не было и речи.

Мне было пятнадцать, когда я понял, что хочу креститься. Как раз распался СССР, и наши неверующие родители увидели в моем желании только дань переменам, а то и моде. Лаура испросила у папы для меня разрешения, и, помню, он махнул рукой: «Делайте что хотите!», а мама, та вообще во всем шла Лауре навстречу. Так Лаура-старшая стала для меня крестной, хотя, как вскоре выяснилось, крестной она на тот момент уже была, но все по порядку.

Пятнадцатилетние в норме не склонны к мистицизму, и я был заурядным пятнадцатилетним, читавшим не Мейстера Экхарт, а Рэя Брэдбери. Сознаться в таком обидно и неловко, но никаких откровений или хотя бы переживаний, выходящих за грань посюстороннего, я не получил. Я просто чувствовал, насколько важно то, что сейчас происходит, насколько обязывает меня стать лучше, полезнее, *осмысленнее*, насколько влияет на каждый мой дальнейший шаг как отныне единственное его условие (такими словами я, конечно, а думал, скорее всего, вообще без слов). Последствия крещения для всей предстоящей мне жизни невозможно переоценить, так я думал бессловесным нутром. Бессловесное нутро, а вовсе не крещение гарантировало мне последствия, а оно еще тот гарант. Ничто не удержит от ошибок, вытекающих из других ошибок, самую же первую к тому времени уже не исправишь. Как сказала крестная, если человек себя губит, то что Бог может сделать? Но я снова забежал вперед.

Для родителей же мое крещение было чем-то имеющим минимум последствий, хороших или дурных, и они меня в тот день даже поздравили. С сестрой, я догадывался, все пройдет не так гладко, однако сказал Лауре-старшей, теперь крестной, что непременно надо крестить и Лауру-младшую. Крестная посмотрела на меня и пристально, и рассеянно.

«Помнишь, летом я взяла вас на день к своим знакомым в деревню? Там еще были двое мальчиков примерно твоего возраста, вы с ними и с их отцом плавали куда-то на лодке...»

«На остров, где живут кабаны! Еще бы не помнить! Кабанов мы не застали, только следы их видели».

«Ну так вот, пока вы плавали к кабанам, дедушка тех мальчиков – священник – окрестил твою сестренку. Ей дали имя Мария – как и мне. Принеси-ка стул...»

Лаура попросила принести стул и поставить его возле книжного шкафа, что я сделал. Минуту, пока она влезала на стул, тянулась к верхней полке, где стояли иконы, и шарила рукой где-то за ними, я видел лес по берегам реки, лицо отца тех мальчиков, слышал усыпительное тарыхтенье моторки, которая шла тихим ходом, чтобы не спугнуть кабанов, но значит, все-таки спугнула...

«Вот, – Лаура протянула мне что-то на ладони. – Может, твоя мама теперь не будет возражать, чтобы Лаурочка его носила».

Это было крестик на цепочке. Я вернулся с летней реки и вдруг осознал всю меру своего ра-

зочарования: я-то думал сыграть в жизни сестры выдающуюся роль, а выдающееся, оказывается, давно свершилось и без меня. А мама действительно не стала возражать и сама надела на сестру цепочку с крестиком, чтобы сделать приятное Лауре.

Думаю, родители никогда толком не понимали, что она за человек, и то, чего не понимали, списывали на испанскую инаковость. Взять хотя бы ее веру. Однажды я спросил Лауру, когда она поняла, что Бог есть, и она ответила, что всегда знала. Думаю, «всегда» означало «еще с Испании», которую она покинула трехлетней и едва помнила. Там ее мать или бабушка рассказала ей про Бога, но то было почти до рождения, до начала времени. И когда в университете Лаура подружилась с девушкой, которая оказалась верующей и от которой наша будущая крестная впервые услышала имя «Христос», она вспомнила свое «до-рождения», потому что оттуда все вдруг отозвалось. Вместе с подругой она тайно ходили в храм, где Лауру позже крестили по православному обряду. С верой было связано ее решение никогда не выходить замуж, но почему вера десять лет не мешала ей спиваться, вот что не укладывалось у меня в мозгу, которому тогда еще лишь предстояло испытать на себе беспрекословность своего же собственного позыва. «Почему ты стала пить?» – спросил я ее, когда мне было уже лет двадцать и незадолго до ее смерти.

А почему стал пить я, сын отца, загнавшего сердце лечением алкоголиков?

Мне было за тридцать, у нас с женой недавно родилась Аня, я только что бросил преподавание и пылал, как факел, прозревая материк, который насыплю по горсточке и который, парадоксальным образом, уже есть и манит на горизонте. И тут что-то случилось. Как если бы у олимпийского чемпиона по фигурному катанию на льду разъехались ноги или чемпион по плаванию вдруг топором пошел ко дну. Я был чемпионом по смыслу жизни. Я поймал его, как жука в кулак, и прислушивался к его приятному гудению. И вдруг гудение оборвалось. И я сам оборвался, а когда обнаружил себя как будто на том же месте, то оказалось, что прошел год и я, словно фигурка в тире, двигаюсь по короткому маршруту от дома до «нашего философского магазина» – «Красного и Белого» – и обратно.

Нет ничего условнее и даже глупее «вдруг». Из вуза, где преподавал, я ушел не то чтобы с гордо поднятой головой. Я понимал, что и образовательное, и научное сообщества всегда будут меня выплевывать и что, ни странно, мне совсем не все равно, что при этом они будут еще и кривиться. Я понимал, что у меня нет единомышленников. С теми, кто заявлял о своей любви к Парацельсу, можно было обсуждать алхимию, герметизм и оккультизм, но совершенно невозможно было говорить о человеке. Не о Первочеловеке, не об Адаме Кадмоне, а о человеке с маленькой буквы, о людях вроде них самих, которые болеют и бегают по поликлиникам. Люди для них, казалось, не существовали. Существовали духи и демоны, планеты и астральные тела, даже гомункулы, но не люди. И у Парацельса их привлекала только шелуха – телепатия-некромантия, – ее они могли мусолить бесконечно, а слова, например, «терапия», «множественные поражения», «спинномозговая жидкость», «кишечник» заставляли их сразу съеживаться, хотя о кишечнике Парацельс писал не меньше, чем о суккубах.

Я понимал, что моей жене, моей сестре, тем немногим друзьям, которыми я обзавелся в институте, которые как-то втиснулись между моей официальной учебой, моим немецким, историей, философией, богословием и моей круто замешанной внутренней жизнью, – что им неинтересно то, чем я живу теперь не только внутри, но и снаружи. Я понимал, что был, есть и буду один. И если у меня не получится, то плечо мне никто не подставит. А ведь может и не получиться. Вот на этом «не получиться» я и оборвался и пришел в себя уже плавно едущим по линии квартира – магазин.

Думаю, Лаура тоже однажды оборвалась на своем «не получиться» или даже «не получится». Но в ответ на мой вопрос, почему, она пожала плечами:

«Наверное, наследственность... Мы собирались студенческой компанией, всегда было вино, но другие останавливались, а я не могла».

Вот так просто. Испания превратилась для Лауры в источник всего, что не имело видимого источника.

«А ты молилась?»

«Молилась».

«И?»

«Если человек себя губит, то что Бог может сделать?»

Мне встречались православные, которые на мой выдающий неблагочестивую пытливость вопрос ничтоже сумняшеся ответили бы: «Господь для того и попустил – или даже *послал* – Лауре алкоголизм, чтобы состоялась встреча с твоим отцом и чтобы таким образом твой отец получил возможность сделать доброе дело, а Лаура в свою очередь тоже получила бы возможность сделать доброе дело, отблагодарив твоего отца твоим выздоровлением». Объяснение попрочнее Лауриного, да вот только сама Лаура категорически отрицала «промысел» в таком смысле. Лет за пять до того разговора был другой: я спросил ее, в чем секрет ее упражнений, каким образом они меня вылечили.

«Не упражнения тебя вылечили. Я молилась о твоём исцелении, и Бог внял моей молитве, потому что знал, *что* для меня тогда было важнее всего».

«И что для тебя тогда было важнее всего?» – спросил я как загипнотизированный.

«Отблагодарить твоего отца. Несколько лет я молилась о том, чтобы Бог дал мне такую возможность, и когда узнала о вашем горе, сразу поняла: вот. Выздоровление за выздоровление, только так уравнилась бы чаша весов».

Помню, как заела меня эта «чаша весов», но и сегодня она заедает меня не меньше.

«Как-то уж больно механистично. Может, и припадки Бог на меня наслал по твоим молитвам, чтобы было от чего исцелять?»

«Не смей так говорить!» – полыхнул испанский темперамент, и я даже отскочил, что сразу же скомпенсировал:

«А что, меня шас громом поразит?»

Лучше бы громом: по росту крестная доставала мне до груди, так что, кинь она в меня чем-нибудь, удар пришелся бы совсем, совсем не по голове.

«Бог болезни не насылает. – Она помолчала, уже не гневная. – Бог не разрушает, а только восстанавливает».

Если соединить оба разговора, бросится в глаза нестыковка: Бог внял Лауриной молитве, когда дело касалось моих припадков, но много лет не внимал, когда дело касалось ее алкоголизма. В первом случае мальчика губила болезнь, во втором женщина губила себя сама. С этим не согласится ни один врач и ни один человек, прошедший через зависимость и знающий, что она есть болезнь в квадрате и если человек себя губит, то он уже болен. Нет, Лаурино оправдание Бога никуда не годилось. И я, третьекурсник мединститута, не принял его, а девятиклассник, которым я был за пять лет до того, спросил с полным основанием:

«Откуда же болезни?»

Чуть позже в тот год я крестился, признав таким образом, что Бог есть, что Христос – Бог и что Он – Врач. Если вторым и третьим пунктами я был обязан Евангелию, то первый пришел откуда-то, где для Лауры располагалась Испания, а для меня – даже не знаю или вот уж действительно Бог весть что. Древний Египет моего до-рождения? Так или иначе, эти три пункта стали моим кредо. Оно представлялось мне в форме кольца, которое я вокруг себя очертил и за которым ждут ответов все пока не отвеченные вопросы, и они их дождутся, в этой жизни или в другой.

Ходить в храм я так и не начал, чем, наверное, ранил крестную, и никогда не молился.

Уже тогда, в пятнадцать, я знал, что стану врачом. И потому, что врачи лучше, как я был уверен, осведомлены о существе жизни, и потому, что именно на эту стезю намекал третий пункт, и потому, наконец, что никаких собственных талантов у меня не было, а родители-медики были.

Откуда же болезни, если Бог только восстанавливает, но не разрушает? Кто же или что разрушает человека и всю материю?

Я сегодняшней ответил бы себе тогдашнему, что материя не разрушается, но равновесное состояние Космоса *нарушается*. Чаша весов. Сбой в одном организме – это сбой в единой системе.

Сложная система неустойчива по определению, но, повреждаясь в одной своей точке, она получает шанс обновиться вся целиком. Смысл восстановления человеческого здоровья в восстановлении поврежденного Космоса как в непрерывном его творении. Здесь вся метафизика медицины, она же метафизиология. (Когда я начну писать книгу, надо будет все-таки определиться с названием.) Вот так просто.

Но что же ответила мне крестная?

«Откуда же болезни?»

«Вот станешь врачом и узнаешь».

Я тогда почувствовал себя намного умнее ее и, наверное, снисходительно улыбнулся. Многие люди и старше пятнадцати лет считает мерой ума способность задавать вопросы, остающиеся без ответов.

В исцеление по Лауриной молитве я и верил, и не верил, пока не прочел у Парацельса, что человек больше неба и земли, потому что ему даны вера и воображение. Человек – экстракт вселенной, и его душа совечна небесам. А значит, можно сказать, что меня исцелила вера крестной, и вместе с тем моя нынешняя вера в то, что тогда вера крестной исцелила меня. Потому «прошное» и «будущее» суть всего лишь удобные понятия, но не реальность, и если одно событие достигает другого на мировой линии с опозданием, мы зовем это прошлым, а если с опережением – мы зовем это будущим. И точно так же можно сказать, что меня исцелили воображение крестной и Воображение, которое Творец и Создатель.

«...Если бы мы, люди, правильно познали нашу душу, то не было бы для нас на сей земле ничего невозможного» (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм, прозванный Парацельсом).

*

Вот уже четыре года я жил в квартире соседей, уехавших за рубеж на неопределенный срок и с неопределенными видами, – жил как бы сторожем, котом и фикусом, который сам себя кормит и поливает. Как хозяева из своего иномирья платили за квартиру, ума не приложу, но и не его это дело.

Когда я узнал, что через Лаурин тройничный нерв и Черновицкого оказался вновь сопряженным с бывшим товарищем, которого не видел тридцать лет, то ощутил потребность выпустить квант энергии. И вспомнил, что с самого вселения, сколько ни давал себе зарок, так до сих пор и не вымыл пол *везде*. Повременить со звонком сестре я тоже не мог – так меня распирало от очередного доказательства неисповедимости всего и вся. Телефон, который вначале казался надежно зафиксированным между ухом и плечом, пока руки предоставлены швабре, чуть не нашел свой конец в ведре с водой, но такой уж был день чудес, что и телефон Бог помиловал.

Я лег на живот, чтобы продвинуть швабру подальше под кровать. Прямоугольная бумажка вдалеке у плинтуса что-то мне напомнила, я зацепил ее и вытащил – привет из хозяйского прошлого – банкноту в сто долларов. Установить траекторию движения, которая привела бы сто долларов под кровать, не получалось, потому я решил считать, что деньги утащила к себе в норку мышка. Я изъясил у мышки нетрудовые доходы, убедился, что купюра нового образца, на следующий же день поменял ее и сказал себе, что до конца недели я кум королю.

Выйдя из банка, я спустился в подземный переход. Мой взгляд машинально пробегал торговые ряды: необъятные ночнушки, фарфоровые изделия на подарки тем, кого ненавидишь, распиленные цветами кастрюли, живые цветы пластиковых оттенков, иконы, салон связи...

И тут я увидел его. Вернее, их, болтавшихся связкой в салоне связи, но для меня он был один-единственный, потому что глядел на меня.

У него были уши торчком, красный носик-кнопочка, анимешные вертикальные глаза и улыбка словно пилу выгнули дугой. Сразу видно, себе на уме.

«Извините, а что это?» – спросил я девушку за стеклом на высоком табурете, на каких почему-то сидят работники салонов связи, ну прямо сивиллы на треножнике.

«Это? – Она отвлеклась от своей связи, то бишь от черной плашки. – Да лабубу».

«Де ла Бубу?»

«Лабубу. – Закатила глаза. – Ну-у, модно щас. Из Китая».

«Модно из Китая... Хм, тоже своего рода информация».

«Эти-то не. Эти наши, паленые. Были бы из Китая, стояли бы шесть косарей штука, а так по шестьсот рублей».

«А... – я замялся перед тем, как задать ключевой вопрос, – кто они вообще? – Девушка моргнула. – Ну, например, Хрюша – поросенок, Кузя – домовенок, Чебурашка – неизвестный науке зверь...»

«Поняла. Говорят, что эльфы».

«Отлично. Беру».

«Вам какого?»

Она завертела карусель, увозя от меня *моего*.

«Стойте, стойте! Коричневого!»

...Я подкидывал его на ходу обеими руками и ни разу не уронил, хотя сроду не практиковался в жонглировании. Теперь ты со мной, а я с тобой, говорил я мысленно. Лабубу, сынок мой. Пусть меня считают идиотом. Что они видят? Пятидесятилетний детина идет и играет. А что вижу я? Люди идут в туннеле, торопясь поскорее его пройти.

Через неделю я снова заглянул под кровать, потыкал шваброй, повозил рукой, и мне вновь повезло на привет из хозяйского прошлого, правда, теперь в виде очень давно, судя по ставшему порошкообразным содержимому, использованного презерватива. А что, сказал я себе, ты так и собирался лезть под кровать за долларами?

*

Академик Будберг с кадучеем все-таки беспокоил меня. Что касается Рамадана Караевича Уматгиреева, то он явно не существовал уже хотя бы потому, что Уматгиреем Рамадановичем Караевым зовут человека, у которого я забираю остнастки для печатей и которому же отдаю готовые изделия. О клинике «Vagina Dentata» и вовсе промолчу, а вот в отношении академика Будберга у меня почему-то не было полной уверенности. Я спросил Великий Оракул об Институте земной коры и убедился, что оно не существует, однако это значило только, что сон подводал в деталях. Оракул выбросил мне пару Будбергов, но ни один, ни другой явно не был *тем*.

Странно: академик Будберг представлялся мне точь-в-точь мой начальник Михаил Львович Черновицкий. На десять лет меня старше, к.м.н. и, как и я, ни дня не работал врачом. То некрупно начальствовал по здравоохранению, то делал бизнес на синтетических сахарозаменителях, а теперь управлял крупной московской частной клиникой. Поскольку владелец с самого ее основания перебрался куда-то далеко, Черновицкий устроил жену своим замом и замкнул на нее всю рутину, сам же, как человек неумный, издает ежеквартальный журнал «Гомеопатия», гомеопатическим тиражом тысяча экземпляров, где я и подвизаюсь. В гомеопатию Черновицкий не верит, я тоже: он – потому что, по моему ощущению, вообще ни во что не верит кроме золотого тельца, я – потому что слишком хорошо знаю, откуда растут у нее ноги. Порога клиники я ни разу не переступал (зачем?) и с начальством общался всего несколько раз по зуму, живьем же Черновицкий предо мною ни разу не являлся (опять-таки зачем?). Я числюсь главным редактором для прикрытия, разделяет и властвует в журнале сам Черновицкий, но взял он меня на должность благодаря моему немалому, хотя и горькому опыту. Лет десять назад запустил маленькое издательство, оно называлось «Парагранум» – в честь книги Парацельса Liber Paragranum, сам был и спонсором, и коммерческим директором, и главным/единственным редактором, и вербовщиком-вдохновителем авторов. «Парагранум» успело выпустить девять книжек за пять лет, а потом прогорело, ну или я прогорел, но не отчаялся – сайт издательства стал просто одноименным сайтом. Не прошло и года, как он тихо захирел. Те авторы, с которыми хотелось иметь дело мне, от меня шарахались,

а от нью-эйджистов, гомеопатов и просто мудаков отбивался я сам. Перед самой кончиной сайта меня и нашел Черновицкий.

Это было четыре года назад, бывшая жена как раз переехала с нашей дочерью в Латвию. Выражаясь казенным языком, от которого всегда кажется, что проблема уже наполовину рассосалась, мы с бывшей женой *не поддерживаем отношений*. Таково было ее условие. Мы расстались не в ссоре, но и не дружески.

Жена и дочь ушли не когда я пил. Не когда я, бросив пить, вновь почувствовал, что могу кое-что предложить городу и миру и с головой исчез в издательской деятельности, которая требовала столько времени и финансов, сколько у меня, казалось, быть не может, и все же время и финансы откуда-то брались, словно я махал волшебной палочкой, только та палочка была на электроприводе и питалась от семьи. Они ушли не когда мое издательство прогорело и не когда я забросил уже еле трепыхавшийся сайт. Они ушли позже. Я говорю «они», потому что Ане было как-никак двенадцать. В одну из наших встреч, пока шел развод, она сказала: «Я не понимаю, за что мне тебя любить». А жена сказала: «На мне вины больше. Я должна была сразу увидеть, что насчет семьи – это не к тебе».

Когда Аня была малышка, от трех до шести, мы играли в игру, которая всем, кроме нас, а больше всего моей жене казалась глупой: Аня сидит на стуле, а я рассеянно подхожу и как бы не видя ее усаживаюсь на тот же стул, то есть ей на колени. Трюк был в том, что садился я на «воздух» – между мной и Аней оставался зазор около сантиметра, но со стороны казалось, будто я сейчас и впрямь раздавлю ребенка, и непосвященный человек ужасался. Так вот, я понарошку сажусь на Аню, она притворно орет: «А-а-а!», я тоже ору: «А-а-а!», вскакиваю, оборачиваюсь и выпаливаю, тараща глаза: «Прости, я тебя не заметил!..» Минутный гиньоль, в который со временем превратилась наша игра, изначально был обращен к единственному зрителю – моей жене и задуман как своего рода иносказание, притча «о плохом отце», для которого дочь буквально не существует. Аня существовала для меня еще как, но в том-то и суть, что *для меня* обе они, жена и дочь, существовали больше своими звездными, чем материальными телами. Потому, где бы ни находились телесно, рядом или не рядом, они и присутствовали во всем, что казалось мне важным и нужным, их нужность мне сливалась с той нужностью, я думал как бы ради них, пусть даже не о них, верил, что они это ощущают. Но они не ощущали – потому что нет никаких звездных тел.

*

Жить под прицелом боли, радуясь, когда ее нет, и зная, что она все равно будет, очень утомительно. Пока мама с братом разговаривали на кухне, я прилегла у себя, но вскоре вошел Леша и сел на пол возле кровати – так же как в моем детстве, чтобы почитать вслух или поболтать, когда после острой фазы ОРВИ время возвращалось с удвоенной длиннотой, называвшейся постельным режимом.

«Сейчас буду тебя лечить! Облегчим Роме работу!»

Откуда-то из-за спины, как новую книжку тридцать лет назад, брат достал Лабубу с коричневой шерсткой.

«Это твой ассистент?»

«Это мой гений. У Сократа же был гений, а это – мой!»

«Каков Сократ, таков и гений».

«Ох и ядовитая женщина! Впрочем, по слову Парацельса, все есть яд и все есть лекарство, дело только в дозе».

«Мне как старой деве положено прыскать ядом».

«Не скажи. Я вот заметил, что давно разведенные, вдовы и старые девы добрее замужних».

«Значит, наличие мужчины портит женский характер».

«Любое наличие портит любой характер».

Пусть к «детям цветов» брат и не ближе, чем я или мама, те, кто знают Лешу через меня,

всегда сначала принимали его за перезревшее и побрившееся «дитя цветов». Иногда мне хочется взять несколько клише и штамповать на них его формулы отношения к денежно-имущественным ценностям. «Лучше за рубль лежать, чем три бежать». «Да не оскудеет рука дающего, и да не отсохнет рука берущего» (но это прежде и то для красного словца: берущим Леша не был даже те несколько лет, когда регулярно посещал «наш философский магазин» – «Красное и Белое»). «Алхимик – это тот, у кого в кармане вошь на *аркане*».

Мы изготавливаем печати для одного ИП – своеобразная граверная мастерская на дому, точнее, на два дома. Ублюдочная работа, как выражается брат, но возможность выживать для него, когда Черновицкий ему не платит, и для меня – с тех пор, как я потеряла голос и больше не даю уроков. Все свои работы Леша делит на очень нервные и ублюдочные. К первым относятся те, что приносят либо радость, либо умеренное удовлетворение, ко вторым те, что позволяют выживать. Ублюдочные могут оплачиваться как неплохо (например, перевод с немецкого сигнатур или медицинских статей), так и скверно, например, выгул собак, но единственное, что от них требуется, – обеспечивать базу для *очень нервных*, вроде книгоиздания или неудачной попытки создать в Москве филиал зальцбургского Общества Парацельса.

«Лабубу в данном случае – идеальная мумия. Знаешь, что Парацельс называл мумией? Оболочку жизненного духа – архей. Мумия может забирать болезнь».

Парацельс, архей, мумия, эликсир, Протопласт, Меркурий, а теперь еще и Лабубу. За годы, что я слышу от Леша эти слова, я так и не разобралась, насколько серьезна игра, которую он однажды затеял с самим собой и зачем она ему, но спросить напрямик значит все испортить.

Когда я почувствовала мех Лабубу на щеке, боль как раз подступала. Внезапная боль приговаривается, как прыжок хищника. Я невольно закрыла глаза и улыбнулась. Улыбнулась и боли, и брату, который знает лишь один способ унять боль – превратить в игру.

«Знаешь, преподаватели нас с ним иногда путали, – Леша смотрел куда-то мимо меня и «мумии», – с Ромой, я имею в виду. Считалось, что мы похожи, оба мордастые... только у него нос римский... а у меня тогда, получается, какой, алексейский?.. Гляди: с этой стороны вроде вздернутый, а с этой прямой – не поймешь! – Леша повертел головой туда-сюда. – Господи, мы не виделись с выпуска, четверть века...»

2. Ученики в Саисе

За месяц боль превратилась в машину, мощную, надежную и бесшумную, которая сама включалась и сама отключалась, словно какая-нибудь система очистки воздуха.

Но теперь осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, мы уже у цели. Вот сейчас увидим Васильева, и сразу полегчает. Брат повторял мне это в метро, на подступах к клинике и наконец внутри, среди лавандовых стен, белоснежных стоек администрации и морозно-матовых стеклянных дверей, которые не разъезжались, а распахивались навстречу.

Может, Лешино заклинание, а может, все это вместе – в том числе приглушенный Брайан Ферри из динамиков под потолком – подействовало, и я даже смогла оценить внешний вид брата.

«Мог бы причесаться».

«Я причесывался, но ты же знаешь: мои волосы так растут, что придать им определенное направление совершенно невозможно».

«И хотя бы почистить *эти* ботинки, раз других нет».

«Милая моя, какой смысл чистить ботинки, которые просят каши? А наипаче какой смысл вообще чистить обувь, если само ее назначение – топтать землю, то есть персть и прах?»

Когда Леша восходит в высокий штиль, я уже знаю, что он нервничает.

«И гения своего мог бы оставить дома».

Остроухая головка торчала из кармана Лешиных тренировочных штанов.

«Боже упаси – на такое дело да без гения!»

На схеме отделений возле лифта значился кафетерий – совместно с косметологией, массажем и спа-процедурами ему был отведен последний, седьмой этаж. Мы пришли почти на час раньше,

и Леша предложил выпить кофе. В кафетерии все почему-то было белое и звучал тот же «классический поп», но самую малость громче. Всю стену занимало панорамное окно, а потолок над ним был скошен.

«Душновато», – заметил Леша.

«Мансарда».

«Ну и ценники... А впрочем, днем раньше, днем позже на паперть – какая разница? Не будет жаться! Я приглашаю!»

Усадив меня за столик, Леша пошел делать заказ, а вернулся с веселым недоумением глядя в телефон.

«Чудеса в решете! Черновицкий прислал смску: “Целую!” Что же ответить? “И целуй меня везде – сорок девять мне уже”?»¹

«Разве не пятьдесят один?»

«Для рифмы и для поцелуев сорок девять».

«Он просто ошибся. Думал, что посылает жене или дочке».

«Не знаю, не знаю. Зарплату он мне за полгода задолжал. Может, перешел на поцелуи? Как думаешь, будет очень невежливо, если я напишу: “Киш ми тохес”? Пусть видит, что у этого голя кукуха поехала от безденежья».

«Леша, не смей!»

«Ладно, ограничимся корректным “Дорогой Михаил Львович, и я вас тоже!”» Впрочем, наверное, действительно посылал жене, дочке или своей конкубине...»

«Леша!..»

«А что? Она у него есть, а если это известно даже мне, то значит и всем. Ой, кажется, наши капучинки поспели!»

Леша вернулся с чашкой в каждой руке и с телефоном между щекой и ухом, слегка пританцовывая, – хорошо, что его не сопровождало ведро.

«Михаил Львович, дорогой, какая радость вас слышать! Ну да, бывает. Сестра так и предположила: что вы ошиблись, посылали, наверное, жене или, там, дочке, а я: не знаю, не знаю, я ведь Михал Львовичу считай как родной племянник! Мы с сестрой тут... э-э-э... в кафе, шикую по случаю понедельника, спускаем наши миллионы...»

Меня до сих пор поражает молниеносность, с которой брат меняет регистры. В глазах у него при этом вспыхивает что-то между озорством и безумием.

«...От юриста? Да что вы говорите – судиться?!.. *Что* ваша супруга?.. Ах, Господи, какой кошмар. Ох, какой ужас. Надеюсь, ей напортачили не в?.. Ну, разумеется! И сколько это тянулось? Два года?! Послушайте, у человека как-никак одна голова и в ней тридцать два зуба – а впрочем, если стоит задача развести на бабло, зубов становится шестьдесят четыре, ха-ха-ха! Разумеется, к вашей вотчине, Михал Львович, это не относится. А сестра вот тоже недавно зубы протезировала. Дорого-то дорого, а куда ж ей, бедной, было деваться, если она все свои потеряла? Ну как-как? По пять ложек сахара в чай, да конфетку на заедку, а вы, Михал Львович, знаете, что такое сахар, вы на сахаре, можно сказать, пуд соли съели, ха-ха-ха! В общем, наскребли мы ей на два передних, а там уж как есть. И вот поди ты, прямо Диккенс – нарвались за свои гроши на всеотца всех стоматологов-имплантологов-протезистов! А надо сказать, моя сестра женщина редкостной красоты, даже без зубов. И, конечно, стоило этому выдающемуся, как говорили древние египтяне, мастеру зубного ряда ее узреть, как он понял, что быстро он ее не отпустит, и вышла она от него в итоге Голливуда полон рот. Кто-то, конечно, скажет, что ее просто развели на бабло: пришлось нам, ясное дело, продать корову, то есть квартиру в Капотне от бабушки. Но мы-то с вами, Михал Львович, как старые романтики!.. Да-да, и алхимики! Как старые романтики и алхимики не можем допустить, что мир *настолько* предался золотому тельцу. *Aurum nostrum non est aurum vulgi!* Нет-нет, я убежден, здесь больша-а-ая стрела Купидона застряла...»

¹ В оригинале (песня группы «Руки вверх») «...восемнадцать мне уже».

«Здесь большая стрела Купидона застряла». Я слышала этот Лешин вердикт по поводу нескольких очень разных мужчин, которые вдруг возникали на горизонте, а потом оказывались его частью, никогда не становясь ближе. И некоторые из них были воображаемыми.

«Контакты всеотца?.. М-м, фамилию запомнил, а вот клиника, где он подвизается, ну как же – «Vagina Dentata»! Да-да, вы правильно расслышали. Руководит ею некто Уматгиреев Гарун Рашидович или вроде того».

Мне показалось, будто щелкнул тумблер. Боль включилась, пошла по нарастающей, все вокруг стало белым – нет, оно и было белым, но в белом растворился вид на крыши за окном, прилавок с мальчиком-бариста, брат, моя пустая чашка и его нетронутая. И я сама со всем, что я знаю о себе. Белизна заглотнула конец Лешиного разговора с Черновицким. Боль достигла пика и повернула назад.

«Тебе привет от Черновицкого! – Леша схватился на свой остывший капучино и стал втягивать его быстрыми атаками. – Прикинь, они с женой только что от юриста, подали в суд на какую-то навороченную стоматологию: мадам Черновицкая выложила не ошибусь, если скажу, что порядка десяти зарплат среднего россиянина за “Голливуд”, а вместо “вуда” получила одни пеньки. Ха, знал бы старик, что мы у него, можно сказать, под самым!..»

«Что ты нес? Даже Лабубу покраснел!»

«Надо, надо, милая моя, иногда быть придворным шутом. С такими, как Черновицкий, если хочешь что-то получить, иначе нельзя».

«Зачем наплел про выдуманную клинику? Ты же обманул человека!»

«Да Черновицкий не примет от меня даже акции “Майкрософт”, не то что добрый совет! И уверяю тебя, он мне ни на йоту не поверил»

Лешин кодекс чести похож на кубик Рубика – порядок спрятан в беспорядке. Например, я очень не люблю лгать и избегаю лжи как могу, что при моей уединенной, а последнее время и вовсе изолированной жизни не большая заслуга. И почти так же я не люблю даже мысленно кого-либо осуждать, и, когда впадаю в этот порок, на душе бывает скверно. Брат же не видит худого в том, чтобы с каждым играть по его правилам, за глаза припечатывая и каждого, и правила. Леша называет это *двойным Меркурием*, вероятно, отмежевывая от банального двуличия, но эту межу видит только он.

Мы спустились на четвертый этаж и как раз остановились перед кабинетом Васильева, когда мимо нас прошмыгнула медсестра и отперла дверь ключом.

«Вы к Роману Валентиновичу? Проходите, он сейчас подойдет».

В кабинете я не сразу отважилась занять низкое мягкое белое кресло, хотя оно явно предназначалось для пациента, как неудобный с виду вертящийся стул – для Васильева. Больше здесь сесть было некуда, и брат встал, прислонившись спиной к стене. Черновицкий, музыка, даже Лешино нервное предвкушение остались там, а мы были уже здесь и, не сговариваясь, понимали, что ждать надо молча.

Васильев вошел минут через пять, улыбаясь, и поздоровался со мной – наверное, взгляд его был натакан обращаться сразу в сторону кресла. Я вспомнила Лешины слова о том, что в институте их путали. Они были почти одного роста, Леша чуть выше, Васильев плотнее и прямее. Другие губы, другой разрез глаз, и нос действительно другой, римский, правда, лица у обоих широкие (брату передалось от отца, мне нет). Но что-то неуловимо общее было в мимике, в улыбке, в самом духе, задававшем это общее. Они могли бы быть единокровными.

Леша не торопясь отделился от стены и встал возле меня.

«Леха?..»

Тумблер снова щелкнул. Я видела бирюзовый хирургический костюм Васильева, Лешину белую футболку и две белые полосы на его штанине, слышала смеющуюся речь. Отчего-то мне было хорошо, я опять растворилась, но теперь не в цвете, а в неуклюжей радости двух людей, каждый из которых для другого пришел из прошлого. Слов этой радости я не могла разобрать, но улыбалась. Боль стирала меня, боль хотела очистить от меня это кресло и кабинет, а я улыбалась.

«Чем занимаешься? Преподаешь?»

«Сейчас нет... Пишу для одного популярного медицинского издания».

Леша покосился на меня – не выдам ли.

«Как у тебя с графиком? Завтра я тут и заканчиваю около пяти...»

У Васильева был приятный тембр и выразительный, звучный, модулированный голос, из тех, которым не нужна громкость, чтобы к ним прислушались, и о которых трудно сказать, высокий он или низкий.

«График у меня свободный», – ответил Леша, как показалось, неохотно.

«Слушай, здесь есть кафешка на седьмом этаже – скромненькая, без претензий, как раз посидеть поболтать около часа, а, как на это смотришь?»

Взгляд самого Васильева соскользнул на Лабубу в Лешинем кармане. Я не поверила глазам: брат молча пожал плечами и робко улыбнулся.

«Ну так решено. Простите, – Васильев повернулся ко мне. – Вы, наверное, думаете, что мы о вас забыли?»

И я тоже робко улыбнулась, словно мы с Лешей были близнецы.

Васильев очень осторожно надавил мне двумя пальцами на щеку, приложил к ней ладонь, будто собираясь погладить. Я отвечала на его вопросы, Васильев подтверждал мои ответы собранно-участливым кивком, глядя прямо в глаза, и я невольно думала, всегда ли он такой с пациентами или причиной Леша.

Я привыкла, что, стоит мне заговорить, у собеседника, будь он даже врач, в первый миг возникает настороженно-брезгливое выражение. Только в первый миг, а во второй человек, будто стыдясь, становится из всех сил *этичным* и *инклюзивным*. У Васильева не было ни первого, ни второго.

«Давно у вас логоневроз?»

«С детства», – ответил Леша за меня.

«Сколько себя помню», – сказала я.

«Когда она поет, то не заикается».

«Леша!..»

Васильев, снова улыбнувшись, перевел взгляд с него на меня.

«Она певица!» – произнес Леша с той же гордостью, что и двадцать лет назад.

«Давно уже нет», – сказала я.

Переключать регистры Васильев умел не хуже Леша. Пожалуй, улыбка у него все-таки была другая, мягче, теплее. Как и его дежурная серьезность, ради которой он слегка хмурился.

«Первичная невралгия тройничного нерва у женщины моложе пятидесяти встречается не так уже часто. Надо будет сделать МРТ, чтобы исключить рассеянный склероз».

«Я делала два года назад. Вот снимок и расшифровка».

«Знаете, два года... Сделаем повторно у нас»

«Если диагноз “первичная тригеминальная невралгия” подтвердится, то есть действительно сдавлен корешок тройничного нерва в области его выхода из ствола мозга каким-либо кровеносным сосудом, как правило, верхней мозжечковой артерией, то наилучший вариант в вашем случае – микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва. Это новейшая методика, вкратце объясняю ее суть...»

*

Еще в аспирантуре я задумал книгу, в которой прослеживалась бы история материи как загадки, материи как мысли о материи, или, если чуть подладиться к фене академических буратин – история научного поиска и философского осмысления ее сущности. Для воплощения задумки нужно было немного: соавтор, а лучше консультант, совмещающий в себе историка философии, историка естествознания, физика, химика и святого блаженного, который будет гореть за идею,

ничего для себя не желая, и менее всего чего-либо, выраженного в денежных знаках. Историком философии, историком естествознания, химиком и безусловным святым блаженным в конце концов пришлось стать мне самому, а физика я залучил. Наше сотворчество сразу приняло незапланированно бурный и вообще незапланированный характер, и всего через полгода мы поженились.

К тому времени моя будущая жена уже была старшим научным сотрудником лаборатории квантовой теории поля ФИАН. Помню, то ли на моем, то ли на ее дне рождения кто-то из родственников, кажется, все-таки с моей стороны, спросил: «И зачем вам, физикам, этот бозон Хиггса?» На что жена ответила: «А чтобы он за нас пахал». Мы с ней потом чуть не поругались, и дело не в том, чей родственник задал вопрос. Я сказал, что, по-моему, как бы сложна ни была тема, надо хотя бы попытаться объяснить, а жена сказала, что пытаться объяснить зачастую еще хуже, чем вообще не объяснять, потому что неудавшаяся попытка все только запутает. Я тогда уперся и, боюсь, тем принципиальным, но все же чисто теоретическим спором мы выпустили злого джинна из бутылки, хотя, по логике, злой джинн к началу спора уже был на свободе, он нас и подначил. Теперь, задним числом, я согласен с женой – не всякий вопрос заслуживает ответа. Если человек считает, что можно вломиться с наскока в середину узкоспециальной научной темы и получить объяснение на пальцах, то он идиот и не поймет даже объяснения на пальцах. А если он не идиот, то значит, спросил не ради ответа, а ради вопроса, следовательно, и получил что хотел. И все-таки тот спор, с которого, кознями джинна, и пошла у нас почти каждодневная ругань, вскрыл, как говорится, неразрешимое противоречие, запоровшее наше совместное и, казалось, толковое начинание – книгу о материи. Итог нашего тандема – несколько вордовских страничек, хранимых мною как память, да горка поломанных копий, к тому же обугленных, поскольку мы потом многожды ее запаливали.

Но именно жена перепрограммировала несостоятельного автора в худо-бедно состоявшегося издателя, невзначай, а возможно, желая отвести от посягательств что-либо писать самому (и едва ли предвидя, куда оно нас заведет), намекнувшая, что ведь можно пока найти кого-то, кто уже что-либо написал. Позже я задумывался, то ли она имела в виду, но, как бы ни было, тогда понял намек однозначно.

Но издательство без концепции – все равно что яхта без паруса. Если мои собственные мысли еще не готовы выстроиться в кристаллически-совершенный проект, то что я предложу на временную замену? Какие *чужие* мысли я хочу нести в мир? Для начала, пожалуй, надо было выгородить область, откуда следовало ждать притока идей. Место слияния философии и медицины, разумеется. Вот только место это знал пока я один и даже не успел еще нанести его на карту. Остается брать по отдельности физику, химию, медицину и философию, а издательство пусть и будет тем миксером, который перемешает их в читательской голове. Растворяй и сгущай! Из читателей я понемногу сгущу *своих* авторов.

Я нанял верстальщицу, обязанности не только редактора, но и корректора частью взял на себя, частью подключил Лауру, у которой уже начиналось то, что мы с мамой тогда принимали за выверт настроения или кратковременный творческий кризис. Один «герметичный» юноша, называвший своими учителями меня и Евгения Головина, бесплатно сделал сайт (профиль в соцсети как торговая площадка тогда был еще малохоженной тропой). Он же привел небольшую толпу визионеров, рвавшихся – правда, за деньги – оформлять обложки. Я честно устроил им смотр и в итоге дизайнерское оформление тоже взвалил на себя. Заключил договор с типографией, прошел регистрацию в налоговой и в Книжной палате – можно было закидывать невод. Жена рекламировала «Парагранум» среди коллег, а я с ворохом свежееотпечатанных визиток обходил вузы и НИИ, естественнонаучные, гуманитарные и даже технические.

Мои институтские друзья (к тому времени уже меньше друзья и больше знакомые), а также школьный друг Димка – теперь инженер по водоснабжению – толком не понимали, чем я занимаюсь и кем меня, соответственно, считать. Вроде бы перевозку с немецкого вкладывая к лекциям, но при этом еще зачем-то издаю книги; с Димкиной точки зрения один член тут явно

был лишний. Друзья жены, физики, напротив, понимали; для них я был полезным идиотом в первом приближении. Мама и сестра понимали так, что издание книг – наполовину отдушина в трудной жизни супруга и отца, наполовину филантропия. Жена сначала поддерживала меня, но настаивала на том, чтобы запуститься с парой-тройкой традиционных научных монографий, тем самым сделав издательству реноме и отбив вложенные средства. Я признавал ее правоту по сути, но послушаться не мог – боялся, что «Парагранум» завязнет на этом этапе и останется очередным научным издательством средней руки, штампующим кандидатские диссертации в мягких переплетах. Так в итоге и вышло, вот только деньги все равно не отбились.

Тогда жена еще воспринимала меня как человека перспективного. Не в качестве кормильца – кормилицей семьи она стала где-то между рождением Ани и рождением «Парагранума», – а в качестве имеющего нечто сказать и умеющего нечто создать. Как в целом говорится о браке, у нас были хорошие и плохие дни. В хорошие жена становилась деятельным слушателем и непредвзятым критиком моих устных «пролегоменов», в худшие – обзывала их бредом, говорила, что я задолбал, что не владею научным методом и не способен мыслить структурированно и, наконец, даже окончи я ординатуру, никогда бы к такому гинекологу не пошла. На последнее я из раза в раз замечал, что если б я сейчас был гинекологом, то откуда бы она узнала, что я – это я. Однажды нас услышала Аня и спросила, кто такой гинеколог. Это доктор, который делает детей, ответил я раньше, чем жена выдала бы что-то более согласованное с научным методом. А ведь я потому и хотел, уже «посвященный» Парацельсом, но еще не разочарованный во врачебном деле, специализироваться по гинекологии – чтобы впускать или, то же самое, выпускать желающих явиться на свет, и прочь гнал догадку, что едва ли не чаще придется отправлять их обратно.

*

В коридоре Леша стал самим собой.

«Вот бы не подумал, что у Ромы два рубля вместо глаз! Ишь, в трех местах гребет. Я смотрел расценки: где восемь косарей за прием – занятное, кстати, прозвище, я себе сразу “страшного жнеца” представляю, – а где все десять. Полмиллиона в месяц набегает – скромненько, без претензий».

«Считать деньги в чужом кармане последнее дело».

«А в своем – унылое. Особенно если там дыра».

Мы снова шли вдоль лавандовых стен, под ласковую попсу, двери, как крылья, взмахивались перед нами, и мне было так легко и светло, как только несколько раз во сне.

«А он и вправду солнце», – сказала я.

«Кто?»

«Васильев, кто же еще! Ты же говорил, в институте он напоминал тебе солнце».

«Говорил?.. То есть вслух?»

«О Господи, Леша, надо думать вслух, раз я услышала».

«Хм. Я был уверен, что вспоминаю мысленно. Ну да Бог с этим. Заметила золотую цепь?»

«Ага! – Я как сейчас увидела красновато-загорелую шею, крепкую и довольно короткую, с яростно блестящей цепочкой, скорее слишком золотой, чем слишком широкой; и еще почему-то я увидела открытые до середины предплечий руки, уютно-круглые и уютно-сильные. – Я думала, такие только массажисты носят».

«К мощной шее золотая цепь просится. А судя по рукам, еще несколько лет назад он ходил в качалку», – словно увидел то же, что и я, Леша.

«Хирурги должны быть сильными».

«Да брось! При современной-то аппаратуре и инструментах? Это все для внушительности. Они должны не быть, а внушать. Могушество и надежность. Как римские императоры! Ха, у Васильева и профиль римский! И имя римское – Роман Валентинович! Да он просто Цезарь Август!»

Императорский титул брат почти выкрикнул, и на нас обернулись две шедшие впереди медсестры.

«Не вздумай делать по новой МРТ, да еще и КТ! – переключился Леша. – Говорю тебе как без пяти минут врач: ничего там за два года не изменилось. Да, драть деньги он не промах. Подозреваю, какой тут ценник на инструментальные исследования, так что, если охота сделать, найди хотя бы где дешевле»

«Ничего, у меня есть сбережения, – сказала я. – Сделаю все здесь».

*

Если я со времен учебы постройнел, то Васильев немного раздался. Тогда он носил «полубокс», на видео восьмилетней давности у него волосы почти до плеч, зато теперь – классическая короткая стрижка, слегка запотевшая; еще бы: полдня в хирургической шапочке.

Мы с Ромой Васильевым не дружили близко, но всегда оказывались в одной компании. Оба мы считались «юморными», но я как бы злым, а он как бы добрым, то есть я ломался, а он шутил. И выражение «душа компании» ни один наш товарищ в здравом уме ко мне бы не применил, а к Роме – легко, хотя тот не работал нарочно на публику, не пыжился и не суетился. Он был как солнце, которое уверенно чувствует себя в небе, знает, что свою солнечность ему не с кем делить, и согревает все живое, о своей щедрости не задумываясь. Рому я долго считал образцом устойчивой нервной системы, а потом как-то раз он сидел рядом со мной на лекции, такой расслабленно-собранный, взгляд устремлен на доску, и вдруг я увидел, что он так мелко-мелко, дробно-дробно стучит ногой об пол. И я подумал, что все мы, медики, насквозь больные. Однажды Рома сказал, что его интересует феномен боли, и все, кто при этом был, заржали, мол, вот ты себя и выдал – скрытый садист, а Рома обиделся как ребенок и сказал, что его бабушка всю жизнь страдала сильными болями неясного генезиса.

Я ждал в скромненькой кафешке, раздумывая, заказать ли мне детский пакетированный сок или все-таки эспрессо, но тогда уж за счет Васильева, чего не слишком хотелось. Васильев вышел из лифта для персонала и сразу направился к прилавку.

«Иван-чай, пожалуйста».

Казалось, он нарочно не смотрит по сторонам, на столики, не ищет меня глазами, как сделал бы, например, я, войдя туда, где условимся с кем-нибудь о встрече. Сначала одно, потом другое – поэтапно, пошагово, как при подготовке к операции. Вчера Васильев явился перед нами с улыбкой, но в эту минуту представить его улыбающимся я не мог. Вид у него был такой же собранный, как раньше на лекциях, только без расслабленности. И я подумал, что, если б узнал Васильева только сейчас, посчитал бы его человеком жестким. И вдогонку, необъяснимое, – что и зная его со студенческой скамьи, считаю так же.

Расплатившись, со стаканчиком в руке, Васильев повернулся точно ко мне. Теперь он улыбался. Значит, заметил меня сразу, как вышел из лифта.

«Я здесь недавно; ничего себе клиника; есть к чему придрататься, рулит ею какой-то жук, но вы молодцы, что сунулись сюда: две других похуже, а взяли бы пол-ляма за все про все».

«Не взяли бы, – улыбнулся я мудро. – У нас ее нет».

«Кого ее?» – Васильев сдвинул брови.

«Половины. – Брови не раздвигались, и я уточнил: – Ляма».

«А... Ну да. Как на личном фронте?»

«Разведен. Дочь».

«Аналогично. Твоей сколько?»

«Восемнадцать».

«Моей шестнадцать».

«Учится в **». – Я почти нечаянно назвал вуз.

«Ого!»

«Вообще-то я не видел ее уже года четыре».

Стоило ли разбегаться, чтобы сдаться назад, но так уж действовал на меня Васильев, превращая в гармонический осциллятор.

«А моя живет со мной. Сама захотела».

Надо было срочно выдать реплику, и я спросил, как зовут.

«Софья».

«Мою Анна».

Мы замолчали, будто смотрим каждый на *свою*. Пока было перейти к моей нехитрой заготовке.

«Видишься с кем-нибудь?»

«Знаешь, времени катастрофически не хватает...»

Если бы я вкалывал в трех клиниках, у меня бы тоже катастрофически не хватало, утешил я его мысленно.

«...Созваниваемся кое-с кем два-три раза в год. Чаще всего со Стасом».

«Он вроде в Первой градской?»

«Давно уже не. Сменил несколько частных клиник, а сейчас в кардиоцентре при поликлинике Минтранса... нет, погоди – Минтруда?.. Вечно забываю!»

«А Марина?»

«В НИИ офтальмологии».

«По-прежнему, значит. А Нарик?»

«Последнее, что слышал: в Швейцарской онкоклинике зав. отделением».

«Швейцарской?!»

«Да это так называется! В Красногорске. Закупили когда-то швейцарское оборудование. А ты что же, всех растерял? Вообще, ты всегда был отрезанный ломоть».

«Правда?» – сказал я, искренне удивленный, хотя прежде всего чтобы не думать о «растерял» – оно сразу переносило в ту пору, когда я был частым клиентом «нашего философского магазина».

«Помню, сидишь рядом на лекции и что-то бормочешь».

«Боже правый!.. А я-то был уверен, что размышляю. Прости, если мешал!»

«Да нет, как ни странно, совсем не мешал, даже создавал успокаивающий фон. – Васильев усмехнулся. – Слушай, на курсе всякие разные догадки строили... Почему все-таки ты забил на ординатуру? Так в науку потянуло? Или что?»

Мне хотелось поподробнее о догадках, которые строили на курсе, и при этом я сознавал, что теперь подошел тот самый момент и когда он еще представится.

«Евангелие велит возлюбить ближнего как самого себя. А Парацельс писал, что врач должен возлюбить пациента *больше* самого себя. Ну и дальше было уже совсем легко сделать соответствующий вывод. Как-то так...»

«Как-то так» я прибавил напрасно, эта моя оплошность дала Васильеву фору.

«Ну-у, это уже, знаешь, сверхъестественный альтруизм, я бы ни от кого такого не требовал! Как по мне, врач должен любить не пациента, а свою работу. Если любишь свою работу – а я вот, например, люблю, – то будешь распинаться, чтобы, как бы это выразиться, не ударить перед ней в грязь лицом. То же, кстати, касается и женщины. В итоге пациент же выигрывает. А если вот он к тебе пришел со своей тригеминальной невралгией, или запущенным стенозом позвоночного канала, или глиомой, или тебе его привезли по скорой с разрывом аневризмы – это когда я еще работал в городской больнице, – и ты сначала пытаешься его полюбить... – Васильев откинулся на стуле и развел руками. – Я даже не представляю себе, как такое возможно! У меня их по пять – по шесть на дню, а раньше поток был еще больше...»

Вдруг до меня дошло, что из динамиков уже некоторое время звучит «Cold little heart» Майкла Кивануки. Я люблю Кивануку, особенно эту песню, мне страсть как хотелось ее послушать, а Васильев все говорил. И я выбрал песню. Она отыграла лишь чуточку позже, чем я заметил, что Васильев молчит.

«Что с тобой? Ты как в трансе».

«Обдумываю твои слова. Да, все это, конечно, так, а с другой стороны – да что тут скажешь?...»

«Верно», – кивнул Васильев.

«Ну, я рассказал, почему не стал врачом, теперь ты Расскажи, почему ты стал. Династия?»

«И близко не. Я из Магнитогорска, отец был инженером по технике безопасности на той самой Магнитке. Маленьким я только и слышал: тот уволился с инвалидностью, эта бюллетенит, того «ушли», потому что он уже все бронхи выкашлял, – да и сам из болезней не вылезал...»

«Ты?! Поверить невозможно!»

«Пришлось потрудиться, чтоб стать таким, каким ты меня видишь. Врач не имеет права плевать на свое здоровье».

«Иван-чай». – Я кивнул на его уже пустой стаканчик и улыбнулся.

«В том числе. А почему нет?» – Васильев, похоже, неправильно расценил мою улыбку. – Природный седатик, иммуномодулятор и антиоксидант. Твой Парацельс одобрил бы».

«Что касается иван-чая, то Парацельс считал, что определенное растение притягивает, как магнит, силу определенной планеты, и именно эта планетарная сила, то есть душа, воздействует на душу человека, то есть его звездное тело, от состояния которого зависит состояние тела элементарного, то есть физического. Звезды через звездные души растений воздействуют на звездное тело человека, поэтому лечебные свойства растений зависят от того, когда, при каком положении планет они собраны. Врач должен знать астрономию, читать звездное небо...»

Пока говорил, я успел пожалеть, что начал, но таков уж Парацельс и таков уж я, что, если заводишь о нем, «тпру» подействует только с третьего раза. Мне заранее было тошно от неизбежной ухмылки Васильева, но почему-то он с нею медлил.

«Красота какая», – произнес Васильев спокойно.

«Правда?» – спросил я точно так же, как днем раньше на «отрезанный ломоть».

«Расскажи о нем еще», – попросил Васильев и скрестил руки на груди.

Искушение было могучим, но интуиция его победила.

«Сначала ты дорасскажи о себе. Ты ведь не закончил».

Это застало его врасплох, он даже моргнул.

«Магнитогорск», – напомнил я.

«А, да... Ну и вот. Хотелось лечить. Хотелось контролировать ситуацию, понимаешь? Быть тем, кто что-то может сделать, прямо сейчас!»

«Твоя бабушка! – Я спохватился, не слишком ли лапидарен: – Ее боли неясного генезиса».

«Бабушка... – Васильев закивал так, будто вспомнил сам. – Ее отец приехал с первой комсомольской бригадой, а она сорок лет заведовала библиотекой при заводском клубе. – Васильев устоял на поверхность столика рядом с моим правым локтем, и я вдруг распознал цвет его глаз, хотя прежде не задавался вопросом об их цвете, – между темно-серым и светло-коричневым. – Жуткий город», – произнес Васильев и едва заметно покачал головой.

Мне было неловко, но только я собрался вымолвить что-нибудь терапевтическое в противовес этой бескомпромиссной хирургии, как Васильев поднял на меня взгляд.

«Понимаю, ты это миллион раз слышал, но, знаешь, тебе повезло, что ты родился здесь».

Ничего подобного я не слышал и сотой доли раза. Васильев смотрел на меня прищурившись. Этот ли прищур оголил мне зрение, но я вдруг увидел, что от того солнечного Румы остался лишь римский нос да полнота, с которой он не то чтобы совсем безуспешно, но явно тяжело боролся. А впрочем, никогда, никогда он не был солнцем для себя самого.

«Я родился, а ты реализовался», – сказал я, рассчитывая, что он уловит подтекст, но Васильев, кажется, не уловил.

«Есть еще куда двигаться, – сказал он словно немного нехотя и добавил уже совсем без удовольствия: – Собственная клиника».

«И вперед! У тебя имя, репутация, влияние!..»

«И зависть. И долги по кредитам – не знаешь, что хуже. При разводе отдал жене квартиру, взял для нас с Соней ипотеку: девочке же, понимаешь, нужно свое пространство, ну и не ударить опять-таки в грязь лицом, если друзей приведет... да и мне необходимо – до сих пор не могу от

общаги отойти... Не у всех, может, такие запросы, но какое мне дело до других? Вот оно и тянется. Так это все иногда на печень давит!..»

Моя печень подвергалась другому прессингу и теперь не откликнулась. Я никогда не брал ипотеку, не влезал в долги. Приходилось считать копейку, продавать что было (а порой чего не было), ходить по проволоке и делать обратное сальто, но все то малое, что я получил, сколь бы мало оно ни было, я получил на блюдечке. Не только наследство крестной. Наследие отца. Парацельса. Жены, дай ей Бог долгих лет, – ведь, она, можно сказать, подарила мне физику. Москва, мое теперешнее жилье, сто долларов и, как следствие, Лабубу – все даром. Целую секунду я жалел Васильева, но пословица про мелкий жемчуг и пустые щи настигла и отрезвила быстро.

«Тебе что-нибудь говорит фамилия Будберг?» – спросил я внезапно, словно некая кнопка, на которую жали-жали, сработала с опозданием.

Васильев помолчал, не припоминая, а скорее взвешивая.

«Нет, а что?»

«Да так. Рано пока говорить».

«Я наведу справки, – сказал Васильев веско, возможно, отнеся всемогущего Будберга к своей кредитной незадаче. – Ну, теперь, как обещал, про Парацельса».

Обещания мы даем наотмашь, не рассчитав сил. Я понял это, почти воочию увидев, как суживается прежде необозримое – мой Парацельс, которого я слишком долго таскал в себе и слишком помалу раздавал. Чтобы начать, нужно знать, где начало, а я за тридцать лет так ушел так далеко, что забыл, в какой оно стороне. А Васильев, наоборот, только начало, из курса истории медицины, и помнил.

«Парацельс – это не история медицины, – осенило меня. – Парацельс – это сама медицина. А поскольку медицина – это все вообще, вся наука, все знание, то и Парацельс – это все вообще. Внутренний человек, он же жизненный эликсир, он же *aurea seminalis*, – это ведь геном! Измерение меняет измеряемую систему, говорит квантовая механика, а что это, как не свидетельство взаимосвязанности макрокосма и микрокосма? Оно, конечно: Парацельс не был первым, кто эту концепцию исповедовал, но он был последним, что еще важнее. Дальше. Парацельс объяснял патогенез болезней взаимосвязанностью или взаимным отражением человека и Космоса. Человек – уменьшенная копия Вселенной, он как бы воспроизводит ее в себе. Не только большой мир влияет на малый, то есть человека, но и малый мир влияет на большой. Дальше. Парацельс говорит, что материя – это коагулированный пар. И ведь действительно, материя возникает из вакуума точно так же, как возникает пар из жидкости при подводе к жидкости больших количеств тепла. Три центральных понятия метафизиологии...»

«Метафизиологии?» – переспросил Васильев не столько недоверчиво, сколько почуяв, что его тихой сапой уводят от Парацельса.

«Да, метафизиологии, или метафизики медицины: Жизнь, Воображение, Восстановление, и все три взаимосвязаны, даже так: все три друг в друга перетекают. Есть и четвертое понятие, вроде скрытого параметра. Неоднозначность, или неопределенность. Я называю это двойным Меркурием».

Васильев поднял брови, но я замахах руками.

«Это не суть важно!.. Важно, что, приближаясь к структуре мироздания, мы находим неопределенность. Не только неопределенность по Гейзенбергу, когда мы можем точно установить либо координаты частицы, либо ее импульс, но и суперпозиция, когда частица находится во всех состояниях сразу, когда она одновременно и там, и здесь, но не там и не здесь, и не одновременно, потому что “пространство”, “время”, “частица” – слова языка человеческого, а не бытийного. Когда философия говорит о бытии, физика – о материи, силе и пространстве, а религия, медицина и биология – о жизни, все говорят об одном. Жизнь есть и сила, и пространство, в котором действует эта сила, и материя, на которую она действует. Вернее, говоря о жизни, нельзя разделить силу, материю и пространство. Она и источник всего существующего, и все существующее в его единстве. Нет ничего, кроме жизни, и все пребывает в Боге, потому что пребывает в жизни. Все

есть жизнь, стало быть, единая субстанция. Так ведь и по Эйнштейну энергия и масса, то есть, считай, материя суть две видимости одного и то же явления. А согласно квантовой теории поля, материя – всего лишь сгусток энергии, локализованный в пространстве и времени. Но самое замечательное, что, с точки зрения новейшей физики, вся материя вообще может быть сведена к квантовым полям, то есть между веществом и пространством нет разницы, все есть одна протяженность. А струны?!»

«Струны?..» – Васильев выдохнул.

«Или браны – те же струны, только трехмерные! Наиболее фундаментальные материальные образования, с которых все, грубо – или не грубо – говоря, началось. Бесконечно протяженные объекты, и как раз они-то, колеблясь – на то и мембраны, – создают самые разные частицы и взаимодействия, то есть, опять же грубо – или не грубо – говоря, мироздание! Это же Mysterium Magnum! Объяснение устройства Вселенной возвращается к минимизму, к теории первоэлемента, как ни крути. Инфлатон в теории хаотической инфляции Вселенной Линде – Гута!»

Тут до меня дошло, каким взглядом смотрит на меня Васильев, и я сказал себе «тпру».

«Извини. – Он тихо улыбнулся и потер лоб. – Я очень устал. С трудом врубаюсь».

У меня было ощущение дежавю. «Приближаясь к структуре мироздания, мы находим неопределенность» – восемнадцать лет назад или около того я произнес эту фразу, когда жена, в точности как сейчас Васильев, попросила рассказать о Парацельсе. Но, в отличие от Васильева, срезала меня точно на Гейзенберге, сказав, что под неопределенностью тот подразумевал наше не полное знание о процессе, а не что-то, как я выражаюсь, бытийное. Я не поленился, взял в библиотеке Гейзенберга и стал совать ей под нос – да вот же: «...атомы и элементарные частицы образуют скорее мир тенденций или возможностей, чем мир вещей и фактов», а тут он упоминает Аристотеля, «потенцию», опять-таки возможность. В основе всего лежит Возможность, то есть – как ни крути – Воображение. Жена сказала, что я задолбал со своим воображением и что я и отдаленного понятия не имею о научном методе. Аристотель имел его даже поменьше, и все-таки, согласно ему, материя ведет себя как чистая возможность быть чем угодно – волной, частицей, непредсказуемым всплеском энергии вакуума, и прав он был, утверждая, что пустоты нет. И вечность материи, пребывавшей, как теперь думают, и до Большого взрыва, хотя бы и в планковских величинах? Наконец, что, по существу, интересует современную физику? Фундаментальная структура бытия. А что интересовало досократиков? Фундаментальная структура бытия! А мультивселенная, о которой учил еще Демокрит? Вселенные, которые тут и там возникают, когда энергия осциллирующих полей оказывается на нуле и в ложном вакууме вдруг невзначай образуется пузырек истинного вакуума. Жена в упор отказывалась признавать, что современная физика топчется вокруг античной натурфилософии. Квантовая теория сегодня, мол, погрузила руки по локоть в то, что Демокрит – Ньютон представить себе не мог, а Эйнштейн мог представить, но не мог поверить. Заниматься-то она занимается, а что она знает? Опять то же, что знал еще Сократ. И что же знал Сократ? А что ничего не знает – как и квантовая теория. В квантовом мире, сказал я, у традиционной математической физики «руки связаны», разве нет? Но ФИАН в лице жены встретил меня на своей территории с виллами: в том-то, мол, суть, что чем дальше от Аристотеля, тем менее Вселенная поддается упорядочению и расчетам.

Однако по-настоящему мы сцепились из-за другого. Жена сказала, что физики уже сейчас могут в лабораторных условиях, используя теорию Линде – Гута о происхождении Вселенной как инструкцию, сотворить сколько хочешь вселенных вроде нашей. Я сказал, что алхимики тоже воспроизводили творение, но у их опытов была аксиологическая подложка. Они верили, что Творец призвал человека в соратники и продолжатели дела творения, облагораживания не только металлов, но и всего сущего, одухотворения материи, которая пока еще только одушевлена, и приведения созданного к Создателю. А просто размножить то, что уже есть, нашлапать вселенных, которые полностью повторяют *эту*, в которых тоже будет смерть, болезни, борьба всех со всеми, пожирание одних другими, старение, оскудение, пересыхание, можно-то можно, да только зачем? Тут жена совсем уж на меня окрысилась, понесла что-то насчет поповской метафизики

и креационизма, хотя я даже не думал защищать креационизм от собственной жены. В конце концов, любой субстрат, до которого докопаются физики, любая первооснова, которую им удастся смоделировать, – материя, а Бог есть Дух. Конечно, Бог и в мире, и вне мира, и в пространстве-времени, и вне его. Чувствовалище, по гениальному определению Ньютона. И становится еще гениальнее, если отбросить его «абсолютное пространство» и «абсолютное время», и уж совсем гениальным, если затем отбросить и «относительное» пространство-время Эйнштейна.

А вдруг, подумал я, они уже сделали это – *сотворили?*.. Хотя об этом в два счета стало бы известно, физики любят пиариться. Похоже, они и сами понимают, что в сотворении еще одной вселенной смысла ни на квант, зато ответственности – на Вселенную.

«Кто, что сотворили?»

Васильев глядел на меня с раздраженной тревогой.

«Кто, что?..» – эхом отозвался я.

«Ты бормотал. Как на лекциях. Слушай, пойдем-ка, а?»

Я прикинул, не сослаться ли на дискуссию с женой, в частности на угрозу лабораторных сотворений, но тогда пришлось бы все рассказывать сызнова.

Васильев будто не видел ничего особенного в том, что иду с ним к лифту для персонала. Я был как пришибленный. Откуда-то из угла, словно был электронным и упал на пол, пищал стгд. В лифте я не смотрел на Васильева и чувствовал, что он на меня тоже.

«Ты думаешь, я пыльным мешком ударен», – сказал я без выражения, потому что не знал, что хочу выразить.

Едва ли я знал и какого ответа жду, и жду ли, но ответ последовал.

«Ну, ты ведь обо мне тоже что-то *думаешь*», – сказал Васильев, повернувшись ко мне с усмешкой, словно обыграл меня, вышел первым и на ходу махнул рукой.

Под впечатлением от самой странной концовки разговора за всю мою жизнь я замешкался и махнул уже ему в спину.

3. Изумрудный шрам

После того как мне сделали МРТ и КТ, я поднялась со второго этажа на четвертый, подошла к кабинету Васильева и взялась за ручку. Бог знает зачем.

«Роман Валентинович сегодня не принимает».

Администратор хирургического отделения, с длинными гладкими черными волосами, похожими на выпрямленный виниловый диск, смотрела меня от стойки.

Через неделю я снова стояла, держась за ручку, теперь по праву пациентки, которой назначено, но почему-то так же воровато.

«А вот и вы! Проходите, не стесняйтесь, почувствуйте себя как дома!»

Васильев сидел на крутящемся стуле, под таким крупным человеком напоминавшем фортепьянный табурет, и почти безуспешно отталкиваясь ногой от пола. Он улыбался, и я снова спросила себя, сколько от этого принадлежит всем, сколько Леше, а сколько – кто знает? – и мне как мне.

«Результаты МРТ и КТ я смотрел: действительно, корешок нерва сдавлен верхней мозжечковой артерией, однозначные показания к микроваскулярной декомпрессии, вам нужно будет только сдать необходимые анализы и сделать ЭКГ – для анестезиолога. Операция длится от двух до трех часов...»

«Вы рассказывали».

Все еще с улыбкой, он чуть пригнул голову, будто защищаясь от собственного раздражения на мою наглость.

«Простите, пожалуйста», – опомнилась я.

«Что вы, что вы! – Васильев вскинул голову и выпятил ладони. – Вы абсолютно правы – зачем терять время! В силу специфики профессии я лучше многих понимаю, что время – это все. Да? Ну, пойдете тогда, определимся с датой и запишем вас».

Он поднялся, я тоже и пошла к двери, чувствуя его спиной и затылком. Васильев протянул руку над моим плечом и открыл передо мной дверь. Мне казалось, мы долго идем по коридору, я впереди, он за мной, и я ни разу не обернулась. Мне хотелось что-нибудь ему сказать, например: время – это все что у нас есть, остальное мы привносим сами, но я чувствовала, что заикание опечатало мою речь, да и сомневалась, помнит ли он еще свою фразу. У стойки администратора Васильев вдруг махнул кому-то на другом конце коридора.

«Паша! Пал-Юрьич! Иди, идите сюда!.. Ты нам как раз и нужен. Познакомьтесь, это наш анестезиолог, а это наша пациентка».

Анестезиолог был рыжий и важный, с щетиной в пол- толстого лица. Он кивнул мне молча.

«Думаю, никаких противопоказаний к операции не возникнет. Да? Так что будем согласовывать с твоим графиком. Ну, тогда оставляю вас! – Он опять махнул рукой, теперь нам обоим. – Лехе привет!»

И почти побежал обратно к себе, а я ловила сверканье золотой цепочки.

Спустя неделю в комнатке, примыкавшей к операционной, сестра велела мне сесть на стул и повязала вокруг шеи большую салфетку.

«Что это?» – спросила я, когда она снова приблизилась с каким-то приборчиком в руке.

«Вас никогда не стригли машинкой? Не бойтесь, только щекотно будет».

«Я не боюсь», – сказала я искренне.

Сестра выбрила мне довольно большой участок справа – от уха и до середины затылка.

«Не переживайте: волосы отрастут, куда денутся, зато про тройничный нерв забудете».

«Я не переживаю».

В операционной ждали другая сестра и анестезиолог, такой же надутый, кивнувший так же хмуро, как при знакомстве. Мне уже поставили венозный катетер, когда вошел Васильев. Я увидела его глаза между шапочкой и маской – улыбающиеся глаза – и успела подумать, что их видели все, кто ложился на этот стол до меня, и увидят все, кто ляжет после.

Первым появился Лабубу на подушке рядом. Второй – салатная штора, скрывавшая, очевидно, такую же койку.

«Как вы себя чувствуете?»

В ногах у меня сидела незнакомая женщина-врач.

«Хорошо, спасибо», – ответила я, еще не чувствуя ни себя, ни чего другого и догадываясь, что вопрос – только форма приветствия или способ проверить мою адекватность.

«У Романа Валентиновича сейчас другая операция, он попросил *меня* к вам зайти. Меня зовут Могутина Дарья Сергеевна, я второй нейрохирург».

Я задумалась, второй по порядку или по рангу, и чуть не упустила сказать, что мне очень приятно.

«Взаимно. – Улыбалась она и растягивая, и поджимая губы, словно что-то экономила. – Ваши мама и муж приходили, пока вы спали. Это, наверное, мама передала с медсестрой».

«Брат, – сказала я. – Брат, а не муж. Это он передал».

Могутина не повела бровью.

«Старайтесь лежать и сейчас, и потом, когда спите, на правом боку, а если на спине, то сдвинувшись вправо».

«Из-за шрама?»

«Из-за шрама. – Ее долгий, закрепляющий информацию кивок. – Важно! Шрам может два-три дня болеть – это нормально, я выпишу вам рецепт на болеутоляющее».

«Страшный?» – зачем-то спросила я, хотя мне было все равно.

Она поджала губы:

«Стандартный».

Могутина была не моложе меня. Высокая статная «скандинавская» блондинка. В ней было одновременно и что-то изысканное, и что-то наивное: Лив Ульман и Барби разом.

Они с Лешей едва ли не столкнулись в дверях.

«Ты как? У мамы подскочило давление, я отправил ее домой на такси, а сам думал сходить в зоопарк, раз уж он тут рядом, да после таксиста на билет не хватило. Повернись-ка, покажи... Ух ты! Он изумрудный!»

«Подумаешь, зеленой смазали».

Брат оглянулся на уже прикрытую дверь, и его взгляд вернулся ко мне с той знаменитой смесью озорства и безумия.

«Видел арийскую богиню, а с ней рыжего кабана».

«Кабан – анестезиолог, богиня – коллега Васильева, ее фамилия Могутина».

«Я склею эту Могутину!»

«Чем ты намерен ее склеить? Паклей на голове? Или рваными ботинками?»

«А вот спорим, ей уже надоели супермены типа Ромы! Тебе он, кстати, больше подходит».

Мне показалось, что шрам вздрогнул, как вздрагивает во сне собака.

«Для таких мужчин, как Васильев, такие, условно говоря, женщины, как я, – а женщиной я себя могу назвать только условно, – не существуют. Я для него ноль без палочки».

«Скорее палочка без ноля. – Леша приподнял и опустил одеяло, которым я была накрыта. – И все-таки кое-что поправить можно...»

«Ну да, встать на шпильки, приклеить ногти, накачать губы... и не только».

«Ну, губы – это слишком...»

«Только я хочу, чтобы меня любили такой, какая я есть. Вот ты же не собираешься себя улучшать, чтобы склеить Могутину, ты считаешь, что и так прекрасен».

«То-то и оно, что я, допустим, считаю, а вот ты себя прекрасной не считаешь, какое там: ты условная женщина и ноль без палочки! У тебя комплекс неполноценности, но какой-то извращенный, ты говоришь: я себя буду отрицать, а другие пусть меня принимают, я себя любить не хочу, а другие пусть любят!»

«Так ведь в этом и суть комплекса неполноценности!»

«Эксперт», – сказал Леша, наклонился и прижался лбом сначала к моему лбу и затем к своему гению.

Это был первый наркоз в моей жизни, и меня изумляло, насколько ясная после него голова, как прозрачно время вперед и назад, а главное, как легко говорить.

«Я никогда не встречала человека такой харизмы. И такой властной внутренней силы».

На этот раз Леша не спросил, о ком я.

«А Андрей Николаевич?»

«Андрей Николаевич – другое. Его внутренняя сила была духовной, а у Васильева она... жизненная».

«Для Парацельса это была одна сила».

Брат смотрел куда-то мимо и поверх моей койки, и в его глазах было уже не озорство и безумие, а то самое прозрачное – прозрачно-голубое время, всегда печальное, когда оно смотрит через наши глаза.

«Парацельс тоже был неудачником», – сказал Леша.

Один край его губ пополз вверх, но застрял на полпути. И я поняла, к кому относится «тоже».

*

Когда я поняла, что могу петь, я почувствовала в себе что-то большее меня. Это большее меня было моим смыслом.

Учительница пения в школе предложила мне заниматься после уроков. Мама носила ей подарки, полученные ею самой от родителей пациентов, а та каждый раз отсылала их со мной обратно. Наши занятия были для нее достаточной наградой, и дело тут, как позже я поняла на себе, не в степени одаренности ученика. Я освоила нотную грамоту, разучивала вокализмы и песни вплоть до Шуберта. Выступать на школьных вечерах я отказывалась категорически, как бы ни

наседали мама, директор и учительница пения. В отличие от мамы и брата, она никогда не пророчила мне выдающую певческую карьеру и только накануне десятого класса отвела к своей подруге – преподавательнице музыкальной школы. Та послушала меня и сказала, что голос несильный, но приятный, и я могу стать хорошей камерной вокалисткой. Не помню своего удовлетворения, впрочем, прошло ведь всего полтора года со смерти отца. Они с Лешей были вдвоем на море, Леша находился всего в нескольких метрах, когда у отца остановилось сердце. Мне кажется, поэтому он и решил не становиться врачом, хотя должен был, как считается, сделать ровно наоборот. Но Леша никогда не делал так, «как считается».

Я поступила в Гнесинку на факультет вокала.

Не то чтобы со мной носились, но я сознавала, что по умолчанию считаюсь в семье без пяти минут второй Каллас, хотя сама себя оценивала намного трезвее, ну или старалась оценивать. Еще на вступительных экзаменах я поняла, что голос у меня средний, что примерно половина будущих однокурсников поют лучше. И что было делать с этим знанием все пять лет учебы? Уже на первом курсе преподаватель посоветовал набрать вес, дескать, голос окрепнет и развернется. Я было взялась, но скоро поняла, что для того, кто не любит есть, это пытка не меньшая, чем голодать для того, кто есть любит. Попытка-пытка была отброшена, и я обзавелась ярлыком *хрустальный звук* – чистота, хрупкость и «не кантовать».

На последнем курсе приглашенный режиссер поставил с нами «Волшебную флейту», я пела Папагену. Была пара отзывов, но ни в одном я не упоминалась.

После окончания я подавала заявки в несколько театров и в филармонию, но либо не было вакансий, либо я срезывалась на прослушивании, либо мне давали понять, что у меня хорошие данные, но не настолько, чтобы теснить из-за меня других. Уезжать из Москвы мне не хотелось. Моя преподавательница помогла мне заключить контракт на участие в записи диска, баховских «Страстей по Иоанну». Я нашла средней руки музыкальное агентство и следующие пять лет пела в сводных концертах, выступлений у меня бывало от пяти до десяти в год. Кроме теплоходов и подмосковных домов отдыха, корпоративов были и хоть маленькие, но уважаемые площадки. Всякий раз я ждала рецензии и искала в них свою фамилию – тщетно. Постепенно предложений поступало все меньше – агентство понемногу прогорало и сворачивало лавочку.

Один режиссер решил поставить современную оперу, в основе либретто лежала древнеегипетская мифология, но героями были несколько правителей от Эхнатона до Николая II. Меня взяли петь партию Николая-Осириса, написанную для сопрано. В Андрея Николаевича, режиссера и автора либретто, я влюбилась – впервые со времен школы. Он был старше на сорок лет и видел во мне скорее дочь. Я познакомилась с ним брата, и они подолгу, азартно обсуждали египетскую магию и медицину, герметизм и алхимию, а я слушала. Помню, Леша сказал, что, согласно Парацельсу, все творение – буквы, которые, если сложить их в слова, образуют книгу о человеке, и Андрей Николаевич заметил, что это явно влияние каббалы. Тогда он и нарисовал на листе из блокнота в клетку Древо Сефирот. Андрея Николаевича не стало девять лет спустя, и тот рисунок, сложенный вчетверо, всегда в моей сумке.

Увы, случился скандал вокруг фильма «Матильда», и директор театра расторг договор. Вскоре – что, конечно, еще ничего не значит – Андрей Николаевич заболел, со мной и братом общался все реже, а пандемия почти совсем нас разлучила. Моя любовь к тому времени перешла во что-то иное и одновременно осталась тем, чем была, как ставший Осирисом после смерти Николай. И не только он, наверное.

Я устроилась певчей в храм и ходила на прослушивания в театры, но всякий раз брали кого-то другого. С мамой и братом мы никогда не говорили о том, как все сложилось. Подозреваю, что маме принять мое карьерное поражение было еще труднее, чем мне, а по Леше трудно понять, насколько для него вообще важны успех и неуспех, мой или его собственный.

Однажды я шла по хорошо знакомой улице и заметила на одном из домов свежую вывеску: центр детского досуга и творчества. На следующий день я зашла туда со своим дипломом Гнесин-

ки и вышла нанятой преподавать вокал. Я даже сумела поставить условие, чтобы занятия были индивидуальными. За все время до того, как дом снесли по программе реновации, а центр так и растаял без приюта, я ни разу не сказала родителю, что у его ребенка «нет данных», пусть даже тот еле слышно пищал или хронически не попадал в ноты. Очень скоро я поняла, что если поставить дыхание и научить «опирать» голос, то худо-бедно запоет любой. Как-то Леша процитировал Пастернака: кто ничего не умеет, тот ничего не любит. Чем лучше человек умеет петь, тем больше он любит петь, а пение качественно меняет жизнь. Я встречала на первом занятии ребенка иной раз начисто лишенного слуха, но уверенного, что он *поет*, а выпускала ребенка, знающего, как петь. Те немногие, у кого были способности, начинали петь правильно, то есть более красиво. Всего у одного мальчика я действительно открыла голос, но, подозреваю, мое «открытие» безвозвратно сломалось года через три.

Я старалась больше рассказывать, о стилях пения, о выдающихся певцах, иной раз мы с учеником просто смотрели на ноутбуке оперу и я объясняла работу исполнителя в действии, какую ноту и как он сейчас взял, но только если не видела, что спектакль увлек и я своими комментариями помешаю. Дети быстрее, чем взрослые, привыкали к моему заиканию, те, что помладше, – потому что для них каждый человек штучный, а подростки – потому что все взрослые, наоборот, сливаются для них в один фон.

И в храме, и в детском центре платили копейки, поэтому я давала, когда удавалось найти, и частные уроки, но пение не пользуется у родителей таким спросом, как фортепьяно, а инструментом я владею не настолько хорошо, чтобы предложить свои услуги для подготовки к музыкальной школе.

Когда стало ясно, что центр еще долго не получит новое помещение, мне, теперь с опытом и рекомендациями, удалось устроиться в так называемую школу искусств. Там было гораздо больше нагрузки, но и больше платили, и способных детей было намного больше. Именно тогда я осознала, что неспособные мне симпатичнее и учить их приятнее, потому что они легче забывают о себе. А потом пришла пандемия, ввели локдаун. Давать уроки по зуму было наказанием, и, сидя дома, к тому же без живительных прогулок, я уставала вдвое больше, чем раньше.

Я заболела только через год. Болела не слишком тяжело – температура под сорок держалась около суток, другие симптомы прошли еще за пару дней, да и легкие в итоге оказались незатронутыми. Но эти дни изменили все. Дело не только в том, что теперь я спала по двенадцать часов и к вечеру все равно клевала носом, не в том, что у меня выпадали волосы, ослабили руки и даже после недолгой ходьбы тяжелели ноги. Мне показалось, что половину меня снесли, и все, что находилось в той половине, тоже разом исчезло, как тот центр детского досуга и творчества. В снесенной половине оказался голос. Сначала я поняла только, что усилилось заикание. Раньше, прежде чем заговорить, мне нужно было выдохнуть; теперь, даже выдохнув, я всякий раз вытаскивала речь из стремительно густеющего цемента. А когда я попыталась взять ноту, голос будто провалился вниз, в меня, как если бы я смахнула его туда ненароком. Я пыталась снова и снова, как пытаются подцепить крючком то, что лежит на дне. Мне казалось, вот-вот, еще немножко, трос недотягивал лишь самую малость, надо просто спустить его поглубже. Но то ли не хватало троса, то ли провалившееся в меня разбилось от удара на части.

И как в семь лет – что могу петь, так в тридцать семь я поняла, что петь не могу.

Я больше не могла давать уроки. Я больше не могла почувствовать в себе смысл. Я больше не могла ничего противопоставить миру, который меня выталкивал. Я больше не могла. А когда два с половиной года спустя у меня воспалился тройничный нерв и начались боли, это было, как если бы во мне снова появилось что-то большее меня самой. Словно чем реальнее боль в своей силе, тем реальнее я, тем законнее мое место на земле. И чем тяжелее переносить эту боль, тем тяжелее смысл, которым я вдавлена в мир наравне со всеми.

*

«Прекрасно выглядите! – По тону я догадалась, что эта фраза встречает каждого пациента после операции. – Как дела вообще?»

Я не знала, что хочу ответить, и чувствовала, что ответить ничего все равно не смогу: язык отнялся, говорят в таких случаях, но именно в моем отнялось все, словно меня мгновенно и вчистую ограбили. Спазм не выпускал из гортани ни единого звука и даже рту не давал разомкнуться. Я смотрела на Васильева – со всем большим отчаяньем, он смотрел на меня – со все более удивленной улыбкой.

«Это называется *высокий порог ответной реакции!*» – засмеялся Васильев наконец.

Про мой «логоневроз» он успел забыть.

«Будем считать, что дела хорошо. Да? Шрам, наверное, побаливает? Сейчас мы его поглядим...»

Кисти у него были небольшие, словно нарочно для нейрохирургии. Руки ниже локтя и до запястья полные по-женски и гладкие, без выступающих под кожей мослов, словно те заметные бицепсы принадлежали кому-то другому.

«Ну, то, что я вижу, мне в общем и целом нравится. Заживление идет... Через неделю приходите снимать скобы. Это сделаю либо я, либо Дарья Сергеевна».

Заглянула медсестра.

«Пациентка Каблукова здесь».

Я вздрогнула. Моя фамилия Клобукова, но и меня, и брата часто переименовывают в Каблук-овых.

«Что это?» – Васильев чуть сморщился, как человек, ждущий быстрой подсказки.

«Секвестрэктомия межпозвонковой грыжи».

«Да-да, сейчас подойду. Ну так вот...» – Он повернулся ко мне, еще или уже не видя.

«Идите, – сказала я вдруг и поднялась. – Я запишусь на следующую среду».

«Отлично!» – выпалил он, вскочил, насколько это было возможно, со стульчика и ринулся открыть передо мной дверь. Выходя, я чувствовала ткань его рубы лопатками. А спускаясь по лестнице, наконец поняла, что произошло и как сильно я этого боялась.

*

Жизнь сидит на двух стульях – непредвиденности и предсказуемости. Я не знала, что снова полюблю, но знала, что моя любовь снова будет обречена.

Меня никогда не любили.

Долгое время мужчины вовсе не обращали на меня внимание, что, конечно, огорчало, но не удивляло: мое тело перестало меняться в тринадцать лет, а у лица, кажется, сроду не было возраста.

В тридцать я пережила свои единственные и короткие отношения. Этот человек был несколькими годами старше и отчасти на меня похож: окончив композиторский факультет консерватории, он почти ничего не сочинил и работал музыкальным журналистом. И был женат.

«Только никакого проникновения! – сказал он, вдруг чуть отстранившись, когда мы в первый раз оказались наедине. – Я не могу входить в двух людей».

Не то чтобы мне так уж хотелось непременно стать физиологически женщиной, но его условие лишало наши отношения полноты и завершенности, все опять было не по-настоящему, и я не могла отделаться от ощущения, что мною брезгают, хотя и понимала, что дело не в этом. Он не выносил пошлости и заурядности, а что может быть пошлее и зауряднее неверного мужа? В то же время, как всякому, у кого не задалось желаемое, ему была нужна *тайная жизнь*. Мне ее давали книги, но для него это, очевидно, было пресно. В начале наших отношений он говорил, что любит меня, ближе к концу – что любит только жену. Потом появилась еще одна женщина (как он

же был недоволен своей жизнью, раз ему понадобилось возвести тайну в квадрат), которую он скрывал от жены, но не от меня; не знаю, впрочем, было там «проникновение» или нет. На мое «Как же так?» он, помолчав, ответил: «Я полиамор». Почти сутки, даже в недолгом сне, я чувствовала себя раздавленной, а проснувшись наутро, увидела, что что у меня есть по крайней мере один шанс – шанс придать нашим отношениям полноту и завершенность, покончив с ними. Когда я предложила расстаться, на его лице помимо боли отразилось огромное облегчение. И с братом, которого я посвятила в отжитую историю, мы с тех пор называли его не иначе, как «полимер».

У психологов заготовлен ответ на вопрос тех, кого отвергают: «Почему?» Потому что тебе это выгодно, потому что на самом деле ты не хочешь, чтобы твою любовь разделили, потому что тебе нравится страдать, или ты боишься интимной близости, или родители искалечили тебя своим равнодушием, или ты и вовсе латентный гомосексуал. Ни один из мотивов я у себя не нашла. Посыл очевиден: человек отвергаем потому, что хочет быть отвергаемым. Никто не хочет быть отвергаемым. От человека, который бы этого действительно хотел, в ужасе убежал бы самоубийца – а может, и сама смерть. Психологи не сомневаются, что терпящий неудачу в любви или в чем другом подспудно ее выбирает. Психологи внушают нам, что с нами происходит лишь то, чего мы сами хотим, ведь если они допустят, что это не так, им придется сменить профессию. У меня тоже есть вариант ответа. Некоторые люди несут свое одиночество впереди себя, как отражающий экран.

*

Как человек, во-первых, замкнутый, во-вторых, преданный профессии почти до самоистязания, отец не был с нами близок, хотя, кажется, гордился Лауриным голосом. Мы редко разговаривали, но, если я о чем-то спрашивал, отец отвечал мне, как я понимаю теперь, истощающе и честно. Как-то я спросил, почему он стал наркологом. Отец ответил, что собирался стать психиатром, но у девушки, с которой он тогда встречался и к которой относился очень серьезно, отец был тяжелый алкоголик. «Я видел его несколько раз, и это произвело на меня впечатление».

«Ты мечтал его вылечить?»

«Его нельзя было вылечить», – ответил отец чуть резковато.

«Ну, все равно – ты решил, что будешь лечить алкоголизм, потому что любил ту девушку», – воодушевленно заключил я, романтик.

«Я решил, чтобы буду лечить алкоголизм, потому что мы с ней расстались по моей вине», – проговорил отец терпеливо, как идиоту.

Я будто схватился за оголенный провод. Меня шибануло, отбросило и научило: не лезь. Может, потому что я понимал: большей откровенности, чем в той фразе, отец меня все равно уже не удостоит, но так или иначе разговоров по душам я с ним впредь не искал.

Отцу было всего пятьдесят пять, мы с ним в первый и последний раз отдыхали вместе на море, летом после экзаменов и перед ординатурой, в которую я не пошел. Он был в воде, когда у него остановилось сердце. Я подплыл и увидел его качающимся на волнах лицом вниз. Люди, далекие от медицины, изумлялись и ужасались, а на самом деле внезапная коронарная смерть у мужчин в возрасте от пятидесяти до семидесяти – явление, можно сказать, хрестоматийное. Правда, все знакомые нашей семьи знают, что с тех пор я не езжу к морю. И никто, кроме меня, не знает, что я не могу смотреть на море даже в кино.

Но еще один раз я его увидел – когда отец снова пришел ко мне. Теперь не на двадцать шесть лет, а только на один сон. Только чтобы вылечить.

Я пил уже больше года. Сны мне последнее время снились пестрые и безумные. Там не было ни верха, ни низа, ни глубины, поэтому я даже не сразу поверил, что этот сон – мой. Я увидел густые персиковые небеса, именно густые и именно персиковые, наверное, закатные, но только источник света был непонятно где, и из этих небес, как пишут в книгах, *соткался* кто-то тонкий и золотой, и над головой он держал занесенное копьё. И я увидел внизу небес как бы вползаю-

щего в них бесцветно-мутного змея. И тот, кто соткался, ударил змея копьём, а дальше небеса превратились в море и песок, но и море и песок были солнцем, не золотым и не розовым, а просто нежным, словно нежность – цвет. И я понял, что только что Ра победил Апопа и Ра – это был мой отец, которого я потерял в море, и, еще не проснувшись, заплакал. Я проснулся от того, что лицо стало совсем мокрым, и еще долго трясясь в плаче, и еще долго все было небо, море и отец. В тот день я впервые за много месяцев не выпил. И на следующий тоже не выпил. А на третий это было уже почти легко.

*

Аккаунта в социальных сетях у него то ли не было, то ли был закрытый, так или иначе поиск не дал ссылку. Зато имелись ролики разной давности с сайтов клиник, и я смотрела их по кругу.

Всю неделю он работал в других клиниках. В первой дальше стойки регистратуры не пускал без записи турникет, а обманывать, записавшись к кому-нибудь наобум, я побрезговала. В другую вход был свободный. Самой обтекаемой фразой, без «мне нужно», хоть мой шрам и сказал много больше, я справилась о нейрохирургическом отделении и двинулась было к лифту.

Этот турникет дожидался меня одну. Он проворачивался только на впуск. За ним была одержимость. Счастье. Отчаянье.

На меня оглядывались и поглядывали, застывшую, с проклепанным шрамом на вымазанной зеленой плечи в треть головы, а я ждала ответа: вперед или назад. Вперед или назад. Готова или не готова. Не знаю, как скоро я получила ответ, но после уже не медлила – и повернулась к лифту спиной.

*

Он сидел ко мне спиной. Стеной. Мне хотелось кинуться на эту стену, протаранить ее или разбиться.

Выйдя от Могутиной, снявшей скобы со шрама, я поднялась на седьмой этаж. Что бы ни привело меня в кафетерий, заказывать я пока не хотела и села за самый дальний столик. Васильев вышел из лифта для персонала, подошел к прилавку и через минуту уже был от меня в полуметре, но глядел куда-то поверх моей головы. Я поздоровалась. Он встрепенулся, почему-то елейным тоном проговорил: «Доброе утро!», хотя шел первый час, развернулся и сел за столик у противоположной стены. Спиной ко мне.

Его спина – это и была стена.

Минут пять мы сидели одни, не считая бариста. Васильев пил кофе и, насколько я угадывала по движениям, смотрел в телефон. Двери лифта для персонала разъехались, из них вышли Могутин и анестезиолог. Васильев махнул им, те помахали в ответ, подошли сначала к прилавку, и через пару минут они втроем сидели и разговаривали, то и дело смеясь. Гулкие стены кафетерия, душное стекло панорамного окна и музыка из динамиков высасывали смысл слов, оставляя мне лишь плотную кожуру звука.

Наконец все трое поднялись и пошли к лифту. Я смотрела ему в спину, в шею, в отблескивающую цепочку. И вдруг поняла, что хочу видеть эту цепочку так близко, чтобы она расплывалась золотым, хочу вжимать ладони в его спину, подбородок в его шею, держаться за его плечи, принять своим телом его вес, почувствовать его тяжесть – и проникновение. Меня как в кипятки окунули, я вскочила и чуть не опрометью бросилась к лифту для пациентов. И, пока он шел, осознала, что трясу головой.

Каждую среду и каждую субботу, около полудня, я приезжала в клинику, поднималась на седьмой, садилась за самый дальний столик и раскрывала книгу. Кофе-брейк Васильева «плавал» между двенадцатью и половиной второго. Если появлялась Могутин («Дашенька», как он ее называл), то с почти стопроцентной вероятностью появлялся и «Паша», и наоборот, а вслед за ними непременно появлялся и Васильев. Я больше не окликала его приветствием, когда он шел от

прилавка, и он меня не замечал. За его столик всегда кто-нибудь подсаживался. Я называла их про себя «триумвират». Только «Дашенька» и «Паша» вставляли реплики в разговоре, а остальные, кто бы их не заменял, всегда лишь молча и немного подавшись вперед слушали. Сколько бы ни было с ним человек, говорил всегда он один. Он говорил, откинувшись на спинку, расставив ноги, говорил не то чтобы нарочито громко, скорее как человек, который чувствует себя абсолютно свободно везде.

Осмелев от своей невидимости, я стала приходить и на четвертый, и порой Васильева проносил мимо по коридору его деловитый веселый шаг. Коллеги задерживали его на секунду, кого-то он хлопал по плечу, женщин мог на ходу приобнять. Отзвук его голоса, его смех, а смеялся он часто, и смех у него был красивый – на выдохе, а не на вдохе, как у большинства из нас, разносился по всему этажу, вплоть до лестничной клетки.

Меня Васильев не видел. Меня не было.

Леша как-то рассказал, что, по воззрениям древних египтян, Бог сотворил мир не словом, а взглядом. Он увидел, и все начало быть.

Пациент – это тот, кто существует только в кабинете и в операционной. Пациентка Клобукова, пациентка Каблукова, пациентка Коробкова. Спички в спичечном коробке.

Чего я ждала? Какую ставила цель? Мечтала ли о совместном будущем? О сексе? Об одном поцелуе? Об одном человеческом, недокторском, неформальном слове?

Тысячи раз я спрашивала себя и тысячи раз отвечала: этот человек нужен мне. Чем бы нужда ни утолялась – возможностью его видеть, возможностью о нем мечтать, настоящим, будущим, само его существование ежесекундно взрывало мир, не давая мне устроиться, успокоиться в мире. Он есть, и я не могу делать вид, что его нет. Он существует, живет, ходит и говорит, следовательно, я люблю его.

Я шла туда, где был он, признавая так его реальность, воздавая ей и служа. Но не только за этим я шла, не только за тем, чтобы видеть, но и чтобы быть там, где он. Потому что вблизи него, рядом с ним, в его присутствии была я. Я, а не мои мысли, я, а не мое прошлое, я, а не мое заикание и мой сгинувший голос. При нем время текло по-другому. Оно не то чтобы замедлялось или исчезало, оно становилось пустым. Я не ощущала себя, не осознавала себя, ни о чем не думала, ничего не помнила, ни о чем не волновалась, да и о чем было волноваться? Вот он, и вот я.

4. Солнце и Луна

В молодости любовь, даже безответная, дает крылья. В зрелости она отбирает руки. Руки, которые не могут дотронуться, теряют силу. В сорок лет безответная любовь – это любовь бессильная. Жизнь каждого встречного человека – река, в которую ты не можешь войти, как не можешь родиться заново.

Я не девочка и не безумна. Я знаю, что он никогда не полюбит меня.

И я хочу. Хочу его видеть. Хочу, чтобы он меня видел. Хочу, чтобы он меня полюбил.

Я хочу и люблю точно так же, как все остальные. Но любят ли все остальные? Большинство людей сходится случайно, начинают жить вместе как-то между делом, расписываются по неизбежности – и вот вам она, пресловутая любовь. Так было у Леши с его женой, у моих приятельниц, возможно, у отца с матерью, я ее никогда не расспрашивала. Значит, я жду от людей того, чего нет, значит я жду от них сверх возможного, я из тех, у кого «завышенные требования». Но не может быть, чтобы любовь была моим личным бзиком, чтобы любила во всем мире одна я. Если я способна любить, значит это возможно в принципе. Один человек, способный любить, гипотетически может встретить другого, способного любить. И тогда то, чего я жду, это симметрия. Или ее подобие.

Леша, много почерпнувший от друзей жены – физиков, сказал как-то, что в основе мироздания лежит равновесие симметрии и асимметрии. То есть равновесие неравновесия, равенство неравенства. А если так, то должен же кто-то принять удар на себя?

Последнее время я часто вспоминала «полимера». У современного человека столько знакомых, что он волей-неволей запутывается, кого и как любит. А в моей жизни каждый новый человек появляется как метеорит – и становится единственным.

Может, вовсе – любит ли кто-то кого-то, и даже если бы никто никого не – любовь все равно была бы. Может, это огонь, горящий на дне морском, который вода не гасит. Я знала, что любовь можно потушить и нужно для этого совсем мало. Я могла не ходить *туда*, не видеть и не мечтать. Турникет выпустил бы меня. Стоило лишь захотеть вернуться. Но никто прошедший его еще не вернулся. Потому что никто еще не захотел.

*

С тех пор как женщина, бывшая моей женой, отказала мне даже в переписке, я пользуюсь преимуществом не называть ее по имени. Имя Анна мне никогда не нравилось. До такой степени, что в первый год брака я, перепробовав разные паллиативы и схлопотав за каждый, остановился на более-менее лестном «Энн». Сначала жену это забавляло, а потом почему-то перестало, и она пригрозила, что будет звать меня Эль, если я не прекращу. Я и думать не думал, что к новой эскалации приведет выбор имени для еще не рожденной дочки, и предложил «Зоя» – Жизнь, но жена сказала, что у ее бабушки в деревне Зойкой звали козу. А вот «Анна Алексеевна» звучит благородно – в отличие от «Анна Игоревна», не в обиду ее папе будь сказано. Тут взвился уже я. Если она всю жизнь страдала по вине тех, кто когда-то, придя в ЗАГС, записал сына Игорем, то да не падет этот грех отцов на головы следующих поколений. И почему имя моей дочери должно звучать благородно, если она не дворянских кровей? И вообще, что хорошего в благородном звучании? Но у моей ракеты даже не успела отвалиться вторая ступень. Во-первых, я человек неконфликтный, а во-вторых, я любил жену. Любил по-настоящему – это надо уточнить, потому что любовь, к сожалению, бывает и искусственной. А иначе как пришли бы в мою жизнь *ее* фиделита и *ее* дочь. И если уж выговаривать до конца, то не разлюбил. Она просто не дала мне такой возможности. Потому что только любя можно отпустить, а кто не любит – никогда не отпустит.

*

Каждое утро по воскресеньям, понедельникам, вторникам я приезжала к клинике-с-турникетом-без-подземной-парковки, вставала у магазина японских ножей через улицу – оттуда был лучший обзор, – и ждала, когда, ровно в семь тридцать, подъедет серебристый BMW, который Васильев парковал наискосок от служебного входа. Васильев выходил, взбегал по ступенькам, исчезал за вертящейся дверью. Я трогалась с места и небыстро шла прочь, до входа в метро. К окончанию его рабочего дня я сюда не приезжала. Я приезжала по четвергам и пятницам на другой конец города. В отношении клиники-без-турникета-с-подземной-парковкой я вольна была выбирать удобное время, чтобы, не видя его, просто обретаться поблизости. Вот хотя бы в детском сквере напротив, на качелях или на скамейке – смотря по тому, что не было занято. Сентябрь только начался и продлевал лето.

Я не скрывала шрам под косынкой или бейсболкой; дети, привычные к зрелищу собственных «боевых ранений», рассматривали его без страха, а что тонности некоторых взрослых, то мне было наплевать. Я читала книгу, смутно отвлекаясь на выкрики облепившей «городок» детворы. И меня не заботило, что я давно по ту сторону турникета.

*

Если та беседа в кафешке не отбила у Васильева всякое желание повторить, то он святой доктор Гааз, но сейчас он был нужен мне не как Рома, а как специалист.

За Парацельсом мы позабыли обменяться номерами, а свои профили в соцсетях и мессенджерах я пару лет назад сгоряча удалил, так что теперь с ноющей совестью отправился перехватывать

сверхвостребованного хирурга между консультацией и операцией. И буквально схватил – за рукав халата, когда он энергично и вместе с тем как-то мягко и легко шел по коридору.

«Сможем поговорить? В любое удобное для тебе время».

Васильев, сощурившись, поглядел за чем-то по сторонам.

«Ладно. Зайди ко мне примерно через... через час».

Скоротать этот час я предпочел в кафе. Продолжая осваивать лифт для персонала, никогда не набитый и вообще какой-то более услужливый, я поднялся на седьмой и подошел к прилавку.

«Мне, пожалуйста, иван-чаю, да покрепче – чтоб кровь загустела и морда растолстела».

Девушка не улыбнулась – наверное, врачи тоже любят прибаутки. Я повернулся к столикам, выискивая себе место, – и увидел Лауру. Она сидела дальше всех от прилавка и читала книгу. Наверное, ее раскрутили на какое-нибудь перестраховочное, но неминуемое обследование, и все равно я капельку тревожился, чего ради она снова в клинике. Впрочем, сама Лаура не выглядела встревоженной, скорее даже безмятежной, так что и я успокоился. И все-таки немного нарочито безмятежной. Я махнул ей, но книга, как видно, была не оторвешься.

Через столик от Лауры сидела Могутина и ела что-то из лотка, пригнув над ним длинную шею, ела медленно и меланхолично. В этом было что-то лошадиное, но, приглядевшись, я увидел, что на столе рядом лежит смартфон, и нагнулась так низко Могутина над ним, а не над кормушкой – то есть лотком.

Я направился к ней джазовой походкой, разворачивая плечи почти на сто восемьдесят градусов, пусть она меня и не видела, и плюхнулся на второй стул.

«Не помешаю?» – произнес я достаточно громко, чтобы Лаура слышала, – мои скоморошества всегда поднимали ей настроение, и чем они были охальнее, тем выше, пусть она ни за что бы и не призналась.

«Позвольте вам сказать, во-первых, что вы, как медик, подаете дурной пример, совмещая прием пищи и сетевого контента. А во-вторых – что вы богиня. Я тут прохожу интенсивный курс дополнительной маскулинизации – посредством инъекций тестостерона. Вообще у меня есть одно тяжелое системное заболевание, называется «мало денег». Мне сказали, что инъекции тут бессильны, но могут помочь вливания...»

Тут лицо Могутиной будто наконец проснулось: она подняла глаза, как поднимают с одра еще вялое тело, но подняла их почему-то выше моей макушки, и ее довольно полные, длинные губы оформились в улыбку. Я сообразил, что причина не во мне, а за мной, и обернулся. За мной, почти вплотную, стоял, руки в карманах, Васильев – похоже, единственный, кому поднял настроение мой треп. Я непроизвольно глянул в сторону Лауры и увидел ее глаза, которые тоже смотрели не на меня. И сразу все понял.

*

У меня нет друзей. Одно время, в юности, мне даже приходила мысль, что от меня плохо пахнет, и этот запах обоняют все, кроме меня самой. Иначе я не могла объяснить, почему люди меня сторонятся. Да, я заикаюсь и поэтому, когда говорю, не смотрю в глаза собеседнику, но я чувствовала, что заикание не при чем. Я словно очерчена кругом. Примерно девяносто процентов людей, с которыми я, живя в обществе, по необходимости имею дело, любезны со мной, десять я почему-то раздражаю. Все те, с кем я так или иначе пыталась сблизиться, сразу делали если не шаг, то полшага назад, становясь еще любезнее или как будто даже добрее на расстоянии.

С единственной школьной подругой общение сошло на нет вскоре после того, как та вышла замуж и родила первого ребенка, а что до сокурсниц, то будущие вокалистки тут, наверное, не отличаются от будущих актрис: они уже вокалистки и актрисы если не в лучшем, то в худшем. Однажды я утешала сокурсницу, ревешую из-за того, что она «жирная», а потом случайно услышала, как та говорит другой сокурснице: «У этой глисты Клобуковой вообще колоратуры нет, голос такой же плоский, как она сама». Но в целом ко мне относились ровно, можно даже сказать

хорошо. Для того чтобы к тебе хорошо относились, надо как можно реже говорить, а уж если говоришь, никому не возражать. Так не навивешь врагов, правда, друзей тоже. Кроме того, пение поглощало всю энергию, на него уходили все мои силы, и их уже не хватало ни на то, чтобы общаться друзьями, ни на то, чтобы поддерживать дружбу, которая изредка прорастала сама, как травинка из-под бордюра.

Постоянного концертмейстера, этого считай приложенного к профессии наперсника, у меня не было, я работала с теми, кого находило агентство. Мое расписание в детском центре исключало пересечения с другими преподавателями. А для коллег по храмовому хору я выказывала явно недостаточно церковности.

Помогая Леше вычитывать научные монографии, которые он издавал, я узнала кое-что из квантовой физики. Людей можно уподоблять субатомным частицам. Среди нас есть «протоны», положительные, стабильные, основательные, правда, они не знают, что состоят из кварков, а если и знают, то предпочитают не вспоминать. «Нейтроны» всегда занимают нейтральную позицию, о чем ни спросишь – «я как протон». «Электрон» отрицателен, бесструктурен, неуловим, сплошное облако вероятностей; он презирует и положительного протона, и небыстрого разумом нейтрона, он бы с радостью не имел ничего общего с этим ядром, но, увы, электромагнитное взаимодействие сковало их одной цепью. Ровней себе электрон признает разве что фотоны, с которыми есть чем обменяться, но по-настоящему ему интересны только другие электроны, только к ним он стремится, но от них и отталкивается. «Фотоны» несут свет, у них нет ни заряда, ни массы, поэтому они самые быстрые, а между тем стабильнее даже протонов. О «бозонах Хиггса» можно сказать коротко: это праведники, которыми мир стоит. И есть «нейтрино». Масса у них имеется, но низкая, а электрического заряда нет. Они могут участвовать только в слабых взаимодействиях, и вообще связь с остальной материей крайне слаба, они просто пролетают ее насквозь, не давая себя ни заметить, ни ощутить, за что их называют их «призраками Вселенной». Никто, в том числе они сами, не знают толком, зачем они нужны. Некоторые считают, что нейтрино забирают у других частиц энергию, но теряют ее на своем пути.

Я – нейтрино. И порой мне кажется, что не столь важно, притянешься ты с другими или оттолкнешься, лишь бы другой тебя ощутил.

*

Час истек, я шагал к кабинету Васильева, а сам подумывал, не смыться ли.

Две недели назад я встречался с бывшим однокашником, еще сегодня готовился к разговору с нейрохирургом, сделавшим операцию моей сестре, но теперь мне предстояло увидеть мужчину, которого любит Лаура. И как, скажите на милость, с ним разговаривать?

«Да-да, входите, не стесняйтесь!..» – впустил из-за двери Васильев очередного пациента и в первый миг удивился при виде меня, но тут же вспомнил.

Я уселся в пациентское кресло, низкое, мягкое, страшно уютное.

«Ну», – сказал Васильев приветливо.

До доктора Гааза он недобирил всего пару очков.

Нет, это был все тот же знакомый, потерянный на четверть века и обретенный Рома Васильев, Лаурино чувство ничем его не отметило. Бог весть зачем к нагрудному карману халата у него была прицеплена белая шариковая ручка. Проследив за моим взглядом, Васильев вынул ее и, тоже без очевидной необходимости, положил на стол – белую ручку, вдоль которой краснело название какого-то зарубежного конгресса, увенчанное кадучеем.

«Между прочим, кадучей стал эмблемой медицины по недоразумению – его перепутали с жезлом Асклепия», – сказал я.

«Да ладно!..»

«Кадучей – атрибут Гермеса, или Меркурия, а он считался покровителем много кого, только не врачей. Ну да Бог с ним, перепутали и перепутали. Вообще-то я по поводу результатов МРТ сестры. Скажи, там ведь наверняка есть еще что-нибудь *такое...*»

«Такое?»

«Ну, связанное с заиканием. Допустим, нарушения нейронных связей в структурах, которые контролируют речь... Извини, если чушь несу – многое уже подзабыл...»

«Нет-нет, не чушь, отнюдь. Действительно, нарушения есть: увеличен объем серого вещества в зоне Брока, соответственно, сигнал слегка интенсивнее... в общем, все как обычно у заик».

«И больше – помимо заикания... ничего?»

«А чего бы ты хотел?»

«Видишь ли, незадолго до рождения Лауры у меня начались очень странные приступы – я терял сознание минут на десять-пятнадцать, то есть я имею в виду глубокие обмороки, и прекратилось это после того... не важно, после чего, но само прекратилось. Я и подумал...»

«Вдруг МРТ показала у сестры какую-нибудь аномалию, которая объясняет и твои обмороки? Не, ничего похожего. Возрастзависимая доброкачественная эпилепсия – я про твой случай, – всегда проходит сама. ЭЭГ тебе делали?»

«А как же: помню, интересно было – сидишь в этих проводках... Но, если бы пароксизмальная активность, мне бы поставили диагноз и выписали таблетки, и все стало бы так же ясно и просто, как для тебя сейчас».

«Действительно».

«То-то и оно, что меня обследовали по полной – родители как-никак врачи, – естественно без МРТ в 85-м году...»

«Вообще-то эпилепсия не всегда выявляется при ЭЭГ, а вот МРТ, может, что-то и покажет. Сделал бы, а?»

«Любишь ты магниты».

«Ну так на то я из магнитного города. – Это была его первая при мне шутка со студенческих времен. Васильев глянул на часы. – Слушай, у меня сейчас пациент...»

«А можно мне остаться?»

«Хочешь почувствовать, чего себя лишил? Ладно, только халат накинь».

Вошел мужчина, которому я сначала дал лет шестьдесят, но, приглядевшись, снизил возраст до своего – просто он был уже совсем седой и лицо худое, с двумя глубокими складками от носа ко рту.

Преображение в доктора, свидетелем которого я становился уже второй раз, прямо-таки восхищало, как восхищает трюк фокусника. Васильев со мной и Васильев с пациентом были два разных человека, которые по-разному говорили, по-разному сидели, и если первого описать мне было трудно, то второго – легко. Он и сам был легок, внимательный и интеллигентный до сладости, какой-то ласково-бодрый.

«Ну, рассказывайте», – по шаблону пригласил Васильев, тот стал, заминаясь, рассказывать, Васильев вставлял в заминках вопросы, пациент еще больше мялся, отвечая, но вскоре я уже не слушал. Я еще переваривал слова Васильева о возрастзависимой доброкачественной эпилепсии, которая всегда проходит сама. словно благословляющее воображение крестной покинуло меня, словно теперь окончательно покидала меня сама Лаура-старшая. Я *исцелился*, потому что перерос. И сейчас перерастал что-то. И мои пальцы как будто росли, хотя куда уж дальше. Нет, они не росли – они тянулись. Вернее, стремились. Я ими не шевелил, но теперь мне казалось, что в них железо, а где-то рядом – магнит. Не принимая особо всерьез ни настойчивое стремление пальцев, ни свой испуг, я рискнул пошевелить ими, чтобы магнит, который я, конечно, ни в коем случае не принимал всерьез, обнаружился. *Магнитный город*, глупо твердил я себе. И сделал шаг к креслу, в котором сидел пациент Васильева, встал почти вплотную позади и стал водить указательным пальцем в нескольких миллиметрах от того места, где скрывался магнит. Пациент обернулся рывком, и я поймал в его взгляде панику.

Васильев нахмурился.

«Здесь», – только и сказал я.

Мужчина вертел головой, словно за ним вилась муха, а мой палец назойливо следовал всем поворотам и не отступал. Все еще насупленный Васильев жестом успокоил пациента, подошел с моей стороны и посмотрел по направлению пальца.

«Здесь, – повторил я. – Не знаю, что, но здесь. И на три миллиметра вглубь».

«Окей. – Васильев вздохнул, потер лоб и, перед тем как вернуться на свой стул, процедил: – Подожди меня в коридоре».

В коридоре я его не дождался. Мужчина вышел минут через пять, зыркнув меня, за ним в кабинет сразу вошла женщина. Но, по большому счету, я его и не ждал, я о нем вообще не думал. Я думал только о том, что *это*. Нет, не так: думанием совершавшееся во мне можно было назвать лишь постольку, поскольку снаружи я молчал. Слово «рефлексия» подходило сюда лучше: я обращался к самому себе и самому себе отзывался эхом. Что это? – что это... Как это понимать? – как это понимать...

Притихший и схоронившийся по-страусиному, я читал перед сном биографию Бора и размышлял о принципе дополнительности, а утром отвез Караеву новую партию, на обратном пути заскочил в хозяйственный пополнить расходные материалы, сочинил «редакторскую колонку», снова читал про Бора, лукавя, что не замечаю безостановочный пинг-понг с эхом и что подавать уже почти нет сил. Что это? – что это...

На вторые сутки (игра шла и по ночам, сквозь сон и вместо сна) позвонил Васильев.

«Удивляешься, откуда у меня твой номер? – Он хмыкнул. – От Парацельса. Сначала пробивал тебя по соцсетям, потом догадался загуглить твою фамилию плюс “Парацельс”, и почти сразу выскочил замороженный, как я понял, сайт издательства, а там твой номер в контактах. Про издательство ты мне, кстати, не говорил...»

«Мог узнать и через Лауру – у вас же в базе ее номер».

«Нет-нет, – Васильев торопливо посерьезнел, – никаких звонков пациентам по личным вопросам, это грубое нарушение профессионализма. – Он сделал паузу, по весу которой я догадался, что лишь теперь начинается главное. – Слушай... Помнишь, ты ткнул пальцем ему в затылок и сказал “здесь” и про три миллиметра?..»

«Помню». – Я сразу почувствовал себя отбитой ракеткой.

«В общем... – Васильев прочистил горло, как бы от всякого предубеждения и всякой личной заинтересованности. – Там, куда ты ткнул, и именно на той глубине в затылочной доле проходит Superior longitudinal fasciculus, то бишь верхний продольный пучок белого вещества. И ровно-хонько там анапластическая астроцитомы».

Я сел на пол и раскинул ноги – и понял, каким был идиотом, не сев на пол и не раскинув ноги тут же в коридоре, выйдя от Васильева. Говорить я не мог, поэтому молчал, а Васильев молчал, потому что ждал, пока мог.

«Как ты это делаешь? – Иногда по телефону не только слышишь, но и видишь, и я увидел, что он прищурился. – Если не секрет».

В чем секрет твоих упражнений?

Тут я почувствовал, что вновь, пусть на время, человек, а не ракетка, и вздохнул поглубже.

«Боюсь, что это и правда секрет. И боюсь, что я его не знаю».

*

Как только он приблизился к их столику и встал позади Леши, я схватила сумку, вскочила и чуть ли не понеслась к лестнице. Леша наверняка меня видел, и я ждала, что он позвонит через полчаса, через час, в общем, так скоро, как расстанется с двоими из триумвирата, и обдумывала правдоподобный ответ. Но Леша не позвонил и вечером, и на другой день. Я тоже ему не звонила. Мне не хотелось действовать. Мне хотелось, чтобы кто-то, что-то действовало теперь за меня.

Я часто задумывалась, почему крестная, вложившая в меня столько своей любви, не вложила заодно столько же своей любви к Богу. Почему, читая мне адаптированное для детей Евангелие,

уча молитвам и вода в храм, не передала свою веру. Она была кроткой – и ее вера, и сама крестная, которая даже внешне не напоминала трафаретную испанку, слишком кроткой, чтобы пламя перекинулось на того, кто рядом. И, как художник, меньше всего полагалась на слова, а я, которой слова давались с боем, именно потому и была в их самодурской власти и без них не видела.

Леша считает вслед за своим Парацельсом, что вера и воображение по сути одно. Мое воображение всегда было камерным, как мой голос. Голос умер – или впал в кому. Но ведь это значит, что та самая камера, каморка, келья, комната чудес стала теперь просторнее.

Я знаю, что он никогда меня не полюбит, и я хочу, чтобы он меня полюбил. Что это – двойной Меркурий? Возможность? Воображение?

*

На следующий день у Васильева не было операций, только приемы, и почти весь этот день мы провели вместе. Я упирал палец туда, куда притягивала его голова или шея пациента, Васильев фотографировал место и мой указующий перст, открывал в компьютере 3D-модель мозга, что-то писал на листочке. Мы действовали слаженно и оттого, казалось мне, еще загадочнее для самих себя. Единственным, что меня мучило, была паника, каждый раз, несмотря на предупреждающее «Не волнуйтесь!», начинавшая метаться в глазах человека, пока мы проделывали нашу, по определению Васильева, фиксацию. Хотя нет, это было не единственным и даже не первым. Каждый раз, когда пальцы откликались на притяжение «магнита», я до боли чувствовал, насколько не понимаю и, главное, не хочу того, что происходит и что теперь уже нельзя сбросить со счетов. Почему не хочу, я, прикрываясь отсутствием передыхов в нашем эксперименте, себя не спрашивал, хоть и знал, что просто оттягиваю, как оттягивают резинку, которая тем сильнее выстрелит.

Когда из кабинета вышел последний пациент, мы почему-то были вымотаны и еще некоторое время молча сидели, Васильев на своем стуле, я в кресле.

«Держи. – Он протянул мне шариковую ручку. – На память о недоразумении».

Васильев вызвался отвезти меня, предупредив, что по пути мы подхватим Соню из школы. В подземном гараже мы подошли к переливающемуся, как ртуть, BMW, о модели которого я, никогда не водивший, едва ли мог что-то сказать, а о качестве догадывался. Васильев как-то круто взял с места и гнал, пока я не ойкнул, – то ли торопясь к окончанию уроков, то ли еще не отойдя от сегодняшнего, то ли обдумывая дальнейшее. Последнего варианта я боялся. Он стучался и в меня, этот вариант, это «дальнейшее», и я вообразил себя на подложке, люк заперт, затвор надежен...

Мы на секунду затормозили у обочины, и кто-то, чью легкость, компактность и хорошее настроение я ощутил даже спиной, юркнул за мое кресло. И я был страшно благодарен ему, то есть ей.

«Это дядя Леша, – сказал Васильев вместо приветствия, но было видно, что они друг другу рады и без формальностей. – Мы его подбросим».

«Соня, приятно познакомиться». – Она протянула руку, и я пожал ее:

«Алексей».

Соня была хорошенькая, от отца ей достались глаза, а нос был не римский, а прямой аккуратненький – как у Лауры. Меня словно ожгло: почему я не познакомил их, Васильева и Лауру, двадцать пять лет назад, в последний год, когда мы с ним общались? Лауре было всего четырнадцать, но не век же ей оставалось бы четырнадцать, и в шестнадцать она была бы такая хорошенькая, что куда там Соне, да она и сейчас хорошенькая, а теперь могла бы быть Сониной... Впрочем, я почему-то не сомневался, что у них с Васильевым родился бы сын.

«Какая у вас Лабуку симпатичная», – светски сказала Соня.

«Симпатичный. Спасибо!»

«Вообще-то, Лабуку – девочка», – заметила Соня авторитетно.

«Не может быть!» – опешил я.

Васильев скосил взгляд от дороги.

«Да не, по мордахе видно, что пацан».

«В медицинский собираешься?» – спросил я, заполучив теперь мяч на свое поле.

«Вообще-то в университет госуправления».

Я только помывчал, а Васильев слегка качнул головой на сторону с неким выражением, которое следовало понимать как «вот так-то, а ты думал».

«Как твоя дисперсия?» – спросил он дочку, может, отчасти чтобы вернуть себя и ее на землю.

«И не говори! Это был трэш! Я и так, и сяк эту долбаную призму верчу, а лучи вообще не преломляются! Я такая: может, призма бракованная, а Жабa такая губки бантиком, типа, не призма, а кое-кто другой. И все такие: гы-гы-гы...»

Васильев насупился почти так же мученически, как впервые наблюдая в действии мой палец.

«А ты?»

«Я – что, я типа: ну-у-у, значит, в классе окно отличается от того, которое было в комнате у Ньютона. В семнадцатом веке-то и окошки были поменьше, и стекла совсем другие. И пошла на свое место».

«Молодчина». – Васильев чуть ли рассмеялся от восторга.

«А знаешь, как звали Ньютона?» – спросил я, обернувшись к Соне.

«Исаак», – подчеркнуто невозмутимо.

«А по отчеству?»

Она широко распахнула глаза, а потом нахмурилась. Наблюдать эту еще детскую мимику было одно удовольствие.

«Исаакович, – произнес я именно с этим удовольствием. – Его называли в честь отца, который умер до его рождения. А ты знаешь, что Ньютон был алхимиком?»

«Как дядя Леша», – вставил Васильев.

Соня томно потянулась к отцу и обвила руками его шею вместе со спинкой сидения, Васильев оторвал одну руку от руля и сжал ее запястье. Мне показалось, что я сейчас заору, и я отвернулся, якобы не желая смущать.

Васильев высадил меня, как я попросил, у метро. Я посмотрел на Соню, скорее всего, в последний раз.

«Что ж, удачи! Красивая чиновница в государстве большая сила».

Она засмеялась, Васильев тоже – он наконец-то совсем расслабился. Чего нельзя было сказать обо мне. Теперь не было ни пациентов, ни Сони, и я с мазохистки бессмысленной неотвязностью спрашивал себя: почему? *И в какой момент?* Эти два вопроса взаимно отражались, и ответ на один означал ответ на другой. Если я установлю, в какой момент появилась моя «магнитная аномалия», я пойму и... Вдруг я вспомнил, как поднес Лабубу именно к тому месту на лице Лауры, куда irradiировала боль. Не к самому сдавленному корешку, не к точке А, откуда выходит болевой импульс, а к точке В, куда он прибывает. Я угодил в нее безошибочно и понял это, когда сестра сразу как-то болезненно-блаженно прикрыла глаза. Но значит, *этого* тогда еще не было! Вел ли меня мой гений, или повышенная эмпатия, или братская любовь, но вело что-то другое и не туда. Вело не к причине, а к следствию. Но и приведи к причине, вылечил бы Лауру все равно не я. А Васильев.

В метро был самый час пик, люди теснились ко мне, к моим бессердечным пальцам, и я покрепче сжал кулаки.

*

Отпирая дверь, я услышала два голоса – мамин и молодой женский.

Они стояли в прихожей, очевидно, прощаясь, мама ко мне лицом, не на меня обращенным, замороженно-страдальческим, Аня – Лешиным светло-русым затылком и Лешиными широкими плечами. Последний раз я видела ее двенадцатилетней, теперь передо мной возвышалась на целую голову восемнадцатилетняя, но мне не нужно было узнавать, чтобы понять.

Мама заметила меня, Аня обернулась.

«Я уже ухожу, – поздоровалась она и добавила с высоты роста и всех тех, привилегий, о которых было известно только ей: – Не говорите вашему брату, что я здесь была и что я вообще в Москве».

«Хорошо, я ничего не скажу вашему отцу».

Тыкать этой взрослой девушке я не чувствовала себя вправе, а она явно чувствовала, что я не чувствую. Не удостоив нас больше ничем, Аня вышла за дверь, и с мамы будто спали чары.

«Представляешь, она внушала ребенку, что Леша параноик!»

«Какому ребенку? Кто? Аня?»

«Да не Аня, а *эта* – ее мать! Вот Аня и хотела узнать, есть ли у нас в роду психические заболевания. Нет, ну как тебе такое?!»

«Значит, она специально приехала в Москву?..»

«Господи, ну нет, конечно! Аня здесь уже год, учится в каком-то новом университете – она сказала, но у меня вылетело из головы. Живет в общежитии, я предложила ей жить у нас, если уж она не хочет у Леша, – а ты бы как раз к нему, временно, вы же так замечательно ладите!.. – Мама тут же покраснела и на миг, всего на миг потупилась, и я приняла извинение, понимая, что большего не дождусь. – Но все равно это уже не важно, потому что она наотрез отказалась. Видно, мать ее и против нас настроила».

Много лет понадобилось на то, чтобы научиться возражать одному только Леше, чему он меня, порой кажется, учил умышленно, и я промолчала, хотя знала, что не вся правда здесь мамина. Аня Большая входила в десять процентов, которых я по неизъяснимой причине раздражаю, но, как только у них с Лешей стало неладно, я запретила себе всякое подсуживание. Насколько мало они с Лешей друг другу подходят, как всегда, было очевидно с самого начала для всех, кроме тех двоих, которые только и могли предотвратить беду. Хотя «бедой» Лешин брак можно назвать разве что для краткости и в угоду профанам.

«Я Лешу не обеляю, – смягчилась мама больше ради меня, которую минуту назад обидела. – Но “параноя”!.. Леша просто увлечен своей... – Я мысленно подсказала “работой”, но, наверное, мы обе почувствовали, что слово фальшивит. – Своим *делом*, и ваш папа был точно такой же!»

«Папино дело приносило пользу другим людям и деньги в семью».

«Леше просто не повезло. Кому, как не тебе, это стоило бы понимать. Мои дети самые талантливые, самые...»

Я еле успела скрыться в ванной, чтобы больше ничего не слышать.

*

Васильев позвонил спустя неделю. Оказалось, я с точностью до миллиметра локализовал одну менингиому, одну аденому гипофиза, два стеноза и два очага эпилепсии. Васильев доложил мне это сухо от волнения и на мое, пожалуй, немного садистское «Что будем делать?», видимо, пожал плечами, потому что дальше сказал только: «Ладно, на связи» и связь отключил.

А к вечеру позвонил Черновицкий.

«Алексей Алексич, как поживаете? Рад вас слышать! Надо бы повидаться. Не зайдете ли ко мне, когда в следующий раз будете у Роман Валентиныча?»

Рома-предатель, подумалось почти рефлекторно, но я тут же себя одернул: о том, что наш эксперимент – строжайшая тайна, уговора не было. И все-таки мне казалось, что Васильев мог бы сам сообразить, в отношении Черновицкого уж точно. *Точно?* Но для *кого?* По пути на встречу с Черновицким я впервые задумался, почему так не люблю и не уважаю этого человека, между прочим, давшего мне работу, за которую платил, может, не очень щедро, но по-своему регулярно. Почему я вообще рано или поздно начинаю не любить тех, кто сделал мне что-то хорошее? Но вернемся к Черновицкому. Он мог стать врачом, мог стать ученым, однако с самого начала поставил на денежный интерес, но штука в том, что, как не бывает реверса без аверса, так и всякий

интерес Черновицкого сначала показывал денежную сторону, а потом обнаруживал еще и недежную – словом, чем бы Черновицкий ни занимался, ему всегда было и интересно, и прибыльно. Даже пудрил людям мозги гомеопатией он из чистого интереса, в своем роде изучая некую сомнительную идею как объект, – интереса бескорыстного, поскольку корысть удовлетворяло его место директора клиники. Черновицкий жил так, как мог бы жить я, с той лишь разницей, что я бы не пудрил, а развивал. Развивал человеческие мозги, уча их воспринимать то, чего еще нет, и создавать это.

Я думал сначала навестить Васильева, но тот был на операции, а я вспомнил, что собирался проверить, распространяется ли моя «магнитная аномалия» за пределы ЦНС, и направился в отделение онкологии. В коридоре ожидали своей очереди четыре человека: мужчина лет сорока, со студенисто-вялым лицом, почему-то стоял у стены, а на двух диванах разместились три женщины: пожилая, моя ровесница и совсем молодая, лет двадцати восьми. Мужчина и две старших смотрели в телефоны, молодая – в окно, или просто сидела влоботорота к окну. Я прошелся мимо них, незаметно чуть растопырив пальцы висящих по швам рук. Только в последний момент, когда было уже поздно, до меня дошло, что я не хочу, не хочу, не хочу, чтобы пальцы сработали. Но они сработали. У мужчины тяга шла от поясицы, и я почти услышал: почка. У пожилой – от печени, я только удивлялся откровенности, с какой выкликали себя органы. У пятидесятилетней я ничего не почувствовал и еле сдержался, чтобы не выпалить на радостях: бегите домой, прочь отсюда, а по дороге купите пирожных, чтоб крем пожирнее. С молодой была неясность: палец притягивало, но не в какую-то определенную точку. Вдруг пятидесятилетняя поднесла телефон ко рту и произнесла, чеканя слоги: «Калоприемник!» Я плюхнулся на диван между ними.

«Мой сосед установил у себя “умный дом”. – Я говорил, вертя головой вправо-влево, то есть беседуя как бы с обеими. – Встречаю его: ну что, Миш, рекомендуешь? “Ой, ни в жизнь! Представь, сижу я, значит, вечером в своей умной гостиной. “Алиса, принеси пива!” А она мне: “Сам принеси. И между прочим, это уже третья бутылка”. “Не твое собачье дело! Я у себя дома!” А она мне: “Я тоже у себя дома”. Не, ну каково? Так она меня скоро бить начнет, как Настя!” Настя – это его бывшая».

«Я тоже Настя». – Молодая полуулыбнулась.

«Неужели? Потрясающе! В общем, целый день пытался себе представить, как Алиса бьет Мишу. Знаете, в физике есть понятия близкодействия и дальнего действия...»

«Вы физик?» – спросила старшая с какой-то пренебрежительной тяжестью.

«По первой жене».

«А по второй?» – тяжелее.

«Пока не знаю».

Старшая хмыкнула, Настя засмеялась. Тут из кабинета выдвинулся старик, старшая встала ему навстречу, и я понял, что радовался не по адресу. Стоило старику с помощью дочери чуть отойти от двери, как в нее заскочила Настя.

Вид у Васильева был полностью выжатый, так что я секунду поколебался, но все-таки сказал:

«Капнул, значит?»

Васильев тоже заговорил не сразу, сначала вдохнул и выдохнул. Усталость в голосе даже пришла к месту, словно он уже устал вразумлять.

«Твой *дар* надо пустить в дело»,

«А зачем? Какой от него прок? Ну, чувствую я, где поломка, дублирую диагностирующую аппаратуру. Вот если бы я мог эту поломку исправить – о да, тогда мы назвали бы это высоким словом “дар”! Смотрел фильм “Зеленая миля”? Там такой здоровенный негр исцелял все хвори...»

Васильев смотрел на меня, опустил руки в карманы и чуть пригнув голову – исподлобья, как бы отгадывая. Не веря в мою несообразительность.

«Ты чувствуешь пациента. Врач – не тот, кто лечит...»

Он запнулся – хотя нет, не могу представить запнувшегося Васильева, он себя придержал. А с другой стороны, могу я представить Васильева, размышляющего над тем, что такое врач?

Мы стояли в ординаторской, врачи и медсестры заходили и выходили, косясь на меня украдкой, но так, словно успели договориться между собой, что меня здесь нет. Наверняка они уже знали. Но главное, мне показалось, что эти их взгляды по касательной, которых как бы нет, были извиняющимися. Или сочувствующими. Иной раз трудно различить.

«Парацельс говорил, что пророк и врач имеют огненную природу», – сказал я вдруг, не знаю зачем.

И тут Васильев сделал то, чего никогда не сделал бы хорошо мне знакомый тридцать лет назад Рома Васильев. Он выдернул правую руку из кармана и швырнул в стену что-то скомканное. Худенький плешивый врач, как раз наливший себе в кружку кипяток из бойлера, отпрыгнул. Мы с ним одновременно посмотрели *туда*. Это была хирургическая шапочка.

*

Черновицкий то ли помолодел, то ли зум его старил.

«Алексей Алексеич, рад наконец-то встретиться вживую! Как ваша сестра? И знаете что? По-моему, тут со стороны Романа Валентиныча застряла большая стрела Купидона!»

Вот память-то слонячья, подумал я.

«Не будем ходить вокруг да около. Алексей Алексеич, я думаю, нам с вами надо обмозговать сообща одну комбинацию. Смотрите. К нам приходят люди. Так? Люди хотят выяснить, из-за чего им плохо, и сделать так, чтобы снова стало хорошо».

Я кивнул, признавая правдивость наблюдения.

«Для того чтобы выяснить, из-за чего им плохо, они готовы платить любые, ну или почти любые деньги».

Не «для», а «ради», поправил я мысленно, а сам опять кивнул.

«А теперь смотрите внимательно. Существуют методы инструментального исследования. Хорошо, мы сделали человеку МРТ и увидели эту самую точку, откуда ноги растут».

Я и здесь внес мысленную правку, а сам развел руками: логика – не подкопаешься.

«Увидели ее достоверно. Но это *мы* увидели, а сам-то человек лежит, значит, в этом во всем и ничего не видит, и он ничего не понимает, и ему страшно, и тэдэ и тэпэ. А теперь другая картина. Человек сидит в кабинете, ну, скажем, у Роман Валентиныча, входите вы, тоже доктор, смотрите ему в глаза: “Как вы себя чувствуете, мой хороший?”, находите эту проклятую точку, и у человека сразу чувство, что его с его проблемой здесь знают, что ему здесь точно помогут, что ему точно снова станет хорошо, надо просто немножко потерпеть. И заплатить. И дальше он расслабленный идет на МРТ, потому что тот же доктор, то есть вы, сказал, что надо *на всякий пожарный* сделать МРТ, идет уже совершенно в другом настроении. А когда ему потом девочки выставляют счет, там будут отдельной строкой, но как бы между прочим значиться и ваши услуги. Потому что вы же отдельный специалист *за все*. Роман Валентиныч или, там, кто-то сам по себе, а вы сами по себе. Как-нибудь мы вас оформим, ну, скажем, терапевтом, надо будет вам только пройти курсы переподготовки, чтобы была лицензия и в ней черным по белому: “терапевт”. И никто уже не спросит постфактум, какого рожна меня у онколога или у нейрохирурга смотрел терапевт, – потому что вы нашли эту трижды проклятую точку!»

Я не сразу, а как бы по размышлении кивнул.

«Если стоит задача развести на бабло, зубов становится шестьдесят четыре», – произнес Черновицкий, выделяя каждое слово, и засмеялся.

И я тоже засмеялся и смеялся даже дольше него, потому что у меня была истерика, которую Черновицкий, впрочем, не распознал.

«Вам что-нибудь говорит фамилия Будберг?» – спросил я, унявшись.

Черновицкий с улыбкой откинулся в кресле. Он молчал, и я молчал.

«Ну?» – сказал наконец Черновицкий, не перестав улыбаться.

«Простите?..»

«Ну, я вас слушаю...»

Я понял, что он принадлежит к числу людей, неспособных признать даже малейший дефицит в своих сведениях. Я что-то залепетал – истерика и весь этот день, сначала у кабинета онколога, потом в ординаторской с Васильевым, меня истожили – и тут увидел на столе, за которым сидел Черновицкий, ближе к своему краю, визитку «Парагранума». О том, как она попала к Черновицкому, с которым я познакомился спустя год после ликвидации издательства, я решил подумать, когда отдохну. На своих новых правах «золотого мальчика» я взял визитку и сунул в карман.

«Насчет курсов я вам скину ссылочку», – сказал Черновицкий, в свою очередь, «не заметив»; все-таки недаром нас друг к другу прибило.

Я встал, молча поклонился, опять же не вызвав недоумения, и вышел в приемную. Там я зачем-то достал визитку и увидел, что обозначился. Не Клобуков Алексей Алексеевич, а Каблукова Александра Алексеевна, и не издательство «Парагранум», а фонд «Пара глаз».

*

«Алло, Александра Алексеевна?»

«Да-да», – ответил нетерпеливо-усталый голос очень занятой женщины.

«Здравствуйте! Я хотел бы больше узнать о вашем фонде...»

Нежизнеспособный предлог – сейчас она пошлет меня в интернет и будет права, – но я просто обязан был воспользоваться визиткой.

«Простите, я должна спросить: как вы узнали о нас?» – Голос даже потеплел.

«От Михаила Львовича Черновицкого».

Ход был неподготовленный, но я чувствовал, что верный.

«О, Михаил Львович наш многолетний, чуть ли не с самого основания, и на сегодняшний день главный спонсор! Чудо-человек! Без его помощи даже не знаю, где бы мы были. Знаете ведь, как сейчас с корпоративным фандрайзингом, особенно если НКО ориентировано на помощь не, допустим, больным детям, а взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации...»

Примерно с «фандрайзинга» я уже не слушал. Вот так так, повторял я через каждые несколько секунд, будто мне отрезали половину мозга, в которой было все чуть более содержательное. Вот так так. Вот так знаешь человека и совсем не знаешь – отстал мозг, новый и лучший. Вот так думаешь, что знаешь, а выходит, ты знал только половину. Половину человека, половину мира.

«Ой, вы куда-то пропали!»

«Пропал, – улыбнулся я. – Вспоминал Михаила Львовича. Чудо-человек».

«Такими мир держится».

«Держится, – опять аукнулся я и взял себя в руки: – Визитки у вас красивые».

«Да?! А я как раз по пути к Михаилу Львовичу забрала из типографии свежие. – Она словно сама себя толкнула ногой под столом и сначала выпустила некое звено, а потом вставила обратно. – Мне у них в клинике делали операцию на позвоночнике, сложную, а посчитали только работу хирурга, без анестезиолога и без анализов – клиника-то, сами понимаете, не из дешевых, ну вот я и заехала благодарить. Заодно оставила у Михаила Львовича стопку – на случай, *если вдруг кто зайдет...* сами понимаете».

Еще как понимаю: Рокфеллер вроде меня.

«Теперь немного о том, откуда название. “Пара глаз” – это не только про то, что достаточно иметь пару глаз, чтобы увидеть чужую беду, главное, мы помогаем людям, в силу обстоятельств вынужденным жить на улице и потерявшим зрение. Знаете, травмы, химические отравления, инфекции...»

«А я-то думал, – на самом деле я не думал, – что “Пара глаз” – отсылка к представлениям древних египтян о том, что Бог сотворил мир взглядом».

«Вау, я не знала! Потрясающе! А можно я использую это для странички “О нас”: “Достаточно пары глаз, чтобы сотворить мир”?»

«Ради Бога», – сказал я, не имея намерения каламбурить.

«Отлично, спасибо! И да, возвращаясь к Михаилу Львовичу, он для нас незаменим: финансовая поддержка само собой, но основное – программа бесплатного лечения в их клинике...»

Интересно, подумал я, она замужем.

«Алло, алло! А как к вам можно обращаться?»

«Алексей».

«Очень приятно! Давно вы знаете Михаила Львовича?»

Я задумался, что ответить, и опять куда-то пропал.

«Алло, алло! Простите, Бога ради, мне действительно очень приятно было и познакомиться, и поговорить, но вообще-то я сейчас еду в аэропорт встречать мужа и уже проскочила один поворот. Давайте я вам...»

«Нет-нет, не стоит! Мы же оба знаем Михаила Львовича, а это значит, что мы всегда на связи».

«А вообще-то вы правы. – Ее явно удивила непререкаемость этой хромой логики. – Все-таки Михаил Львович...»

«...Это Михаил Львович», – подвел я черту.

*

«Помнишь, ты рассказывал о том, как Парацельс понимал воображение? – выпалила я, перепрыгнув через “алло”. – Что он считал его могущественнейшей силой?»

Наверное, на «Парацельс» Леша делает стойку рефлексивно, не успевая растеряться.

«Парацельс писал о трех могущественных силах: воображении, вере и воле. Но весь шестнадцатый век был такой! А Бруно? Бесконечность Вселенной и безграничность человеческой мысли! Не будь второго, не было бы и первого, не поверь гуманисты шестнадцатого века в силу воображения, математики и физики семнадцатого века не смогли бы помыслить бесконечное и ничем не заполненное математическое пространство, представить точки и линии как вещи, а вещи как точки и линии!»

«Бог с ними, с точками и линиями! Как воображение *работает*?»

Тут растерянность догнала его.

«Как работает?.. Ну-у, а как работает молитва?»

Может, брат хотел выиграть время, но я ответила с ходу, к своему собственному удивлению: последний раз я молилась в детстве, повторяя вслух за крестной, как повторяют, уча иностранный язык.

«Считается, что Бог ее слышит. – И добавила, продолжая себя удивлять: – А ты веришь, что Он нас слышит?»

То же, что подсказало мне ответ, подсказало теперь объяснять Лешину молчание не растерянностью. И вдруг я увидела: он знает; знает, что стоит за моим звонком, за словом «воображение», которое прежде я обходила, знает обо мне больше, чем я рассказывала ему.

«Бог нас слышит, – произнес наконец Леша то ли осторожно, то ли, наоборот, утвердительно. – Просто порой нам надо дойти до дна, потому что тогда мы рождаемся заново. И Вселенная рождается заново вместе с нами».

Меня слегка дернуло, словно брат жонглировал булавами и одну уронил. Недаром я остерегаюсь философствований и богословствований – вовремя свернуть в сторону от безвкусицы на моей памяти умел только Андрей Николаевич.

«Про Вселенную было уже как-то слишком...»

«Слишком что?»

«Пафосно».

«А пафос отнюдь не дурная вещь. – Леша явно чуть обиделся. – Пафос, между прочим, переводится как “страсть” или “страдание”».

«Между прочим, я знаю», – чуть обиделась я.

Он опять замолчал, но не от обиды, а будто чтобы дать мне услышать мною же сказанное: знаю, как переводится «страсть», или «страдание», или одно в другое, или оба они во что-то третье.

«И все-таки как работает воображение?» – опомнилась я.

И опять промедление было чем-то совсем другим, будто Леша чьей-то отмашки, чьего-то сигнала ждал – и вот дождался.

«Погоди, вот я завтра приеду за печатями – и покажу!»

Это было как солнечный луч в глаза или как волна, на которой меня подбросило. Воображение, воображение, воображение, прокричала я внутрь себя, как ребенок кричит из себя навстречу будущему. Мы были в чьих-то надежных руках, я, Васильев и Леша – новый триумвират, – объятые круговым сиянием, вдоль которого мы летели то ли по вертикали вверх, то ли по горизонтали вперед.

*

«Леша, ты только не волнуйся, – сказала мама таким голосом, что впору было от ужаса утопить телефон нарочно. – Аня в Москве».

«Я знаю», – сказал я с облегчением.

«Она взяла с меня слово не говорить... Погоди. Как *знаешь?*..»

Год назад жена написала мне по электронной почте, впервые после их с Аней отъезда. Первой фразой ругала за то, что я удалил свои профили в мессенджерах, так что ей пришлось поднимать наши старые общие знакомства и вызнавать мою электронную почту – живя вместе, мы друг другу писем не писали. А дальше жена сообщала, что моя дочь решила учиться в Москве и уже месяц как студентка факультета гуманитарных технологий (что бы это ни значило, добавил я про себя) одного из престижнейших *национальных исследовательских университетов* – жена привела невыговариваемую аббревиатуру со всеми регалиями, – причем поступила на бюджет. И под конец объясняла, что пишет мне об этом для того, чтобы я мог Аней гордиться, и что отвечать на письмо необязательно. Я ответил: «Спасибо!», закрыл почту, посмотрел месторасположение нужного филиала, оделся и поехал туда, рассчитав, что к тому времени, когда доберусь, до конца занятий останется час-полтора. Вечер был не по-октябрьски теплый, в самый раз, чтобы поболтать на улице.

Когда я наконец встал недалеко от входа, из дверей как раз выскочило несколько самых вольнолюбивых или дальше всего живущих студентов, но прошло едва ли не полчаса, прежде чем я увидел Аню. Я не видел ее шесть лет – Латвия плюс два года между разводом и отъездом – и боялся не узнать, а узнал мгновенно. Она вышла в компании еще одной девушки и парня, они разговаривали наперебой, Аня очень эмоционально жестикулировала, потом засмеялась. У нее была какая-то собственная, ни от меня, ни от жены не передававшаяся манера смеяться. Они прошли мимо меня на расстоянии метра в три, перешли улицу и спустились в метро.

На следующий день я подъехал к филиалу на час позже и ездил так до субботы, потом еле дождался понедельника, стоял, ждал, смотрел, как Аня – всегда с той девушкой, наверное, лучшей подружкой, и обычно с кем-нибудь третьим – выходит, переходит улицу и спускается в метро. В один из дней Аня засекала меня. Она не остановилась, продолжала идти, повернув ко мне голову и не отвечая на «Ты чего?», «Что там?» и «Все в порядке?» своих спутников. На ее лице было написано то, что бывает написано на лице учительницы или воспитательницы, которая застала своего подопечного за какой-нибудь шкодой, то есть очень молодой учительницы или воспитательницы без чувства юмора. Нечто среднее между вопросом и гневом, но гневом слегка тупым. Она будто и возмущалась, как я посмел, и одновременно не удивлялась, давая понять, что лишь на пакости я и способен. Так Аня и шла до перехода, неотрывно сообщая мне выражением лица все, что полагается, и я даже испугался, как она будет переходить дорогу не глядя вперед, но тут Аня, словно услышав, отвернулась и уже не поворачивала головы.

До меня не сразу дошло, что я улыбаюсь. Моя дочь говорила мне без слов, что меня не должно здесь быть, не должно быть там, где она, не должно быть вообще, а я улыбался ей.

На другой день Аня сразу нашла меня холодным косым взглядом, как бы зафиксировала, даже не отрываясь от разговора с ребятами, а на третий даже не посмотрела туда, где я стоял. В следующий раз я встал по другую сторону от дверей, рассчитывая, что Аня засечет меня ненароком, но Аня и ненароком на меня не взглянула, словно от меня исходил ультразвуковой сигнал, а у нее был датчик.

Больше я к филиалу не ездил.

Безденежье – это, в конце концов, не страшно. Рухнувшие проекты, рухнувший брак – в общем, тоже. Насчет болезней утверждать поостерегусь, потому что Бог как-то до сих пор пронесил их мимо. Не страшно в один очередной день рождения заявить себе как на духу, что ничего не дал и уже не дашь миру. Единственное, что страшно, – это когда тот, кого ты любишь, хочет, чтобы тебя не было. А раз так, то, по большому счету, не страшно уже ничего. Ничего. Ничего.

5. Великий сердцедедец

Леша взял меня за руку:

«Идем во двор. Воображение лучше работает на свежем воздухе».

Едва мы вышли за дверь, я спросила:

«Это так заметно?»

Леша замотал головой, рассыпая космы.

«Ничуть! Дело в том, что Лабубу – великий сердцедедец, а у нас с ним друг от друга нет секретов».

«Надеюсь, он не сказал, что здесь застряла большая стрела Купидона?»

«Ну что ты, это же *мой* гений, и он менее деликатен, чем я!»

На лестнице Леша, который спускался первым, обернулся.

«Между прочим, у него живот».

«У Лабубу?»

«У Васильева».

«Господи, и только? Его это не портит. Помнишь, ты как-то сказал, что после пятидесяти без очков читают только гении вроде сэра Исаака Ньютона? Так вот, после пятидесяти живота нет только у гениев вроде сэра Алексея Клобукова».

«Потому что сей сэр кормится с мышиных податей».

«Что?..»

«А, ерунда».

Во дворе брат уселся на землю под деревом, как на пол у моей кровати, и потянулся к моей сумке. Я отдала ее безропотно. Леша порылся там и вынул книгу, заложенную квитанцией из клиники; книгу он положил себе на колени, а квитанцию вытащил, расправил, перевернул чистой оборотной стороной вверх – теперь у него были планшет и лист. Из кармана брюк, противоположного тому, где сидел Лабубу, Леша извлек шариковую ручку, белую с красной надписью вдоль корпуса.

«По статистике, примерно сорок процентов пациенток влюбляются во врачей, а в хирургов чуть ли не каждая вторая», – сказала я, чувствуя себя свободной и голой, словно сбросила панцирь.

«Во-первых, сядь», – сказал Леша как «взрослый».

Я все так же безропотно села рядом на корень.

«А сколько врачей влюбляется в пациенток – такой статистикой ты не располагаешь?»

«Он меня никогда не полюбит».

«Рано нос повесила! Главное – нейтрализовать Могутину, но тут дело мастера боится, а мастер у тебя высшей категории, в общем, ложись на меня, и мы этого бобра добудем!»

«Какого бобра... Ох ты и трещотка...»

«Ты сейчас на стадии нигредо – все черным-черно, как за окном у батьки Махно, ночь души, мрак, Сатурн, свинцовая тяжесть, и тут – вау, что это, что за белые кристаллы?!.. Соль мудрости! Нежная Луна разгоняет тьму глубин сердечных, о Боже, как все ясно и просто, можно ли было отчаиваться! А за альбедо у нас что? Рубедо! Король, лучезарный, как солнце, сверкающий, как карбункул, и его ослепительно-чистая невеста заключают друг друга в объятия – священный брак, химическая свадьба! И рождается философский сын...»

Так же быстро, как говорил, Леша рисовал – рисовал брат всегда отлично, и родители думали, что он выберет хирургию, потому что для хирурга, как и для художника, важна точность движений и хороший глазомер, – нагую коронованную пару, обнявшуюся в реторте. У женщины на частично безволосой голове был зеленый шрам, у мужчины на шее – золотая цепочка.

«Уж сразу и философский?»

«Философский сын, милая моя, – это то же, что философский камень».

«Значит, у нас с Васильевым родится камень».

«Не придирайся к словам, а лучше думай о том, что он – Солнце, а ты – Луна, он Король, а ты Королева, и вы должны соединиться!»

Леша сложил лист вчетверо и отдал мне заодно с сумкой, и я убрала его к другому такому же сложенному листу, но уже немного обветшалому и в клетку.

«И это». – Леша, держа вертикально, протянул мне ручку.

Я взяла ее, прочитала надпись: ...нейрохирургический конгресс – и, прежде чем спрятать туда же, к заветным листкам, покатала в пальцах.

*

Он замедлил шаг, развернулся, но я не спешила верить.

Его улыбающиеся глаза и губы уже говорили, и я понимала, что они говорят со мной, но из благодарности не спешила верить.

«Я смотрю, вы тоже оценили наш седьмой этаж. Мы с вами там регулярно пересекаемся. Вы все время с книгой... Что читаете?»

Я будто снова была в его кабинете, а не в этом незрячем коридоре, и снова была наша первая встреча, и я снова, впервые, видела, что он Солнце.

«Одного советско-французского историка науки, “Этюды о Галилее”».

«Вот прямо о Галилео Галилее? Целую книжку написал? Значит, получается, сидел в архивах, штудировал материалы...»

Чудеса: он говорил так, как мог бы говорить Леша.

«Вероятно».

«А вы знаете, между прочим, что Галилей завершил начатое Коперником и Бруно?»

«И начал продолженное затем Лейбницем и Ньютоном», – ответила я как по шпаргалке.

«Исаком Исаковичем. – Наверное, в моем взгляде проступил заложенный эффект. – Отца Ньютона тоже звали Исаак».

Я собиралась сказать, что это имя вообще было популярно в Европе XVII века: Исаак Бекман, Исаак Барроу, но спазм снова опередил.

Исак Исакович. Совсем по-Лешину.

«Да... – Васильев, все еще улыбаясь, склонил голову набок и почесал бровь большим пальцем. – Приятно иногда поболтать о книжках, а то бегаешь вечно какой-то шевутной. Ну, Лехе привет!»

Он поднял руку в знак временного прощания и пошагал дальше, и впрямь почти переходя на бег.

Он видел меня. Видел все это время, потому что для величайшей силы не существует времени, она работает вперед и назад.

Я знала, что голова у меня трясется и все тело дрожит. Но так и должно быть, когда стоишь в облаке разрядов и ледяные молнии одна за другой пронзают, прокалывают, прокалывают тебя. И ты узнаешь их, приветствуешь и прославляешь. Воображение, воображение, воображение!

Когда мы говорим «я разбит», не принято уточнять, чем именно, а между тем разбить может только что-то. Я был разбит Черновицким, Настей, поездкой на BMW, пинг-понгом, затылком того человека и его злыми от страха глазами. Осколки, на которые я был разбит, надлежало если не собрать, то хоть сгрести в кучу. И я знал лишь одного на весь мир человека, который не разбивает никого и ничто, а сгребает разбитое.

Странно, но Васильев теперь будто связывал нас с Лаурой там, где мы прежде не были связаны. Я люблю Лауру с той минуты, как увидел ее на руках у мамы, и допускаю – с утверждениями о других осторожность никогда не лишнее, – что она меня тоже любит, пусть меньше или по-своему.

В детстве сестра всего боялась: ночи, воды, когда ее льют на голову, громких звуков, высоких деревьев и домов, собак, птиц, незнакомых мест, незнакомых взрослых и даже незнакомых детей. Детей, пожалуй, особенно, причем бояться начала еще раньше, чем те – передразнивать ее заикание. Тогда Лаура пряталась за меня или за крестную, и глаза у нее начинали дрожать, да, не все тело, а только глаза, точно две огромные дождевые капли на листике. Что касается крестной, то она вообще была хороша лишь по части наставления в Слове Божьем и выгулять-покормить, а так совсем не имела подхода к детям. Сестра боялась даже мяча, который надо ловить, – ей казалось, что мяч ударит ее, она садилась на корточки и закрывалась руками. Родители и я сам почти одновременно заметили, что никому, кроме меня, не удастся поднять Лауре настроение или прогнать ее страх. Так это стало моей исключительно приятной обязанностью. Я читал ей, разыгрывал для нее представления с перчаточными куклами – Петухом, Котом и Волком, и это трио у меня всегда жило дружно, как в Раю. Это было благодарное дело: на моих глазах маленький испуганный дух обретал плоть обычного здорового ребенка. Повзрослев, Лаура боялась сделать что-то неправильно, поэтому просила меня проверять ее домашние задания, а еще страшно боялась кого-нибудь обидеть или рассердить, так что все подруги крутили ею как хотели. Насколько я знаю, она никогда не спорила с учителями в школе и с преподавателями в своей Гнесинке.

По характеру мы с ней абсолютно разные, Лаура замкнутая в отца, и не мне, а ей с ее скепсисом и осмотрительностью стать бы медиком. Она не нуждается в других людях – так я всегда считал, а я нуждаюсь, хотя от этих самых других людей всю дорогу слышал, что, дескать, живу в мире своих идей. Нет, дорогие мои, я живу в нашем мире наших идей, он такой же ваш, как и мой. Так вот, я *привык считать* Лауру только делающей вид, что она тут, с нами. Но появился Васильев, появился этот изумрудный шрам, хотя, Боже правый, при чем здесь шрам?

Я позвонил Лауре и пригласил погулять, и вот мы уже «гуляли», стоя друг против друга у выхода из метро, в ожидании, когда я вымолвлю нечто и, развязавшись, сделаю хотя бы шагок.

Лаура тронула меня за рукав рубашки, а я и не предполагал, что за рукав можно тронуть с такой горькой нежностью.

«Пойдем», – сказала Лаура, как если бы тронула снова.

И мы пошли, сначала моими инвалидными шажками, потом ее горьким и нежным шагом. У главного входа в парк я преградил ей путь.

«То, что я скажу, может показаться невероятным».

«Для меня сейчас нет ничего невероятного».

Я помолчал, впитывая без осмысления ее невероятные слова и прилаживаясь как-то говорить после них.

«Я нахожу болезнь. – Заговоривший был косноязычным дебилом, но Лаурин взгляд уверял, что дебила вижу я один. – Я каким-то *невероятным* образом чувствую скопление патогенных клеток, очаг воспалительного процесса или повышенной активности нейронов – короче, штаб-квартиру болезни, место ее дислокации, точку...»

«Я тебя поняла», – сказала Лаура таким тоном и глядя на меня так, словно отчаянно ждет продолжения.

С нею, с нами обоими что-то творилось последнее время, и я знал, что это творение ненадолго, что однажды оно завершится, но пока предстоит кипеть, волноваться, бояться, любить. Лаура взяла меня под руку и повела с прохода в парк.

«Но какой в этом смысл, вот о чем я Бога бы спросил! Какой смысл находить, если не можешь исправить? Васильев говорит... – Я осекся, но по лицу сестры, как говорится, ни единая тень не пробежала. – ...Говорит, что мой так называемый “дар” надо пустить в дело, а Черновицкий, тот вообще уже набросал комбинацию. С точки зрения Черновицкого, прок от меня будет колоссальный, тут и думать нечего. С точки зрения Васильева... – Я замаялся, потому что точка зрения Васильева все еще как-то тускло мигала для меня, сознавая, что, чем дольше мнусь, тем мучительнее Лауре. – С его точки зрения... как бы сказать... мой “дар” – только признак какого-то еще большего дара, то есть я могу зарыть талант в землю... О Господи! Дар! Талант! Живи я во времена Парацельса, вот был бы всем дарам дар и всем талантам талант, но сегодня, когда и УЗИ, и МРТ, и ПЭТ... Не понимаю!.. С точки зрения *Бога*... Зачем?!»

«По-моему, Бог высказал Свою точку зрения. Леша, это чудо. Другие мечтают, чтобы в их жизнь вошло чудо, а ты спрашиваешь: “Зачем?”».

«Бессмысленное чудо – просто аттракцион. Или лохотрон. Знаешь, в чем причина моего чудесного исцеления от припадков? Ты, конечно, в курсе этой истории, мама или крестная рассказывали?.. Так вот, не было никакого чуда – ни от упражнений, ни от молитвы. Возрастная зависимость доброкачественная эпилепсия всегда проходит сама. Цитата Васильева».

«А без него ты не знал?»

Наверное, я вытарашился, потому что сестра закатила глаза, сразу перестав быть и нежной, и *невероятной* – к некоторому моему облегчению.

«Господи, Леша, мама как-никак педиатр! Детские формы эпилепсии часто встречаются – это, если хочешь, *ее* цитата. Разумеется, твои приступы их с папой очень тревожили, потому что никогда нельзя быть на сто процентов уверенным, что это именно детская форма...»

«Но тебя называли...»

«Меня назвали в честь крестной не потому, что родители считали, будто без ее упражнений ты бы не поправился, – просто мама была очень привязана к ней из-за ее привязанности к папе, к нам. Крестная была одинокий человек, а папа и мама стали для нее как дети, мы – как внуки. Мама это ценила, жалела ее...»

«Она сама тебе сказала?»

«Сама. Мама тебя любит больше, но со мной вынуждена разговаривать чаще».

«Крестная обожала тебя», – ляпнул я как под диктовку, понимая, что ляпаю.

Лаура выдохнула, видимо, чтобы справиться с раздражением. Пожалуй, ей слишком часто приходилось справляться с ним за свой счет, во всяком случае, я был бы не против, наори она на меня как-нибудь.

«Я прочитала Юнга о “священном браке”. – Лаура смотрела в сторону, и таким взглядом, с каким, наверное, люди, ждущие очереди у кабинета онколога, говорят близким, что с ними. – Почему ты не сказал, что Король и Королева, соединившись, погибают?»

«Видишь ли, существует знание, открытое лишь истинным adeptам».

Лаура выдохнула опять, вполне мне поделом, учитывая, что к «истинным adeptам» я причисляю и Черновицкого, о чем ей известно. А надо ли, вдруг подумал я, непременно завязывать узлом шутку и серьез, как делал я до сих пор?

«Если серьезно, то ты уже сама себя ответила. Потому и не сказал, что это слишком легко понять превратно. Любое соединение двоих в одно означает смерть. И новое рождение».

«Пока я люблю, я не умру», – сказала Лаура как могла бы, наверное, сказать Настя.

*

С ним на этот раз были аж четверо – или он был одним из пятерых; наверное, они что-то праздновали, потому что галдели, смеялись, сдвинув два столика и прихватив еще пару стульев.

«Вы позволите?»

Девушка-врач, да, именно девушка, вряд ли ей было больше тридцати, замерла возле моего столика с кофе в одной руке и лотком в другой.

«Конечно. Садитесь, пожалуйста».

«Спасибо. – Она начала было есть, но, как видно, была чересчур хорошо воспитана. – Я вас тут часто вижу», – сказала она и запнулась, наверное, вспомнив, что наш маленький рай вознесен над шестью этажами болезней.

Я смогла только вежливо улыбнуться, но книгу отложила – беседуем мы или нет, все же теперь нас двое.

«Кофе здесь очень приличный». – Ей, очевидно, показалось, что меня сейчас нельзя «бросать», а может, моя закрытая книга терзала ее воспитанность.

Теперь уже моя воспитанность получила вызов.

«Ну должен же он соответствовать...» – сказала я, сама не зная, соответствия чему требую от кофе – ценам или шести этажам под нами.

Она добросовестно засмеялась и продолжила есть, отчасти за меня спокойная.

«Пожалуй, тоже возьму кофе», – сказала я, чтобы еще больше успокоить ее, и вставая, чтобы дать роздых себе.

«Простите... – Она пытливо прищурилась, сразу напомнив мне его, и что он здесь, и до какой степени он здесь, в каком-то метре, и до какой степени одного из нас, его или меня, здесь нет. – Я понимаю, мы тут уже не врачи и пациенты, но... Скажите, вы когда-нибудь теряли голос?»

Я все еще проживала меру, в какой мы с ним оба здесь и в какой одного из нас здесь нет, эту чудовищную возможность присутствовать и отсутствовать, это мерцание «близко» и «далеко», эту бесчеловечную человеческую разницу пространственно-временных континуумов, поэтому, наверное, меня прорвало.

«Теряла ли я голос? Я его *потеряла*. Я... пела. – Поняла ли она смысл – “была певицей”? Выговорить это я была уже не вправе, разве что экивоком. – Пела профессионально. А потом ковид...»

«Так. Все. – Она хлопнула ладонями по столику и вскочила. – У меня как раз минут десять до конца перерыва – идемте!»

«Куда?»

«Ко мне. А, верно, извините! – Она хохотнула. – Я фониатр. Идемте, я дам вам упражнения. – Мне показалось, она сейчас схватит меня за руку и потянет, но нет, только обернулась через плечо на ходу, и чуть бережнее или чуть по-девичьи: – Голос можно вернуть. – И еще раз, словно и себе внушая. – Голос можно вернуть».

Я еще ни разу не ушла из кафетерия раньше него. Я медленно поднялась со стула, глядя по направлению спутанного хора пяти голосов, в котором солировал его голос. Девушка-фониатр остановилась и ждала, глядя на меня так, будто понимает, почему я медлю.

*

Лаурино выступление в защиту самоценного «чуда» было все-таки хлипковатым доводом, таким же хлипковатым, как филантропия Черновицкого. И все же Лаура стрегла меня в кучу, просто потому, что она – это она. Теперь я мог приступить к складыванию мозаики, до конца не уверенный, найдется ли в ней место и благородному разбойнику Черновицкому, и охламону-бессребреннику Клобукову. Надо было еще потолковать с Васильевым. По телефону он был недоступен, а я боялся растерять кураж и поехал в клинику.

Я был еще на другом конце коридора, но администратор уже высмотрела меня и крикнула, словно отпугивая:

«Роман Валентинович в отпуске! Будет только 23-го!»

Раздосадованный, я пошел в отделение онкологии. Я надеялся либо застать там Настю и услышать от нее, что стадия ранняя и прогноз благоприятный, либо не застать и самому сделать

вывод о том, что мои пальцы напали на какое-нибудь временное повышение СОЭ после гриппа. Я помнил, что Настина точка блуждающая и неопределенная, а скорее всего вообще не точка. Лейкемия?.. Если я решу в пользу «комбинации», придется вспомнить все эти ученые сто лет назад слова, а с ними то, о чем тебе не сказали на лекции, но такое же непреложное, как белый халат: отекаемые выражения и взнузданный оптимизм, немая паника и слезы.

Насти не было. Очереди ждали все трое, и, хотя я дважды прогулялся мимо них, пальцы оставались спокойны. Вот и славно, значит у всех ложная тревога. Из кабинета вышла женщина, примерно Лауриных лет и такая же заморенная, но у Лауры кожа все-таки естественного цвета, а у этой была как слоновая кость. Не успев отойти от кабинета на полшага, она достала телефон. Я тихо двинулся за ней. «...Сказал, неоперябельная, будут облучать». Где мои пальцы, будь они неладны? Навстречу шел мужик, который позавчера стоял здесь прислонившись к стене и у которого явственно взывала к моим пальцам почка. Мы поравнялись – ноль, штиль, но не мог, не мог он за сутки вылечиться!..

И тут меня словно тронули чем-то холодным, но это было не *то самое* в новом изводе, а всего лишь озарение. Мои пальцы ничего не улавливали, потому что на расстоянии нескольких метров не было Ромы Васильева из магнитного города.

*

«Почему вы не обратились к фониатру еще три года назад?» – спросила меня девушка-врач и не могла обескуражить больше.

Действительно, почему? Потому ли, что даже судьбе я стараюсь не возражать?

Раз в неделю я ходила к Екатерине Константиновне – так звали фониатра – и каждый день выполняла упражнения дома, по три часа с перерывами. Через две недели я смогла взять верхнее до.

Екатерина Константиновна не стала скрывать, что полностью голос уже не вернется. Возобновить певческую карьеру не получится, но меня к этому и не тянуло. Возможно, после года упражнений я снова смогу давать частные или нет уроки вокала, но уже сейчас стоит поискать вакансию музыкального педагога в общеобразовательной школе.

*

Не то чтобы я не ждал писем – скорее я от них ничего не ждал. В основном мне приходил спам, да еще некоторые из моих ныне малочисленных знакомых, берегущих голосовые связки, не пробившись ко мне через мессенджеры, изредка писали на почту.

Я еще был немного сам не свой после того акта непостижимого Божьего милосердия, которому час назад подвергся. Ни Черновицкий никогда не узнает «секрета», ни сам Васильев. Наша с ним «магнитная аномалия» останется без объяснения и последствий. Наша соединенность отныне моя проблема, мое сомнительное достояние, еще одно даровое наследство, на которое я наложил печать – спасибо Караеву – и убрал подальше, до поры или до конца. Я не приговорен, я могу выбирать, и я выбираю свободу.

Освобождение еще вызывало легкий стыд и озноб, и я едва ли не заклеил «спамом» послание неизвестного адресата, но заголовок «книга» успел сделать свое дело.

«Уважаемый Алексей Алексеевич!

Вряд ли Вы меня помните. Мы встречались в 2018 году на вечере в посольстве Австрии, посвященном 525-летию со дня рождения Парацельса».

«Посвященном». Мною посвященном, устроенном и проведенном. Заручившись поддержкой Зальцбургского Общества Парацельса, я написал австрийскому атташе по культуре с предложением приурочить к 525-летней годовщине великого врача мероприятие, устройство которого я полностью беру на себя, согласовав, разумеется, все организационные частности. Мне дали зеленый свет, и я не подкачал – да и мог ли? Вечер открыл атташе, нагородивший милых банальностей, его никто не слушал, но все сразу расслабилось, а может, только я, потому что и на нервах

был только я. Небольшой актовый зал посольства заполнился на две трети. Пришли не только нью-эйджисты, гомеопаты и просто ударенные пыльным мешком, но и несколько историков науки, которым я по договоренности предоставил слово. Пришел Андрей Николаевич и прочитал отрывок из своей поэмы, в котором речь шла о Парацельсе, а сама поэма была, насколько я понял, очень длинная и про всех тех от начала времен до наших дней, кому стало ясно главное. Лаура исполнила под рояль, за которым сидел молодой австриец, как показалось мне, с большой стрелой Купидона, указующей его вполне определенный вектор, три народные песни: немецкую, австрийскую и швейцарскую, по землям Парацельсовой славы, – но это больше для атташе.

«Я подошел к Вам по окончании поделиться некоторыми мыслями...»

Да, по окончании ко мне подходили. Благодарили, досказывали и высказывали накопившееся за 525 лет. Я выполз из посольства еле живой. Это был триумф. И заря, как я был уверен, – заря новой эры.

«...которые без Вашей вступительной речи, скорее всего, не сформулировал бы даже для себя».

После атташе взял слово я и говорил, пожалуй, по всем регламентам долговато, впихнув во «вступительную речь» и то, что не касалось уже непосредственно Парацельса, но чему представился слишком соблазнительный шанс. Все, что я тогда наспех упаковал в этот шанс, потом казалось мне сумбурным, непродуманным, хотя, положа руку на сердце, продумал ли толком до сих пор те тезисы, положения, краеугольные камни – те «пролегомены», которые всегда как-то зыбились, то сгущаясь, то испаряясь, а по сути были не здесь, никогда, ничем.

«То, что Вы тогда сказали, и собственно сама идея метафизиологии...»

Я с трудом верил своим глазам, читающим это мною рожденное и никому больше на свете не нужное незаконное буквенное дитя в чужом письме.

«...отозвалось во мне глубоким пониманием – ведь я всю свою жизнь, со студенческой скамьи, размышлял о том же самом и пришел, вернее, так и не пришел бы, если бы не Вы, к тем же самым выводам. В итоге у нас состоялся хоть и короткий, но очень хороший, очень приятный и полезный для меня разговор, теплую память о котором я храню до сих пор».

Интересно, сколько лет пишущему? По слогу – около ста.

«На прощание Вы дали визитную карточку Вашего издательства».

О да, я их тогда раздавал направо и налево – сколько денег было ухнуто только на допечатку этих карточек.

«И вот наконец я закончил книгу, которая, как смею надеяться, может Ваше издательство заинтересовать. Ни в коем случае не оспаривая Ваш приоритет, я позволил себе немного видоизменить Ваше определение и назвал ее “Метафизические основания медицины”. Посылаю Вам на рассмотрение...»

Боже мой, за что.

«...плод своих трудов. Если он покажется Вам слишком громоздким по объему...»

Вся моя жизнь – «со студенческой скамьи» – была слишком громоздкой по объему, и то, что валилось на меня из этого письма, уже не лезло в нее.

«...его можно сократить на Ваше усмотрение».

Боже мой, почему. Боже, пожалуйста, не надо больше бессмысленных, застрявших по дороге, на пять-семь лет просроченных чудес.

«Заранее простите, если окажется, что напрасно отнял Ваше время. Буду благодарен за любой ответ.

С уважением,
искренне Ваш В. Н. Будберг».

*

Я ждала у магазина японских ножей.

Врачи и медсестры поднимались по ступенькам, вертящаяся дверь проворачивалась и впу-

скала их поодиночке и по двое. При этой клинике – той, что с турникетом, – не было подземной парковки. Кто-то парковался у обочины, кто-то, видимо, за квартал отсюда и шел пешком, если, конечно, не приезжал на метро или автобусе. А один долговязый бородач – на велосипеде, всегда последним. Вот он спешился, втиснул велосипед меж стальных колец, взбежал по ступенькам, и еще одного впустила вертящаяся дверь.

Я не выдержала, перешла улицу, поднялась по ступенькам, толкнула вертящуюся дверь и направилась к стойке регистрации.

«Скажите, пожалуйста, Васильев Роман Валентинович сегодня ведет прием?»

«Доктор в отпуске, запись к нему открывается 22-го числа»,

Вот, значит, почему он на прошлой неделе не появился в кафетерии.

«Я не по записи. Скажите, а когда он будет?»

«А вам зачем? Мы не даем такой информации, извините, просто так. Ближайшая дата для записи – 22-е...»

Я вышла на улицу в одновременно туманной и проясненной пустоте и полпути до метро чувствовала себя немного обманутой, а затем – немного свободной.

*

Будбергу было не около ста, а всего лишь около девяноста. Он был сильно согнут и достигал мне примерно до пояса. Опрятно одетый (на чем, интересно, он гладит рубашки и брюки и как вообще поднимает утюг?), перламутрово-бледный и без пятен на коже, какие часто бывают у глубоких стариков, но главное, его редкие волосы почти не поседели. Мы стояли в однокомнатной квартире на первом этаже. Было полутемно от оконной решетки и штабелей на подоконнике – книг и папок-регистраторов с распечатками, сразу напомнивших мне офисы «нулевых». На столе под их сенью светлел компьютер, о котором, если бы такое было возможно, я сказал бы, что он древнее самого Будберга.

Будберг стоял ко мне вполоборота, у окна, и я даже не совсем понимал, чем он занят: трогал ли клавиатуру, перебирал ли распечатки, или его руки просто витали, почти не перемещаясь,azole того и другого. Говорил он еле слышно.

«Мы ведь с вами коллеги?.. Я всю жизнь проработал в поликлинике, сначала терапевтом, потом гастроэнтерологом. До выхода на пенсию совершенно не было времени сесть и хотя бы обобщить... Хотите чаю?»

Развернуться в направлении кухни ему было бы нелегко.

«Спасибо! Я сам сделаю, если позволите».

В кухонном хозяйстве Будберга я разобрался быстро. Электрический чайник стоял уже под парами и вскипел за полминуты, я кинул в кружки по пакетику.

«О, что это?» – Будберг вытянул палец точно по траектории к карману моих брюк.

«А, это мой гений. У Сократа ведь был гений...»

«Гений Сократа... – Будберг засмеялся тем, что осталось от смеха, вроде крошева. – Можно мне...»

Я вложил Лабубу в его протянутые невесомые ладони, и те бережно сомкнулись створками вокруг маленького тельца.

«Какой красивый!» – Будберг поднес мордочку Лабубу чуть не вплотную к глазам.

Красота какая, вспомнил я Васильева не к месту. Мысль мелькнула, но нет, еще и своего гения я Будбергу не отдам.

«Вас это, может быть, удивит, но я считаю себя вашим учеником. Хотя... Все мы ученики... Все мы ученики...»

«Ученики в Саисе», – сказал я.

Будберг с улыбкой показал белым пальцем куда-то в угол под потолок, где бывает динамик или камера наблюдения. На платяном шкафу стоял прислоненный к стене портрет Новалиса.

«Давно хотел вас спросить... – Он посмотрел на меня прямо и ясно, как давно смотрел иной раз тоже кто-то почти от земли – маленькая Аня?.. – Вы углубленно изучали Парацельса... Как вы считаете, он действительно верил в возможность получить эликсир бессмертия?»

Обычно Парацельс вмиг завладевает моими устами, но тут он бросил меня барахтаться. Я помыкался от Новалиса к дедушке компьютеров, обошел умоляющими глазами всю комнату, но так и остался без поддержки.

«Парацельс... – решился я наудачу. – Парацельс... я думаю, он... не искал эликсир бессмертия, он считал, что после смерти человек восходит в свое внутреннее небо, сливается с ним, и это и есть бессмертие – слияние с нашим внутренним, духовным, изначальным человеком, homo maximusом, первочеловеком Адамом Кадмоном. Он внутри, и вокруг, он и меньше, и больше, он и часть, и целое, мы с ним и едины, и только *можем* соединиться. Нижнее, оно же внешнее, должно соединиться с верхним, то есть внутренним. Не совсем понятно, чем это обернется для плотского тела, исчезнет ли оно, войдет ли полностью в тело духовное?.. Парацельс разъяснений не дает, но я думаю, при слиянии двух тел возникнет третье, не плотское и не духовное, а нечто вообще иное, настолько иное и не представимое, что тут Парацельс умолкает».

Умолк и я, потрясенный.

«Мы разрешили мои сомнения! – сказал Будберг с какой-то благодарной живостью. – Алексей Алексеевич, знайте, что как бы ни сложилось в будущем...»

«Владимир Натанович, мы издадим вашу книгу». – Я хлопнул по подлокотнику кресла, насорив поролоновой тряпкой.

Возможно, Будберг усмотрел за «мы» дружную команду профи издательского дела, но я имел в виду себя и его.

*

22-го я подошла к магазину японских ножей за десять минут до конца твоего рабочего дня. Ты вышел через вертящуюся дверь, спустился по ступенькам и пошел к машине. Я перебежала улицу и остановилась позади тебя. Не знаю, как ты меня услышал, но ты обернулся.

«Вы меня ждали?»

«Андрей Николаевич попросил передать вам это на память. – Я протянула тебе лист из блокнота. – Это каббалистическое Древо Сефирот, диаграмма божественных эманаций, в общем, схема духовной Вселенной. Тут все подписано, а на обороте – пояснение».

«Передайте ему от меня огромное спасибо! Ух ты, какое... Если я чего-то не пойму, найду в интернете. Простите, спешу. Всего вам доброго!»

Ты махнул мне сложенным вчетверо листком, сел в машину, и я смотрела, как она отрывается от тротуара, дает задний ход и затем едет прочь от клиники. И вдруг я побежала. Ты не мог меня видеть в зеркальце, потому что я бежала не вслед машине, а вместе с ней, параллельно движению, оглябая пешеходов. Я впервые так бежала с тех пор, как переболела ковидом.

...Я впервые проснулась наполненная и окутанная таким теплом. Я подтянула ноги к груди и заплакала, радуясь и теплу, и слезам, и тебе... и своей любви, и себе, в конечном счете.

*

«Дорогой Алексей Алексеевич!

Большое спасибо Вам за нашу сегодняшнюю встречу.

Ваш В. Н. Б-г».

Я аж фыркнул. Ну надо же так подписаться – сразу видно, не православный.

«Ты-то больно православный: когда перекрестился последний раз?» – сказала мне Алиса, хотя какая еще Алиса – сказал мне не знаю кто.

Васильев вышел из операционной. Мне показалось, будто бросаюсь ему наперерез, и при этом я понимала, что не превышаю среднюю скорость озабоченного пациента. Васильев притормозил; что выражало его лицо, я не видела, потому что уже говорила: Роман Валентинович, простите, пожалуйста, я отниму у вас всего минуту, видите ли, я ищу работу, не могли бы, если вам это не доставит хлопот, узнать через дочь, нет ли в ее школе вакансии преподавателя музыки, я была бы вам бесконечно признательна. Да, я уже говорила – и за мгновение услышала всю тираду, но Васильев не услышал ни звука.

Я открыла рот. Несколько секунд я боролась с окоченевшими мышцами гортани. И несколько секунд мои глаза стояли перед его глазами будто поставленные к стене.

«Слушайте... – Васильев прижал руку к груди, там, где под робой, на золотой цепочке, должен был висеть крест. – Я терпел сколько мог ради Лехи, честно, но ведь вся клиника ржет. – Он сделал паузу и сощурился: – Езжайте себе тихонечко домой, а?»

Я еще стояла и слышала за спиной его шаги, все дальше, дальше по коридору, его энергично-легкую походку, любимую, страшно и как никогда любимую, я еще стояла, стояла, стояла, но ничего уже не было, и я стояла нигде.

...«Вся клиника ржет». Я прошла мимо стойки администратора с виниловыми волосами, не поворачивая голову ни на градус вбок.

«Вся клиника ржет». Спускаясь по лестнице, я вставала на каждую ступеньку обеими ногами, но в клинике это, наверное, никого не удивляло.

Меня видели все. А я видела всегда только его. Только он существовал, и я не знала, что теперь существует.

...Я расстелила постель, разделась, надела ночную рубашку, легла и укрылась по горло одеялом. Маму, я помнила, Леша вытащил в зоопарк, и они вернутся к обеду... а когда обед?.. который сейчас час? Но когда спишь, время течет по-другому.

Я увидела его глаза. Улыбающиеся глаза. В последний раз. И всегда.

...Кто-то тряс меня, это был Леша. За ним на краешке стула с моей одеждой в полуобмороке приткнулась мама.

«Что ты приняла?! Мы тебя еле добудились!»

«Ничего. Мне просто очень хотелось спать, и я заснула. Можно я еще посплю?..»

...Они сидели напротив кровати, теперь Леша на стуле с моей одеждой, а мама в кресле из своей комнаты – наверное, Леша его притащил. Оба читали мои детские книжки: брат Гауфа, мама Драгунского.

...«Ну все, ну все, хватит спать, ты уже почти сутки спишь, дольше уже вредно, это я тебе как без пяти минут врач говорю...»

Я потянулась. Леша приподнял меня под спину и протащил подушку вверх, так что она встала вертикально. Вместе со мной на нее оперся Лабуку.

«Мама ужин готовит, сейчас поедем... Так как – поесть?..»

«Можно», – сказала я, пробуя голос.

Леша кивнул, подался назад и лег поперек кровати у меня в ногах, вернее, положить удалось только туловище, ноги продолжали стоять на полу. Макушкой брат упирался в стену и все же как-то сумел закинуть одну руку за голову. Когда ему было восемнадцать-двадцать, я часто видела Лешу лежащим по вечерам на его тахте – рука за головой, раскрытая книжка еле заметно поднимается и опускается вместе с грудью, от задумчивости лицо немного сердитое. Я ждала, не сомневаясь, что первым словом, которое прозвучит, будет «Парацельс».

«Вчера было первое занятие на курсах переподготовки для врачей, – произнес Леша в потолок. – Думаю устроиться терапевтом в районную – у них не хватает кадров, я узнавал».

«Это будет самая нервная работа в твоей жизни».

Леша усмехнулся одновременно и виновато, и кисло.

«Мама тоже не верит, что я осилю».

«Я не то...»

«Да нет, чего уж там. Я и сам в себя не шибко верю. С другой стороны, достаточно я нервы берег. – Леша говорил с непривычной раздельностью, и для него она казалась медлительностью. – Мама говорит: зачем тебе, ты же философ! А я ей: мамуль, я неудачник. А она мне: одно другому не мешает!»

Леша засмеялся, и я за ним, но вдруг он оборвал смех и посмотрел на меня с выражением, которое, если бы не голубизна глаз, я назвала бы канонически собачьим.

«Это все я. Моя вина. Понимаешь, я-то думал тебя отвлечь, развлечь, а оказалось, что...»

«Перестань. Король и Королева так и так погибнут, соединившись, но иначе им не родить философского сына».

«Я серьезно!»

«А философский сын – это, по-твоему, несерьезно?»

«Опять вы про эти страсти?» – Мама заглянула в комнату.

«Страсти, страдания, а в конечном счете – слишком много пафоса! – Леша вскочил, несколько раз хлопнул в ладоши, а потом еще прищелкнул пальцами. – Why can't I be good, why can't I act like a man? Why can't I be good and do what other men can? – Леша чуть раскачивался, поворачивался в одну-другую сторону, двигал плечами и руками, ритмично топтался на месте, словом, танцевал. –

I don't want to be weak
I want to be strong
Not a fat happy weakling
With two useless arms
A mouth that keeps moving
With nothing to say
An eternal baby
Who never moved away!¹

Почему я не могу быть хорошим?! Почему не могу пахать в трех местах? Почему не могу отправить мать и сестру в Дубай?»

«Не нужны мне никакие дубай, ты же знаешь», – сказала мама.

Ни капельки не жирный, Леша двигался смешно и грациозно, так что казалось, для смешного он старается, а грациозно выходит само собой. Мама смотрела на него с обожанием. Мы обе, должны быть, смотрели на него с обожанием.

¹ Песня Лу Рида «Почему я не могу быть хорошим?»

Почему я не могу быть хорошим?
Почему я не могу вести себя как мужчина?
Почему я не могу быть хорошим?
И делать то, что могут другие мужчины?
<...>

Я не хочу быть слабым.
Я хочу быть сильным.
Не жирным счастливым слабаком
С двумя бесполезными руками.
Ртом, который продолжает двигаться,
Но ничего не говорит.
Вечным ребенком,
Который никогда не сдвинется с места.

*

Васильев позвонил, когда я забирал из типографии первую порцию тиража будберговой книги. Впервые я слышал смущение в его голосе, он даже как-то подхихкивал.

«Слушай, это, я понимаю, не самое в нашем возрасте, скажем так, ожидаемое, что ли, событие... В общем, звоню пригласить на свадьбу».

«На свадьбу?!»

Излишне говорить, что за картинка мне явилась – картинка, я знал, неправильная, невозможная, но и неизбежная.

«Мы с Дашей расписываемся, – уже без подхихкивания, совсем серьезно, ответственно и весомо. – Ждем тебя в субботу. Адрес и точное время пошлю через Телеграм. Ты ведь есть в Телеграм?... Алло?»

«Да-да, – вернулся я откуда-то, куда на миг коллапсировал. – Ты больше мне ничего сказать не хочешь?»

Молчание там, тоже миг.

«А что должен?» – чуть-чуть агрессивно.

«Должен – это немного не... Впрочем... Вот ведь беда какая: я, горемычный, ногу сломал. Самым безумным образом, расскажу как-нибудь на досуге. А гость в гипсе на свадьбе врачей – это уже совсем не смешно. Короче, вычеркивай меня».

«Поди ж ты, как обидно, – сказал Васильев, и почему-то я ему не поверил. – Ногу сломал. – Это он повторил кому-то рядом. – Ну, что уж теперь, поправляйся! Пока-пока!»

И отключил связь.

Господи, Господи, сказал я и сам не поверил, что говорю с Ним, пусть она не узнает, пусть не узнает, ну, разве что через год, а лучше лет через десять.

*

Последние две недели прошли в хлопотах вокруг презентации книги Будберга. Автора пришлось на нее уламывать, пока он, проникшись, сам не предложил Дом Лосева. На издание книги тиражом сто экземпляров и все прочее я пустил то, что наконец-то выплатил Черновицкий, плюс занял у него в счет следующей зарплаты. Это были мои первые взятые в долг деньги с тех пор, как я занимал у отца на всякие пустяки.

Со стороны Будберга присутствовали двое грибовидных бывших коллег (его жена давно умерла, дети и внуки жили за границей), с моей – мама и Лаура. Как ни упрасивал я Лауру исполнить на презентации хотя бы одну из тех трех песен, она отказалась категорически, но они с Будбергом все равно остались друг от друга в умилении. Я пригласил несколько историков науки, так словно себя зарекомендовавших в австрийском посольстве, но они не пришли. Александра Кабукова тоже не пришла, впрочем, она и вправду занятая женщина. Зато пришел Черновицкий, которого я пригласил, не рассчитывая. Мне еще было в новинку знать его как Робин Гуда, при котором я чуть не стал Маленьким Джоном и, похоже, навеки *пропал* для Леди Мэриан.

Представляя Будберга и книгу, я обратился к залу с такими словами:

«Камень... – Трое на трое, Будберг, Черновицкий и Лаура, знающие, о каком камне идет речь, против мамы и двух престарелых врачей, не знающих. – Камень, он не только в нас, он везде и повсюду, поэтому, с одной стороны, он вещь ничего не стоящая, а с другой – его надо сотворить, чтобы он был, и тогда, сотворенный, он становится вещью самой ценной. Так же и книга, которую мы сегодня приветствуем среди нас. Пока ее не написали, изложенное в ней было настолько очевидным, что никто его не замечал. Но теперь, когда эта очевидность облечена в книгу, она стала знанием, с которой нельзя не считаться».

Затем настал черед автора. Будберг встал перед залом, раскрыл книгу и неожиданно звучно провозгласил:

«Эпиграф: “Сила воли есть главное в медицине”. Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хоненхайм, прозванный Парацельсом. – Будберг старчески сглотнул и прочел уже тише: – Единственная подлинная задача медицины – победить смерть. Физическая невозможность не должна перекрывать здесь для нас метафизическую возможность, которая означает... – Тут он закашлялся. – ...Означает...» – и закашлялся снова.

Я хотел было взять у него книгу, чтобы продолжить с того места, где он остановился, но Будберг понял мое намерение и замотал головой. Откашлявшись, он улыбнулся и произнес своим обычным тихим голосом:

«Вот, пожалуй, и все».

Затем эстафета перешла сначала к одному, потому к другому коллеге, но переход между ними был не особо явен: и тот, и другой говорили долго, напористо, сбиваясь, как на юбилее, о том, каким прекрасным врачом был Будберг, как ценило его поликлиническое начальство, про какие-то пикники с шашлыками, на которых он читал какие-то стихи, и прочее, и прочее. Им поаплодировали, да и Будберг выглядел довольным.

Больше желающих высказаться не оказалось, и, чтобы не утомлять виновника торжества, я все быстро свернул, но, перед тем как отпустить народ, представил друг другу Будберга и Черновицкого.

«Мы, как старые алхимики...» – уже повернувшись к будберговым коллегам, услышал я последнего, годящегося первому в сыновья.

Вот, пожалуй, и все.

После того как мы с мамой и сестрой обнялись и поделили меж собой ношу «авторских», ко мне бочком, с усмешкой подступил Черновицкий.

«Ну как, созрели?»

Прочитав мой ответ во взгляде, он рассмеялся. Что мне больше всего нравится в этом человеке, так то, что с ним просто невозможно испортить отношения.

*

Однажды Даша попеняла мне, мол, пациент, которому я на второй-третий день после операции говорю, что он прекрасно выглядит, иначе как издевательство это воспринять не может. Я сказал: ошибаешься, во-первых, *они* и впрямь выглядят гораздо лучше, а если сравнивать с тем, какими ко мне приходят, то даже прямо прекрасно – исчезает эта маска страдания и страха, глаза оживают. А во-вторых, я вижу по этим самым глазам, что человек мне верит. Верит не буквально, что прекрасно выглядит, а что плохое позади и все теперь будет хорошо. Я не имею права сказать: «Все будет хорошо», потому что никогда, никогда не известно, как оно будет, а «Прекрасно выглядите!» – считай то же самое, только без гарантий. Это такой тонкий момент, который один из десяти пациентов улавливает, и тогда в глазах я вижу скорее признательность за мои слова, чем веру, но у девяти из десяти – вера безоговорочная.

Она посмотрела на меня не с верой и не с признательностью, а так, будто я ее разочаровал. Она, сестра Клобукова. Так, будто рассчитывала услышать что-то совсем другое, вообще о другом. Тогда у меня и закралось подозрение, не мальчик все-таки.

Я виноват и не отрицаюсь. С самого начала ведь знал: игнорировать, игнорировать, игнорировать – не затянешь узел, не придется потом рубить. И затянул. На этаже стали при виде нее ухмыляться, и ладно бы только эта сучка за стойкой, но даже Гришин, даже Минакова, приличные люди, – даже Даша улыбалась снисходительно, и меня вдруг пробило: да что ж это такое, она ведь здесь ради меня, а я закрылся и не хочу защитить ее от этих ухмылок... И дал слабинку – заговорил, спросил, что читает, и, пока она шептала, перепуганная, отводя глаза, понял, как же прокололся. Она ведь – сто процентов – решила, что мы теперь «общаемся», раньше она приходила и явно ничего не ждала, а после этого дурацкого разговора будет ждать... Нет, ждать она не будет, она в следующий раз сама заговорит, тут и к гадалке не ходи.

В тот день, когда к ней подседа девчонка из отоларингологии, а потом они вместе ушли, хотя она раньше ни разу не встала со стула, пока я не встану, – в тот день мы с Дашей *объявили* и как раз отмечали узким кругом, потому она, видно, и не подошла. Потом отпуск – две недели с Соней в Таиланде, последние только *наши* недели, и Соня наконец успокоилась или примирилась, и я сочинил, что скажу сестре Клобукова, когда она подойдет и заговорит, нечто такое шадящее, но твердое. И тут по прилете выясняется, что менеджер перепутала даты отпуска и у меня прямо в день выхода удаление продолженного роста олигодендроглиомы левой лобной доли с костнопластической бифронтальной рекраниотомией. Причем мужика дважды оперировали в федеральном медцентре, а при третьем рецидиве там же отказали, мол, неоперабельная. Без слов ясно: для него – последний шанс, «для клиники» и для меня – дело чести или вопрос престижа, с какой стороны посмотреть. Работали шесть часов, чудом не повредил, выделяя из ткани опухоли ветви передних мозговых артерий, но в итоге и сосудистую стенку удалось сохранить. Может, я отвык от таких вызовов, в отпуске расслабился, может, возраст дает себя знать, но вышел на дрожащих коленках, и тут она, чуть не наскакивает. Я матюгнулся про себя, но тут же «включил доктора», улыбку надел, а она молчит, только смотрит с каким-то душераздирающим отчаянием, с каким-то, прости господи, священным ужасом, и тут я понял, что она же ведь никого и ничего не видит, кроме меня. И вдруг почувствовал к ней такую ненависть, что я напрочь забыл, что там сочинил в Таиланде, и бухнул как на душу легло. Через несколько минут, уже у себя в кабинете я одумался, выскочил, вернулся, чтобы извиниться, но ее уже не было. Ничего, сказал я себе, пойдю и извинюсь в кафе. Но ее не было и там, впервые за эти три месяца.

Слава Богу, Даша выходила во вторую смену, и мы с Пашей сидели только вдвоем. Он с таким недоумением озирался, что мне, не будь погано, сделалось бы смешно.

«Не вертись, она не придет».

Немногословный Паша поднял брови.

«Кинулась ко мне, только я вышел из операционной. Я и так был не в себе, как и ты, наверное... В общем, отбрил ее. Сказал, что терпел только из-за брата, что все ржут».

Пашино лицо не менялось, но я читаю его – и лицо, и всего Пашу – как открытую книгу. Молчаливых людей вообще читать гораздо проще, чем говорунов вроде меня.

«Да, сорвался, не заслужила, но нет худа без добра: теперь она знает, что, вздумай на меня заявить, ни одна собака ей не поверит. Как фамилия того парня, Костин, Костиков, – ну я тебе рассказывал?... Он у Амиряна без году неделя работал, я и запомнить толком не успел, так оперативно его вышибли после обвинения в домогательствах. А ведь клялся-божился, что он к этой истеричке и подошел-то всего раз, чтобы чутко, деликатно, по-человечески – почему, мол, не может, и тэ дэ и тэ пэ!.. Спасибо, лицензии не лишился. Мне бы увольнение не грозило, ни Черновицкий, ни Амирян, ни эта дурында в “Мед-Премиум” не посмели бы, но разнеслось бы мигом, и все – собственная клиника накроется...»

Паша втянул голову в плечи, словно ему снег упал за шиворот, – он почему-то терпеть не может мат, а потом сказал:

«Твоя бы не заявила».

А то я не знаю.

Только в субботу, когда ее снова не оказалось ни на нашем четвертом, ни на седьмом, у меня понемногу начало проясняться, что же произошло, и я, редкость для меня, даже Бога поблагодарил за то, как паче чаянья вышло.

Ведь поговори я с ней так, как приготовился, она продолжила бы ходить – и рано или поздно узнала бы про нас с Дашей, от какого-нибудь доброхота или скорее доброхотки. После того взгляда, которым она на меня смотрела в последний раз, я могу сказать: ее бы раздавило. Катком. А я, сам того еще не ведая, удалил ее подчистую. И извиняться ни капли не обязан. Операция – всегда выбор между плохим и худшим, когда выбирать больше не из чего.

Даша настаивала, чтобы я пригласил Клобукова, и не понимала, почему я увиливаю. Наконец, под ее нажимом и при ней я, скрепя сердце, «набрал» и только уповал на клобуковский дар,

которым он, по идее, должен расчихать, хотя при чем здесь дар? Если он в курсе – а он, кажется, в курсе, – то ничего ей не скажет. И я больше их не увижу, ни Клобукова, ни ее. Хотя полных гарантий нет никогда, это-то мне как никому известно.

*

Я зашла в клинику всего раз – поблагодарить Екатерину и рассказать, что с нового учебного года выхожу на работу учительницей музыки младших классов. На пятый этаж я поднималась пешком и помедлила на площадке четвертого. Я стояла и смотрела в перспективу коридора, насквозь, до конца, как в проход из зеленого сияния.

Кто-то сжал мое запястье. «Паша» глядел на меня почти скорбно, но всего пару-тройку секунд, я затем отпустил мою руку и настолько быстро, насколько вмещала его важность, зашагал по коридору прочь. Я смотрела ему вслед, пока он не скрылся за дверью своего кабинета.

Я так и не поняла, что он имел в виду.

6. Грубое нарушение профессионализма

Не приносить домой работу мы с Дашей договорились давно, но систематически нарушали уговор. Рассказывал, само собой, больше я, и не только потому что притаскивал еще из двух клиник помимо «нашей». Я люблю, когда меня слушают, – врачу это в минус, но против натуры не погрешь. Ольга слушала меня всегда с интересом, но она не медик, и ее интерес касался только людей – пациентов и коллег, характеров, отношений, даже внешности, а профессиональная сторона у нас повисала в воздухе, и за эту обделенную сторону я переживал как живое существо. С Дашей можно было не только рассказывать, но и обсуждать, и даже если говорил я один, а она молча слушала, что случалось частенько, это всего равно было *обсуждением*.

А тут я вспомнил Ольгу. Вспомнил это ее обидное для моей работы замыкание на людей. Егор пропал на какой-то очередной секции (я даже не стараюсь удерживать их в голове, да это и не моя забота, с чем Даша, слава Богу, согласна), Соня – у подруги, и я знал, что, если они захотят погулять летним вечером, она будет дома ни минутой позже девяти. Мне весь день не терпелось поделиться, точнее, обсудить с Дашей, и особенно потому, что главное я должен был от нее утаить.

«...По симптоматике типичная картина глиомы правой височной доли, причем, скорее всего, злокачественной, а проверить никак: МРТ нельзя – инсулиновая помпа стоит, ПЭТ тоже – потому что четырнадцатая неделя. Двадцать шесть лет, первая беременность, хочет сохранить ребенка. И что прикажешь делать?»

Даша пожала плечами.

«Ждать, пока родит».

Порой Дашина невозмутимость меня раздражает.

«За четыре-пять месяц представляешь, куда эта опухоль прорастет?»

«Если злокачественная. Если опухоль. Пока нет точного диагноза, о чем говорить? И вообще, что ты предлагаешь?»

Логичность Дашиного мышления тоже порой раздражает, хотя я догадывался, что раздражать меня до завтрашнего утра будет все, а завтра утром...

«Вообще я ничего не предлагаю, я мыслю вслух».

«Сорри. А зав. отделением что?»

«Что, что... То, что и ты: ждать».

Даша вздохнула, показывая, что *для нее важны мои чувства*.

«Девушке не повезло. Мы здесь ничего поделать не можем».

Трещина между нами пошла не вдруг. В конце концов, мы слишком долго «прикидывали» и «взвешивали», даже для зрелых людей со своими непростыми бэкграундами, а такое размазыва-

ние, как видно, мстит. Но основной удар нанесли, конечно, зимние праздники, точнее, Дашино предложение и мое согласие оставить Союю одну, пока мы будем в Архызе (я тот еще горнолыжник, но Даша обещала меня натаскать). Лететь туда вчетвером всего через три месяца после нашего с Соней Таиланда выходило начетисто, не говоря о том, что и я, и Даша смотрели на эту поездку как на эрзац свадебного путешествия и «семейный формат» однозначно не годился. Дашин бывший куда-то тоже намылился со своей нынешней, сына взять не мог или не хотел, так что Егора на неделю отсылали к Дашиным родителям в Тулу, что было неприятно для меня почти так же, как для самого четырнадцатилетнего парня, который потом всю жизнь будет поминать «злому отчиму» те загубленные каникулы. С Соней после Таиланда все было на первый взгляд спокойнее и легче, она нас «отпускала», но куда «отпускали» ее мы? К Ольге и ее мужу? Ольга не возражала бы, но Соня, я знал, едва вытерпливала и пару суток с матерью. Стоит им оказаться вместе, они, как и прежде, сшибаются по любому поводу, а вдобавок Соня *Ольгиного* терпеть не могла. Соня глядела на меня покорно-жалобно, а я только что не нарезал круги по потолку. Тогда-то Даша и предложила просто-напросто оставить Союю дома одну. Положиться на ее благоразумие почти взрослой девушки. Соня ее чуть не расцеловала, и я не мог отмахнуться от подозрения, что Даша Сониному благодарность, так сказать, заложила в расчет прибыли. И вообще мне что-то смутно или даже мутно не нравилось, хотя я должен был радоваться: конфликт потушен в зачатке, Дашины-Сонины отношения укрепились, мои-Сонины не подорваны. Вчетвером мы встретили Новый год (Соня перед тем встретила его с друзьями, разумеется, но искусно делала вид, что *настоящее* празднование именно это). Первого января мы проводили Егора на вокзал (я подумал, что шестнадцатилетнюю Союю не отправил бы поездом одну, но, с другой стороны, Даша мне и как хирург дает сто очков вперед по хладнокровию), а второго Соня проводила нас в аэропорт. Дважды в день мы выходили на видеосвязь, Соня каждый раз говорила, что у нее все прекрасно и что она по мне скучает, при этом выглядела счастливой, но не как дорвавшаяся до воли, в рамках своего почти взрослого благоразумия. Даша оказалась права, мы хорошо проводили время в Архызе, Соня – в Москве, но какой-то осадок все же остался, может, потому, что я позволил сделать так, как сам не сделал бы. Впрочем, то-то и оно, что я был уже не *сам*.

Праздники кончились, теперь главное было, чтоб и будни выдержали испытание и потекли гладко. При моем режиме – без выходных, но только в первую смену, чтобы с середины дня быть свободным, – мне ощутимо не хватало тех часов, которые я раньше уделял только Соне. Я поговорил с Дашей, она дала добро, и я переставил себе смены в воскресенье, чтобы приезжать в клинику к двум. Теперь первая половина воскресного дня, пока Даша на фитнесе, принадлежала нам с Соней. Мы выбирали, пойти в кафе, или каток, или, уже весной, побродить по центру Москвы, или остаться дома и смотреть фильм. Егор никогда нам не навязывался и тусил где-то со своей компанией. Для него переоборудовали так называемую гостиную, которой мы с Соней, имея по собственной комнате, раньше толком не пользовались, она была почти вдвое больше его берлоги в Дашиной съемной квартире, и парень казался довольным, насколько подростки бывают довольными. Они с Соней друг друга, что называется, приняли. Соня изображала толерантность, Егор изображал легкое презрение, когда даже задрать неохота. Так что, кроме утренних очередей в ванную, пожаловаться никому было не на что и не на кого. Даша, перестав платить за съемное жилье, теперь помогала мне закрывать ипотеку. Она находила время и для сына, и для меня, мы с ней до сих пор любили побыть и поговорить вдвоем. Но трещина так и не заросла, причем я ее видел, а Даша нет. Видел и не понимал, почему она так упорно бросается мне в глаза. Иногда я приглядывался, не стала ли она шире, и всякий раз говорил себе, что шире не стала. А это, в конце концов, главное.

Главное... Главным сейчас было то, о чем я подумал сразу, как вырисовалась проблема, к чему возвращался весь день и что утаил-таки от Даши. Позвонить Клобукову. И я позвонил ему утром по пути в «Мед-Премимум», пока ни о чем не подозревающая Даша ехала на другой конец города в «наш» Promed. С Клобуковым мы не разговаривали с октября, с того, будь оно проклято,

приглашения на свадьбу, но я решил заговорить так, словно приглашения не было и словно мы трепались только вчера, в расчете на его тонкость, мудрость, хитрость – чем там он должен был все-таки обзавестись, отмахав полвека.

«Привет! Не разбудил? Есть пара минут?»

«Нет-нет, то есть, да, не разбудил и пара минут есть... Привет, Рома».

Голос у него был странно уставший. Не тонкость, не мудрость, не хитрость – усталость, откуда она ни возьмись у Клобукова, сыграла мне на руку.

«Слушай, как насчет того, чтобы помочь старому институтскому товарищу? У меня в клинике на “Белорусской” пациентка, по клинической картине на девяносто процентов опухоль мозга, а и МРТ, и ПЭТ противопоказаны: первая из-за инсулиновой помпы, вторая из-за беременности, причем еще только второй триместр, то есть ждать месяцев пять...»

«Да ведь если злокачественная!..»

Клобуков был первым, кто сказал это, не дожидаясь, пока скажу я.

«Именно. Но тут уж ничего не поделаешь, но я хочу проверить свой предварительный диагноз. Сможешь завтра подъехать я скажу, куда?»

«Ох, Рома, завтра у нас вторник?.. Я же теперь уже не ветер вольный, а как и ты – от звонка до звонка: весной сдал на аккредитацию и вот уже месяц тружусь в районной поликлинике терапевтом».

«Шутишь? Извини. Просто...»

«Не извиняйся. Ты меня в некотором роде благословил, хотя, наверное, не помнишь».

«Отчего же, у меня с памятью все в порядке. Ну, поздравляю!»

«Спасибо, поздравить действительно есть с чем, вот только цену приходится платить немаленькую. Загруженность полная. Единственный выходной – понедельник. Лаура шутит, что я музеем или библиотекой».

Я умею различать паузы на слух – чисто профессиональный навык – и услышал, как он осекся, упомянув сестру.

«Окей, тогда в следующий понедельник во второй половине дня».

«Увы, не могу. Почти весь день буду занят».

«Слушай, к тебе теперь и не подступись! Признавайся: на дачу собрался, матери огород вскопать?»

«Если бы огород... Да и насчет копания... – Глубокий вздох. – Я-то уверен, что он предпочел бы лежать в земле, но сыновья выбрали кремацию. – Мне показалось, что Клобуков заговаривается, и я, как с пациентами, не перебил, хотя холодок в груди ощутил – все-таки Клобуков не пациент. – На прошлой неделе скончался один мой коллега, который много для нас... для меня значил, притом что мы познакомились меньше года назад. Ему было девяносто, казалось бы, все естественно и закономерно, не то что, например, мой отец, который... Я тебе рассказывал? Ладно, в другой раз. Так вот, сколько ни убеждай себя в естественности и закономерности, когда *это* происходит, понимаешь, что был ни чуточки не готов...»

«Соболезную», – сказал я, но, наверное, вышло совсем без тепла, потому что Клобуков понял по-своему.

«Да-да, прости, перехожу к сути. Церемония в понедельник, сыновья прилетают один из Германии, другой из Штатов, а я кто-то вроде душеприказчика, то есть не буквально, конечно, но, так или иначе, я должен их встретить – один рейс ночной, другой утренний, – отвезти на такси к крематорию, а потом прощание и поминки...»

«Все понял. Если я заберу тебя где скажешь часа в два?..»

Клобуков снова тихо охнул, и мне начало казаться, что он ищет увильнуть.

«И... И что нам предстоит на “Белорусской”?»

«Как что? Ты ткнешь пальцем, и я пойму, прав я или ошибся в предварительном... Стоп, стоп, ты же не думаешь, что я вот так, без визуализации, без снимка, просверлю череп там, куда ты ткнул?!»

«По правде сказать, это я и представил. – Клобуков невесело хохотнул. – Хорошо, а смысл-то тогда в чем? Ты же сможешь на основании моего тыка поставить официальный диагноз, а соответственно и медикаментозную терапию назначить, пока суд да дело. Кстати, от химии она все равно отказалась бы – из-за ребенка, ну да это не имеет значения».

«В общем, ты отказываешься помочь?»

«Кому помочь? В чем? Одно мне скажи: если мой палец подтвердит твоё подозрение, вы выиграете хоть немного времени? Выиграете у опухолей?»

«Разумеется, нет». – Я даже опешил от такой неклобуковской глупости.

«Ага, стало быть, речь идет, называя вещи своими именами, об удовлетворении твоего профессионального тщеславия?»

«Называть ты умеешь», – не нашелся я, за секунду перебрав и отбраковав все варианты ответа.

«Тогда уволь».

По его тону, мягкому и уверенному, мне показалось, что он все для себя решил с самого начала.

Я стоял в пробке на третьем кольце. С теми запланированными на Клобукова двумя минутами произошло то же, что обычно происходит с моей дорогой от дома до клиники. Мы встали намертво, но тем и отличается разговор от трафика, что почти всегда можно перестроиться в другой ряд и выиграть.

«Вот ты говоришь, сколько ни убеждай себя в естественности и закономерности, сколько ни готовься, оно все равно бьет наотмашь. Нас чему учили? Что бывают ситуации, когда *медицина бессильна*...»

«Ага, Котов на это особенно напирал: главная фраза, которую должен уметь произносить врач...»

«...мысленно и вслух: “Это тот случай, когда медицина бессильна”. Да, Котов, старичок, – он у нас что читал? Внутренние болезни?»

«Патанатомию».

«Надо же, все помнишь, а я стал путаться... То есть, возвращаясь к бессилию медицины, – это, выходит, тоже естественно и закономерно, тогда почему, спрашивается, я и через двадцать лет каждый раз не готов? Потому что это каждый раз мое бессилие, мое, а не медицины!»

«Это не естественно и не закономерно, – почти обрезал меня Клобуков. – Естественно и закономерно для врача сила, а не бессилие»

Он произнес «сила», и я почувствовал в самом этом слове силу, силу сжатой пружины, такую, что, распрямись эта пружина, меня точно отбросило бы назад, как при резком торможении. С ней я не мог не считаться и быстро отмел уже подоспевшее ерничанье насчет Парацельса. Вспомнилось, как в тот день, когда Клобуков привел сестру, в день нашей встречи двадцать пять лет спустя, он сказал что-то о Парацельсе, и так сказал, что я не мог не принять этого всерьез, будто опять же какая-то сила взяла меня за шкуру. Хотя нет, когда берут за шкуру, обмякаешь, а я скорее уперся во что-то мягкое и неподатливое, своей силой – во встречную. И, как тогда, сдался теперь.

«Значит, я вполне естественно и закономерно ненавижу, когда ничего нельзя сделать».

«Всегда что-то можно сделать. – Я все чувствовал это упругое сопротивление. – Молиться. Ты не думай, – Клобуков примиренчески усмехнулся, – я сам это только осваиваю».

«А я читаю “Отче наш” перед каждой операцией, но последнее время больше на автомате. Вот мы с тобой оба верующие, может, ты разъяснишь мне, чего я не могу уразуметь. Девчонка с диабетом первой степени решила родить, и у нее опухоль мозга. За что?»

К моему удивлению, Клобуков не растерялся и даже не призадумался.

«Знаешь, много лет назад один человек уверял меня, что вопрос некорректен».

«Священник? Священники обычно так и отвечают: не *за что*, мол, а *для чего*. Только такое “для чего” ничем не лучше “за что”, тебе не кажется?»

«А я о другом, в смысле, тот человек говорил совсем о другом. Это трудно объяснить с кондачка... Знаешь что, а подъезжай все равно. Повидаемся. К двум – да, думаю, будет не рано, адрес сейчас скину... Если я, конечно, не очень тебя обидел, назвав своим именем эту самую вещь».

Тут было уже как раз *клубуковское*, сразу напомнившее студенческие годы, когда все, кроме меня, терпеть его не могли, а он то ли не замечал, то ли плевал. А почему я-то был исключением?

«Поработаешь врачом лет пять и тоже разучишься обижаться», – ответил я.

Клубуков засмеялся деланно, и я успел расслышать что-то вроде «тогда скидываю», а потом что-то вроде «ой-ой-ой», но я уже отключился.

*

«Я дико перед тобой виноват», – сказал Леша без предисловий.

Полуспящая, не зажигая свет и на все натыкаясь, я бежала в прихожую к своей сумке, откуда пускал угрожающие мамину сну трели телефон.

«Ну что еще?»

«Я договорился... Мы договорились... Короче говоря, к кафе, где будут поминки, подъедет Васильев. Понимаешь, я, идиот, сам предложил ему повидаться, и у меня начисто отшибло...»

«Что там буду я».

«Прости! Как меня угораздило?.. А в общем, что удивительного: голова от всего этого идет кругом... Но ни ты его не увидишь, ни он тебя, обещаю! В лепешку расшибусь!»

«Обойдемся без лепешек», – сказала я сухо по роли, хотя первая оправдала бы Лешину рассеянность.

Владимира Натановича нашла соседка, которая иногда ходила для него в магазин и помогала с уборкой, и первым делом, раньше, чем в полицию, позвонила Леше. Ни она, ни он не знали, как связаться с сыновьями, один из которых жил в Америке, другой в Германии. Леше очень не хотелось взламывать электронную почту, но тут цель полностью оправдывала средства, которыми, к счастью, располагал приятель соседкиного мужа. Леша написал Будбергам, получил по доверенности свидетельство о смерти, договорился с крематорием, заранее нашел нотариуса. Заниматься организацией погребения ему не пришлось – сыновья решили разделить и увезти прах, чтобы каждый захоронил часть на своей новой родине, – что Лешу только огорчило: его лишали возможности отдать Владимиру Натановичу последний долг, так он говорил, а свое посредничество называл мелочью. Он сильно горевал и при этом отказывал себе в таком праве, уступая его сыновьям и принижая то, за чем скрывал свое горе.

Без малого год Леша бывал у Владимира Натановича по несколько раз в неделю, часто со мной. Слушая их разговоры, а порой и участвуя, к чему Владимир Натанович меня всегда настоятельно приглашал, да только я не всегда осмеливалась, я вспоминала разговоры между братом и Андреем Николаевичем, в которых для меня совсем не находилось места и которые тем более будоражили. Сходство было только в одном – в Леше. Владимир Натанович, в отличие от Андрея Николаевича, если и мог называться религиозным человеком, то научно-религиозным и если философом, то натурфилософом, и скорее поклонником романтизма, чем романтиком. И уж точно не алхимиком – для алхимика он был слишком скромен. Их с Лешей беседы (когда не сворачивали сразу на темы узко медицинских; я тогда занимала себя книжным богатством, накопленным самим Владимиром Натановичем и его родителями) почти не касались христианского мистицизма и герметизма, а о древнеегипетских, античных и ренессансных практиках врачевания теперь уже брат мог поведать своему собеседнику больше, не то что пятнадцать лет назад. И если Андрей Николаевич держался немного как учитель – именно немного, потому что был и щедр, и милосерден, и тактичен, то Владимир Натанович – как ученик. Его такт и сердечность были иными, хрупкими подобно ему самому, и тоже отнюдь не только по старческой немощи. В их с Лешей дружбе старший был принимающим, а младший дающим. Но и старший дающим, а младший принимающим. Андрей Николаевич ни в чем не нуждался от тех, кому себя раздари-

вал, – от Леши, меня, молодых актеров, певцов и поэтов. А пятидесятиоднолетний и восьмидесятидевятiletний отражались друг в друге, один друг – в другом. Между ними была симметрия. Блаженнее давать, нежели брать, но Леша, кажется, впервые в жизни и брал, и давал, и, глядя на него там, у Владимира Натановича, я видела, что он счастлив.

Следующую неделю мы, то есть Леша, я, мама и соседка Варя, провели заочно с Будбергами в тревоге о том, дадут ли им вовремя визы. Леша готов был заплатить сколько нужно за хранение тела в морге, лишь бы сыновья смогли проститься с отцом, которого много лет навещали только виртуально, через скайп, а позже зум, правда, наперебой зазывая перебраться к одному из них. Под конец у брата развилась навязчивая идея, что Будберги вообще не получают виз и почему-то это будет ничья иная, как его вина перед Владимиром Натановичем. Я не подливала масло в огонь, а между тем боялась за него.

Наконец от каждого из младших Будбергов пришел ответ, что виза получена и он будет в срок. Всю неделю по неловкому уговору каждый, как выражался Леша, квант информации передавался от него мне сразу, в любое время суток, и, вероятно, брат еще не отвык, а спал он плохо с тех пор, как вышел на новую работу. Я стояла с телефоном в руке, обмирая от неурочного пробуждения и пытаясь почувствовать все почти десять месяцев между мной и Васильевым, а чувствовала каждый день этих месяцев, потому что каждый начинался и заканчивался им.

«Условились-то мы еще утром, и я тебе не звонил, потому что весь день метался – может, пока не поздно, дать отбой, а потом все-таки решил: нет, после того как я не пошел на свадьбу, это будет уже моветон... Ой-ой-ой, я мудилище!..»

Мне показалось, что снизу поднимается столб холода и засасывает меня.

«Куда ты не пошел?»

«Я мудилище», – проныл Леша.

«Я тебя услышала. Куда. Ты. Не пошел».

«На свадьбу».

Мамин голос был хриловатым со сна; она стояла в проеме, обхватив себя руками.

«Женился твой Васильев. На коллеге. Еще осенью. Леша должен был с кем-то поделиться, ты же его знаешь, а тебе мы не говорили».

Я смотрела на свою висящую руку с телефоном, из которого неузнаваемый, ничей голос звал «алло, алло». Мама подошла и обняла меня, и я заплакала. Это были слезы, опоздавшие на десять месяцев, но еще другие – опоздавшие на двадцать шесть лет. Потому что мама не обнимала меня, когда умер папа. Мама не обнимала меня с раннего детства, с тех пор как вместо нее меня стала обнимать крестная, и я не помнила маминых объятий. Когда она обняла меня теперь, я поняла, впервые, что мама любит меня.

С пола доносились какие-то завывания. Мы одновременно посмотрели вниз, на телефон, который я выронила, – это Леша рыдал, услышав, как я рыдаю, – и одновременно рассмеялись.

*

В тот вторник я ограничился пятью минутами с пациенткой, которой загодя назначил консультацию, опрометчиво положившись на Клобукова, и давно у меня не было более пустопорожних пяти минут. Уходя, я застал ее перед фонтаном в холле (дурында Шендяпина как-то собрала специальную летучку, только чтобы внушить нам, что у нас тут *патио*, а кто упорно говорит «холл», нарушает корпоративную этику, и главное – никто даже не хмыкнул). Так вот, я застал ее в *патио*: девушка стояла и смотрела, как падают струи шендяпинского фонтана, похожего на мраморный брандмауэр. На бордюре сидел, что вообще-то запрещено, молодой человек с рюкзаком и смотрел прямо перед собой. Они смотрели в разные стороны, и она, не оборачиваясь, положила руку ему на плечо. Мне стало больно. Не погано, как после срыва на сестру Клобукова, а больно. Я подумал, что выражение «светлая грусть» всегда казалось мне фальшивым, как пьяная слеза, но вот светлая боль – это реальность. И вспомнил, что мой интерес к неврологии и нейрохирур-

гии возник тридцать лет назад из желания разобраться с болью, разобраться во всех смыслах. А потом я узнал, что боль необходима и если бы стало возможно навеки уничтожить боль, мы оказали бы нашему организму медвежью услугу. Я люблю говорить это пациентам, произносить «медвежья услуга» особенно приятно, наверное, потому, что все связанное с медведем как-то надежно и внушительно. Болевой синдром действует как сирена, говорю я надежно-внушительным тоном, но иногда сирена срабатывает по ошибке, и тогда сама боль является болезнью, но в норме это явления разные, друг другу даже враждебные. Пациенты всегда внимательно слушают, долгие объяснения действуют на них успокаивающие, и я давно уже понял, что говорить, по сути, могу все что угодно. И тогда, может, стоит добавлять, что так называемая душевная боль, хоть она с точки зрения неврологии и не боль вовсе, и вообще абсурд, тоже необходима. Что боль бывает светлой. Впрочем, нет, это лишнее.

*

Прощающихся было пятеро: сыновья – обоим за шестьдесят, один грузный, другой, в отца, сублинный, – Леша, я и Варя. На самом деле шестеро, потому что Варя пришла с полугодовальным сынишкой в слинге, и не знаю, чего боюсь больше: что тот проснется и заплачет или что Леша не удержится от банальностей о круговороте жизни и вечном обновлении. Мои боязни не оправдались. Леша, когда сыновья предоставили ему слово, еле выдавил пару фраз, и я не к месту, но остро пожалела, что Будберги не были на презентации и не слышали его *тогда*.

На такой церемонии (слово «сожжение» я не могла произнести даже мысленно) я была впервые. И папу, и Андрея Николаевича хоронили в земле, а Андрея Николаевича еще отпевали, и потом была лития на кладбище. Все казалось странным: что гроб уезжает от нас и исчезает, что Владимир Натанович упокоится одновременно в Дюссельдорфе и в Атлантик-Сити. Если вокруг могильной насыпи можно было стоять еще долго, здесь делать было уже нечего, и мы пошли в кафе через дорогу, где Леша заказал столик.

Странными были, наконец, и поминки: Леша, я и Варя не употребляли алкоголь и заказали себе кто воду без газа, кто лимонад, а Будберги, отвыкшие от русских обычаев, взяли по бокалу красного вина. Не видевшиеся два года братья разговаривали в основном между собой. Варя, лет на пять моложе меня, начала было рассказывать мне о своих *старшем* и *средней*: одного предстояло забрать с продленки, вторую – из садика, но получалась в одни ворота игра, а тут еще ребенок проснулся и заплакал, и Варя, не смущаясь, дала ему грудь, после чего оба они замолчали.

Леша не проронил ни слова, давая со мной, и только смотрел в окно. Весь день он выглядел подавленным, и я знала, что это не только из-за церемонии, не только из-за предстоящего окончательного расставания с тем, что осталось от Владимира Натановича, а это были – даже скорее, чем прах, – и квартира, и книги, и вещи; что он все еще казнит себя за осечку и потом обмолвку насчет Васильева, которые я ему уже раз пять торжественно отпустила. С начала лета он похудел и постарел. Сказалась и аккредитация, которую Леша боялся провалить, и первый месяц работы, при его неминуемой отдаче на износ тоже выродившейся в ежедневный экзамен. «Нервностью» этой работы брат даже слегка бравировал, а об ее неблагодарности лишь проговаривался. Работа в поликлинике подкашивала его физически и истощала морально.

«Писанина душит, – говорил Леша. – Постоянно заполняешь какие-то формы, один отчет, второй, третий, как будто у тебя уйма времени, а между тем пятнадцать минут на прием – это катастрофически мало! Я не успеваю толком расспросить, вникнуть, дать рекомендации, но от меня этого, кажется, вообще не ждут – главное, подмахни направление к специалисту или на анализы, а если кто приходит вроде за консультацией, так все равно уже с диагнозом от ChatGPT. Пожаловался коллеге-терапевту с почти сорокалетним стажем, а она: тебе что, больше всех надо?»

Каждое его слово о работе походило на крошечную бомбочку, лопающуюся, брызгая разочарованием, но пятен от этих брызг полагалось не замечать. Смерть Владимира Натановича, а потом волнения из-за виз для Будбергов довершили переход от знакомого мне Леши к еще неиз-

вестному, до конца не открытому, как последний рубеж на краю земли. Сидя рядом с Лешей на поминках, я поняла, что прежний, *мой* был героем и спасителем, а новый – такой же, как я. Тот Леша был старшим братом, а этот – просто мой брат. Того я знаю, я этого – понимаю.

Дольше часа мы не высидели. Первыми поднялись Будберги, и Леша, очнувшись, испуганно взглянул на часы. Лишь теперь вспомнив о Васильеве, я поразились тому, что вспомнила о нем лишь теперь, и едва ли не сильнее – что увижу его, возможно, через минуту. Но через минуту я его не увидела, Леша выполнил обещание. Серебристый BMW подъехал, брат постучал в стекло и попросил отвезти Будбергов и Варю к дому Владимира Натановича – мне были подарены еще полчаса. Мы проводили машину взглядом и пошли ей вслед насколько возможно под палящим солнцем не торопясь. Держа мою потную ладонь в своей, Леша пытался, глядя себе под ноги и, кажется, импровизируя, объяснить, почему захотел увидиться с Васильевым. Я не вслушивалась и не вдумывалась. Я отмечала, что осталось уже десять, уже пятнадцать минут, и когда истекут они все, выгаданные для меня Лешей, когда сгинет последняя секунда последней минуты, сгинут и почти десять месяцев, и я окажусь там, где поставила на паузу себя, Васильева, само время. Там, куда так хотела вернуться и не знала об этом, слишком веря, что вернуться нельзя.

Вдруг Леша остановился, словно тоже лишь теперь что-то вспомнил, и посмотрел на меня с не узнающим удивлением:

«А хочешь, езжай домой, – и, проникшись своими словами, сразу *прежний*: – Что я, один, что ли, не управлюсь?! Точно! Езжай домой!»

Теперь уже я смотрела себе под ноги, но стоя как вкопанная. Последний раз я стояла так перед турникетом в одной из трех клиник, помнила, что я стояла, но не помнила, как он выглядел, и зачем-то я пыталась увидеть тот турникет, пока меня не осенило, что он был невидимым.

«Ну ладно, – мягко сказал Леша и так же мягко сжал мою ладонь. – Идем».

И мы двинулись дальше.

Сполоснув в ванной лицо, я сразу прошла на кухню. Чайный сервиз Ленинградского фарфорового завода надо было хорошенько отмыть от наслоений пыли и упаковать для перелета через океан. Этим сервизом мы с Владимиром Натановичем часто любовались вместе, когда он просил меня распахнуть створки буфета, словно какой-нибудь сокровищницы. Под чаепития использовались ширпотребные кружки, их я хотела попросить у Будбергов одну для Леши, одну для Вари, одну для себя. Мои руки и вода из крана оглушали меня. Я сосредоточилась на том, что делаю, но вот последний предмет был вымыт и вытерт. Я закрыла кран и почувствовала не засасывающий снизу столб холода, а острое холодающее дуновение внутри. За стеной звучал высокий братний голос, голос пониже – Евгения Будберга. Я знала, что он в комнате, я засекала его, проходя через прихожую, но тот голос, о котором трудно сказать, высокий он или низкий, из среднего регистра норовящий уйти то вверх, то вниз, голос рок-вокалиста, как я прозвала его для смеха и для радости, тот голос не слышался, и это была мука. Чего я не представляла, так это что не слышать и не видеть его, когда он здесь, окажется большей мукой, чем слышать и видеть.

Сервиз вдруг стал мне ненавистен, он держал меня за стеной от него, и я уже собиралась вылететь хотя бы в прихожую, когда старший из сыновей – Олег, похожий на отца, – вошел и встал у двери, нерешительно улыбаясь.

«Алексей только сейчас сказал, что вы певица...»

«Училась на певицу», – ответила я, как обычно отвечала, чтобы не лгать и не лукавить.

«Папа собирал фонотеку, у него были редкие записи Шуберта, Бетховена, Малера, Женя даже присылал ему диски из Германии...»

«Да, мы часто слушали».

«Возьмите их себе», – сказал Олег тише и с тихим нажимом.

«Спасибо, – сказала я, смутившись не столько даже от великодушия, сколько от его тихости. – Вы очень добры».

Олег помолчал, наблюдая, как я заворачиваю чашку в бумагу.

«Вы пели ему?»

«Нет. Он не просил».

«А мы с братом просим, – и таким же тихим нажимом: – Пожалуйста».

Я кивнула, и чашка в моих руках задрожала.

«Что-нибудь из Шуберта?..» – то ли попросил, то ли спросил Олег.

Я опять кивнула и отодвинула чашку – разбить ее я не могла, просто дрожание стало заметным. Я открыла кран мойки на максимальный напор, отвернулась в угол и стала вполголоса распеваться, как распевалась каждое утро этих почти десяти месяцев.

*

Мы договорились, что Клобуков еще позвонит из кафе, где будут поминки. Я подъехал в начале третьего. Клобуков уже стоял на обочине под руку с женщиной, и я не сразу узнал его сестру. Она была в прямом черном платье без рукавов и черных лодочках. Волосы у нее с тех пор отросли и падали по плечам. «Красивая», – выскочило в голове как на табло.

Едва я подрулил, Клобуков с этими его ошалелыми голубыми глазами забарабанил в поднятое при работающем кондиционере стекло. Я открыл ему дверцу, но он только просунул мне под нос телефон.

«Будь другом – отвези по этому адресу! А я туда своим ходом».

Не успел я опомниться, как в машину залезли не иначе как те самые заграничные сыновья и еще баба с грудным ребенком. Отчего-то раздосадованный, я рванул так, что пассажиров качнуло, тут же извинился, но ребенок уже заплакал, и мать стала укачивать его с пронзительным шипением. Мужчины сидели благоговейно прямо и нарочито молча. Вначале я подумал, что на них действовало прощание с отцом, потом предположил, что они или давно отвыкли от этих детско-материнских звуков, или даже не пробуют их перекрикивать, и наконец, пару раз поймав их взгляды, стал догадываться, что Бог его знает почему, но причина окаменения – я. Как только и плач, и шипение стали тише, один из братьев подался вперед и произнес с легким акцентом:

«Простите, но я не могу не сказать, какая для нас огромная честь, что вы выкроили время...»

«Да, да! – подхватил второй. – При вашей занятости! И само знакомство огромная честь!»

Я насторожился, чуя какую-то клобуковскую каверзу.

«Вот как? Огромное спасибо, я чрезвычайно тронут, но тут, кажется, недоразумение».

Теперь они насторожились, почуяв, как видно, то же самое.

«Алексей вам как-то меня отрекомендовал?»

«Ну естественно! Как своего друга», – ответил один.

«Прославленного российского нейрохирурга», – дополнил второй.

Я прыснул. Мамаша, то ли сообразительная, то ли просто смешливая, – тоже, оглушительно перейдя от «ш-ш-ш» к «пф-ф-ф». Задние пассажиры переглянулись с обиженными улыбками. Я быстренько подтвердил, что являюсь нейрохирургом, и до конца поездки успел немного растормошить братьев болтовней, благо в Штатах стажировался, а в Германии бывал на конгрессах. Мамаша все-таки нет-нет и посматривала на меня, прикрывая рот ладошкой.

На месте мы были через пятнадцать минут. Я оценил и простил клобуковское нахальство: действительно, тут у нас гипертоник и астеник, пожилые по стандартам ВОЗ, кормящая мать и младенец, и зачем им полчасовой марш по солнцепеку, если есть прославленный нейрохирург на колесах? И сразу же вспомнил черное платье и непокрытую голову клобуковской сестры. А вот ее имени вспомнить не мог.

Женщина оказалась соседкой по лестничной клетке, у нее был ключ от квартиры покойного, и она впустила нас, но с нами уже не пошла. Сыновья явно были здесь впервые. Они стояли, осматриваясь, так же как и я, посреди единственной комнаты и, наверное, думали то же, что и я: неужели *такие* еще остались? Здесь было прохладно – книги на подоконниках заменяли ставни, а на первый взгляд казалось, что и стены. Здесь сроду не делали ремонт. За долгие годы вещи сюда только попадали, но обратную дорогу не находили. Я узнал тахту из 70-х, телевизор из 80-х,

компьютер из 90-х, шкафы предположительно из 50-х, темно-красные, лакированные, искал глазами письменный стол из 30-х, «профессорский», с массивными тумбами и латунными ручками на ящиках, но не все куту масленица: стол был офисный – пластик и ДСП, типичный для врачебного кабинета лет двадцать назад, я сам в начале своей карьеры сидел за таким. На придвинутом к столу офисном же поцарапанном стуле громоздились две подушки и толстенный словарь – вряд ли покойный был настолько мал ростом, скорее имел проблемы с позвоночником. Снять эту конструкцию и усесться ни один из нас не решался. К тягостному молчанию у меня чисто профессиональная ненависть, так что я, ухватившись глазом за семейное фото в шкафу, откомментировал его, потом перепрыгнул на бронзовую голову какого-то мужика, спросил, каслинское ли это литье, хотя могу отличить бронзу от чугуна, и пошло, и пошло. Братья начали вслух наперебой узнавать какие-то вещицы, брать их и вертеть, а я, тцетно давя злость на Клобукова, занялся обзором книжных полок.

Клобуков с сестрой появились минут через десять. Она сразу шмыгнула из прихожей в ванную, а на меня, застав со справочником нервно-психических расстройств 39-го года издания, наскочил красный и мокрый Клобуков:

«Тут прорва книг по медицине! Есть раритеты! – и громким шепотом: – Попроси себе что-нибудь – светилу не откажут!»

Я только зыркнул на него, а тот уже окучивал сыновей покойного. Сестра быстро прошла у меня за спиной через прихожую, и вскоре оттуда, где она пряталась, очевидно, из кухни, послышалось постукивание и перезвон: посуду то ли ставили, то ли убрали в буфет. Я еще потоптался возле книг, обратил внимание на стопку экземпляров одной, совсем новой в углу у окна и прочел: «Владимир Будберг. Метафизика медицины», хотел было пролистнуть, но отчего-то раздумал. Загадка, которую загадал мне Клобуков, назначив встречу и сделав при этом все, чтобы мы не могли даже словом нормально перекинуться, внушала не любопытство, а легкую тошноту и еще стыд, словно, чем дольше я здесь торчу, тем дальше глупею. Я прикидывал, свалить ли по-английски или расшаркаться, как подобает великому человеку, и тут вдруг вместо кухонного дребезжания услышал голос. Поющий голос. Ее голос.

Она пела очень известный романс. Я не силен в музыке, но Клобуков заулыбался так, словно этот выбор что-то ему говорил.

«...В рощу легкою стопою / Ты приходи, друг мой. // При луне шумят уныло Листья в поздний час, / И никто, о друг мой милый, / Не услышит нас».

Один из братьев – я не заметил, когда он ушел на кухню, – за руку вывел сестру Клобукова. Получилось эффектно и даже как-то чересчур: будто отец ведет к алтарю дочь, да не просто, а дочь на ходу поющую. Наверное, из-за этого чересчур она и смотрела в пол. Или из-за чего другого.

«Папа любил Шуберта», – шепнул мне другой брат.

Она допела и стояла с розовым лицом, но ей даже шла эта розовость. Луиза?.. Нет. Лана, Лара?.. Лаура! Я еще вслух удивлялся год назад, с чего вдруг у сестры Клобукова армянское имя, а Паша обозвал меня «деревней» за Данте, что ли, чью биографию я должен был досконально знать, правда, как по мне, итальянское имя – загадка не меньшая. Это было перед операцией... а потом я осматривал ее шрам. Сейчас у нее – от природы, не от краски – золотистые волосы падали на плечи.

Мы поаплодировали. Она вымученно улыбнулась, слегка поклонилась и ушла на кухню, как за кулисы.

«Им сегодня надо к юристу, – сказал Клобуков. – Выручишь, подбросишь?»

«Когда?»

Ответ я знал.

«Лучше бы поскорее».

«Окей. – Я улыбнулся. – Молодец, не даешь ее в обиду».

У все еще расправленного Клобукова шея стала краснее, а лицо, наоборот, побледнело немного

и как-то опустилось, хотя он и вообще осунулся с прошлого лета. Во многом я понимал его. Понимал, каково надирать пупок в госмечучреждении, каково потерять близкого человека, каково всю жизнь быть старшим, правда, у меня не сестра, а брат. Но в чем-то главном – ох уж это главное – я совсем его не понимал, и меньше всего в том, что это главное из себя представляет.

Почему-то я медлил уходить. Теперь, когда Клобуков развязал меня, я почувствовал, какой груз наконец-то сбросил и оставлял в этой старой сырой квартире, где все еще находилась его сестра. Но я стоял, словно, наоборот, потому и не могу уйти, что оставляю здесь груз.

«На, возьми. – Клобуков протянул мне книгу из стопки в углу. – Это не я дарю, а он. Поставишь в конце концов на полку как сувенир».

«Я почитаю», – сказал я укоризненно, именно потому, что Клобуков поймал мою мысль с поличным.

Я стал было листать книгу, но заметил, что сыновья покойного уже призывно смотрят с порога. Вдруг Клобуков обнял меня, похлопал по спине и отпустил. Из-за книжки я даже не смог ответить на его объятия и не успел оглянуться, как худющий Клобуков ненароком вытеснил меня и тех двоих, по ходу что-то говоря им и пожимая руки, сначала из комнаты, потом из квартиры, – оглянуться на дверь кухни, за которой теперь исчез и он.

*

Каждое утро начиналось с распевки. После четырехлетнего перерыва после ковида я вернулась к тому, что для вокалиста такая же несознаваемая неизбежность, как чистка зубов. Можно пренебречь завтраком, но раз уж проснулся – разбуди голос.

На Караева я вот уже месяц работала одна, без Леши, а значит должна была получить вдвое больше, но с первого сентября, *если ничего не сорвется*, как трепетно оговаривалась мама, печати останутся в прошлом. Первого сентября меня ждали младшеклассники, которым я буду прививать основы музыкальной культуры. Когда зимой, уже отчаявшись, я пришла на очередное собеседование и получила-таки эту «нервную» работу, мне казалось, что я заново родилась. Я начинала сначала, при этом не чувствуя себя Сизифом: как в песне, «все на свете было не зря». Я сожгла за собой мосты, потому что те были временными и отслужили, но оставила их чертежи на память. И вот теперь медленно, день за днем я понимала, что не хочу работать в школе, не хочу прививать основы музыкальной культуры, не хочу никого ничему учить, даже пению. Я хочу петь.

Наверное, тогда же, когда впервые запела, я поняла, что голос, которым я пою, – не часть меня. Частью меня был голос, которым я говорила и заикалась, а поющий – чем-то вроде импланта, вживленного мне, но ненадежно-самостоятельного. Он был мне дан. Дан во спасение. Я пела для других и для себя, но даже наедине со собой никогда не чувствовала, что пою – я. Пела та, чье существование имело смысл, и временно мы с ней сливались в одно, она одалживала мне себя, а потом забирала. И когда *та* меня покинула, как я думала, насовсем, когда была отозвана, я знала, что не имею права жалеть. Екатерина предупредила, что голос никогда не вернется в полном объеме, тем сочувственно-строгим тоном, каким врачи сообщают о «плохом», а у меня камень свалился с души. За четыре года я успела привыкнуть, что теперь одна. Без *той*. Без голоса. И понять, что могу быть одна.

В день прощания с Владимиром Натановичем все перевернулось. С первых нот «Серенады» я почувствовала, что пою я. И всегда пела я. Никакого испуга, шока, потрясения, откровения. Не как у человека, впервые увидевшего себя в зеркале, а как у человека, посмотревшегося в зеркало впервые за много лет. Я не совершала кошунство, присваивая «данный» мне голос. Я только осознала, что он дан *мне*.

Когда Олег Будберг не без театральности вывел меня за руку из кухни, точно преобразившуюся Золушку, я думала не о том, кто меня видит и слышит, кого так страстно хотела видеть и слышать несколько минут назад. Я думала одно: как просто петь, если есть голос. Как хорошо петь, если есть голос. Пусть такой, как сейчас, уполовиненный по сравнению даже с тем немногим, что было ког-

да-то. Тогда, когда я считала его чужим в себе. Мне было мало дано, и я потеряла даже то, что имела, и вот я имею больше того, что потеряла, потому что имею, имею, оно принадлежит мне.

Уже в следующее мгновение я вспомнила о Васильеве и испугалась, смогу ли дальше, – и тут же за тем испугалась своего страха, что не смогу дальше, но страхи были страхами, а пение пением. Я пела, а когда закончила, на миг подняла глаза, поймала взгляд Васильева, не выражающий ничего особенного, взгляд того, кто хлопает артисту, потому что артистам хлопают. Я исполнила просьбу сыновей Владимира Натановича, спела как бы для него – и с чистой совестью ушла на кухню. Потом я ругала себя за то, что не вернулась в комнату прежде, чем Васильев ушел. Можно было смотреть на него, как в клинике; я выдержала бы и ничего не потеряла. Я могла смотреть на Васильева и не умирать, могла петь. Не так: я хотела смотреть на него, не умирая, и хотела петь. Мне не нужно было больше ничего, и этого хватило бы до самого конца.

Но как я знала, что, сколько бы ни травила брата разочарованием поликлиника – все есть яд и все есть лекарство, дело только в дозе, – он не уйдет оттуда, не станет вновь мастером печатей и пропагандистов гомеопатии, так же я знала, что, как бы ни сводило душу при одной мысли об учительстве, первого сентября выйду на свою новую работу и, сколько смогу, буду учить. Меня хватит на это до самого конца. Почти пять лет назад, когда я потеряла голос и с ним уроки, мама ради приварка к пенсии стала наниматься няней, и все равно мы еле вытягиваем тарифы на ЖКХ, при том что уже давно покупаем продукты только по акции, а недавно мама принесла несколько пакетов крупы и сахара и убрала их в шкаф с такой горькой тишиной движений, что я поняла: это гуманитарная помощь. Как бы мне ни хотелось превратиться в любовь и пение, я не подведу маму и не погублю нас.

Я расставляла на полке диски Владимира Натановича, попутно стирая пыль со своих, которые покупала в годы учебы и некоторое время после. Вот Якоб Преториус Младший, «Von allen Menschen abgewandt», орган – Леон Бербен, вокал – Бритта Шварц. Этот альбом я купила в ту пору, когда репетировала «Осириса» с Андреем Николаевичем. Мы с ним оба любили барокко, и в «Осирисе» имитировался стиль раннебарочной оперы, прежде всего, разумеется, Монтеверди, но мне ближе были немецкие композиторы-протестанты: Шютц, Букстехуде и малоизвестные, сочетание органа и вокала.

Я вытащила из коробочки диск и поставила в дисковод ноутбука. Больше людей сейчас играет на виоле де гамба, теорбене или клавикорде, чем делают то, что только что сделала я. Von allen Menschen abgewandt. Отвернувшись от всех людей. Так я прожила всю жизнь – отчасти как хотела, отчасти как боялась.

Позывной телефона спикировал на Magnificat primi toni, точно хищная птица. Это был брат, и я не могла сбросить звонок.

«Чудны дела Твои, Господи, – начал Леша, сам того не ведая, в лад. – Звонил Евгений Будберг. Они решили выделить мне треть суммы от продажи квартиры! Это несколько миллионов! Бог мой, да я наконец-то отправлю вас с мамой!..»

«В Гонолулу. Ты прежде всего о себе подумай. Живешь ведь и впрямь на мышиных правах у этих дематериализовавшихся соседей, а так снял бы однушку».

«Вот еще! Миллионы, милая моя, надо не проедать, а вкладывать! Перезапустить, что ль, издательство?.. Блин, сколько возможностей сразу, я прямо какой-то эмир Бахрейна!»

Трехлетка ты, а не эмир, чуть было не сказала я без осуждения.

«Если некуда девать, одолжи Роману – ты говорил, он вроде мечтает открыть свою клинику».

Брат помолчал испытующе-опасливо, я помолчала в ответ. Когда в день прощания мы остались наконец вдвоем, я не дала ему понять, что срок давности истек и теперь надо делать вид не будто бы не было никогда никакого Васильева, а будто бы не было никогда никакого срока давности. Теперь подоспел повод.

«Я вот о чем подумал... Как тебе такая идея... – Зная, что такое идея, когда о ней говорит Леша, я мысленно продолжила: международное, нет, всемирное общество Парацельса с центром в Москве. – Открыть сберегательный счет на Анино имя».

«Плохая идея».

Я пожалела о сказанном сразу, представив Лешино лицо таким, каким оно было, когда он смотрел в окно на поминках. Почему перед всеми я тушуюсь и только с братом бываю резкой? Не потому ли, что он только вздыхает на мои зуботычины. И теперь Леша вздохнул как-то по-стариковски смиренно перед тем, как заговорить о другом.

«Черновицкий к себе зазывает. Грозится специально под меня вакансию создать».

«Ну и переходи!»

«Есть причина, по которой я в его клинику больше ни ногой».

«Господи, неужели из-за меня и Романа?»

«Только из-за него, без тебя. Помнишь, моя способность, ну, выявлять...»

«Конечно, помню, но ты говорил, она пропала».

«Пропала-то да, но... Нет, прости, не готов еще все выложить».

«Как тебе удобно», – сказала я от чистого сердца: незаметно (хотя почему – ведь я заметила) Леша вместо меня стал слабым звеном нашей до сих пор, хоть и прошло двадцать шесть лет, осиротевшей семьи.

«А может, просто положить эти деньги в банк под проценты и жить как рантье, что думаешь?»

«Думаю о том, как надолго хватит этот барской жизни».

«Правильно. Я всегда считал тебя из нас двоих умнее, с самого твоего рождения. Ладно, пойду, что ли, посплю – ночью не довелось, – может, увижу какую-нибудь периодическую табличку, в которой вся моя жизнь рассована по ячейкам, или какой-нибудь римский консул покажет мне вращающиеся небесные сферы».

Леша пошел бороться за сон, но только я сняла Преториуса с паузы, телефон звонил опять. Незнакомый номер мог быть одного из Будбергов, и я нажала зеленую кнопку.

«Алло, Лаура?»

Он произнес мое имя. Как будто иностранец, эмир Бахрейна, – только что выученное русское слово.

«Да, я вас слушаю», – ответила я автоматически, как автоматически продолжала петь при нем «Серенаду».

«Я должен извиниться перед вами. За тот эпизод. В коридоре».

«Не стоит», – сказала я и подумала: это тоже автоматически или я на самом деле считаю, что ему не за что извиняться.

«Нет, стоит, уже хотя бы потому, что я сказал вам неправду. Никто над вами не смеялся, то есть в масштабе всей клиники, да и вообще никто. У меня была тяжелая операция, я был на нервах...»

«Понимаю».

«Вы имеете полное право не понимать, потому что никакая операция, никакие нервы меня не извиняют».

«Тогда зачем вы их упоминаете?» – воспользовалась я правом прежде, чем осознала его – или чем вспомнила, кто я и кто этот человек, которого про себя по-прежнему называла Васильевым, чтобы не быть испепеленной.

Он недоверчиво засмеялся.

«А ведь действительно, зачем? Знаете, мы часто говорим что-то просто потому, что так принято. Принято, например, объясняться и оправдываться».

«Извиняться», – сказала я, и мне стало легко и страшно, будто я полетела.

Неужели я говорю с ним? Неужели он говорит со мной? Нет, мы не разговариваем, мы летим. На земле мы бы не смогли говорить друг с другом, а значит мы оторвались от нее.

«Я не извиняюсь, а прошу у вас прощения», – сказал Васильев, как человек, привыкший быть правым.

У него получилось. Я почувствовала себя виноватой и испугалась, что сейчас рухну на землю, но продолжала лететь. Я могла петь, могла лететь и не умирать.

«Я не хотела вас обидеть, – сказала я, насколько смогла, без выражения. – Задеть – да, но не обидеть».

Он не засмеялся, чего я ожидала, а просто перешагнул.

«Спасибо, что спели. Это было так трогательно – проводить умершего песней, которую он любил. Я вот не понимаю, для меня здесь какая-то тайна: как один человек может что-то, чего не может другой, петь, например, или изображать эмоции, характер так, что перед тобой возникает другая, не та, которая здесь и сейчас, – я имею в виду актерское искусство...»

Для меня тайной было, как он может становиться попеременно то светским, то простым, то воздушным и тонким, то тяжелым и грубым, то пропускающим свет, то непроглядным. И я подумала: открываясь, он на самом деле закрывался, а закрываясь, открывался. Значит сейчас он для меня закрыт. А значит и я пока закроюсь.

«Ну, способность к пению – чисто телесная характеристика. Как и способность танцевать. Это я должна вас спрашивать, почему у одного человека есть слух и голос или особая природная гибкость, а у другого нет?»

«Тут вы ошибаетесь: нейрофизиология пока не в силах раскрыть причину одаренности, даже такой, как вы говорите, чисто телесной, хотя что, в конце концов, значит «чисто телесная»? Мозг – это тело, стало быть, и психика тело, и...»

«Душа – тоже тело. А брат любит цитировать алхимиков насчет того, что материя – тоже дух».

«Кстати, как он?»

«Держится».

«Рад слышать. Он показался мне утомленным. – Это было слишком по-дамски даже для *такого* Васильева, и он сам себя одернул: – Мягко говоря. Выжатым. Н-да, работа в госмедучреждении – это, знаете, не курорт. – Его уводило не туда, мы чувствовали это оба, и оба – что еще не время снижаться, что рано идти на посадку, что, наконец, лучше разбиться оземь, чем мягко коснуться ее, нет, это чувствовала лишь я – или не только я? – Может быть, встретимся?»

Он произнес «Может быть, встретимся?», и это опять звучало как на неопробованном языке, хотя нет, теперь уже я была иностранкой, страшщейся не понять простых слов. Ребенком, боящимся, что его толкнут, если он сдвинется с места.

«Вы имеете в виду, чтобы мы с Лешей пришли к вам?...»

Я говорила и видела его кабинет, белое кресло, в которое я села бы, а Леша встал бы, прислонившись к стене, видела то, с чего все началось.

«При чем тут, прости Господи, Леша. Мы с вами. Я имею в виду, мы с вами, может быть, встретимся?»

И со мной случилось то, что должно было случиться полжизни назад, что, вероятно, случается с девушкой, когда ее впервые приглашает на свидание парень, в которого она влюблена. Мне захотелось визжать и прыгать. И я почувствовала, как визг пробивает мое горло, вынося вверх, наружу, точно песок и щебень, последнюю боль и тоску, неслышный, неистовый в своей очистительной чистоте.

«Алло, алло!..» – добивался Васильев.

«Да, да!» – выкрикнула я.

«Вам удобнее в субботу или в воскресенье?»

Он и помыслить не мог, что я мастер печатей на дому.

«Мне все равно».

«Тогда в воскресенье. Знаете “Мед-Премиум” на “Белорусской”?»

Мне хотелось, чтобы он еще раз окликнул меня «алло, алло», и, прежде чем ответить, я два раза подпрыгнула и еще покружилась, в одну и в другую сторону.

7. Не услышит нас

Отцу на протяжении десяти лет снятся сны с одним и тем же героем – прапорщиком времен Первой мировой. Каждый раз, когда я бываю дома (почему-то, думая об отце, я всегда называю

Магнитогорск «дома», хотя отъезд из этого города – лучшее, что со мной до сих пор произошло), он тешит меня очередной захватывающей серией, причем всегда подводит к тому, что прапорщик, несомненно, существовал и, видно, неспроста избрал теперь каналом трансляции своей жизненной повести его сны. Отец человек более чем адекватный, и подозреваю, что на самом деле он сочиняет эпопею по меньшей мере в голове, а то и в ноуте, просто стесняется признаться. Так или иначе, мама, пока была жива, уговаривала его записывать похождения бравого прапорщика в тетрадку. Если она не подозревала того же, что и я, то я плохо знал маму.

Я это к тому, что не придаю значения снам.

Комната, незнакомая, но – откуда-то я это знаю – связанная с Клобуковым, полутемная, чем-то уютная, коричневатый, как бы от свечей свет. Вроде письменный стол и над ним вся стена в каких-то картинках, рисунках, бумажках. Справа стоит ванна, нет, не ванна, а маленький прямоугольный бассейн не бассейн, в общем, ниже уровня пола. Сначала мне кажется, что женщина в нем – Даша, я подхожу ближе и говорю себе: да это же сестра Клобукова. Во сне я опять не могу вспомнить ее имени, помню только – на «л», зато вспоминаю слово «резервуар». Я залезаю в этот резервуар, я и хочу, и знаю, что должен туда залезть. Передо мной ее колени, ее лицо, волосы длинные, она тянется ко мне, обнимает за шею, я крепко прижимаю ее, только успеваю прижать, и сразу же кульминация, причем как мощнейший взрыв, у меня и наяву такого никогда не было, и, когда я проснулся, когда мною выстрелило из сна, мне даже пару секунд казалось, что сердце остановилось.

Я лежал на спине и глубоко дышал. Потом услышал Дашино дыхание, она спала отвернувшись к окну. Я понимал, что произошло. Произошло то, чего я боялся. После нескольких лет сомнений, перетираний, передумываний, по отдельности и вдвоем, когда мы с Дашей решились-таки, пошли на эту авантюру, как выражались между собой, немножечко отстраняясь, чтобы, так сказать, не наколоться. Когда Соня поняла меня, поняла, что мы с ней не разжали рук, просто я протянул вторую другому человеку. Когда мы все трое, Егор не в счет, только-только сняли жизнь с ручного управления, и она покатилась совсем неплохо. И теперь все разваливать? Начинать сначала? Снова-здорово в пятьдесят два?

Расстаться с Дашей значит уволиться из Promed – не работать с нею еженедельно бок о бок. Уволиться из Promed значит потерять сто штук в месяц, и если еще лет десять я заглядывался, бывало, на федеральные медцентры, то теперь там конкуренция такая, что, будь у тебя хоть золотые руки и звезда до лбу, без связей даже не суйся. Можно, правда, потеребить Стаса, но это не Клобуков, не станет он из-за меня подставляться, переходя дорогу кому-то, за кем, чего доброго, кто-нибудь покруче. Как цепляются зубами за свое место в частной практике, я сам что ни день вижу. И сам цепляюсь. Расходы сокращают, новую ставку под меня выбивать никто не будет. Ипотека не закрыта, а без Даши не закроется еще год. Между тем еще только год проработать в Promed, и уже можно более-менее прицельно думать о своей клинике. Как ни крути, в ближайшее время ничего менять нельзя.

В снах с нами не связываются давно умершие прапорщики, чтобы сделать акынами своего жития, сны не посылаются свыше. Сон может порой предостеречь, и если понял, от чего он тебя предостерегает, остается одно.

В Promed я сразу попросил администратора поднять контакты Клобуковой. Через час у меня был ее номер.

Остается одно. Сделать с точностью наоборот.

*

Аня шагала взад-вперед вдоль скамейки у подъезда. Наверное, она то присаживалась на нее, то вскакивала и начинала шагать. Я увидела ее раньше, чем она меня, и подошла первая.

«У меня ЧП», – сказала она, буравя меня взглядом.

Я указала ей на скамейку, и мы сели.

«Мне нужны деньги. Много. Сейчас. Один мой друг, близкий, мы учимся вместе, в СИЗО под следствием. За экстремизм. – Я подумала, всегда ли она, в отличие от отца, изъясняется рублеными фразами или только при сильном волнении. – Он говорит, что никаких публичных призывов не распространял, просто сделал репост видео одного чувака, а я ему: ты что, трехлетний? – Вспомнив свои вчерашние удержанные слова о Леше, я улыбнулась, и Аня поняла улыбку так, как могла понять она: – Ну да, наив. Он вообще по жизни такой, как с луны свалился. Один препод обещал за него поручиться, чтоб его до суда выпустили, но нужно еще внести залог – пятьсот тысяч. Понимаете, мне больше некого попросить. У меня здесь только вы с бабушкой и отец».

Когда она произнесла «только вы с бабушкой и отец», я ощутила, как по мне заструилась наркомом тщеславная жалость, покупаемая много дешевле свободы подследственного, и быстро привела себя в чувство:

«А его родители?»

«Его родители *далеко*. – Аня красноречиво округлила глаза. – Еще дальше, чем моя мама. Они не могут не приехать, ни такую сумму перевести. По крайней мере так Петя говорит. Он, конечно, вечно все путает... Короче, не могут, а может, не хотят, не знаю, – у них натянутые отношения».

«Кстати, к своей маме ты обращалась?»

Она была иная, чем год назад, когда у меня язык не повернулся сказать ей «ты».

«Во-первых, она такую сумму не соберет, а во-вторых... – Аня посмотрела на свои сцепленные пальцы. – У нас с ней тоже. Натянутые».

«А с отцом, значит, не натянутые?»

И слова, и усмешка вырвались невольно. Я вовсе не хотела отыграться за себя или за брата, я всего лишь ответила так, как любая тетя ответила бы племяннице, не задумываясь о том, вправде ли. Как будто и вчера с Васильевым, и теперь с Аней предъявила какое-то только свое право, которым не обладают ни он, ни она.

«С отцом у меня нет *никаких* отношений, – произнесла Аня жестко, и от нее словно изошел некий жесткий же и ясно-пронзающий луч. – Это совсем другое».

На миг к ней вернулось то превосходство, которое год назад заставило меня сказать ей «вы», и на миг я, как тогда, смешалась. Но на миг, не дольше.

«А почему ты уверена, что у него эта сумма есть? Потому что он алхимик и умеет превращать свинец в золото?»

«Почему вы разговариваете со мной как с душой?!» – выпалила Аня.

Не как с душой, нет, сказала я мысленно. И вдруг мне стало неловко. Мне сорок, ей девятнадцать. Какие бы права ни стояли сейчас на моей стороне, слишком юные и слишком поздние, ее права, как и она сама, несравнимо крепче.

«Мне больше не к кому пойти», – сказала Аня жалобно, и на этот раз мне не показалось, что меня покупают.

«Конечно, – сказала я. – Конечно. Прости. Мы с бабушкой, к сожалению, как и твоя мама, такой суммы не наберем, – Аня глядела так, будто медленно тянула к себе веревку, и я поняла, что на нас она с самого начала не рассчитывала, – а вот твой отец... Ему, думаю, смогут одолжить. Я дам тебе его контакты, а пока идем, выпьем чаю или кофе, если ты растворимый...»

«Нет-нет, спасибо, я очень спешу! – Она вскочила испуганно, как если бы пошел отчет времени и с последней секундой чаемые деньги обнулялись. – Вы лучше дайте сейчас, то есть *вы можете сейчас* послать мне его телефон через мессенджер или смской?»

«Конечно», – только и повторила я, а потом, уже встав со скамейки, зачем-то смотрела в широкую спину этой рослой и статной девушки, в ее Лешин светлый затылок.

*

Клобуков позвонил в перерыве, я как раз расплачивался за кофе. Я успел и отметить, как это хорошо, что он застал меня здесь, а не в Promed, где вскоре присоединилась бы Даша, да и Паши-

на компания мне сейчас была бы не с руки, – и усовеститься. Не успел только до конца додумать, почему это хорошо.

«Привет», – сказал Клобуков как будто пряча подарок за спиной, но при этом тоже немного совестясь.

«Привет», – ответил я.

Отчего-то я знал, что надо дать ему время. Клобуков довольно шумно набрал воздуха в грудь и выдохнул.

«Я счастлив», – сказал он, и я по голосу понял, что он улыбается, и ответил, тоже улыбнувшись, будто он мог меня видеть:

«И я».

«Да ну! Мне дочь позвонила, я ей нужен впервые за семь лет, а ты с чего?»

«Влюблен», – сказал я и сам изумился, до чего это, оказывается, естественно: и быть, и про-износить.

«А, – Клобуков как будто ожидал большего. – Да, насчет свадьбы – действительно ужасно нескладно получилось тогда...»

«Выкинь из головы».

Он молчал. Я снова дал ему время, хотя мое-то убегало – я люблю пить кофе в тишине и одиночестве, хотя даже Даша об этом вряд ли догадывается.

«Как поживает будущая госпожа министр? – Клобуков наконец воспрянул. – Соня, я имею в виду?»

«Ничего поживает, поступила в свой Университет госуправления».

«Отлично! А моя перешла на второй курс **!»

«Я помню, где она учится».

В переводе это значило «не тяни кота за что не надо, ты ведь звонишь с каким-то прицелом, вот и стреляй».

«Да-да, разумеется. Перехожу, собственно, к сути. Я все думал, думал, и что-то меня совесть заела, решил тебе помочь с той пациенткой. Когда и куда подъехать?»

Может, Клобукова и заела совесть, но как дополнительный фактор, и я с трудом верил, будто он верит, что я ему верю. Ну да это не касалось даже нас двоих, а меня одного и подавно. Я сказал, что перезвоню, набрал пациентку, договорился с ней и перезвонил Клобукову, а кофе допивал уже в лифте.

На следующий день мы трое стояли у меня в кабинете, и я представил девушке Клобукова как своего коллегу из другой клиники, который «поможет решить нашу проблему». Накануне вечером и утром в пробке я припоминал наш с ним первый разговор, когда он спросил, выиграем ли мы у опухоли, если мой предварительный диагноз подтвердится, и я ответил отрицательно, и он сказал: «Уволь». Клобуков был абсолютно прав тогда и неправ сейчас, прогибаясь под мое, как он тогда, всего-навсего назвав вещь по имени, приложил, «профессиональное тщеславие». Тогда он меня убедил, так чего же ради развернулся теперь на сто восемьдесят градусов? И чего ради я не сказал ему: проехали, ты был прав, а устраиваю сегодня этот сеанс Кашпировского, этот балаган, после которого нам обоим, нет, нам троим станет погано. Ублажаю ту самую вещь? Или я просто приучил себя *хоть что-то делать*, даже когда делать нечего, нельзя, не дано.

Я бранил себя и тут же утешал, листая, как листают фото, разную Лауру, ту и нынешнюю, – на первом приеме, когда ее сопровождал Клобуков, и потом на осмотре, в операционной и в кафе, и когда я нахамил ей, и когда увидел из окна машины с братом под руку, и когда она пела. У меня даже глаза устали, хотя «пролистывал» я в уме, и я закрыл их и потер веки пальцами. И понял, что устали не глаза, а устал я сам за эти годы, работая без выходных и проводя отпуска так, как нравится Соне, а теперь Даше, ну да не их в том вина.

И вот мы стояли в моем кабинете, все трое, наверное, одинаково дичась. Я кивнул Клобукову, он приблизился к девушке справа относительно нее, попросил не волноваться и тут же приставил

палец чуть ниже латеральной борозды, где-то на границе с верхней височной извилиной. Я проделал то же, что год назад: сфотографировал место, открыл программу, сверил с ней параметры. Когда я обернулся, Клобуков и пациентка смотрели на меня с одним на двоих тупым вниманием.

«Вот что, запишитесь ко мне на субботу, но не сюда, а в другую клинику, координаты я дам», – сказал я ей, а ему слегка кивнул.

Закрыв за ней дверь, я повернулся к потерянно присевшему на край стола Клобукову.

«Черновицкий про тебя знает, в смысле про “дар”, он нас прикроет. Ничего, небольшой мухлеж – запишем ПЭТ-обследование, якобы беременность, со слов пациентки, прервалась...»

«Да ты!.. Да ты рехнулся, это ж подсудное дело!»

«У нас нет выбора».

«А если я ошибся?!»

«Ты не ошибся».

Клобуков закрыл лицо руками и стал раскачиваться, и я оторвал его ладони от лица, будто унимая женщину в истерике. Ладони были мокрые и ледяные.

«Ладно, ладно, я еще подумаю! Пойдем прошвырнемся, у меня как раз смена кончилась».

Мне еле удалось поймать его расфокусированный взгляд. Я даже обхватил его за талию, на тот случай если он не оторвется от стола сам, но Клобуков мягко высвободился и вышел из кабинета вперед меня. В лифте он несколько раз провел потной ладонью по лицу, пока оно не заблестело, потом по шее, вдохнул, выдохнул и к первому этажу стал прежним, *клобуковским* Клобуковым.

Ночной ливень остудил город, жара отползла на заранее заготовленные позиции, и мне весь день, в промежутках, когда голова не была занята предстоящим «балаганом», казалось, что люди вокруг и хотят, и боятся вдохнуть поглубже. Как дышал сейчас Клобуков, хоть и не для того чтобы впрок накачать себя озоном. Мы обходили клинику по часовой стрелке, темп задавал Клобуков.

«Я, кажется, не говорил тебе, почему захотел стать врачом», – сказал он впервые после того, как закрылся ладонями.

«Ты говорил, почему *не* захотел».

«А-а. Это по-своему не менее характерно. Дело в том, что меня с детства занимал вопрос, что такое жизнь, и я думал, медики знают ответ».

«Идеалист ты наш».

«Не идеалист, а маленький, потом юный... Парацельс раскрыл мне глаза. Но только это ужасно банально, если озвучить. – Он ухмыльнулся, и у меня в голове мелькнуло: он просто не желает раскрывать тайну. – Была бы тут моя сестра, уж она бы меня уличила в банальности».

Была бы тут твоя сестра, подумал я. Клобуков покосился на меня, видно, проверяя, как подействовало упоминание, но я тоже своей тайны не выдал и небрежно пожал плечами.

«По Энгельсу, жизнь – это способ существования белковых тел».

«А по Марксу?» – Клобуков ернически заглянул мне в лицо.

Меня хватило только на кислую улыбку. И как это я мог, учась в «меде», наряду с Клобуковым хохмить мгновенно и по любому поводу – за что нас и любили, вернее, любили меня, а его терпели.

«В “КВН” была шутка: Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не муж и жена, а четыре разных человека», – выдал я, поднапрягшись.

«Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это двойной Меркурий», – сказал Клобуков, показывая на себя и при этом почему-то опустив голову.

Нет, он не показывал на себя. Он остановился и смотрел на свой указательный палец, которым упирался себе в живот, а потом, не поднимая головы, склонил ее немного набок, будто прислушивался. Я смотрел ему в глаза, так широко раскрытые, что совсем прозрачные, но он меня не видел.

*

В тот день Леша передал мне привет от Олега Будберга – они только что забрали урну с прахом, – сказал, что уже взял кредит на пятьсот тысяч, и что-то про какую-то НКО и свою долю, но там, у них, грохотало уличное движение, и я не слышала половины слов.

В тот день я распевалась дольше, чем обычно, – мне хотелось побыть наедине со своим голосом.

В тот день я вышла из дома и поехала к клинике «Мед-Премиум».

В тот день начался июль.

*

Она ждала меня у магазина японских ножей. Я перебежал улицу, немного рисуясь своей юношеской трусдой. Она заулыбалась и опустила глаза, но это была не рисовка – я и вправду дал бы ей сейчас лет двадцать.

«У меня нет ни малейшей идеи, куда нам пойти», – сказал я.

«Я тоже ничего не придумала. Давайте просто погуляем».

Минут у нас было столько же, сколько ей сейчас лет. Мы шли, удаляясь от клиники, куда я должен был вернуться, шли молча, не глядя друг на друга. В тот день, из-за Клобукова, я ни разу толком о ней не подумал и даже первую фразу не заготовил, а мой «дар импровизации» отказал как на грех.

«Как называется вещь, которую вы пели?» – разродился я наконец. – Что-то очень известное, но я, к стыду своему...»

Тут она повернулась и обняла меня, отчаянно и крепко. Не за шею, как во сне, а обхватила, точно ствол дерева, и прижалась щекой к груди. И я тоже обхватил ее одной рукой, а другой гладил по волосам. Мы мешали прохожим, и я немного сдвинул нас к фасаду. Она что-то произнесла, невнятно из-за наших объятий или не из-за них.

«Что-что?» – переспросил я.

«Лешин Лабубу сидит у него на столе, когда он принимает пациентов».

«Забавник», – сказал я.

Она еще ощутимо подалась назад, и я расслабил руку, которой ее прижимал. Теперь она обхватывала меня только одной рукой, а я одной рукой обнимал ее за плечи, и мы снова могли идти, пока не кончится время.

Москва, осень 2025 – весна 2026

Кирилл АЛЕКСАНДРОВ

Каждый день как годовщина всего
раскрашивая контурные карты психики
заполнять перерывы в работе внимания
над самим собой
в медиа и разговорах одна (и та же) махабхарата
ширма символов танец тревожных теней
в лоне сонного Брахмы
вертлявая дхарма точильный станок
для слишком окрепших умов

а за окном белый свет полноты
смотри белый свет это наше дыхание
клуб аутсайдеров метаметафора дружбы
подкрученная эмпатия и к вайшьям и к нашим
бытовые истины природы вещей
в каждом дне-годовщине
неозаботливый постер с тибетским чудовищем
красивые палки ковёр для духовных практик
квантовый каширский кот странной совместности
и статья в семейном бюджете за фейковый аппетит

внимание к дружбе как метаметафора
путешествие в поисках белого света
по карте без контуров
снова приводит к окну
и пока на нём образуется влага
становится всё менее важным
есть ли что-то на той стороне
и есть ли кто-то на этой

Когда закончится чай
пойдем собирать бессмертник

Кирилл Александров родился в 1990 году в городе Чирчик (Узбекистан). Жил в Ташкенте, Уфе, Санкт-Петербурге, Москве. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. С 2012 года публиковался в региональных уфимских изданиях, позже в проектах «Полутона», «Литература», «Артикуляция», TextOnly, «Флаги». Со-редактор веб-проекта о современной культуре и искусстве «Стенограмма». В 2023-м году в независимом издательстве «Князев и Мисюк» выпустил книгу дневниковой прозы и поэзии «Дом, который не строил». Путешествовал автостопом по России, Европе, Южной Америке, Индии и Юго-Восточной Азии, где и была написана большая часть представленных текстов.

когда закончатся наши я
то и этого не потребуется

все кто мог ушли в лес
мы уйдем в кукурузное поле
взяв печенье испекшейся дружбы
и термос целебной крепкой любви
что немного горчит но найдем чем разбавить

тибетская мантра уюта
напоминает о том что обиды желания страхи
засохшая грязь на одном для всех нас
колесе застрявшем в текстурах
песчаной сакральной фигуры

осенью те кто ушел
принесут нам древесный закон
и свободу от геометрии
знать бы ещё что с ней делать
благоуханный нектар их учений
течет по усам а во рту ни росинки
а путь вон он был здесь всегда
пока я не видел

а как присмотрелся – только туман
и дым благовоний тибетские мантры
соленый молочный уют
в нарисованном доме
с окном и дымящей трубой
где гора на которой цветы
чьи названия известны лишь детям

честный делюжн странных усталых существ
общий бизнес не твой и не мой
смысл пробуждения
необъяснимый инстинкт

двухмерный ландшафт текстовой речи
шахматный матч против себя самого
ничья неминуема
не придумав ничего лучше
мы оперируем числами
и не перестанем пока
есть эти самые мы

пока не закончится бессмертник
чабрец коровяк котовник эфедра
все кто могут вернуться
никто не увидит
не произнесет ни имен
ни названий

Скрип бамбуковых зарослей
слабый неясный сигнал
сломанного радио в пустоте мировой пещеры
принимая его сверься с картой движения разговоров
и приезжай лишь возьми с собой
что-то из зимней надежды

вокзал нежелание
поезд летящий по морю
вдоль координатной оси
проводницы духовного тока
станция совершенство пространства
от питерского надира
до мирного лета на ближнем ли дальнем востоке

невозможная встреча за чаем
из листьев шелковицы
юэбин лунный пряник короткая вечная жизнь
вне правил согласования
слов предложений планов границ
свидание без конца и краев
забытое искусство хаоса
критика пристальный взгляд
вслед превращениям мира

держись центра круга
все что казалось реальным
птичий гоу-гоу за прутьями клетки
вода выжимаемая из волос
зрячая вера в закат и восход
слепое дитя муравьеда
сцена немого кино
цикада-тапер и сигнальный закадровый шелест
бастер китон туземец бежит
но в тень смеха не спрятать ни собственной тени
ни тени сомнений в наличии выбора

предел проявления воли
цвет мебели форма окна
флажки и фигурки
племенное тату в виде знака систем уравнений
уютный домик для духов
где однажды поселимся
оставив тела у крыльца
на озере прозрачного терпения
под горой чистоты постоянства

а пока на пути превращений
лаосские женщины моют мне голову
пьяно поют посреди безымянной деревни
в зимней надежде на дождь и прохладу
а по вечерам
нам только и остаётся что любоваться
изяществом архитектуры не сказанных фраз
и других едва различимых объектов
на горизонте беспечных скитаний

собери все это и положи на отсутствие алтаря
в то место где этот текст
растет сквозь меня словно корни тропических деревьев
сквозь руины древнего языка

Густой хоровод облаков хвостатые кружева
проверяют на прочность новые связи
снежный уличный быт свежей выпечки еле
слышное пение сквозь стекло
лабиринты колодцев танцующий гостеприимный вопрос
воспоминания как кубики для игры
камешки на ковре крепость и красота фигуры

Выстроенный свет но только пару часов в день
полярный полдень вкуснее чая ярче звезды
стук колес или звон колокольчика или другого цветка
кипение и все другие процессы где шум и тепло
пар из отверстий кухонный старый конфликт

Прочность связей старых ли новых не важно
время дикой охоты небо сухая трава лес из звёзд
тюрьма сухожилий гражданский суд над футболистами
и духовенством драконьих зубов сыновей

Изгородь из дверей пол из книг
стена из сомнений оконные рамы фантазий
усталость счастливой возни
танцы и клавиши где там Москва и другие миры
быть настолько свободным что перестать
двигаться вовсе шить и вязать
саван горизонтальных надежд

Зима сколько лет себя помню была только словом
все другие подавно реальность – вода и её состояния
воздух и невозможность любых картографий
на завтрашнем празднике будет другой
и другая

Деревенский священник из прошлого
татуированный любитель печенья
на пути к накоплению заслуг и узористых шрамов
по ту сторону леса, где камень-душа и сердце-родник
как много поэзии в этих словах
советник по венчурным инвестициям
отец пластмассовых големов, бумажных кикимор, пустых мест из стекла

Летишь ли плывешь верный пёс с седой бородой
отзвук железного звона обожженный шепот старательной глины
резкие вибрации лошадиной челюсти
чуть что подтягивай своих туда где сказочное голубиное братство
голосистый союз двухголового лебедя и черного солнца
чья судьба зашифрована в этих бессмысленных буквах
в журналах men's weakness и дачный уют

Камень душа и сердце родник деревенский буддист настоящее чудо
ступа в пустыне река между раем и раем
семейный очаг охраняют четыре конфетных царя и Брюс Ли
вкус бесцветного чая запахи будущих встреч
игра в описание вайбов друг друга

Озера друзей смех беспечных попутчиков мысли
сладкий сливочный сон в вафельном стаканчике психики
по туманной дороге идут голоса
шепелявых существ из швов слоистого мира
доставай молоток ружьё и веревку
настоящее там за стеной придется подумать что здесь

Наталья ЧЕРНЫХ

СТАРЫЙ ОРГАНИСТ

элегия

– он дул в полный ткацкий навой –
стало невидимо ткацких навоев –
скоро пошел – так из страны в страну пешим идут –
да ступени земли
танцевали

то не ветер был – что больше ветра идет на земле –
– топал наверх –
по ступеням

– скорость уже подросла – как ребенок растет –
вдруг заметно
так пара строгих ворон
– погружается в снежное облако –

пыльные тянут ступени назад
сколько на них времени и пространства
сколько воспоминаний чужих

сжав себя в кулак –
– переломив может быть даже смерть –
застарелые недомогания
точно расставив
по местам

перебирать
ему дорогие ступени
ногами
которых и нет уже

только она – длинноного и споро –
в дежурной больничной одежде

Наталья Черных родилась в 1969 году в Челябинске-65 (ныне Озерск). Училась во Львове и в Москве. С 1987 года живет в Москве. Публикации в журналах «Воздух», «Новый мир», «Знамя», «НЛО» и др. Автор нескольких книг поэзии и прозы. В «Волге» печатается с 2009 года (поэзия, проза, критика, эссеистика).

бежит по ступеням –
– сквозь встречных событий подъезды –
набухшие от ожидания двери –
закрытые –
как перед носом –
квартиры

из окон уже наблюдаются крыши

пока анфилада начищенных солнцем дверей
не развернется

навой у ткача повернулся
и грозно глядит из-под брови

трубы заголосили – грозно и сипло –
с присвистом снежным колючим

наконец дверь
замшелая космоса дверь
удобренная
миром и всякой надеждой всего человека
ржавый замок растворила

тайны – все тайны веков и богов –
ключьями пыли повисли на двери
дверь воет и призывает
пока не откроется досыта

чтобы ноги бегуны
обратно к Суду поспешили
чтобы Младенец Судья
звезды в темной прихожей рассыпал
детской руки тепло
остывает так быстро

некому праздник устроить Ему
Он и Сам учредить торжество сумеет

Дрогобыч в марте 1992

– воображение нарисовало здесь кофе и вальс –
– а встретил нас дождик –
– арка костела тогда не белела – две играющие рыбы –
кирпич посмотрел открытым лицом
– а внутри было огромно и звучно –
– без увеличения громкости –

– стены того городка – двухэтажные длинные окна –
– или мне так казалось – что окна длинные –
а они были в рамах беленых
– столько звуков неявных – а речь эту помню и нынче –
и наконец абсолютная вмиг тишина
в краеведческом нищем музее

– мы здесь были полдня – пили кофе –
здесь каву пьют как-то иначе
– но городок этот я проезжала нередко –
когда из кулька возвращалась
– брусчатка здесь – даже трава и деревья ее прорастают –
– не очень и помню – арка перед костелом –
быть может – белой была
– но вокруг был кирпич – и брусчатка –
и невысокие стены
– а улицы шли – вниз или вверх –
прямо ни шло ни одной
город с лицом судьбы – но как будто уже не моей
.....
так каштаны перебирают
карие смотрят глаза

Отражение снега в воде зимней ночью

вода кажется темным текучим маслом –
мелкая волна
темнота драпирует волну – а снег высветляет
есть белизна и нет черноты –
текучее масло на взгляд – корица
что за собаки – не крохотные ли кони –
снег оживили – а снег заснул
лишь крупные волны то всходят
повыше в потоке фонарного света –
то проседают от воспоминаний –
дыхание снега свежо

мост окончателен и совершенен
даже летом – в истоме цветущих джунглей –
он так не сиял
берега речки – крыльями – слева и справа
ангелов сонм сохраняет тепло
и способность к зачатию земли
отражаются в речке
временами она неподвижна
тогда снег – на земле – на ветвях

отраженный в воде
открывает окно

снег открывает окно сам –
виден пригород – светлых и низких строений
фонари – там фонарики спят на перинах
там звенят колокольцы огромных прозрачных карет
храмы будто горят – золотые и алые перья заката
там какие-то люди живут
может там людей нет
или жизнь без людей невозможна

но вода неподвижна – снег отражается в ней
вечной скорби ветвей ничто уже не утолит
но пока я иду по мосту – снег,
его ветви, его появление
память хранят о закате
а наутро мохнатое небо зовет

Мэрилин Монро на корабле

Металлический запах воды в заливе – и мало пресной воды.
Кровь на деснах.
Но это судно напоминает чизкейк
без добавления лишних деталей.
А вот и она, в широких штанах из варенки и белой рубашке.
Она сияет.
Вернее сказать, сияют ее волосы,
а стрелки прищуренных глаз мрачны.
Мэрилин – это солнце и мрак, мушка и дуло орудия.
И она здесь.
Солдатам великолепного флота нечего бояться,
когда Мэрилин рядом.
Когда платина ее голливудской волны
наложена на отверстие солнца.
Мы победим, говорит все вокруг, –
кроме воды и красноватого берега.
Мы победим, говорит эта техника,
которая часто умнее, чем ее солдаты.
Но ни залив, ни пролив с мутноватой водой
не отвечают победе.
Мэрилин поднимается вверх –
ей позволено встать возле флага.
Внизу водоросли чуть касаются основания киля.
И ни рыбьей души не видать.
Там, внизу, лица космических звезд Голливуда,
что очень похож на флот.

Но Мэрилин смотрит на берег, рука козырьком,
лицо в круге утреннего светила.
Она горит, не сгорая,
и образ ее уже начинает мерцать зеленым и красным.
Глаза Мэрилин глубоки и темны.
Небольшие глаза сироты из приюта.
Женщины в черных одеждах несут водоносы,
Мэрилин видит их ясно.
Судно ложится в дрейф. Скоро обед.
Рыба-гриль и мороженое.
Мэрилин просит воду со льдом.
Солнце взбирается на вершину своего гнева.
Но она все стоит,
как будто не хочет выходить
из солнечного круга.

О КРЫСАХ, ЛЮДЯХ И ЛАБИРИНТАХ

Рассказ

Кинцуги стояла перед входом в тоннель. Бисерина носа подрагивала, и она с шумом втягивала воздух. Мерцали огни, а провода, которые шли вдоль грубо сколоченного плитуса, отсвечивали. Пахло деревянными опилками и хлебом. Не теми жалкими корочками, которыми ее кормили, а свежим и пряным. Хлебом с завода № 22, который поглощал в лаборатории Рыжий. Хлебом, который давала ей только девушка.

– Надо ее хорошенечко шугануть, – сказал Артем. Он навис над лабиринтом и чудом – остро заточенный карандаш вывалился из-за уха – не проткнул крысу. Серая крыса с вырезанным квадратиком кожи на левом боку даже не дернулась, когда рядом надломился грифель канцелярского изделия.

– Госпожа Кинцуги сегодня не в настроении, – ответил рыжий Фрэнк, которого на самом деле звали Виктор, и как муравьед вытянул из бутерброда айсберг в майонезе и кетчупе. – Ну что устроим ей трагедию в Уэйко?

– Кажется, списывать ее пора, – зевнул Артем и прислонился спиной к столу. Тут же поехали тетради, заскользили по файловым вкладкам ручки и калькуляторы.

– Тише ты, Годзилла, лавину устроил. Липа услышит, устроит тебе – списание!

– Ты, Фрэнк, выбирал бы девушек не замужем. Глядишь, и личная жизнь бы наладилась, – ответил Артем и пошел к холодильнику, где среди пробирок с красными и синими крышечками хранились свирепые вирусы и лоточки из Вкус Вилла. Рыжий жрал бутер с аппетитом.

– Лабиринты для меня? – спросила Надя. Она уже минут пять крутилась у стола, опрокидывая солонки и дергая за бахрому скатерть. Липа стоически рисовала линии и квадраты. Она запланировала четыре тупика и уже представляла, как крыса будет разгадывать ее планы.

– Нет, для крысы Кинцуги, – с задержкой ответила Липа.

– Почему ее так зовут? – Надя влезла к мачехе на колени и отодвинула руку, чтобы посмотреть на рисунок.

– В честь японского императора. Была у него любимая чашка – чашка его погибшей жены, которую он берег пуще зеницы ока. Вы уже проходили на чтении, что такое зеница ока? Он любовался узорами и боялся чашку разбить. Когда он все-таки уронил чашку и та разлетелась на тысячу осколков, он пожелал, чтобы ее починили, но так, чтобы нельзя было различить следов разрушения.

– Но это невозможно! – девочка гладила ладошкой лицо Липы.

Евгения Скобина родилась в 1988 году в Москве. Училась в РГАУ-МСХА имени Тимирязева, на Высших литературных курсах Литературного института им. Горького, в магистратуре ВШЭ по программе «Литературное мастерство». В «Волге» опубликовались повести «Курков дом» (2022, № 9-10), «Коптилка» (2023, № 7-8) и рассказ «Гад морской» (2024, № 3-4).

– Справедливо. Но мастера склеили черепки жидким золотом, и чашка стала еще красивее, чем прежде.

– И в чем мораль сей басни? – спросил Илья. Липа вздрогнула: муж подкрался со спины.

– В том, разумеется, что идеал – это иллюзия. Иногда важнее совершать ошибки и бить чашки.

– Ты посидишь с Надей на каникулах? – спросил Илья, раскладывая макароны по тарелкам. Спагетти быстро остывали и прилипали к бортикам.

Липа подчистила неровную линию ластиком, сдвинула крошки и повернула трубу направо.

– Нет, – не полнимая головы, ответила Липа. – У меня загруз в университете. Фрэнк уезжает к родителям. И мы с Артемом будем отдуваться за троих. Ты же знаешь, какой у нас строгий Влад.

Надя убрала со лба волосы прямой рукой и спрыгнула с колен мачехи.

– От тебя плохо пахнет. И ты мне не нравишься.

Липа улыбнулась. Надя перевернула бутылочку с соусом и вылила добрую половину в тарелку, на дне которой барахтался Карлсон.

Илья подвинул жене тарелку с сыром и отдельно тарелку с макаронами.

– Дозируй сама, – сказал он и отобрал кетчуп у дочери. – Придется тебе все-таки поехать со мной на рыбалку. Мать твоя на работе, мачеха на работе, один отец – бездельник. Айда со мной.

Надя через стол полезла к Липе и провела красными кетчупными пальцами по бумаге. Липа поднялась и сказала:

– Вы ешьте, а мне теперь это творчество на компьютер перенести надо.

– Еда остынет, – строго сказала Илья.

– Я не голодная, – крикнула из комнаты Липа. – Фрэнк угостил сэндвичем с тунцом.

– Кинцуги, значит, – сказал Илья, когда Липа вышла, а Надя рассмеялась и повторила нараспев:

– Кин-цу -ги!

Заведующий кафедры с зачесанными назад седыми волосами и в белом халате развалился в кресле.

– Посиди. Мне закончить нужно, – сказал старик и закопался в бумагах. На руке сидели объемные часы и желтые пятна. Старческие или химикатные – не угадаешь. Липа посмотрела в окно. Вид открывался на замерзший пруд. Женщина тащила упирающего мальчика по ледяной дорожке. Сорванец кричал и извивался так старательно, что потерял шапку.

Не жалеј – говорил дядя Саша. Не жалеј ни себя, ни других. Плохая привычка. Тебя никто не пожалеет. Думаешь, мать тебя пожалеет или я?

Мать вышла за него, когда Липе было восемь. Мать обрадовалась: отхватила мужика, а что у него ни кола ни двора, даже зубов и работы нет – все равно – счастье. Дядя Саша сначала острожножничал, а потом характер все-таки вылез. Мать устроила его охранником в местное питейное, а сама пропадала на сутках. Когда родила – еще одну девочку – дома сидеть не стала – сразу на работу вышла. Администратором в фитнес-центр.

Деньги она в дом приносила, а еду, как и когда в тягости была – бабка таскала. Дядя Саша, бывало, придет, пиво – жестяную банку – из кармана вытряхнет, а мать с пузом, бледная, с синяками под глазами, нечесаная, и заикнуться боится, что дома шаром покати. Липу уже тогда в школе начали дразнить: что шмотки старые и что карманных нет.

Если бы бабка соленьями не торговала и перчатки шерстяные – в переходе при спуске с электрички – не продавала – выжили бы?

Как мать на работу вышла, дядя Саша снова залебезил и подобрел. Встречал, когда с сумками возвращалась, но только когда трезвый. Обычно приползал с работы в полутемную квартиру уже датый, то инкет в прихожей, то рыгнется и ударит, что под руку подвернется.

Липа сестру – в комнату, дяде Саше – на стол разогретые в микроволновке кашу или макароны с сосисками – то, что мать утром приготовила в половине шестого. Дядя Саша на нее мутными глазами и давай жизни учить.

В каком мире дядя Саша жил – таким и законам учил. Но Липа все еще верила, что вырвется, что мир у них с дядей Сашей не один на двоих. Маска упрямства появлялась на лице. Дядя Саша читал сопротивление. Он кидался газетами, пепельницами и тарелками – всем, что под руку подворачивалось. Дура, я для тебя как лучше хочу! Липа уворачивалась, бежала в комнату – по рассеченной брови текла кровь.

Поворачивала замок, подволакивала шкаф – руки саднило – шкаф тяжелый. Маша – сестра – плакала. Маша и Липа сидели на полу. Шкаф некоторое время трясся, потом на дверь обрушивался последний удар – и все смолкло. В комнате родителей заговаривал телевизор. Маша засыпала на руках у Липы. Но это если везло.

Иногда Маша – ей было уже три – просилась в туалет. Но Липа знала – выходить нельзя – ни в коем случае – одной разбитой бровью не отделаешься. Он потом виниться будет – а что толку – толку чуть – лицо будет разбито. Она говорила сестре – иди на горшок, но Маша – умница, быстро сообразившая, что на горшок только маленькие ходят – хотела как взрослая. Отказывалась. Липа ее уложить хотела, гладила по голове, рукам и ногам, колыбельные пела – откуда-то прорезывался бабкин напевный голос – бабки, которая мучилась спиной и ногами и не приходила без лишней надобности.

Когда Липа увидела в первый раз, как прыснула моча через ткань, рассмеялась, а потом, глядя на заплаканные глаза сестры, бросалась переодевать и сушить. Под вечер, в глухую ночь – стучала дверь – мать приходила. Липа смотрела, как мать, вынимая из пакетов продукты, старается не шуршать.

– Сильно лютовал? – спрашивала мать. Липа пожимала плечами и тащила в рот бутерброд.

Влад Сергеевич паялился в экран компьютера и печатал, нажимая толстыми пальцами на клавиши. Мальчика за окном – упряма – мать уже утащила по ледовому покрытию реки в дом. На реке выплясывали другие дети.

– Февральский лед тонок. Но они катаются сами и детей берут с собой. Безответственность, глупость или злой умысел, как думаете, Липа Васильевна?

Липа посмотрела на полы халата и заметила кровь. Она извозила халат – придется стирать посреди недели.

Она смотрела на кровь и ничего не чувствовала. Когда боль других заставила ее испытать тайную радость? Когда она удержала собаку, которую звал хозяин, а та пискнула? Когда прищемила – в пылу борьбы – но все-таки нарочно – палец обидчику? Когда толкнула подругу – лучшую, наперсницу, поверенную всех смешных детских тайн – с ледяной горки – и ее санки чуть не выехали на трассу? Она никого не жалела: ни других, ни себя. Но она выросла: из дома можно было бежать. Поступила в ветеринарный, здесь боль причиняли для облегчения еще большей боли.

Входить в волю в мужчины она не собиралась. Помнила, как женщины ближайшего круга – как лемминги – прыгали с этой скалы. Как они извивались на сковороде, как ужи, но потом делали все, что велели мужчины. А когда хотели выпрыгнуть обратно – было уже поздно. Они были в детях, без работы и в подчинении не явном, но скрытом. Они говорили то, что от них слышать хотели, делали то, что противно, и вели себя так, будто они были куклами на веревочках. В такси Лена услышала обрывок рассказа, где крестьянка, что гуляла ночью, возвращалась к мужу – шла с одной стороны поля на другую зигзагами. Будто муж стягивал невидимый поводок.

Рабство на уровне мыслей, на уровне слов и действий закабалило женщин больше, чем чужая воля, которой часто и не было. Вместо нее была мужнины злость, страх и гнев.

Липа верила, что брак – это когда ты любишь и знаешь, что тебя в ответ не только не будут любить, а будут, пользуясь твоей любовью, которая есть слабость, причинять боль. Липа думала,

что выйти замуж это то же самое, что специально совать голову под нож гильотины, рядом с которой – корзина с отрубленными головами. Липе никто не мог причинить боль. Она могла быть верной и заботливой, если от нее не требовали того, чего она не умела – любить.

– В каком году женщины добились равноправия? – спросил заведующий, заметив, что она отвлеклась.

– Помнится, после первой мировой. Суфражистки устраивали одиночные пикеты и перформансы. А что?

– А того, что муж твой звонит и спрашивает, почему я не отпускаю тебя на праздники законные.

Липа скрыла в полах халата красное пятно и села на краешек стула. Она мучительно разглядывала морщинистую, как у шарпея, шею старика.

– Илья хочет, чтобы я с падчерицей осталась. Девочка меня терпеть не может и постоянно вовлекает в манипулятивные игры – между отцом и матерью. Мне жалко, что она никому не нужна, но у меня интересный проект, хочу им заняться. Вы же меня не выдвали?

Липа заглядывала в глаза Владиславу Сергеевичу. Она не раз пользовалась синью глаз для убеждения. Влад три раза переложил бумаги с места на место.

– Ты все с поведенческими реакциями возишься?

– Крыса попалась умная, сообразительнее других, в два счета лабиринты проходит, – радостно затараторила Липа.

– Крысы три года живут, не привязываясь. И отчеты сама заполняй: устал биться над каракулями Фрэнка.

Падчерица растрепала волосы, которые так тщательно заплела Липа, и теперь отплясывала перед телеком. Одним из тех сериалов, которые никогда не кончаются. Вот именно на них – на этой жвачке – конвейером вырастают дети эпохи потребления. Липа смотрела в зеркало. Ей было двадцать девять, но она закрашивала седину на висках, под глазами появились пресловутые лапки, как будто кто-то невидимый тер наждачкой кожу и растягивал.

Липа не хотела детей, не хотела мужа. Но стала звонить и жаловаться на одиночество мать после смерти дяди Саши. Перспектива оказаться в Подмоскovie стала выпуклой, как стекло секретика из разбитого бутылочного донышка.

Илья вечно всем помогал и жил с очевидным намерением найти себе жену и мать дочери. На предложение Липа почти сразу согласилась. Она умела притворяться и верить в реальность, которую представляла себе. Иначе как бы она пела колыбельные Маше, как бы она поступила в универ, как бы съехала из дома матери? Липа вышла замуж, осталась при универе и не собиралась упускать ни одну из этих возможностей.

Липа выключила телевизор, дернула девочку за руку и завязала волосы падчерицы в криквой хвост. Липа затолкала Надю в куртку, затянула капюшон и молнией прищемила маленький подбородок. Надя заплакала. На улице Липа дергала и тянула. Только в окружении круглых лиц воспитательниц – в хороводе сюсюкающих фигур – Липа успокоилась.

Она вытерла зареванное лицо Нади. Перевязала хвост, вздернула до груди колготки и передела кофту, которую надела спинкой. Битой ходить будешь, – сказала она. Надя забыла, что полчаса рыдала, и ускакала в игровую. Липа опаздывала, но по февральскому льду реки – по замершему пруду – не пошла.

Крыса идти отказывалась. Она умывалась перед входом лабиринт и делала вид, что угощение – корочка хлеба – недостойная цель.

– Вы выдерживали ее без еды? – раздраженно спросил Владислав Сергеевич. Фрэнк кивнул, а Артем отошел к раковине – там стояли пробирки – взял толстый ершик и вытащил грязную посудину из-под воды. Студенты группы 304 посматривали на крысу без любопытства, а девчонки – те, что посимпатичней – шушукались. Крыса наконец сдвинулась. Она прошла три шага и принялась скрести пол.

– Она издевается? – спросил кто-то из студентов.

– Это ваша самая умная крыса? – снова спросил Владислав Сергеевич.

– Липа построила сложный лабиринт, сегодня первый день, – ответил Фрэнк.

– Посадите другую, – велел старый профессор.

Фрэнк убрал Кинцуги в клетку, а в лабиринт посадил новенькую, только вчера привезенную из другой лаборатории, ее, как и Кинцуги, тоже препарировали. Квадратики кожи были еще розовые. Новенькая уперлась в два тупика, потом вернулась, снова уперлась еще в один тупик, потом в четвертый, обнаружила лестницу наверх, и дело пошло веселее.

– Семь пятьдесят шесть, – сказал Владислав Сергеевич, глядя на большой циферблат наручных часов. – Назовем Лолой. Старушку вашу забираю на утилизацию. Липа Васильевна, где ходите? – спросил заведующий ворвавшуюся в кабинет лаборантку. Липа хотела ответить, но Владислав Сергеевич остановил ее решительным жестом.

– Опять будете оправдываться. Надоело. Женщина на корабле – к беде. Правду говорили матросы, – старик раскачивал клетку с крысой. Девушки, что болтали на задах, притихли.

– Рыжие тоже, – ответила Липа. – Фрэнка со мной погоните?

Фрэнк с укором посмотрел на Липу.

– Верните мою крысу, – лаборантка наступала на Влада. – Верните!

Старик сгорбилась и сощурил глаза.

– Липа Васильевна, подберите сопли. Крыса в лабиринте и два шага не сделала. Отправим на испытания. Вирус чумы занятого штамма вывели, опробуем. Пусть служит науке, как умеет.

– Кинцуги вчера лабиринт за пять минут прошла, ей просто не интересно во второй раз, – громче сказала Липа.

– Врешь и опаздываешь. Сколько тебе еще авансов я должен выдать? – заведующий двинулся на выход. Липа посмотрела на Фрэнка, но тот покачал головой. Она стала в дверях.

– Это моя клетка, я купила. Дайте пересажу.

– Ну-ну, открываются все новые и новые ваши стороны. Профессор вернулся и поставил клетку на стол. Липа щелкнула затвором, вскрикнула, нагнулась и стала шарить по полу.

– Сбежала? – спросил Влад.

– Вы кричали, и я разнервничалась, – Липа виновато стояла перед заведующим. На сгибе рукава под халатом Липы Васильевны затихарилась Кинцуги.

– Не найдешь крысы, считай, уволена, – сказал Владислав Сергеевич и махнул студентам. Молодежь, переговариваясь, проходила мимо лаборантки и профессора. Они уже забыли про крысу, про лабиринт, про поведенческие реакции и торопились в столовую. Надо было скоротать время до следующей пары. Липа смотрела синими глазами на заведующего, но все было напрасно.

В таких комнатах Кинцуги еще не бывала. Тут было уютно – белый кафель с зелеными стеблями и зеленая лампа. Пахло выпечкой и едой – иной на вкус, на вид, по консистенции – та-

кую она еще не пробовала. Клетка стояла на полу – на подставке. А Липа, нагнувшись, что-то ей шептала. Кинцуги огляделась. Препятствий было много. Пакеты, ящики и еще какие-то рельефы поверхности, что высились, как горы. Если бы ее выпустили, она бы побежала по картофельному запаху, туда – под раковину, но какой путь выбрать, она не знала, – нужно было следовать от точки до точки. То, что она знала, где финиш, нисколько не облегчало путь. Кинцуги знала, что она придет туда, куда нужно. Но как пройти лучше, правильной и короче? Кинцуги умыла умную морду лапками. На кухню вошел незнакомец. Это был не Рыжий, не Практичный, не Большой, этот человек был ей незнаком. Но от него, как и от Большого, исходила опасность.

– Слушай, я же с мужиками поеду, будут пить, и холод опять же. Останься с Надей, а?

– У меня исследования, я же говорила, – рассеянно ответила Липа, складывая на столе руки домиком.

Илья прошелся по кухне и обрушился на жену.

– Ты живешь с нами, а не квартиру снимаешь. Ты не няня Наде, ты ей вместо матери! Сердце у тебя, что, совсем не болит?

Липа хотела по обыкновению ответить: «Справедливо», но промолчала.

– Я звонил на кафедру. Знаешь, что сказал твой начальник? Он сказал, что ты уволена. И за чем крысу домой притащила?

Илья нагнулся, раскрыл клетку и вытащил упирающую Кинцуги прежде, чем Липа помещала ему.

– Знаешь, в чем разница между тобой и японским императором? Он свою чашку любил, а ты нашу чашку не любишь. Из кулака Ильи торчал хвост.

Липа наморщила лоб и попросила:

– Не надо!

Илья скривился и бросил крысу, как теннисный мяч.

Кинцуги летела от окна до стены, и ей открывался вид на пол, на пакеты, и ящики, на трещину между двумя половинами пола, на залом линолеума, который казался ей прежде страшной горой. Теперь она видела, куда следовало бежать. Кинцуги ударилась головой о стену, и кровь брызнула по сторонам: влево и вправо. Пятна эти были торжеством пуантилизма: ударившись о стену, сложив череп и оставив следы мозговой жидкости, то, что прежде было Кинцуги, шлепнулось на пол.

Мерцали огни светофоров. В воздухе пахло хлебом: завод работал исправно и на полную мощность. Липа застыла: она еще не знала, куда пойдет. Желтый. Красный. Налево или направо? Липа увидела длинную ледяную дорожку, залитую светом. Она решила. Липа шла по реке, скованной льдом, и произносила вслух газетную заметку, которую не читала в тот год, когда она вышла, но потом целый год долгие часы – слово в слово – не читала, а повторяла наизусть.

«На Охотском озере утонула девочка пяти лет – Мария Савельева. Девочка находилась под присмотром старшей сестры. Подросток не успел вытащить ребенка из воды. Проводятся розыскные мероприятия, чтобы найти тело».

НЕОБРАТИМОЕ

* * *

Мел – память о ракушке.
Мука – о злаке.
Кость – о теле.
Бумага – о дереве.
Память белая, как север эллипса,
как макушки у литосферы.
Улитка серым пятном
заснула где-то в снегу –
петрификат: «Могу, но как-нибудь позже».

Время налогом гложет
гибкую ветвь судьбы.
Белая стружка сыпется в корпус мозга.
Между «позже» и «поздно»
Сокращается расстояние:
«Из пункта А в пункт Б с постоянной скоростью... Через какое время
смерть перегонит жизнь?»

Завяжи пуповину бантом
и ступай на канат под куполом.
Половину откупишь наглостью,
а вторую – удачей,
маленький Гуттаперчевый мальчик.

А иначе застынешь ещё у двери
глышкой луны –
памятью о Гигантском ударе с Тейей.
Белой-белой.

* * *

Улица.
Тени расплываются
 незнакомцами.
На лицах
обкромсанные, раскрашенные

Елизавета Чернова родилась в 2005 году в г. Урай (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), живет в Саратове. Учится в СГМУ им. В.И. Разумовского. Публикуется впервые.

выражения собственного Я.
Вот:
Я довольное – рыжее,
Я усталое – асфальтовое.
Кафельная мозаика,
дробление морулы-первочастицы:
колени, ресницы, уши.
Мертвое общество душит возможности.
Когда кожа не ощущает
от сенсорного избытка,
впиваюсь в сорные мысли, скорые кадры памяти, солёное детство.
Пытка –
вспоминать свой цвет и свое место.
И если их вовсе нет?

Чувствую
инаковое индиго.
Иди – говорит – дикая, в Индию
и переродись, наконец, во что-нибудь золотое.

Четыре трактовки

Тишина –
это прочный пласт
трансформации от скитания.
Приращенье китовых ласт
вместо лап.
И с китами я
обращаю наземность слов
в океанский зов.

– отрицательно громкий звон,
уплотняющий ткань среды
между двух аномальных зон:
«Все» и «Ты».

Тишина
– токсин одиночества.
От нее немеет язык,
голос встает на стык
мыслей, отмытых
дочиста.

Остановка внутри стиха
Направительна
и тиха.

Жду во ржи поникшим колосом,
жду в тиши пугливым голосом.
Между рельсами слогов,
не запаянных в слова,
ветер жду.

Мне Молох и Котлован
измельчили тонкий дух
о стальные жернова.
Только слух –
радар.

Ветер будет выть о горе,
облака загнав в овчарню.

Чад разбавит
мыслями.
Прицеплюсь, повисну я
на руках свободы.

Места в черноземе мало:
глина вяжет горьким салом,
пылью, солью,
жжет мозолью,
едким мылом.

Ветер жду,
как лист бескрылый.

Андрей ТОРОПОВ

Что ты выбираешь – славу или счастье?
Потому что вместе получить нельзя.
Затаившись пешкой, пережить ненастья
Или выбрать гибель гордого ферзя?

Если выбрать славу, надо быть фальшивым,
Нравиться не этим, говорить не то.
Попадать под грязи, слухи и поливы,
Надевать от мира толстое пальто.

Если выбрать счастье, надо быть счастливым,
Никого не слушать, всем обалдевать.
И к цветущей груше, и к цветущей сливе
Прикасаться нежно, грядки поливать.

Неожиданный подарок –
Снег приходит ещё раз.
И, испытывая радость,
Мы на лыжи встанем щас.

Переехать через поле,
Занесённое опять.
Наши старческие боли
Утолить и отозвать.

Вот нечаянная радость –
Дополнительный пробег.
Отодвинем нашу старость
И запомним этот снег.

Молодой весны ребята,
В лыжных шапочках грачи.

Андрей Торопов родился в 1978 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил исторический факультет, аспирантуру Уральского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент, автор научных трудов по истории уральской промышленности. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая реальность», «Воздух», «Белый ворон», «Байкал», «Артикль», «Крещатик», «Волга», «Новая Юность», «Зарубежные записки», «Стороны света», «Вещь», «Spoke», «Пироскаф»; в «Литературной газете», газете «Поэтоград» и др. Автор четырех поэтических книг. Живет в Екатеринбурге. Работает преподавателем в вузах.

Воротимся в наши хаты –
Кофе, яйца, куличи.

Наелись или не наелись
Прекрасных чувственных стихов,
Но мы еще не насмотрелись
Американских пирогов.

Когда же выйдет новый сиквел?
Что будет дальше со шпаной?
Что будет с нами дальше, стифлер,
Скажи, коллега дорогой?

Они стареют вместе с нами,
Встречаем вместе новый год.
Как будто мы попали сами
В страстей безумный хоровод.

Никаких пирожков не достанется,
Разобрали опять пирожки,
За бутылкою тянется пьяница,
Я давно не хочу в петушки.

А хоть горько мне было, но весело:
Забухать до нескладной строки,
Загулять на селе с красной плесенью
И на скорой умчать в петушки.

Только бог даровал возвращение
Из кальмарной больницы домой.
Счастье, дети, роман воскресение,
Если хочешь, добьешься с халвой.

Если хочешь, дождись воскресения,
И опять завезут пирожки,
Начиненные чистым терпением.
А не хочешь – езжай в петушки.

Лошади – белки наших глаз.
Тает, разливается бычье семя.

Я хотел остаться, но свет погас.
Я хотел уехать, но вышло время.

И монетка в воздухе без петли
Замерла – не падает, не взлетает.
Выбрать ли стабильность сырой земли
Или небеса, что манят, пугают?

Тело упадет, улетит душа.
Стих зависнет в воздухе без ответа.
Решка и орёл жалкого гроша.
Вечные слова мертвого поэта.

Блок, пеоны измученный,
Под землёй обрёл покой.
Золотится диск приученный,
Бесконечный и пустой.

На таком большом носителе
Можно многих сохранить.
Но бесчисленных просителей
Просят тихо уходить.

Список сам собой составит,
Миллиард погаснет искр.
Может, парочка останется
И запишется на диск.

Никольская, 15

1.
На все твои вопросы
Один ответ – петля.
Чтоб злые наши слезы
Припрятала земля.

Но ты идешь по миру,
Показываешь страх,
И горе, и помилуй
В протянутых стихах.

Дымок от сигареты,
Остаточный причал.
Плаксивые рефрены,
Избитая печаль.

Добавятся катрены
И зацветет миндаль:
Звонящие рефрены,
Хрустальная печаль.

Звонящие рефрены,
Хрустальная печаль.
Пробьют и наши смены
Бесчувственную сталь.

2.

Пишут, пишут из москвцы
откровенные глупцы:
герцены и огаревы
любят горы воробьевы,
оружейная палата,
ты ни в чем не виновата,
и на площади на красной
все мечтают о колбасной,
а в архангельском соборе
все мечты о беломоре,
ельцины и воробьевы
любят горы огаревы,
а на улице никольской
таракановое войско,
грановитая палата,
ты ни в чем не виновата.
Пишут, пишут из москвцы
Откровенные глупцы.

3.

Я слишком родину люблю,
Москву и прочие сусеки,
Воспоминания коплю
И гладиолусы дейнеки.

Одни смогли молчать и ждать,
Кричат другие, выезжая,
Я никого не осуждаю,
Себя могу лишь осуждать.

В театре снова гаснет свет,
В музее раздают картинки,
Одно и то же столько лет:
Дега и мокрые ботинки.

Не нужно быть эрнестом, друг,
Чтоб быть любимым и несчастным.
Но если мы живем напрасно,
Зачем мне нужен новый круг?

4.

Жил-был город Александров,
В честь поэта назван был.
Я с женой и Александром
Дивный город посетил.

Обошли кремля палаты
И цветаевский музей.
Съев хотдоги и донаты,
В путь отправились скорей.

Чтобы грозный царь, очнувшись,
Нам в погоню не послал
Взвод опричников бездушных,
И не бросил нас в подвал.

Старые люди, как желтые листья,
Те, что еще не опали с деревьев.
Новые люди – проныры и прихвостни,
С веток снимают красивые перья.

Солнце встает над ошипанным парком,
Но не поет безразличное солнце.
Бедным воронам не хочется каркать.
Молча сидят на ветвях за оконцем.

Жадно земля забирает подарки,
Пестрый ковер полежит до морозов.
Как-то держусь и не хочется каркать
Серой вороной на желтой березе.

Если не за что держаться,
Если незачем дышать,
Свет приходит попрощаться,
Начинает воскрешать.

Греет щеку и смеется,
Предлагает потерпеть.
Неужели жизнь дается,
Чтоб подсохнуть и сгореть?

Для замерзших и заблудших
Теплым светом приходить,

Чтоб чуть-чуть им стало лучше,
Чтоб чуть-чуть еще пожить.

Если сам не возгорится
Для страдающих от бед,
То нельзя за луч схватиться,
Чтобы вылезти на свет.

Верлибр 1 октября

Все-таки придется верлибром
Можно было бы отложить отбросить
Но сюжет привязался
По выходным примерно два года
Я водил дочку на тренировки
Мы вставали рано утром
Садились в трамвай
И выходили на остановке
Возле здания на стене которого
Был нарисован огромный мифический лось
Получеловеческий с бородой
В каких-то ассирийских узорах
Я сочинил на мотив советской песенки
Короткий гимн этому лосю
Вези меня октябрьский лось
В свою страну Лосинию
Вези меня октябрьский лось
Туда где небо синее
Вези меня вези октябрьский лось
И каждый раз когда мы проходили мимо него
Я пел этот гимн
Только лось становился ноябрьским
Декабрьским, январским, февральским
Весенним, июньским и т.д.
Потом дочка подросла
Стала ходить в другой спортклуб
А лося вовсе покрасили
Оставив только голую стену
Но я иногда вспоминаю наш гимн
И напеваю его себе и дочке
Она говорит, что лося больше нет
Но я отвечаю ей
Что он останется в наших сердцах
В конце можно было бы повторить текст гимна
Но не буду

Мы должны умирать, мы должны исчезать.
Надо каждой весной, надо каждой весной.
Снова снег заменять, снова грязь вытеснять
И зеленой травой, и зеленой листвою.

Непреложный закон, да суровый закон.
Но нельзя обойти, как его обойти.
Не кричи, мудозвон, я и сам мудозвон.
Не кричи, не мути. Хоть кричи, хоть мути.

Очень мудрая мысль, очень свежая мысль.
И каков я мудрец, очень мудрый мудрец.
Ухожу от вас в высь, в недоступную высь,
И хрустальный дворец, и алмазный венец.

Для чего написал, лучше бы не писал,
Пусть приемчик в строке и цезура в строке.
На работу шагал, бормотал и шагал
С рюкзачком налегке, со стихом в рюкзачке.

Сергей АНТИПИН

ЧЕЛОВЕК ИМЕНИ...

Рассказ

Ударившись головой о дверной косяк, он забыл своё имя и выронил ключи. Ему бы заметить потерю, предпринять какие-то действия, сделать хоть что-нибудь. Но он забыл.

На месте удара проклюнулось беспмятство – и по неосторожности прямо туда он их выронил, в эту образовавшуюся замочную скважину.

Мир больше не держится в нём как прежде. Просачивается, перетекает. Не держатся и ключи, и имя. И любой жест разжижается в пространстве.

Действия дырявы, их не наполнить настоящим.

Он почесал голову, где болело, и направился к лифту. Глупо посмотрел на него и пошёл лестницей.

Вечером всё перевернулось. Он возвращался извилистым маршрутом с бутылкой под мышкой. Возвращался наугад запрокинутыми старыми парками, дворами, переулками, мимо истекающих уличных препятствий. От магазина, где урвал эту бутылку. Такую попробуй урви. Просачивался с ней из улицы в улицу. Иногда останавливался, в себя приходил, оглядывался, пытаясь хоть что-то запомнить.

Тела не стояли на месте – ни в пространстве, ни в памяти. И место не стояло. Одно переливалось в другое: скамейка в прохожего, прохожий в собаку, собака в урну, урна в ограду, ограда – в светофор... Так постепенно парк перелился в дорогу с пешеходным переходом, светофор – в машину. И дальше, дальше... Но всё мимо него или сквозь, не оставляя улик.

До магазина он шёл по указателям, расставленным от самого подъезда, и по пути перебирал набежавшие в голову имена. Мало того что он не помнил, как зовут его имя, он не помнил и как оно выглядит, сколько ему лет, откуда оно. Какое ни выбери, пусть даже точную копию того самого имени. Имя ушло и уже не вернётся тем же.

Указателей прибавлялось. До того, что нельзя было от них отвертеться. Длинные качающиеся ветви; ветер и облака; случайные жесты прохожих; трепыхнувшийся край платья; солнечные зайчики; полёты птиц и насекомых; дорожные знаки со стрелками; отчётливый точечный шум...

В то же время город некоторым образом дразнил его, даже издевался. Улица Франца..., переулок Сигизмунда..., аллея Сэмюэля, улица Андрея... в сожительстве с улицей Венедикта..., проспект Витольда..., парк имени кого-то, вроде бы Элиаса..., набережная без имени..., переулок Гюнтера..., тупик Джеймса... (упёрся – повернул назад). Только на набережной он мог передохнуть от экспансии чужих имён, стирая с себя очередное прозвище, которое давал ему город... «Человек имени переулка Гюнтера...», какой стыд!

Заключительным указателем стал велосипед с подмешанным к нему наездником в шлеме. Он следовал им довольно долго, по колеблющейся, ненадёжной тропе, через дремучий парк, через

Сергей Антипин родился в 2003 году в Челябинске, живет в Москве. Студент Литературного института им. А. М. Горького. Публиковался на портале «Новая карта русской литературы» и в независимом проекте «Сверхновый Карфаген».

его заросли и комариную морось, пока указатель не выехал на внезапный простор с торговыми павильонами и не остановился у одного из них, возле велосипедной стойки. Соскочил и вбежал внутрь. Магазин откупорен. А он быстрее следом, даже дверь не успела захлопнуться. И так же быстро назад. Остановился у входа и на опустошённый велосипед задумчиво смотрит, стеклянное горлышко прошупывая. Дна не видит. А голова кругом идёт, в глазах темнеет. Пошатывается и тошнит. Очертания взмахивают крыльями. За ними провал.

И вот – внезапно – вечер. Внутренний двор с детской площадкой. Он вбегает туда с одышкой, не понимая, откуда взялась эта одышка. Ступает на бордюр, не удерживает равновесие – валится на газон, в запрокинутую траву, что не смягчила падение, но только вошла в него. Он пуст, бессилен. Доползает до лавки, как до носилок. Впереди резвятся и вязнут в игре дети, бесхозные дети, переполняя вечернюю площадку. Их всего шестеро. Однако любое их проявление добавляет в компанию ещё одного ребёнка – правда, замкнутого внутри этого проявления. И благо, что действия дырявы, – через прорехи тот мог дышать действительностью. Ребёнок-вскрик, ребёнок-прыг, ребёнок-взмах...

Кое-как усаживается на лавку (от этого ничего не остаётся, ничего не добавляется – за этим ведётся слежка) и кладёт бутылку на тонкую землю. Затем бутылка тщательно вертится, перемишывая пространство. А в конце – указывает. И так шесть раз. Одуванчик Качели Карусель Песочница Дерево Окно...

Ближние объекты, объекты автономные, объекты не вовлечённые напрямую в центростремительные детские шалости, просто находившиеся рядом, слегка подсвеченные своей материальностью, по воле случая подхватывались, ввергались и сообщали о себе в этих замкнутых детских проявлениях. Бутылка указывала, прокладывая путь от объекта к имени. Убегая, мальчуган совершал ряд телодвижений, в каждое из которых попадали качели и там замыкались. Он вроде бы и бежит, а вроде бы и на качелях качается – той своей частью, что осталась без имени.

Мироздание пододвинулось. Перед ним разыгрывалась сценка, где Песочница погналась за Качелями, чтобы бросить в него мяч, Карусель кружилась и падала, Дерево шекотал Одуванчик, – Одуванчик смеялась, Окно смеялся тоже, но иным смехом, рождённым из смеха Одуванчика.

Милейшее мельтешение! О ребячливые пчёлы телесности! от забавы к забаве, как с цветка на цветок, вы летите! от имени к имени! А этот смех! О, этот смех, что раскрылся в Окне, впуская на строение, рождённое в другом... Он с упоением глядел на них в бутылку, будто в подозрную трубу, и всё видел. Внешнее показывало идиллию, спокойную поверхность, игровую модель мира. Пока внутри, пронзая этот инфантильный фон, кипели страсти, *естественный отбор*, борьба, бойня, – бойня имён-узурпаторов.

Сначала, ещё у магазина,

Михаил, Иван, Артём, Дмитрий, Алексей,

Николай, Денис, Павел, Иосиф, Юрий, Игорь,

Семён, Юлий, Антон, Альберт, Роберт, Лев,

Эдуард, Тимофей, Данила, Данил, Даниил,

Роман, Фома, Кирилл, Афанасий, Вениамин,

Владимир, Никита, Фёдор, Глеб, Егор, Олег,

Арсений, Степан, Савелий, Захар, Мирон,

Макар, Лука, Елисей, Платон,

Демид, Давид, Гордей, Сергей,

Ярослав, Бронислав, Ростислав, Владислав, Станислав,

Вячеслав, Святослав, Мстислав, Радомир, Мирослав,

Всеволод, Ян, Виктор, Аркадий, Илья,

Василий, Виталий, Григорий, Евгений,

Леонид, Петр, Борис, Геннадий, Демьян,

Валентин, Константин, Анатолий, Валерий,
Георгий, Александр, Филипп, Иннокентий и даже Евлампий –
(тут установлен батут для упавшего взгляда) –

беспорядочно, с остервенением набросились друг на друга, имя на имя, с именем наголо, вонзая в имя имя, раскраивая имя, проливая имя, отрубая имя, выкрикивая в имя своё – но не его – имя. Постепенно слабые и поверженные начали отступать через приоткрытое беспамятство на *освобождённые бутылкой территории*, и начинали там окапываться, возводить стены своего имени. Другие собирались в группы и шли походом на прочие крепости имён. Из локального конфликта, из междоусобицы за безымянное – это переросло в полномасштабное военное действие, протекающее далеко за его границами. От любого объекта вокруг веяло припоминанием. Пленение, насилие тяжкое заполнили землю.

Тут-то он вспомнил, как недавно вспоминал – точнее проигрывал в памяти. Но что? К чему он это вспомнил, если на деле ничего не вспомнил, кроме самого факта воспоминания? Наверняка тот он, – что вспоминал, а не тот он, что вспомнил, – ещё это помнил, ещё проигрывал это в памяти, находясь в изоляции прошедшего, протекающего самое в себя от магазина до тёмного переулка. Но между ними провал и никак им друг с другом не связаться. Приходится порознь действовать.

Прячась в тёмном переулке, тот он вспоминал, пока мог, как остановился под козырьком с бегущей строкой – бегущей за край табло и выбегающей с другого, и в велосипед глубоко всмотрелся. В этот момент из-за угла вышел В Погонах и, точно невод, всё его внимание на себя перетянул. На два вровень подогнанных пласта с двух сторон и что-то между. Но что? Тот он силился вспомнить, всё-таки имелись кое-какие зацепки. Звёздочки, фиалковая выпушка, просветы...

В его повреждённой памяти повторялись такие же повреждённые: магазин, козырёк, бегущая строка, велосипед, угол здания. Из-за угла выходит В Погонах – выходит и останавливается. Стоит. Стоит и ждёт. Что дальше? Из-за правого погона выходит человек, заворачивает в проход между ними и идёт, – идёт откуда-то издалека. Его лицо сливается с телом, а тело сливается с одеждой, а одежда – с погонами. На выходе тот оказывается полностью в них упакован. Да что там, эти челюсти его заживо пережёвывали и не хотели проглатывать!

Тот он никак не ожидал, что воспоминание окажется настолько устрашающим, кровожадным, кошмарным. Тот он хотел крикнуть себе. Беги оттуда! Беги прочь! Прячься! Ко мне беги! Я тут, в безопасности! Садись на тот велик и езжай сюда! Зачем ты стоишь и смотришь?! Они и до тебя доберутся! Ты же видел, что они сделали!

Но тут в его памяти заговорил В Погонах. Заговаривая, заговорил.

О не беспокойтесь! Такие пустяки! Делов-то? Люди всё наговаривают, не верьте. Нечего бояться. Через минуту уже забудете обо мне. Мне немного надо. В соответствии с законными требованиями, разумеется! Плановая проверка! Начальство капает! Я только одним глазком (*воображение подвешивало между погон этот «глазок»*) в документации ваши. Это совсем нетрудно и ничего не займёт! Если ленитесь – вы только покажите, в каком кармане, всё сам сделаю! (*и рука по воле воображения высунулась из его погона, чтобы помочь*). Ах, забыли! ах, дома оставили! что ж это мне теперь, с вами до дому пройти? а куда деваться? Вы хоть у себя дома-то забыли, не у меня или у кого ещё? Если у меня, то я и сам схожу, а вы постойте, так сказать, ни с места. Погромче, вас не слышно! У себя оставили, говорите? ай-я-яй! Ключи от квартиры потеряли! Что это у вас за неудачный денёк сегодня такой? Не с той ноги, что ли, встали? (*Да-да, и у В Погонах ноги были, но обе были не те*). А может, кто дома остался? скажем, бабушка? дедушка... нет их? давно? а мама? папа? вдруг – мачеха? отчим? и этих нет? а брат, сестра? дядя? тетя? ну кто-то же остался! хоть кто-нибудь! Может, жена есть? дети? Не ваши, так чужие. Кто-нибудь бы через порог ваши документки! Без обхаживаний и чаепитий. Я же адекватный человек, всё понимаю: мой дом – моя крепость. Ничего против не имею. Один проживаете? Не связь с роднёй-то хоть поддерживаете? может кто-то из них вас выручить? дубликаты ключей? свидетельство о рожде-

нии? а мобильник-то взяли? Тоже забыли! И ни одного номера не помните... так ещё и один живёте... и ключами ни с кем не делитесь... и родственники все за границу перебрались, оказывается... Ну конечно. Слушайте, вы как будто бы чего-то не договариваете. Не надо, не надо! Вы же сами понимаете, что это всё очень *подозрительно*... Я вас насквозь вижу (*глазком своим*). Мне зубы не заговаривать... Убили кого-то, верно говорю? Вон в том парке. Нож воткнули и убежали. Так, ради удовольствия. И изворачиваетесь теперь. Ответственности боитесь. Бутылочку прикупили... И это могу объяснить, чистая психология: этим приобретением вы бессознательно вернули себе своё орудие преступления, но как бы в вычищенном от преступления виде! Пустую оболочку вместо него оставили. Стекло! Но орудие-то куда не делось! Просто стерильным стало! Ну что, всё верно или поспорите? Нет?! Как это нет? По-моему, иного объяснения просто не придумаешь! Не упрямитесь. Правосудие всё равно всё докажет. Да тут и доказывать нечего. Готовый приговор. Но у вас ещё есть шанс на спасение. Есть один вариант. Я очень рискую... но что поделать. Нужно же помочь человеку, попавшему в такое скверное положение! Это мой долг. Так вот что. Говорите, один живёте? ни семьи, ни родственников? и друзей нет? Так? В таком случае решение: вам нужно всего-навсего в гости меня пригласить – и я вас отпущу, без дураков. Вот моё вам предложение. Это абсолютно безопасно и конфиденциально. У других спросите, все скажут. Как-как? Да что же это такое! Что вы такое говорите! Недавно только переехали? Адрес не помните? Так ещё и в магазин пошли, заплутали и дорогу обратную забыли... Боюсь спросить, а что вы вообще помните. Кто вы – вы помните? Имя своё вы помните?! Теперь уже серьёзно спрашиваю!

Не помнит. Он помнит только, как помнил, и молчит.

В Погонах, спустя паузу, добавил: ну, ответ затянулся. Тишины нагнали. Отвечать будем? как зовут? имя ваше?!

Он отчаянно отмалчивался, пытаясь целиком влезть в бутылку. Какой-то незначительной частью ему даже удавалось. Наполовину она наполнилась самым действием влезания и кучкующимися в форме сопло пальцами.

Продавленный вопрос приобрел масштабы личности – его личности, в которую вопрос и продавили. Каждое припоминаемое ранее имя откликнулось на зов. Это назревало всю дорогу до бутылки. Полчище имён, подзабытых имён, притеснённых. Оседлав коннотации, они рванулись со скоростью мысли. Михаил, Иван, Дмитрий... Савелий, Захар, Мирон... и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. Топот, столкновение, бой. Его территория ежесекундно переходила от имени к имени. Михаила, пришедшего сразу на ум, сверг Иван, Ивана разбил Савелий, Савелия прикончил Захар, Захара шлёпнул Дмитрий... а Мирона спугнули.

Не с убедительной, а с какой-то убеждающей слёзностью В Погонах произнёс: ну же, ну! Что за проблема? Соврите уже, если не знаете, соврите! Я вас прошу. Только назовите себя!

– Человек имени... улицы Венедикта...! – это прозвучало как взрыв – на этой самой улице. Он никак не ожидал от себя такой наглости, такого, можно сказать, *преступления перед именем закона*...

Что вы тут устроили! Бунт? Нет, это диверсия! Она-она самая! Это уже ни в какие ворота! Я вас арестую! Раздражённый и возмущенный В Погонах очутился почти вплотную. И хоть у того были ноги, но так как они обе были не те, он подошёл к нему чем придётся – что под ноги подвернулось. Велосипедной стойкой, голубями, штaketником, перебирая ими, как сколопендра своими лапками. Подошёл и попытался схватить повисшей погонной рукой. Но не схватил. И вот почему. Беспамятство, открывшееся в месте удара о дверной косяк, изначально было не больше замочной скважины, но чем дальше он уходил от дома и чем ближе подходил к *бутылке*, тем сильнее оно разрасталось, – и к тому моменту походило уже на щель приоткрытой двери. В эту щель юркнул В Погонах. И остался за дверью. Хуже не придумаешь.

Он побежал оттуда, он рванул прочь – мимо заборов, лавочек, урн, резкий поворот, тёмный переулоч, спрятался там, переждал. В переулке его памяти смутными мазками проступал прищуренный глазок, подвешенный между погон, ноги, которые были не те, безжизненная, но властная

рука и этот напор ожидания... Слушал шорохи, мышь, вспоминал случившееся, воспроизводил в памяти, пока не истёрлось, вылез, оглянулся, никого, выбрался на тротуар, огляделся, странное чувство, кто-то тут есть, высуну ладонь из бутылки, сунул бутылку в подмышку, сошёл в заросли кустарника и через них, под их прикрытием, мимо тротуара, мимо того, что сулил тротуар, пустился к тому месту, откуда – тот он – вспомнил, как другой он что-то вспоминал. От кустика к кусту – по нарастающей. Озираясь, принохиваясь, просчитывая путь.

Какие шпионские предосторожности были задействованы против того, кто уже получил желаемое! кто зафиксировал своё преследование на подкорке! Пусть через приоткрытую дверь беспамятства и без приглашения, но В Погонах всё-таки попал к нему в гости. А он и не заметил – то есть забыл заметить, или заметил, но забыл, или не заметил, как забыл, – а может, и заметил... Сквозь злующие ветки, отхватывающие от него, он продирался и продирался, краснел и потел, дышал по кривой. Он нигде не видел В Погонах, уже и забыл, кто это и куда тот делся. Но – как-я-то тревога, параноя, вроде липкой дымовой завесы, окутала его исчезновение, сделав *скрыто видимым*. Обозначенным.

Он ощущал за этим незримое присутствие чужого и тайный надзор за каждым своим проявлением, даже ходом мыслей, – отчего его скрытничество в кустах перестало быть, чем оно было, – захваченное врасплох, оно вывернулось наизнанку, насытилось *подозрительностью*, чувством вины, – оказалось вдруг нарушением закона, сокрытием преступления, разворошённой уголовной статьёй. Но всё ж лучше скрывать мнимое преступление в кустах, нежели совершать мнимое преступление или самому становиться мнимой жертвой – на тротуаре, у всех на виду, где обостряются компульсии и в стремлении спрятать свою подозрительность ты лишь по уши себя в ней закапываешь.

Кустами он преодолел много ненужных подробностей, поскольку кроме кустов и их веток с листьями и, иногда, шипами, перед собой он ничего не видел. По телу ползли царапины. В ушах стоял хруст. Солнце заходило, пригибая к низу истинные тона вещей. Наконец впереди, искажаясь под воздействием веток с листьями и, иногда, шипами, что-то начало ячеисто и трепетно проглядывать. Постепенно кусты редели, заканчивались, обрываясь в истерзанное пространство проспекта Витольда...

Он остановился в нерешительности. Вгляделся, прислушался. Там, за этими листочками, люди ходят. Мамаши и папаши с детьми, дедуся и бабуся, молодёжь. Их голоса. Да как много! Вряд ли незаметно получится. Как-нибудь неподозрительно бы туда выбраться – как-нибудь так, чтобы все сочли это *нормальным*, будто такая у него работа – из кустов вылезать; чтобы его выход к людям спровоцировал не внимание, а желание зевнуть; чтобы выпотрошить из этого события весь криминальный подтекст; чтобы отсечь следственные домыслы и попытки навязать вину; чтобы кусты стали его естественным продолжением – словно и не вылезал из них. Правда, именно постановка такой задачи с таким продуманным планом – делала её едва ли выполнимой.

И он почти совершил невозможное, когда занёс своё тщательно подготовленное, отретпетированное в уме движение, которое как бы – нормальное, как бы – естественное и обоснованное, у которого и алиби, и причины есть приличные, не к чему придаться вроде, всё выдержано доводом, внутренней мотивацией, логикой. Однако была проблема, образовавшая пробоину, и вот такая. Он пытался повторить естественность в движениях из того, как себе это представлял. Он пытался поставить естественность на том, что считал собой, на тех частях, что ему соответствовали. Пытался инсценировать её в движениях, для чего потребовалось полностью в них погрузиться и действовать ими изнутри. Он занёс свою руку, будучи полностью в ней, пригнулся в коленях, и там будучи весь, телом вперёд подался, в первую очередь себя в нём поддав... Уже и кусты перед ним склонились курсивом – точнее перед его движениями, направленными на их раздвижение.

Всё шло к успешному выходу. Ему нужно было только сохранять эту концентрацию на себе, эту изолированность от внешнего мира, это полное нахождение в движении, эту неосознанность

постановки... и тогда бы он не заметил, что его действия в действительности насквозь фальшивы, вопиюще подозрительны, бездарно отыграны и что все вокруг это очень хорошо видят. Мало того: его действия прозрачны, незашифрованы, любой может проследить их сценарий, их путь от импульса в лобовой коре до прорыва во внешнюю среду, до воплощения в пантомиме, – узнать их трактовку, истинные причины, доводы, внутреннюю мотивацию, логику. Да, он бы попросту не заметил всего этого – и именно потому, что не заметил, его действия оказались бы по-настоящему естественными, нормальными и неподозрительными. Но он совершил ошибку. Он попытался сам себе зрителем стать – чтобы вроде как проконтролировать свой выход.

А место этого зрителя уже занял В Погонах... Выскользнул из приоткрытой двери беспамятства и встал там, где люди ходят, растворяясь в хождении, и с вызовом на него уставился – на ту его часть сознания, что сама хотела на это обзорное место встать да не успела и теперь на В Погонах из своих кустов смотрит с ответным вызовом. И так смотрят они друг на друга – так похоже, едино, как будто один на себя самого смотрит и видит себя самого – и всю свою подозрительную, ненормальную неестественность видит... Тот надзор, от которого ему удалось ненадолго скрыться – в кустах, в собственных движениях, в бегстве – вернулся, но теперь вместе с тем, кто его над ним исполнял. Застукан на месте! В момент укрытия подозрительного в неподозрительном – тела в кустах! Шумиха! Мигалки! Бежать!!

Он рванул, ломая ветки, на людный проспект. В Погонах – за ним. За ним – в нём. Сокращая дистанцию страха – то единственное, что их разделяло.

Сбросил с себя кусты. Сбил с ног дамочку. Она взвизгнула и повалилась, схватившись за сумочку. Её кавалер кинулся его хватать, но получил оплеуху наотмашь и отстал. Разлетелся овощной ларёк на пути, стая голубей. Даже детишки перестали беситься и разошлись, чтобы он пробежал мимо. И он бежал мимо – и долго бежал. Люди оборачивались, сторонились, сохраняя вид непричастности. Он вызывал у них одну и ту же эмоцию, которая терялась в недоумении и интересе и вместе с недоумением и интересом шла на убыль, нисколько не узнавая.

Не было никакого смысла в том, чтобы его останавливать. Бежал и бежал себе. По кругу. По тем же проспектам и улицам. А потом забыл.

И после всего этого он как ни в чём не бывало на детей смотрит! Да ещё и с бутылкой! Имена им насильно даёт, отнимая у других, хотя у самого имени – шиш! В полоумном энтузиазме своём не замечая, как В Погонах ломится из него наружу, чтобы осечь!

Ну вот, всё-таки осёк. Уличённый, пристыженный, он поднялся с лавки (с видом – словно сел сюда по ошибке) и, похрамывая, двинулся к выходу, стараясь слиться с окружением, с его хаотичными контурами. Тихо, незаметно, темно.

Вдруг в него мяч прилетел. Так уж случилось. Мягко отскочил и упал рядом. Оцепенение. Опять засада? Он услышал расшатанные шаги. Свист ветра, многочисленный скрип. Обернулся.

К нему подбежал Качели, встал на безопасном расстоянии и взглядом начал выпрашивать мяч. Глаза шурил, подбородком кивал: вон, вон...

И тут что-то странное: для него взгляд Качели, после того как он уловил его направление, перестал от мяча отличаться. Мяч в этот взгляд перетёк и стал им. Всё перепуталось. Теперь Качели мячом выпрашивал у него мяч, и уже не понятно, какой конкретно мяч ему нужен. Мяч единым целым циркулировал между двумя пунктами.

Он застрял на первом, между глаз Качели. А потом переключился на мяч возле своей ноги. Опустил туда отяжелевший взгляд. И вдруг это перевесило. Переперетекло. Отбросило мяч из мяча. И в мяч без мяча, воспользовавшись заминкой, взгляд проник. Качели, со своей стороны, продолжил мячом выпрашивать – теперь уже – *взгляд*. Но и тут переворот. Его мяч упёрся во *взгляд*, оказался переведён на себя и этим пронзён. Мяч порвало и из взгляда отбросило. Выходит, Качели взглядом выпрашивал *взгляд* – резиновый, круглый, с цветочком на боку, вон лежит, погляди.

Что же ему нужно? как вперился! что там такое? издевается? сколько махинаций... какие-то обвинения? неужто в краже?! а в чём ещё? Это подстроено, точно подстроено...

Как же он устал. От ожидания, от догадок, от подозрений. От таинственного молчания и тяжёлых детских глазах. От этой неутрахающей угрозы... Он схватил *взгляд* – тот, что лежал рядом, – и с размахом швырнул в тот взгляд, что его выпрашивал.

И вот вновь он бежит – бежит оттуда, от психического преследования и наказания, от криков и слёз, от этих детей, которых ему уже вменяют в вину, мимо чужих домов, в которых толпятся свидетели, мимо ушей и глаз, которые то же, что бабочки и жуки... Поднялся ветер. Потянулись подробности. От пота и бега рубашка вживилась в него, ушла под кожу. Впереди тротуар. Никакого тротуара! Кустами. Только кустами. В Погонах близко, нагонят, уже вот-вот.

Он бросился вбок, в сторону зарослей, срезая тротуар на корню. Ему бы скорее в них скрыться, пока не загребли. Да не тут-то было.

Резко остановился, замер, уступая зелени просачиваться в его расхристанную неподвижность. Чувствуя, как В Погонах дышит ему в спину – с внутренней её стороны. Как давление и угроза усиливаются, усиливаются, усиливаются, но ничего за этим не происходит...

Остановка была вынужденной. В зарослях творился разгром – имена осаждали куст. Захватывали куст. Проводили в пока ещё кусте выборы – и вот это не куст (куст изгнан – странствует в поисках неназванного пристанища), теперь это – степан, или стёпка, степаша, степуша, стеша, степаня, стена, в крайнем случае стефан, – и по-другому его не назовёшь. Степан шиповника, стена сирени. *Путь свободен. Руины прежнего имени убраны.* Сделал шаг. Ещё. А вот следующий уже какой-то не такой получился. Ему словно что-то под подошву подбросили. Что-то поймало шаг в капкан, – и это уже не шаг. Шаг переобулся. Переобулся в мяч. Он сделал несколько широких мячей до цели. Нырнул туда, в гущу шипастых степуш. Мигом погряз. Стал продираться и меняться.

Наконец вывалился, весь изувеченный, с бутылкой, перед каким-то домом. Угловой подъезд был открыт, из него по цепочке выходили грузчики, удерживая между собой различную мебель, и бочком передвигались к тут же припаркованному грузовику.

Он сбросил с себя изорванную кожу, обнажая под ней исполосанную шипами рубашку груди и рук. И так, изувеченный, полуголым, с бутылкой, отправился к этому навязчивому подъезду. Нет сомнений! конечно! здесь его убежище! здесь он живёт! А где же ещё?

Поднялся по ступеням, в проходе пропустил наружу диван. И дальше – лестницей. Пока не добрался до определенного этажа, где была отворена определённая дверь в определенную квартиру. И он вошёл туда, сам будучи неопределённым.

Тем временем война в нём сворачивалась, последние имена покидали его, оставляя за собой выжженное поле. Странствующий куст не стал там задерживаться.

Он вошёл в пустую квартиру. Всё перетекало... Осмотревшись, прошел по коридору в самый конец, в зал, который ещё не успели вынести – то есть вынесли весь... Там стены обклеены серым серёгой, на пол постелен мягкий михаил. Прошёл по нему мимо толика с вазой, включил святослава. В воздухе парил шаг, по пустотам блуждал куст. Поднятая пыль шаталась и отваливалась из-за активности этих двух.

Присел на застеленного афанасием бонислава, напротив – чёрный экран олега, в углу стоял платяной платон, слева висел дима с пейзажем, с потолка – евлампий на проводе, справа – григорий, а в нём – тёмная улица. Там всюду расходился ураган имён. Он засмотрелся на его завихрения, думая о том, о чём уже много раз думал, но забыл.

Действия дырявы, их не наполнить настоящим. Более того – всё дыряво, всё из всего вытекает. Даже настоящее из настоящего.

Но забыл. Вынул бутылку из-под мышки, поставил на толика рядом с вазой. Но та, проиграв конкуренцию, слетела с края. Осколки керамики разлетелись по михаилу и улеглись. Куда тебе с

ней тягаться? (*Шептал он над духом некогда целого.*) Этой бутылкой я проломил не один череп, выпрыгивая из кустов на тротуар. Сколько жертв! сколько имён! сколько всего в неё перетекло! Я украл эту бутылку, я украл эту квартиру, я и эту мебель украл! Я проломил головы её хозяевам на тротуаре... Я пьянь, вор, насильник, убийца и обманщик. Я падший ангел. Я преступление в чистом виде и что бы я ни делал – все мои действия ведут к преступлению, все слова. Я последняя мразь, я всё плохое, что только можно вообразить. Не зря за мной гоняются, каждая безымянная тварь. Я опасен. И мне самому от этого страшно, понимаешь? До смерти страшно. Тебе не понять, как мне страшно...

Грузчики (теперь ему известно имя каждого) продолжали обносить квартиру, но всё равно получалось, что это он сам её обносит... Ташит последнее, сидя на брониславе! Вжавшись в себя, точно в бутылку! Пошевелиться боится. Без кожи. Зато с рубашкой. Потом обливается. Дрожит. Но ташит! И ничего с этим не поделаешь – оно самовольно, неконтролируемо.

В Погонах, воспользовавшись моментом, вышел на середину комнаты и принялся ходить взад-вперёд своими ногами-чем-попало, во всех красках описывая муки ада и прелести райских кущ. Рабства и свободы. Бедности и богатства. Злого и доброго. Плохого и хорошего. Такова правда. Ты и без меня её отлично знаешь. Нет в ней полутонов, промежуточного! Ну сам посуди: куда тебе такому? какие у тебя шансы? Что нажил, то и получай. А ты не помнишь, чего ты нажил, – вот и получай! Имя тебе – грешник и гниль! Даже не спорь! Мне-то лучше знать...

Брррр... Его пробрало и заколотило. Что ещё за сквозняк?

Подуло чем-то безымянным. Дверь беспамятства распахнулась настежь. Лучше и не придумашь.

Вот так путь отхода! Спасение! Пусть этот болтает себе одно и то же, надоед... а я ускользну... не надо мне ни котлов, ни плодов ваших... выбраться бы только отсюда, выбраться... куда-нибудь, где как-то существуешь, не подозревая о том, что существуешь... *в вечном побеге.*

И, резко вскочив с бронислава и сделав мяч в себя, он вошёл в раскрытый проход беспамятства. В Темноте нащупал ключи в замочной скважине. Дверь за собою запер.

От него одна бутылка осталась.

ЖМУРКИ

Рассказ

Ярко светит солнце, я шурю, глаза слезятся. Я долго смотрю на канат, примеряясь. Он свисает с турника: Его растрепанный кончик похож на хвост дедушкиного коня. Чтобы дотянуться до него, мне нужно встать на верхнюю перекладину-ступеньку, и когда я окажусь перед лазом в форме ракеты, важно удержать равновесие и притянуть к себе кончик, схватить его обеими руками и оттолкнуться от ступеньки. Я пролечу всего лишь полтора метра туда и столько же обратно. Детские радости тягучи и эластичны, как «Turbo»¹, потому три метра кажутся километром. Вся эта конструкция сделана из серого металла. Местами он проржавел, зато крепче сцепляется с моими влажными ладонями. Канат – единственное, что податливо и подвижно среди стальных негнувшихся перекладин. А я – единственная живая душа на детской площадке. Во дворе двадцать первого дома качелей больше, есть даже диванчик, чтобы качаться вдвоем или втроем. Но в тот двор одной идти не хочется. Мы только переехали, и я еще ни с кем не успела познакомиться.

Здесь царство воды. Шульбинск стоит на самой крупной в стране ГЭС. Сначала появилась она, потом поселок. Как будто Иртыш отвлекся во время игры в асыки² и случайно уронил кости на ближайшую возвышенность. Из упавших в песок костей выросли бетонные жилые ящики с окнами и этажами. Чтобы расширить русло, гидростроители принесли в жертву реке маленькую деревню – дар, чтобы ГЭС качала воду, бурлила, гудела, жила и пугала.

Я отпускаю канат и приземляюсь на песок, разметав его сандалиями. Я не встаю, сижу на корточках и снова не могу отвести глаз от гальки. Я привыкла видеть ее только в воде или рядом с водой. В Шульбинске она была повсюду: на детских площадках, пыльной дороге, у крылец магазинов, в огородах. От маленькой, размером с арахис, до крупной, еле помещающейся в ладонь. Я сочувствовала живущим здесь людям, ведь они понятия не имели, что их камни – ошибка, что правильные уличные камни как раз-таки неправильной формы; острые, куски сплошной тяжелой массы, такие не пугнешь «лягушкой» по воде. Я поднимаю с земли плоский серый камень с черными вкраплениями, сдуваю с него песок и глажу. Горячий камень обжигает мне руки.

В поселке всего две улицы: Гидростроителей и Центральная. Они обступают поселок с двух сторон, окружают его, как забор, не выпускают никого из его бетонного заточения, где на завтрак, обед и ужин подают гальку, а вместо чая и компота – песок в стакане. Внутри поселка улиц нет: все дома носят просто номера. Мы живем в четырнадцатом, в третьем подъезде, на четвертом этаже, в квартире сорок один. Мама захотела быть ближе к бабе с дедом, и из Караганды мы переехали сюда.

– Не видела тебя раньше, – произносят подошедшие грязные ноги в шлепках с тремя белыми ремешками. Я поднимаю голову и вижу короткостриженую девочку в майке и шортах. От нее пахнет луком, в левом глазу засела козявка.

¹ Популярная в девяностых жвачка.

² Национальная казахская игра, в которой используются вываренные кости мелкого рогатого скота, чаще овцы.

Анастасия Никитина родилась в 1991 году в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный технический университет. С 2016 года живет в Твери. Выпускница магистерской программы «Литературное мастерство» ВШЭ. Публиковалась в журналах «Формаслов» и «Пашня».

Когда ты ребенок, заводить новых друзей легче. Дети всегда знают, что им друг от друга нужно. Им нужен соратник по играм, напарник по поиску приключений. Кто-то, с кем можно будет ходить во двор двадцать первого дома качаться на диванчике.

Ее зовут Яна. Она живет в том же доме, что и я, только во втором подъезде. Мы идем во двор двадцать первого дома.

– Зимой тут еще каток заливают, – говорит она. Нам повезло – диванчик не занят. Мы кричим от восторга, когда отрываемся от земли и взмываем ввысь. На обратном пути мы немного отрываемся от сиденья и, представляя себя космонавтами, чувствуем, как кишки подступают к горлу.

Внезапно она спрыгивает с диванчика и говорит:

– Мне пора. Хочешь со мной?

– Куда?

– Мама велела нарвать лук на фазенде.

– Где?

Недавно по «ОРТ» крутили «Рабьню Изауру», и мама рассказывала, что так говорят где-то в Бразилии, точно не у нас. Яна объясняет, что фазендой местные называют участок с домиком и огородом. Фазенд тут много, и все они находятся за пятнадцатым домом, через улицу Центральную.

Я захожу за ней во двор, ожидая увидеть огромный двухэтажный особняк с колоннами и бортовой крышей, в окнах которого мелькают силуэты слуг в белых чепчиках. Все оказывается не так. В грязных окнах маленького покрашенного известью домика, похожего на халабуду, никого не видно. Кажется, в него ни разу не входили – для тяпок и граблей во дворе есть навес и полусгнившая сарайка, а собранные в огороде овощи, ягоды и фрукты сразу относят домой. От нашего двора до фазенды идти пять-семь минут. Я не вижу смысла в этом домике, и мне его жалко. Думаю, он тоже чувствует свою ненужность.

Вдруг Яна говорит:

– Все, что ты видишь, на самом деле ненастоящее.

Пока она рвет лук, я перебираю в ладони черноплодку, высматриваю муравьев и клопов. Я сказала, что хочу угостить маму, и Яна разрешила сорвать гроздь.

– Как это? – не понимаю я и продолжаю счищать с черно-синих матовых ягод пыль и паутину.

– А так! Мир на самом деле другой, и вокруг тебя другие вещи.

– Тебе откуда знать? – я прикрываю ладонью глаза и смотрю на нее, как на канат.

– А я могу видеть настоящее.

– Докажи!

Она хмыкает, смотрит по сторонам, показывает куда-то пальцем и спрашивает:

– Что ты тут видишь?

– Дорогу, дома, деревья, тетеньку с пакетом... – послушно отвечаю я, проследив за ее пальцем.

– А вот и нет, нет там этого!

– А что же там?

– Эээ... обрыв, водопад и... жирафы!

Я так потрясена, что не замечаю, как муравей переползает с ягодки на мою руку. Она смахивает его и смеется.

– А где ты научилась?

– Нигде. Просто умею, и все.

– Я тоже хочу увидеть жирафов! – я злюсь и сжимаю только один кулак, в другом – ягоды.

– Не-а, не получится.

– Почему?

– Ну... это дар. Не всем дано, – разводит она руками. И тут же улыбается и добавляет: – Но я могу научить тебя всякому волшебству, если хочешь.

Сладковато-резкий дух свежесорванного зеленого лука в ее руке слегка щиплет мне глаза. Мне не нравится ее улыбка, но это не имеет значения, ведь она может видеть жирафов. И, навер-

ное, еще других удивительных зверей – слонов или носорогов. Я за свою жизнь видела только коров, свиней, кур да коней, даже в зоопарке никогда не была. А ей вон как повезло.

Когда мы расходимся по домам, она говорит:

- Ты только взрослым ничего не рассказывай. Даже моя мама не знает.
- Честное-пречестное!

Утром мы с мамой идем на рынок. В сентябре я пойду в первый класс, и мама закупает мне ручки, прописи, карандаши, стерки, линейки, носки, колготки, туфли. Однажды папа сказал, что мама обыграет любого шахматиста: она планирует жизнь более чем на сорок ходов вперед. По диагонали, на одну клетку, буквой Г мама двигает по черно-белой доске жизни фигурки меня, папы, бабы и деда, сестер, моих двоюродных братьев, соседей, продавцов, парикмахера, друзей, иногда через кого-то перепрыгивая, но никогда никого не задевая.

Рынок стоит на пересечении Гидростроителей и Центральной, рядом с автостанцией. Мы проходим мимо маршруток и такси. Водители, сбившиеся в галдящие кучки, завидев нас мимом прерывают беседу и наперебой кричат своими громкими прокуреными голосами: «Семей едем!», «Георгиевка едем!», «Уськаман¹ едем!», «Баженово едем!». Баженово – родная деревня мамы, у подножия Шульбинска. Обычно мы ходим туда пешком по широкой асфальтированной дороге, пересекая Гидростроителей. В деревню есть два пути: через гаражи и через заброшенный бетонный завод. Мне страшно ходить и там, и там. В первом случае асфальт кончается у самого склона, и дальше приходится идти по безлюдной проселочной дороге вдоль низких пушистых кустов, которые выглядят так, словно только что вышли из парикмахерской после «химии». Во втором случае приходится пересекать территорию молчаливого завода, под замершей лентой конвейера обходя заброшенные цистерны, резервуары, насосные станции, груды щебня и разные серые здания, предназначения которых я не знаю. Зато я точно знаю, что там внутри когда-то работали люди, а на их полированных деревянных столах лежали стопки бумаг и чертежи.

Я люблю ходить на рынок и рассматривать женскую одежду. Костюмы, платья, юбки, блузки крой к крою висят на вертикальных, под потолок, вешалках, прикрывая друг друга, как чешуя на рыбе. Я мечтаю поскорее вырасти и носить их. Каждый раз, оказываясь у прилавка, я разглядываю отяжелявшие от одежды вешалки и даю себе обещание: «*этаякуплюэтаякуплюэтаякуплюэ-тоякуплю*».

Мне не терпится увидеться с Яной. Я рассказываю о ней маме, радостно сообщая, что она наша соседка. Мама внимательно слушает, в руках у нее сумки, по лицу течет пот. Мы останавливаемся, чтобы купить мороженое у дяди Толегена. К его холодильнику скотчем приклеен лист бумаги, на котором от руки написано «Мороженое» и «Балмұздак»². Он добрый, в любую погоду носит теплую восьмиклинку, а на его всегда гладко выбритом лице под кожей просвечиваются черные точки. Я представляю, как острым блестящим лезвием дядя Толеген каждое утро скашивает с щедрой *земли лица* волоски, которым все-таки удалось за ночь оказаться на свободе. Он подает мне вафельный рожок и говорит: «На, бери, кызым³». Все знают, что у него самое вкусное мороженое.

Мне не терпится научиться волшебству. Я громко стучу в дверь. Хотела даже ногой, но передумала портить сандалии. Дух захватывает от того, что меня решили посвятить в тайное знание. Сердце бьется, как мячик об стену. Яна наконец открывает дверь. Из квартиры в нос ударяет кислотовато-резкий запах. Позади Яны я слышу голос. Так разговаривают люди, которые подходят к прохожим и заплетаются языком просят добавить десять тенге.

– Ты что так громко стучишь, дура? Папку разбудила, – она оглядывается в квартиру и снова поворачивается ко мне. – Чего тебе?

Мне становится стыдно, что я ее подвожу, но я все же говорю:

¹ Разговорное название Усть-Каменогорска.

² Мороженое (каз.)

³ Моя девочка, доченька (каз.)

– Ты вчера обещала, что научишь меня, помнишь?

– Помню-помню. Жди на улице, шас выйду.

Я жду ее долго и успеваю покататься на всех немногочисленных каруселях. Дети во дворе играют в стрелялки: один мальчик, попав в засаду и оставшись без палки, отстреливается пальцем. Они предлагают мне присоединиться, им не хватает игрока. Я очень хочу, но отказываюсь, боюсь, что Яна выйдет из подъезда, увидит меня в компании других детей и обидится. На лавочке у песочницы-грибочка я замечаю дядю Толегена с холодильником. Он тяжело дышит, вытирает пот со лба своей восьмиклинкой. К холодильнику подходят женщина с маленьким мальчиком. Мальчик тыкает пальцем в стекло, дядя Толеген возвращает восьмиклинку на макушку, встает и распыляется в улыбку.

– Вот это хочешь? Из самого сладкого молочка, вам за двадцать пять тенге отдам.

Он отодвигает стеклянную витрину, достает желанный рожок и вручает счастливому мальчику. Женщина высыпает ему в руки монеты, которые дядя Толеген аккуратно перекладывает в нагрудный карман.

Наконец выходит Яна. Я не решаюсь сказать ей, что устала ждать, и поэтому помалкиваю.

– Пошли туда, где нас никто не увидит, – велит она.

Мы забираемся в самые дальние кусты на территории школы, в чей двор в сентябре я войду с бантами и букетом астр с бабушкиного сада.

– Давай сначала придумаем тебе защиту, – деловито говорит она, усаживаясь по-турецки.

– Защиту? Зачем? – я опускаюсь на колени напротив нее.

– Знаешь, сколько на свете опасностей? Хотя откуда тебе знать, тебя мамка за ручку всюду водит, а моей некогда, она на работе с утра до ночи.

Я вспоминаю, что у Яны дома папа. Наверное, у них так устроено: мама на работе, папа на хозяйстве. Ему, скорей всего, тяжело одновременно и обед готовить, и за дочкой смотреть. На ум приходит мультик о маме-обезьянке и ее пятерых детёнышах. От этой мысли становится весело. Какая же у Яны интересная жизнь! Сама она видит жирафов, живет с родителями-бунтарями, не согласными жить по правилам, а еще владеет волшебством, которому сейчас и меня научит!

– Смешно тебе? – Янин взгляд суровеет, она приподнимается с земли.

Я пугаюсь и прогоняю улыбку с лица. Только бы не уходила! Я серьезно киваю и спрашиваю:

– А у тебя какая защита?

За те десять секунд, что она сверлит меня большими карими глазами, решая, простить мою оплошность или уйти, мое сердце подскакивает к горлу. Наконец она снова опускается на землю.

– Клянись, что никому не скажешь!

Я клянусь и показываю растопыренные пальцы на предмет отсутствия крестиков. Она оценивает этот жест и продолжает:

– Если происходит что-то плохое, я крепко-крепко зажмуриваюсь. Или если чувствую, что что-то плохое вот-вот наступит, – и она зажмуривается так сильно, что кожа по обеим сторонам от носа собирается в складки, как на бабушкином лице.

По моей коже бегут мурашки.

– И что, помогает?

– А как же!

Я задумываюсь. Чего бы и мне такого придумать? Как-то дёда рассказывал, что однажды спугнул конокрадов, выстрелив в воздух из охотничьего ружья. Но у меня нет ружья. В голове всплывает мальчик, сделавший пистолет из большого и указательного пальцев.

– Я буду стрелять! – заявляю я и показываю пальцами пистолет.

Яна очень радуется и хлопает ладонями по коленям. Весь день она меня тренирует: неожиданно пинает камень, резко оборачивается или подпрыгивает ко мне, а я достаю свой «пистолет» и защищаюсь.

Я узнаю от нее, что нельзя наступать другим на ногу, а то мать умрет. Нужно сразу же подставить свою ногу, чтобы на нее наступили в ответ. Нельзя проходить через столб, похожий на букву

«Л», иначе случится горе. Когда с другом обходишь дерево или столб по разные стороны, нужно потом сказать: «Привет на сто лет», иначе ссоры не миновать. Чтобы не укусила назойливая оса, нужно быстро-быстро много раз повторять «соль-вода, соль-вода», и тогда она улетит.

Мы возвращаемся во двор, уставшие от упражнений и плотной, как глина, жары. Возле второго подъезда собрались соседи. Я замечаю милицейский уазик. У открытой задней двери с зарешеченным окошком курит милиционер. Ему наверняка очень жарко в рубашке и фуражке. Вдруг Яна срывается, расталкивает толпу и исчезает в разинутом рту своего подъезда. Рядом с курящим милиционером, прижимая к груди восьмиклинку, стоит встревоженный дядя Толеген. Я наступаю на что-то мягкое и испуганно отпрыгиваю в сторону. На раскаленном тротуаре валяются расплавленные на жаре рожки с мороженым, перетоптанные ногами собравшихся соседей. Тонкие белые струйки молока растекаются по асфальту, заполняя трещины; вафельные крошки цепляются к подошвам. Я считаю, сколько рожков лежит на тротуаре, иду по нему аккуратно, пытаюсь не наступить на мороженое. Двое мужчин расступаются передо мной, и я вижу опрокинутый холодильник. Крышка разбилась, стеклянные крошки смешались с вафельными. Вокруг снуют дети, пытаются насобирать еще не успевшее растаять мороженое, опасно озираясь на дядю Толегена. Среди громких возгласов я узнаю маму и иду на ее голос. У нее в руках пакет, и я надеюсь, что там шоколадная монетка или «Инвайт».

– Заявление писать будете? – обращается милиционер к дяде Толегену. – Деньги вернем, ага¹, не переживайте.

– Может, скорую? – спрашивает у дяди Толегена темноволосая худая девушка, аккуратно дотронувшись до его локтя. Из подъезда слышатся голоса и шаги, я отвожу взгляд от уазика и вижу, как двое других милиционеров ведут мужчину в наручниках. За ними, обливаясь слезами и прикрывая рот, выбегает лохматая женщина в синем фартуке, из карманов которого торчат ножницы и маленькая расческа. Мужчина одет в майку и шорты. Хорошо, что ему не так жарко, как милиционерам! Тут же мне становится стыдно. Нечего жалеть преступника! Я высоко поднимаю голову и презрительным взглядом провожаю его, пока он не исчезает в уазике и за ним не захлопывается железная дверь. Бежавшую за ним женщину не пускают в машину. Ее фартук съехал набок, ножницы и расческа зацепились друг за друга. Закрыв лицо руками, она опускается на лавочку. Краем глаза я замечаю шевеление в окне первого этажа и сквозь пыльное стекло вижу Яну. Сцепив вместе дрожащие ладошки, она крепко зажмуривается. Кто-то из толпы кричит: «Болды, болды!»² Мама берет меня за руку и уводит домой.

Я смотрю на поселок с нашего балкона и аккуратно разворачиваю шоколадную монетку. Справа могучий Иртыш разделяется плотиной. С одной стороны ГЭС он выше, чем с другой. Когда у папы выходные, мы пересекаем Иртыш по мосту и идем в сосновый бор за грибами, а потом купаемся на пляже. Мне видно весь поселок почти до рынка. Все дома в Шульбинске одинаковые: обычные бетонные пятиэтажки. Кроме шестого дома, на котором на весь торец из красных кирпичей выложена огромная цифра «70». Мама рассказывала, что ГЭС начали строить, когда она заканчивала школу. Шульбинску точно нет семидесяти лет. Семьдесят лет может быть Москве или Парижу. Я точно знаю, что сейчас 1997 год, потому что через месяц мне шесть лет и я пойду в первый класс. Я расстраиваюсь оттого, что строители ошиблись и их наверняка ругали. Может, они даже остались без полочки.

Золотая фольга никогда не прилипает и покорно отделяется от шоколада. Я засовываю всю монету в рот, бросаю фольгу с балкона и, ломая твердый шоколад нёбом и зубами, наблюдаю, как заходящее солнце играет бликами на золоте обертки.

¹ Ага – вежливое обращение к старшему по возрасту мужчине (каз.)

² Ну все, хватит! (каз.)

Костя ЯМЩИКОВ

1

моя годзилла мне сказала
давай поехали родной
и близ московского вокзала
вот так махнула лишь рукой
и поезд тронулся струной
с детьми моими и женой
а я остался

2

мы думали, что мышшь скребется
а это мышца сокращается
думали, что свет погас внезапно
а это с веток ночь сорвалась раньше срока
сплошным потоком темно-лиловым
еще подумали, что слива плодоносит
особенно обильно в этот раз
а это так оно и было
действительно – что слива
и урожай необычайный
и за полночь поставили уж чайник
полупустой скорей для звука
и посмотрели друг на друга
внимательно и откровенно так
что засмущались оба

3

эту безродную собачку-дворняжку
в кривом роге мы подобрали
а все специалисты тогда говорили
нам всё одно и то же в один голос
у жени тогда тоже руки так сильно расчесались и болели
собачка эта тогда силилась выпрыгнуть
еле-еле удерживали
и выпрыгнула потом все-таки
и прям на небо принялась карабкаться
и криво как-то так еще не то чтобы
а так что неприятно как-то даже нам всем стало от этого

Костя Ямщиков родился в 1989 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет (СПб-ГУ). Ведёт telegram-канал «между приговым и курехиным». Живёт между Петербургом и Москвой. Стихи публиковались в «журнале на коленке», журналах «Дактиль», РОЕТИСА, «Формаслов», «Литература», на портале «полутона» и др.

и залаяла потом еще голосом ангельским
запела практически
а это же все тогда на пасху случилось
я тогда еще паспорт специально проверять ездила
ошибки никакой не было все было абсолютно точно
поэтому я и уверена

4

атмосферный верхний слой
ты почто же злой такой
где ты прячешь кислород
в тебе птица не поет
и больница ни на йот
но один небесный лед
холод или гололед
атмосферный верхний слой
ты зачем вообще такой
а так выглядит покой
небесный
если вы еще не знаете милые

5

ну ладненько
возьми прикладом
его тихонько тюкни в лоб
не надо не ногой не надо
запачкаешься впрочем вот
уже запачкался
ну что ты
как маленький медведь-шатун
ты посади его на стул
ты будешь сыном нашей роты

6

я купил почти все, что ты попросила
и сложил это все в холодильник
ты не хочешь ли киви?
холодное киви
охлажденное сильно-сильно
как признание в любви
неизъяснимое

7

это как почистить зубы
после завтрака с утра
еще сонная тюрьма

не проснулась
а мы и не будим
пусть понежится в постельке
поваляется еще
дальше днем сведем все стрелки
с кем-нибудь закроем счет
кто-нибудь умрет обязательно еще
так уж тут заведено
что все дрыхнут до полудня
аки ангелы небесные
вроде как неместные
как бы нетелесные

8

из цикла Михаил Айзенберг

и что ты думаешь себе
вот так получится сбежать ли?
наперекор чему судьбе?
пробормотать чего? невнятно
вот так подумаешь сбежать
но кто и от кого – не ясно
уже есть повод что прекрасно
есть путь уже – для куража
и вот ты думаешь (что счастье
само отдельно по себе)
а что побег? он как бы вне
ну что он – тот же белый снег
он объективен беспристрастен
он сам в себе несет идею
и в этом как бы неразделен
он тем пленителен и прост
как белый снег как черный дрозд

9

дети кричат как чайки
очень маленькие
и все время бегают
я почти их не различаю уже
солнце яркое
отражается бликами
и практически ослепляюще
и при этом холодно ветрено
я думаю шея будет болеть
пора еще
такая не осенняя и не летняя
а буквально же безвремение
ослепительное и холодное

как случайное стихотворение
непригодное

10

Реплики

– ночью дети были песни
ночью пламенели звезды

– что тебе в моих стихах
горький пепел, голый прах

– в заколдованном лесу
службу строгую несу
слушаю сигнал из центра
и передаю на церкви
я в прямом контакте с богом
только вряд ли в это смогут
прочие уверовать
под покровом серого
серого серого неба
словно бы серого пледа

– это не елизавета
это ели завета
ветхого
нам машут ветками

– когда слова имели вес
я на нее верхом залез
и поскакал

– вы слышите, как ночной летний дождь
стеной непроглядной встает между нами и богом?
а это максим плакин плачет

– мой милый саша соколов
мой вестник из ребячьих снов

– а то что самолет упал
мне что приснилось, милая?

– сперва это было невозможно писать
теперь это стало невозможно читать
а значит что все-таки стало

– анна ахматова
ванна парадная

11

что в этой воде?
кажется, в ней падеж
звательный
а что в этой дали?
видимо, там нули
призрачного горизонта
чайки пикируют в тину
а сердце мое охватило
трепетное созерцанье
камни, одни лишь камни
финский залив и ранний
что ли такой закат
яблонева река
словно
чайка с чужим лицом
смотрит в мои глаза
может быть это он
хочет что-то сказать
чайка гадит в песок
глядя в мои глаза
здравствуй родной сынок
ты не узнал меня?

12

на станции черная речка
убили убили его
некрупненького человечка
чей подвиг величию гор
подобен
за что вы убили поэта?
но горы кавказа молчат
и только их зубы стучат
не в силах признание это
вымолвить

13

лежит сосиска в своем тесте
в горячих пирожков контексте
и прочих разных пирожков:
с капустой, с луком и яйцом
с нечеловеческим лицом
гляжу на них аз есмь таков
сегодня – победитель

Оратория Невского проспекта

Андрею Монастырскому

сухость металла
его холодная неровность
рыжеющая и пищащая натура
тьфу, какая гнида

пористость дерева
его теплая пульсированность
влажная и всепринимая натура
боже, откройся и ты мне тождественно

ветренность вагона метро
его освещенная хромированность
замызганная и отторгающая натура
всепоглощающая

глянцевая гипсовость белого памятника
его александерсеевичность и всепотрясающая бледная сидячесть
как бы замершая натура
и живые цветы, и цветы неживые

вибрированность эскалатора
его липкая сетчатость
приобутая и глазающая натура
в неловком шепоте

перистость облаков
их бледная паутиновость
снежная и опустошенная натура
опускается под ноги

зебрность пешеходного перехода
его поистертая бесформенность
прескриптивная и гудящая натура
и цокающая! цокающая!

покрасненность кисти правой руки
ее пятипалая оголенность
замороженная и непослушная натура
и больно, ай, как больно! больно!

удлиненность пальцев левой руки
их вкрадчивая аккуратность
женственная и ранимая натура

и гладит левую ногу, гладит!
гладит внутри кармана, гладит!

скученность сугроба
его припорошенная заledenелость
выпачканная испещренная натура
медленно и незримо, медленно и незримо колыхается

фасади́тость дома номер 14
его завершенная оконность
ветшающая и невозмутимая
а натура, натура какая!
и небо, принимающее отсвет всего, к чему прикасается

красность красной машины
ее фонарная зеркальная
колёсная и номерная натура
денно и ночью, оракульно и константно

тенистость арочного свода
его кованность и вымощенность
хабаристая и трубная натура,
насквозь просматриваемая

закрытость рюмочной на пушкинской улице
ее пушкинская алкогольная обезлицензенность
паркая и застекленная натура
звонит и трепещет

пробковость неевского проспекта
его многолюдная несдержанность
чрезмерная и многострадальная натура
и мокро, мокро и мокро! ай, как мокро!

прозраченность мерцающих лиц
их перистая облачность
покрасненная и тусклая натура
но необезличенная

конность аничкового моста
его медная черно-зеленость
многообразная и памятная натура
с видом на ход времени, на ход ледяных сугробов,
на ход белых следов на белом снегу

белость белых следов на белом снегу
их малая едва примятость
и нетронутая детская припорошенность
и вся их натура здесь присыпаемая

снежная дымчатость
ее призрачная пугающность
неуловимая и непреодолимая натура
все затягивающая

кинематографичность дома кино
грифонность потолочных сводов дома кино
их феевость, и орфеевость, и арфичность
колесничность их перистости
ионическость, и звездность,
и в бархат одетость натуры

влажность поцелуя
его натура щелчками и пальцами
передаваемая

пьяность влажности поцелуя
его зудящая натура
и трубность вниз низвергающая

пьяная влажность поцелуевости дома кино
его сююминутная колкость
ватная взбудораженность и обезоруживающая натура
в узком скрипящем кресле

горячесть борща
его густая обжигаемость
душеспасительность и национальность
неизменная и стремящаяся натура

заиндевелость рюмочной водки
ее мимолежная натура
выпиваемая
и стремительный холод
сменяемый опустошенностью

блестящесть февральского солнца
его точечная прорезаемость
звнящая колокольчатость
переливистая и полая натура
являемая и отъявляемая
снова

песенность
песенность и напевность жизни
ее полая натура
лишь напоследок приоткрываемая

ослепительная трубность звона меди
его райкость и пронизывающесть

всепроникающая натура
непозволительная и отрешенная

искорность
искорность искренности трамвайной дуги
ее поднебесная нимбовость
и заскорузлая трамваеванность природы
коия, а еще лучше которая, движима законом иным

лайевость собаки на улице
ее поспешная жизненность
опережающая и редуцированная холодом натура
меньше малого. меньше, меньше! еще меньше. меньше!

метелеивость раннего вечера
его постылая пениевость
разбухающая по горизонту натура
метелеивость раннего вечера

тусклость бара хроники
его сумрачная никитадавыдовость
мелодическая и ускользящая натура
опять и опять проявляемая

голубиная засранность памятника добролюбову
его вертикальная выпренность
монументальная и молодцеватая натура
сим зиждущаяся

терпкость табачного дыма
его густая античность и пористость
и натура важна. натура какая, натура!
ускользающая в терпкой дымчатости и пористости

сухонность промерзшего куста
мнимая сдержанность его зимности
ветвистая и по-весеннему обновленная натура
февральская, новая! истая!

ограниченность лифтового пространства,
его тусклая запертость
механическая и возносящаяся натура
ангелоподобная

мокрость носков
их вязкость и каплевидность
мёртвенная и ледяющая натура
отторгаемая, кажется, самой природой

поэтичность каждого движения
их порывистая невыверенность
бьющаяся, трепещущая и кусящаяся натура
из старого в новое прорастающая
и дальше, дальше, и дальше!

неповторимость момента
его исключительность и неразличимость
неотделимая от жизни натура
но и запредельность неоспоримая
осязаемая

неуловимость мысли
ее участливая рефлексированность
сокрытая сочувственная натура
аз емь за каждым поворотом
ныне и присно

неустанность повторения жизни
жизненность жизни
ее неустанная и жизненная натура
всеповторяющаяся

Владимир ДРУК

КАВЫЧКА

пьеса

Типовая городская квартира. Или гостиничный номер. Комната-спальня и прихожая. Шкаф, зеркало, окно. Чемодан, стул, пальто, сумка.

На сцену из зала поднимаются как минимум двое актёров, ОН и ОНА. Они занимают условленные мизансцены и начинают репетицию.

Всё как в «настоящем театре».

ОН в прихожей. Надевает пальто. Застёгивает пуговицы. ОНА в спальне, вынимает вещи из шкафа, пакует чемодан.

Похоже, что кто-то собирается уйти. Или уже очень давно собирается.

Пока они говорят, вещи несколько раз меняют место: что-то кладут в чемодан, тут же вынимают, книги переходят из коробки на стул, пальто то берут в руки, то бросают обратно. Ничего не приближается к отъезду, но всё уже выглядит как после него.

ОН: ...не жалею, не зову, не плачу.

ОНА: Да. Как у Чехова: «ты не звонил, не писал, не писал».

ОН: Я думал, ты не хочешь меня видеть.

ОНА: Как у Гоголя: «я не хочу тебя больше видеть, я не могу тебя больше любить».

ОН: У меня всё хорошо, правда, у меня сейчас всё хорошо.

ОНА: Как у Чехова: «он не хотел её видеть, она не хотела его слышать».

ОН *(показывает, будто целится в неё из воображаемого ружья, нажимает воображаемый курок):* Бум! Бам!

Она театрально падает на кровать.

ОН *(театрально, патетично):* Не надо, прошу тебя, не плачь.

ОНА *(театрально, патетично):* Как у Толстого: «не надо, не надо, я всё понимаю, прости меня, пожалуйста, я сама так страдаю, но я не в силах».

ОН *(театрально, патетично):* Как у Гоголя: «не плачь, моя милая, не надо плакать». Или так: «не плачь, мой ангел, не грусти», как у Чехова. Выбирай. Пока мы не...

ОНА: Да! Пока мы живы! Пока мы здесь!

(Пауза. Театрально, патетично)

Владимир Друк родился в Москве. Окончил факультет психологии МГПИ и факультет кино и телевидения NYU. Один из основателей Московского клуба «Поэзия». Создатель и главный редактор издательства интерактивных книг TEXTONICA. Автор семи поэтических книг. Стихи печатались в ведущих литературных журналах, вошли в несколько антологий: «Самиздат Века», «Строфы века», «Освобожденный Улисс», *Twenty-first Century Russian Poetry*, *20th Century of Russian Poetry*, *Crossing Centuries: The new Generation of Russian Poetry*, *Third Wave* и др. Победитель конкурса «Русская Америка» (2002). Дипломант премии «Московский Счёт» (2009, 2019). Предыдущая публикация в «Волге» – «АЛЕФ-БЕТ. Формы, числа и номинации» (2017, № 3-4).

Как у Булгакова: «ты, конечно, прав, милый, но ты должен понять, что я не могла поступить иначе. Ведь я же люблю тебя!»

(Пауза. Театрально)

А теперь – как у Шекспира: «в сердце моём нет места для тебя, любовь моя».

ОН *(серьёзно, тихо и твёрдо)*: Давай будем друзьями, я тебя очень прошу.

ОНА: Нет. Не давай. Я уже не хочу, чтобы ты давал.

(Бросает в него вещами из чемодана, истерит)

Ты сам всё разрушил, а теперь делаешь вид, что это я разрушила нашу любовь. Нет никакой любви, только похоть. Ты хоть знаешь, что это такое?

ОН: Не знаю. *(Смеётся)* Похоть и страсть – одно и то же. Только похоть – это когда ты хочешь, а страсть – когда любишь.

ОНА *(смеётся)*: Вот именно поэтому с тобой невозможно говорить. Похоть, страсть и любовь – совсем разные вещи. Любовь – это святое. Это выше жизни. Это и есть Бог.

Пауза. Она задумчиво подходит к окну.

ОН: Как у Толстого: «если говоришь с женщиной, сначала отойди к окну».

ОНА: Да, и постой там с таким лицом, будто за окном уже ноябрь и нравственный выбор.

ОН: Как у Тургенева: «сердце, сударыня, не рояль, но тоже требует настройки».

ОНА: Как у Достоевского: «страдание очищает, но только если человек в пальто».

ОН *(снова теребит, надевает или снимает пальто)*: А без пальто?

ОНА: Без пальто уже не русская литература, а просто нервный срыв.

ОН: Как у Пруста: «любовь – это муж, потерявший ключи от квартиры».

ОНА: Нет, это уже ты сам сказал.

ОН: А разве есть разница?

Пауза.

ОНА *(у окна, крупный план, звучит романтично, как монолог Нины Заречной в пьесе «Чайка»)*: Когда я была маленькой, у меня был любимый медвежонок. Он был смешной и очень добрый. Однажды, когда я лежала в постели, он подошёл ко мне и обнял меня своими лапами. Он обнимал меня, обнимал, а потом вдруг сказал: «Я люблю тебя».

Я ему ответила: «И я тебя люблю».

А он сказал: «Нет, пойми меня правильно. Я люблю тебя, потому что Бог любит тебя».

И тогда я поняла, что медвежонок, который обнимает меня, – это не просто медвежонок, а Бог, который меня обнимает.

Вот почему я не хочу никаких отношений. Ни с кем. Никогда. Потому что если я захочу кого-нибудь полюбить, это будет кто-то, кто-то как Бог.

ОН *(выходит из ванной, вытирая руки)*: А ты любила хоть кого-нибудь?

ОНА: Я же тебе сказала. Медвежонка.

ОН: И меня?

ОНА: Ты не Бог и не медвежонок. Для начала этого уже достаточно.

Подходят друг к другу. Почти целуются.

ОН: Я не знаю, что на это отвечают.

ОНА *(достает смартфон, показывает экран)*: Как у тебя в прошлый вторник: «я не готов к близости, но готов подъехать».

ОН: Не надо сейчас это.

ОНА: ...как у тебя же в 23:14: «мне трудно быть нежным после девяти».

ОН (*достаёт смартфон, показывает экран*): Это были частные сообщения.

ОНА: Ничего частного больше нет. Всё уже можно цитировать.

ОН: Как ты сама сказала на кухне, когда разбила чашку: «я не создана для счастья».

ОНА: Да. Я прекрасно могла это сказать.

ОН: Вот именно это и страшно.

ОНА: Нет. Страшно – это когда человек говорит от себя.

Пауза.

ОН: Я тебя люблю.

ОНА: Вот. Именно. Сразу страшно.

Выходят из ролей, затем сверяются по листочкам с текстом пьесы, снова играют, читают – декламируют.

ОН: Давай попробуем жить каждый своей жизнью. Может быть, тогда поймём, что между нами нет никаких преград.

ОНА: Как у Чехова?

ОН: Да. Поживём отдельно. А потом посмотрим. Если захочешь – позвони мне. Просто как другу. Не больше.

ОНА: Ты так просто хочешь от меня избавиться? Я не вещь, которую можно взять и выбросить. Я живой человек. Я тоже хочу быть тебе не просто другом. Мне было с тобой хорошо. Но теперь я поняла, что ты любишь меня не так, как мне нужно.

ОН: Но почему, почему ты так решила?

ОНА: Потому что я уже не хочу, чтобы ты меня любил как сестру, как маму, как воспоминание, как мечту. Я хочу, чтобы ты меня хотел. Чтобы я была тебе нужна. Чтобы мы были вместе. Только вместе.

Пауза.

ОН: Я тебя люблю.

Пауза.

ОНА: Нет. Так нельзя.

ОН: Почему нельзя?

ОНА: Слишком прямо. Так давно уже не говорят.

ОН: А как говорят?

Снова берут листки с текстом. Читают с выражением, «как в театре». Репетируют. Она – то как Нина Заречная, то как Аркадина. Он – то как Треплев, то как Тригорин.

ОНА: Через дождь. Через сад. Через поезд. Через кашель. Через собаку. Через слабое здоровье. Но не так.

Она медленно, почти случайно касается рукава его рубашки. Трогает ткань, будто проверяя её на подлинность.

ОН: Я люблю тебя, как поезд любит опоздание.

Он снимает с неё кардиган. Медленно, осторожно. Она не сопротивляется. Он надевает кардиган на себя, застёгивает одну пуговицу.

ОНА: Уже лучше.

Она подходит к зеркалу, смотрит на него в её кардигане. Улыбается.

ОН: Я люблю тебя, как сад любит осыпаться.

Она снимает с него рубашку через голову. Он поднимает руки, как ребёнок. Она надевает его рубашку на себя – слишком большую, рукава свисают.

ОНА: Уже почти литература.

Они оба стоят перед зеркалом. Смотрят на своё отражение – он в её кардигане, она в его рубашке. Смеются тихо.

ОН: Я тебя люблю.

Он снимает с себя её кардиган, бросает на кровать. Тянется к своей рубашке на ней.

ОНА: Нет, опять слишком голо. Так неубедительно.

Она уворачивается, не даёт ему снять рубашку. Смеётся. Хватает его свитер из чемодана, натягивает поверх рубашки.

ОН: Я не могу без тебя.

Он берёт её платье, пытается надеть через голову. Запутывается. Она помогает ему, смеясь громче. Движения становятся быстрее, дыхание учащается.

ОНА: Это тоже нельзя.

Она снимает с него платье, бросает на пол. Берёт его пиджак, надевает. Слишком широкий в плечах.

ОН: А это почему?

Он хватается её блузку, надевает поверх своей майки. Пуговицы не сходятся. Они оба уже полураздеты, полуодеты в чужое.

ОНА: Это звучит так, будто ты либо пьян, либо плохо читал.

Она поправляет на нём блузку, застёгивает одну пуговицу. Он стоит неподвижно. Потом резко стягивает с неё свой пиджак, надевает сам.

ОН: Тогда скажи сама, как надо.

ОНА: Надо так, чтобы было понятно, но нельзя было проверить.

Она снимает его свитер, кидает ему. Он ловит, надевает. Она берёт его рубашку обратно, натягивает поверх своей майки.

Они оба подходят к зеркалу. Стоят рядом. Смотрят на себя – оба в смешанной одежде, наполовину свои, наполовину чужие.

Пауза. Они дышат тяжело.

ОН: Тогда скажи ты. Своими словами.

Он медленно снимает с себя её блузку. Она смотрит в зеркало, не на него.

Пауза.

ОНА: Своими не получится.

Она поворачивается к нему. Берёт его пиджак с кровати, надевает снова.

Медленно, как ритуал.

ОН: Почему?

Он надевает её кардиган поверх свитера. Рукава коротки. Он смотрит на свои руки в зеркале.

ОНА: Потому что мои слова уже не мои. Я их вычитала, выслушала, вынесла из чужих ртов, из книжек, из фильмов, из чужих прощаний.

Она стоит в его пиджаке и рубашке. Он – в её кардигане и своём свитере. Они оба смотрят в зеркало, почти не узнавая себя.

ОН: Тогда что у тебя своё?

Он снимает кардиган, бросает. Тянется к ней, трогает рукав его пиджака на ней.

ОНА: Интонация, может быть. Пауза. Ошибка. Сбой дыхания.

Она снимает пиджак, надевает на него. Поправляет воротник. Он стоит неподвижно, как манекен.

ОН: А любовь?

Он берёт её платье с пола, протягивает ей. Она не берёт.

ОНА: Любовь, может быть, и есть то место, где человек ошибается своим голосом.

ОН: Тогда ошибись.

Она медленно снимает с себя его рубашку. Остаётся в майке. Он смотрит на неё, потом на рубашку в её руках.

Он протягивает руки. Она надевает на него его же рубашку. Застёгивает пуговицы одну за одной. Медленно, как прощание.

Пауза. Они стоят перед зеркалом – он в своей рубашке и её пиджаке, она в его свитере и своей майке. Гибридные, потерянные.

ОНА: Боюсь.

Она касается зеркала ладонью. Он стоит за ней, смотрит на их отражение.

ОН: Почему?

Он кладёт руку на её плечо. Она не оборачивается.

ОНА: Потому что если я скажу прямо, это прозвучит фальшиво.

Она поворачивается к нему. Снимает с него её пиджак. Надевает на себя. Теперь она в его свитере и её пиджаке.

ОН: А если не скажешь?

Он берёт её кардиган, надевает поверх рубашки. Пуговицы не застёгиваются.

ОНА: Тогда будет красиво.

Они оба стоят перед зеркалом. Неподвижно. В чужой одежде, в чужих телах, в чужих словах.

ОН: И что ты выбираешь?

Она смотрит на их отражение. Долго.

ОНА: Как всегда. Красиво.

Он опускает голову.

ОН: А я – как всегда – поздно.

Они стоят перед зеркалом, не двигаясь. Оба одеты в смесь своего и чужого. Не узнают себя.

Пауза. ОН и ОНА снова выходят из ролей.

К этому моменту чемодан то ли закрыт, то ли снова открыт.

Зеркало развёрнуто.

Пальто никем не надето.

Всё готово к уходу, кроме самого ухода.

ОН: Подожди. А мы сейчас вообще что? Разговариваем?

ОНА: В каком смысле?

ОН: В том смысле, что мы живые люди или нас уже кто-то написал?

ОНА: Если бы нас написал хороший автор, ты бы молчал короче.

Он тихо идёт к входной двери, будто уходит, но, открыв её, достаёт спрятанного там плюшевого Медвежонка с подарочным бантиком.

ОН: Мне кажется, ты говоришь цитатами.

ОНА: А ты говоришь ремарками.

ОН: А кто тогда говорит тобой?

ОНА: Никто. Или, наверное, редактор.

ОН: Редактор? Автор? Демиург?

(Он не договаривает, тихо подходит к ней сзади и, обнимая, протягивает ей медвежонка)
Я хочу услышать от тебя хоть одно твоё собственное слово.

Она любовно обнимает Медвежонка. Медвежонок вдруг начинает жужжать, как заводная игрушка, и махать лапами. Она резко его отбрасывает на пол, подальше от себя.

ОНА: «Собственное» – очень устаревшее понятие.

ОН: А любовь?

ОНА: Ещё более устаревшее.

Медвежонок ковыляет по сцене, пока не кончился завод.

ОН: Я предлагаю нам трагедию.

ОНА: Я уже внутри психо-прозы.

Завод кончается. Медвежонок «умирает» посередине сцены. Пауза.

ОН: «...я страдаю пятистопным ямбом». *(Шутовски)* «И скучно, и грустно, и некому руку подать».

ОНА: А я тебя больше не слышу: ты говоришь слишком.

ОН: Давай хотя бы мелодраму?

ОНА: Не могу. У меня теперь документальная усталость.

ОН: То есть мы расстаёмся по стилистическим причинам?

ОНА: Не только.

ОН: А именно?

Бросаются в объятия друг друга.

ОНА: У тебя один винительный падеж.

ОН: А ты?

ОНА: А у меня страдательный.

Долго целуются.

ОН: Но мы же можем соединиться.

ОНА: Нет. Ты метафизический реалист. С замашками.

Делают вид, что дерутся.

ОН: А ты?

ОНА: Опечатка. Поздняя и нервная.

Дерутся и обнимаются, и целуются, и дерутся – без слов, без пьесы, без ролей. Почти оргазм. Внезапные темнота и вспышки света. Гром и молния.

РЕДАКТОР *(неожиданно «падает» с колосников, голос гремит с высоты):* А-а-а! Довольно! Достаточно!

Хватит слюней! Мы уже всыпали Чехову, Гоголю и Толстому! Улучшили любовь, похоть, детство, медвежонка и даже паузу.

Ещё минута – и ты запустишь в него поздним Прустом, а ты в ответ накроешься ранним Фетом! И всё это кончится браком. Либо сноской.

Я больше не намерен смотреть, как вы с таким усердием обиваете друг друга мягкой мебелью мировой литературы.

Довольно!

(В оркестровую яму)

Оркестр, если ты ещё жив, немедленно притворись мёртвым.

(За кулисы)

Свет убрать!

Кулисы развести!

(Делает вид, что стреляет в актёров из ружья)

Пиф! Паф!

ОН и ОНА падают «как убитые».

Умри! Лучше не скажешь!

(К зрителям)

Пальто – Достоевскому.

Кашель – Чехову.

Медвежонка – обратно Богу. *(Пинает его ногой)*

Всё сократить!

И прекратить!

Пауза.

(Зрительнице в очках)

А с тобой, пока нас не оформили в кавычки, – бежим отсюда, Золушка ты моя.

(Кричит за сцену)

Занавес!

На пустой сцене вдруг оживает Медвежонок, его завод, оказывается, ещё не кончился, он жужжит и барахтается ещё несколько секунд, а потом уже окончательно замирает.

ЗАНАВЕС

Тимур УРАЗБАХТИН

МЕЖДУ ХАЙДЕГГЕРОМ И БАЯНОМ

Автоэтнографический очерк

В недрах нашей необъятной родины сокрыт сонм наций – почти две сотни. Некоторые из них, подчиняясь жестким законам истории, постепенно ступеньками, навсегда растворяясь во времени, лишь эхом отзываясь в обертонах чужих культур. Это обстоятельство предлагаю рассматривать в жанре человеческой трагедии, а переживание трагедии, как известно, имеет большой терапевтический потенциал. Для меня этот исторический процесс одновременно личная драма и самотерапия.

По паспорту я татарин. Родился и вырос я в Башкирии. Мой родной язык русский. Сызмалу в меня впивались хваткими острыми зубками, доводя до упоения, преимущественно коды русской культуры. Поначалу это был русский народный (пост)фольклор, в том числе и киносказки Роу. Затем русскоязычная художественная литература от «Дедушки Мазая и зайцев» до «Повестей временных лет». Довольно рано – академическая музыка русских композиторов от Глинки до русского немца Шнитке, русская живопись от иконописи Рублева до полотен Васнецова. И прочее русское. Вместе с тем, как в губку, невольно, но без остатка, абсорбировалась в меня в процессе жизни общеевропейская, в значительной мере западноевропейская, культура: от изображений из околдовывающего фильмоскопа сюжетов Шарля Перро и братьев Grimm до музыкальных опусов Штокхаузена и записей игры Гульдом ХТК Баха, от кино Бергмана и Висконти до философский воззрений Фуко. И прочее, и прочее европейское. Почти с рождения я слышал татарскую, а затем и, реже, башкирскую речь. Татарские песни под баянные напевы подчас озорными, а временами и тихими музыкальными ручьями лились мне прямо в уши в те недолгие периоды, когда я гостил в татарской деревне *Адзитарово* у своих давно отлетевших в иные миры *картатай* (дедушки) и *нэнэй* (бабушки). Незачем говорить о диктате американской культуры (пусть она стала в результате и дорога моему сердцу), как и о власти наследия специфичной по определению советской культуры, ничуть не менее дорогой, которая вкушалась уже с молоком матери.

Вся эта мучительная рефлексия выстраивает парадоксальную «я-концепцию». Многонациональное «я» обретает свою истинную самоидентичность и хайдеггеровский «дом бытия» внутри русского языка. Другими словами, я *русский татарин из Башкирии с европейским образом мышления, американо-советскими клише в подкорке мозга и тягой всеми фибрами души моей ко всему восточному*. Обычный современный расслоенный национально человек. Выражаясь шаблонно и общепонятно – космополит, мирожитель, всемирный гражданин.

Позволю отпустить воображение на волю и попробую связать этот хаотичный внешний мир с миром внутренним. За основу такой биполярной идентичности я возьму представление о том, что я русский, потому как язык и культура мои в основе русскоцентричные, а припоминать буду несколько моментов опыта общения с носителями родной, но периферийной в моей жизни, культуры сложносоставного этноса, в котором слышны, повторяюсь, отзвуки не только древних булгар, но и, вероятно, при хорошем настрое слуха отдаются в ушах и обертоны далеких и славных гуннов, – с «генетическими» татарами. В довесок прибавлю, что исповедуемая русскими христианская религия отложилась в моем мировосприятии ощутимее, нежели мусульманская религия татар. В годы учебы на хоро-дирижерском пел в церковном хоре, хотя так и не крестился (такая практика не исключительна в Башкирии и Татарии). А дороги к золотопольным московским храмам и монастырям знаю наизусть.

Однако мечети с их устремленными в космос минаретами и расходящимися кругами вишить певучими сильными голосами муэдзинов пленяют навечно. Стамбульская Голубая мечеть, как бы подражающая Святой Софии, одетая в лоскутки десятков тысяч расписанных вручную керамических плиток тончайшей работы с величественным михрабом и утешающим душу минрабом ошеломляет сознание. Смыкая глаза и вижу в уютной срубной избе (так татары-мишари еще поколение назад называли дом) Махмузу, пожилую женщину (*хатын-кыз*) в аккуратной бархатной чалме, перебирающую руками мусульманские четки из зеленых полудрагоценных полустертых камней и шепчущую отчетливо магические арабские слова: «*Азу билляхи минашшайтани р-рад-жим. Бисмилляхи рахмани рахим...*» (Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана. Во имя Аллаха милостивого и милосердного). Вскоре камушки на окольцованной нитке оказываются в руках *белекей малай* (мальчика), внука Махмузы. И уже я нашептываю усердно с подсказками *нэнэй* арабские молитвы для очищения кармы. Особенно я вхожу во вкус на словах «*шайтАну рази*» (именно так произносил), вообразая Аллаха бьющим плеткой черта. До нынешнего момента свято верил в то, что «рази» значит ударь, поразь, то есть накажи этого Шайтана за его дурные помыслы и поступки.

А вот и муж Махмузы Вагиз в тубетейке ведет выгуливать на лужайку *коз*. Я устремляюсь за ним, хотя этих *коз*, в отличие от Шайтана, отчаянно боюсь. *Козы* эти не бодаются, но зато шипят и гогочут. По-татарски гуси – *каз*, гласная представляет собой умлаут, нечто между «о» и «а». С картатаем мы понимаем друг друга с полувзгляда, но никак не с полуслова. По-русски он знает буквально пару десятков слов, а я по-татарски и того меньше. Зато у нас с ним свой отдельный *койне*, и скреплен он любовью к *хайваннар* – животным. Наш общий словарь примерно такой: *буре, эт, псей, аю, арыслан, сыер, дунгыз, сарык, куян, ишэк, каз, урдэк, этэч, тавык, елан, тычкан, байбак, бака* – волк, собака, кошка, медведь, лев, корова, свинья, овца, заяц, осел, гусь, утка, петух, курица, змея, мышь, сурок, олень, лягушка.

Русский язык в моем детстве еще не был *лингва франка* в деревне Адзитарово. Тогда сельские с городскими, хоть и не без препон, коммуницировали посредством татарского. И я с моими родными братьями сходили в родной деревне может и не за «белых воронят», но никак и не за «черных», веселя незнанием родного наречия местных жителей. Вот я иду с *абый* (старшим двоюродным братом) и *ана* (двоюродной сестрой) к колодцу за *эчер су* (питьевой водой). На плечах у нас расписные ручные *суц кэянте* (кормысла) и бликующие от солнца эмалированные ведра. У колодца нам встречается местная.

– *Исәнмесез!* (Здравствуйте!) – доброжелательно приветствует хатын кеше (женщина).

– *Исәнмесез!* – задорно реагируем мы, в том числе и я.

– *Сез каян килдегез?* (Вы откуда?)

– *Без Сургуттан, ә ул Уфадан* (*Мы из Сургута, а он из Уфы*) – лихо произносит моя сестра Гузель.

– *Ә, аңлашыла. Сез кем балалары?* (А, понятно. Вы чьи дети?)

– *Без Вагыйз һәм Мәхмүтнең оныклары. Мин Рифхатның улы* (*Мы внуки Вагиза и Махмузы. Я сын Рифхата*), – отвечает Радик.

– *Мин Тәскирә кызы, ә ул – Варис улы* (*Я дочь Таскири, а он сын Вариса*), – за себя и за меня говорит сестра.

– *Ә ул нигә үзе җавап бирми? Ул урусы?* (А он почему сам за себя не отвечает? Он что, русский?) – хитроумно посмеиваясь, не отстает наша собеседница.

– *Юк, ул татар, ләкин татарча сөйләшә белми* (Нет, он татарин, но говорить по-татарски не может).

– *Ничек шулай? Димәк, ул рус.* (Как так? Значит он русский.) – подытоживает хатын кеше, уже основательно растягивая рот в улыбку со всеми зубами и просветами между ними.

Татарская сторона моей биполярной идентичности шла по отцовской линии. До пятого класса школы обучение в деревне велось на татарском языке. Мать, тоже чистая татарка, рассказывала, как покрывалась пурпуром на заре их совместной жизни. Отец не только часто говорил по-русски без предлогов, поскольку в татарском используются послелоги (*эстелде, урманда, сунын* – на столе, в лесу, у воды), но путал роды. Мог в отношении к мужчине склонять предложение в женском роде, говорить «она», и наоборот, о женщине – «он». К моменту моего рождения отец освоился, и мне не довелось послушать языковых каламбуров. С нами он всегда говорил по-русски, хоть и с незначительным акцентом. Но деньги всегда считал только по-татарски: *бер, ике, эч, дурт, биш, алты, жиде, сигез, тугыз, ун, унбер, уника...* А с родственниками и знакомыми носителями языка всегда переходил на родной язык.

Моя же мать, городская жительница, как и я, родного языка почти не знала. Она училась в обычной русскоязычной советской школе. И пурпуром она на заре совместной супружеской жизни уже покрывалась, когда приезжала все в ту же отцовскую деревню *Адзитарово*. Его бесчисленные младшие братики и сестренки (мои дяди и тети), сидя по лавкам, хихикали, стоило ей только хоть что-либо пролепетать по-татарски. Мать со временем исправилась и довела язык до сносного состояния, слушая татарские эстрадные песни и зазубривая слова наизусть. Осели в моем бессознательном от такой межкультурной маминой коммуникации тексты некоторых известных песен:

Сандугачлар ияләшкән су эчәргә миләштә.

Кайгыларым бетәр иде сине күрәп сөйләшсәм.

Әх, тала, тала, тала, тала ике беләгем.

Нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем?

(Соловьи привыкли пить воду у рябины.

Мои горести исчезли бы, если бы я увидел тебя и поговорил.

Әх, ноют, ноют, ноют обе мои руки.

Почему же ноет, почему горит моё сердце?)

Уже взрослым я узнал, что мамино застольное попури, оказывается, состояло из двух разных народных песен, но для моего детского слуха это был единый, неразрывный и завораживающий напев.

Впрочем, мамин слух и её языковая память тоже имели свои причуды, доставшиеся ей по наследству. Её собственную маму (отец называл своих родителей *эний* и *атай*), городскую бабушку, мы тоже, все же, звали *нэнэй*. Она же с нами говорила только по-русски, и свободно, хоть *татарча* ее родной язык. Но деньги считала всегда на татарском. Она происходила от татарского княжеского рода Сакаевых (*Сакаевлар*), и чем-то веяло от нее всегда благородным. В семье было пианино для девочек, для мальчика – аккордеон (не баян или гармошка!), одежду она признавала только фабричную, из натуральных тканей, овощи и мясо покупались только на рынке. А имена у старших детей самые что ни на есть европейские: *Луиза* (моя мать) и *Рафаэль* (дядя, который в начале 2000-х с женой Ириной и дочерью Региной эмигрировал на Запад).

Когда сегодня я вдруг слышу где-то татарскую речь, сердце мое расплывается в разинутой улыбке. Детский опыт жизни между двух миров с генетическими родственниками, чьи язык и культура хоть и неизменная составная часть моей национальной идентичности, но не являются ее ядром, бесценен. И если мне дать сейчас в руки четки, я уже без подсказок *Махмузы*, пожилой женщины (*хатын-кыз*) в аккуратной бархатной чалме, сумею по памяти произнести магические арабские слова, и на словах «*шайтАну рази*» буду представлять себе Аллаха, бьющего плеткой черта. А слово «*рази*» я все так же буду ощущать как производное от «разить» в повелительном наклонении. В этой странной, наивной оптике и нащупывается мой собственный дом бытия. Все строго по правилам «негенетического» русского языка.

Сергей МОРЕЙНО

ОДИССЕЙ НЕ ВОЗВРАТИЛСЯ

Покинув корабль, натрудивший в морях полотно...
Осип Мандельштам

Дивана не было.
А. и Б. Стругацкие

...Остаются открытые вопросы. Например: в какой мере текст порождает автора? Если добавить «а не наоборот», получится уровень [мета]реальности, на котором писали Ролан Барт («Смерть автора») или Мишель Фуко («Что такое автор?»). У них речь так или иначе шла о сотнесенности смыслов с людьми, языка с читателем, процесса письма с его результатом – не о тексте как медиуме. Но как раз это – а еще читатель, *наблюдатель как улавливающий контур* (Наталья Майорова) – заставляет меня множить нижеприведенные соображения. В рамках топика Shakespeare or not Shakespeare Фуко справедливо замечал: «Имя собственное и имя автора находятся между этими двумя полюсами описания и обозначения...» Дальнейшее, правда, парижская ловкость рук: рассуждая о Шекспире, Фуко избегает словосочетания «имя Шекспира», говоря «имя автора», и что оно зависит от того, писал Шекспир свои сонеты или не писал, писал «Органон» Бэкона или не писал, но кто тогда – «Шекспир»? Писал ли он старый «Органон» Аристотеля? Шекспир есть наименование комплекса фактов и связей, как Нил Армстронг есть имя мифа «Америка на Луне» независимо от того, ступала нога американца на лунный грунт или нет.

Подобный фокус, еще более изящный, веселый, прекрасный даже: рассказ Хорхе Луиса Борхеса о Пьере Менаре, авторе «Дон Кихота». Некто Пьер Менар пишет «Дон Кихота» Сервантеса – не переписывает, а именно пишет, теми же самыми словами. Слова эти в его исполнении обретают новое значение, ведь одно и то же, сказанное сегодня или позавчера, по факту не одно и то же. Но мне кажется: та особая геометрия «Дон Кихота», то фанданго мест, мыслей, персонажей, которое можно рассматривать как «геометрию», должно быть инвариантно относительно трансформаций автора, хотя сам мир, с которым «нас» связывает «Дон Кихот», – изменчив во времени. В рассказе «Бессмертный» Борхес находит, теряет автора «Илиады», вновь находит. «Свидетельства <...> полны смысла, – говорит он. – Они не таковы в устах римлянина Фламиния Руфа. Но таковы в устах Гомера», – однако «Илиада» в целом, похоже, остается неколебима.

Логос изменил одного мужчину, который не изменил мир, – логос не изменил мир (Шамшад Абдуллаев).

Кафедральный собор Кенигсберга в Калининграде, орденовый замок Мариенбург в Мальборке восстановлены практически из руин, но стоит перешагнуть порог, как тот, кто читает их «текст», оказывается в настолько мощном поле, что вопрос об аутентичности не актуален более. Помню, как меня «повело» на берегах Вислы – всучи мне копье и усади меня в седло, я тотчас рванулся бы туда, куда повелят братья. Для объяснения эффекта привлекаются категории «намоленности», «места силы», «статуса», хотя единственной категории «чуда» достаточно. Пробую вернуть эту категорию в разговор о текстах не из одних кирпичей, но и букв тоже.

Один, только один из – способов смотреть на.

У меня нет теорий, касающихся этого. Но есть предчувствия, ощущения, догадки. Раньше я допускал ошибку, описывая их чересчур репрессивно, из-за чего – уже в личном общении – нередко слышал: «согласно твоей теории», «вопреки твоей теории»... То есть согласно/вопреки моей т. Выложу ряд обрывков этих своих все ж таки «не т.», не связывая концы с концами. Да и нечем.

Монтень, эпта.

1. Иосиф и его братья

Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei – у всего есть конец, только у колбасы их два. Зато начинаться колбаса может в любом своем месте. Мой товарищ, левша, первый рез всегда делал на расстоянии 2/5 ее длины от левого конца (или 3/5 – от правого). Одно из начал этой неистории приходится на 2006 год. Солнечным утром Аманда Айзпуриете и я сидели за рюмочкой в «Буфете Гауя», который в том году все еще располагался на улице Тербатас (Тартуская, бывш. П. Стучки), и она рассказала, что «Даугава» хочет переиздать «Процесс» Франца Кафки в ее переводе. Первый перевод вышел в 1999 году, а теперь она многое в нем переделала – и вот. Буфет, между прочим, славился горячими бутербродами с сыром. Так мы и сидели прямо на улице, на Тербатас, за столиком, стоявшем, кстати, на ветхом социалистическом асфальте, не на капиталистической плитке «кирпич», будто не в Риге, а в ее отражении, полном листвы, доброжелательности, пения птиц, где нас заметил проходивший мимо «желтый почтальон» Ингус Баушкениек (а может, он заметил Аманду из какого-нибудь окна напротив, поскольку тогда уже проживал на той самой Тербатас). Мне нравились картины его отца, Аусеклиса Баушкениека, особенно та, что называлась в моей памяти «Такси». Там была нарисована красиво одетая женщина, и не то на шляпке, не то на плаще у нее были шашечки. В интернете я не смог найти такой картины, альбом давно потерял, и я не знаю, где именно были шашечки – даже не уверен в том, что вообще были. Аманда походила на птицу, прорвавшаяся через лесную паутину, Ингус выглядел как птиц, пролетевший над солончаком.

Немного посидев с нами и выпив, наверное, чашечку кофе, Ингус ушел. Аманда, группа «Желтые почтальоны», «Гауя» – все это знаковые люди, знаковые места, много света, может, поэтому я хорошо запомнил, что она в тот раз сказала. Кафка почти всегда использует ровно один глагол речи: sagen = сказать/говорить, в случае вопроса употребляя fragen = спросить/спрашивать. В старой версии Аманда поправляла Кафку, разнообразя текст синонимами. В русском варианте это выглядит так. Начальное общение фигур (до выхода Йозефа К. из комнаты), то есть сочетание 1*fragen + 8*sagen, в советском переводе обогащено словами «ответил, заявил, высказывать». Думаю, «бедный» перевод сочли бы в 1965 году косноязычным. Можно сказать, на тот момент перевод был точен. Фантазия постсоветского (2020) переводчика пошла много дальше: бросил, сообщил, возмущился, излагать, заметил. Она же, Аманда, редактируя свой перевод, вернула на место «сказал, говорить, сказал».

Интересно, как сам Кафка дважды в одном куске обходится без «говорения».

*...ohne daß man sich darüber klar wurde...
Der Mann aber ging über die Frage hinweg...*

Новый перевод – надо сказать – фишку ловит: «хотя и неясно», «пропустил вопрос мимо ушей». Старый – пропускает, хотя он, конечно, текстуально прекрасен и не слащав, в отличие от новейших переводов Кафки.

*...хотя трудно было сразу сказать...
Но тот ничего не ответил...*

При этом Кафкой я особо не увлекался. Если Eintritt (вход) был nicht für jedermann, как в записках Гарри Галлера, то мне, видимо, не хватило особого рода сумасшествия.

Запомнил – а спустя много лет захотелось проверить, не таково ли вообще свойство немецкоязычных текстов первой трети прошлого века, межвоенщины. «Процесс» написан в 1914–1916-м, издан в 1925-м, посмертно, «Волшебная гора» Томаса Манна – задумана в 1912-м, издана в 1924-м. С 7-го абзаца у Манна пошла интенсивная коммуникация: lachte und sagte... fragte... erwiderte... äußerte... bemerkte... Зато с «Замком» (1922/1926) Кафки дело обстоит похожим образом: sagte, sagte, sagte, fragte, war die Antwort [был ответ], fragte, sagte... У Германа Гессе «Степной волк» (1927) тоже долго на минималках, и у Соломона Апта – разумеется – «спросил, сказал», ну а потом действие раскошегаривается, диалоги порой разыгрываются вообще без авторской речи, без прищелкивания указкой.

Я тогда переводил на латышский Бруно Шульца, рассказы из обоих сборников. Перевести Шульца было моей мечтой – как и перевести Андрея Платонова. Но куда же я мог его перевести? А Шульца бы – да; но кто хотел, тот уже успел прочесть два полных русских перевода, разубеждать и убеждать его заново не имело смысла. Оказалось, что латышский язык Шульца практически не ведал. Не ведал язык и Платонова, но оказался идеально приспособленным для перевода как Шульца, так и Платонова. И русское, и немецкое, и польское влияние в нем имело место, а кроме того – при значительном для малого узуса разнообразии лексем и форм он, по ощущениям, хранил девственную податливость свежей почвы, на которой можно выращивать что душа желает. Я начал с «Августа», затем перешел к «Коричным лавкам». Там, в «Лавках», которые назывались «коричными» по цвету деревянных панелей в интерьере, всюду цвел перформанс типа лемовского «Соляриса» или Зоны из «Пикника на обочине» Стругацких. Мальчик, будучи внезапно отослан из театра домой, предотвращать возможный конфликт интересов между якобы забытым бумажником отца и служанкой-домоправительницей, по пути к дому, куда он так и не заходит, попадает в мир волшебных преображений, в зал под звездным небом: о чем подумаешь, то и покажут; магия рассыпана под ногами – нагнись, подбери. Тени, свечи, дрожки, дыхание коня, превращающегося в деревянную лошадку. Магия, как ей и полагается, тревожная, обоюдоострая, но Иосиф – так по счастливому совпадению зовут мальчика – обходится с ней умело. После «Августа» сделалось явным то, что не вытекало из русских переводов: мальчику тысяча лет. (Один перевод немного грубее оригинала, другой – слегка подеревяннее; в «Августе» русский мальчик, словно бы из космоса осмысливающий темы сексуальности и безумия, выглядит плохо вытесанным, доверия не вызывает.)

Иосиф не просто режиссирует спектакль, он еще и зритель титанического «гала». Его труппа, куда он постоянно замешивается как актер, обладает душами, за которые отвечают прежде всего теплые женские персонажи, мать-кузина, служанки-горничные, и физическими качествами – тех материй, которыми торгуют приказчики в магазине отца его, Иакова: мягкостью, плотностью, воздушностью, объемностью. На фоне Шульца легче угадывается режиссура Кафки, театр кукольника. Акт говорения – акт дерганья ниточки, открывание рта, жест, шаг навстречу, поворот головы или тела. Все происходит в голове, а в ней не важно, как произнес: заявил, возразил, крикнул. Даже когда считаешь, что кукла говорит с выражением, трудно передать этот факт эмоционально окрашенным глаголом. «Сказал» у Кафки – отработка прямой речи, указание на говорящую марионетку.

В рассказе Петера Хандке «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» русский перевод (1980) нарушает муравьиную сущность метаний Йозефа Б[лоха] тем, что явно очеловечивает структуру предложения – несмотря на то, что Хандке вроде бы намекал на возможную преемственность. Муравей имеет абсурдную, хаотичную логику – сделайся он человеком, останутся

хаос и абсурд, без логики. Поэтому русский текст практичнее читать с конца, если только знать заранее, о чем он. Тогда не считается попытка переводчицы сопереживать бывшему голкиперу, и перевод отыгрывает свойства оригинала, в котором вместо мяча надо наблюдать за вратарем, а война и мир рассказывают о чем-то другом, как виноград, *что в это время года особенно дешево*, – о старинной битве. Намек тоже обманливый. Хандке не дергает за ниточки, своего Йозефа он оставляет метаться по полю 105 на 68 условных единиц, поступая и безжалостнее, и честнее, чем Кафка. Нет причин сомневаться, что переводчица ощущала сдвиги в языке. Однако поверить в беспощадность автора не смогла и упустила геометрию текста. Футбол – безжалостная игра, этим схожая с жизнью. Если в хоккее или баскетболе можно сколько угодно менять состав, то матч футболистов-профи до 1970 года допускал лишь одну замену. Вышли вдесятером на поле и хоть себе убедитесь. Самая дурацкая встреча на дворовой коробке не была разминкой, методичной отработкой подач для наращивания счета. Когда я в третий раз порвал мениск левого колена, то плакал лишь оттого, что больше не смогу свободно извлечь этот звук удара по мячу. Беспорядочно суетящиеся муравьи в сумме затаскивают гусеницу в муравейник. Результатом беспорядочной суеты игроков не обязательно становится гол. В финале игрок с одиннадцатиметровой отметки отправляет мяч в руки вратарю. Триумф голкипера: тупик, символ поражения полевого игрока. Критика характеризует перевод как «передающий стерильный язык Хандке, который подчеркивает болезненное восприятие реальности героем». Штука в том, что сам герой ее никак не воспринимает, поскольку реальности нету. Хандке-болельщик чувствует игру, ему удалось показать, что именно футболист видит с поля: почти ничего, чистую геометрию.

2. Городок в табакерке

Что подобное наблюдение дает для дела перевода? Наверное, строя фразы русского Кафки, не стоит делать акцент на глаголе. А может, и стоит – многое зависит от почерка, характера, восприятия. Всего важнее характер как текстообразующий фактор. Даже если переводчик – сухарь, зануда, склочник, сладкопеец, вообще клинический идиот, лавочка все равно открыта, шестеренки литературного метаболизма как-то крутятся, нанизанные на личность, какой бы та ни была. Разговор о тексте рано или поздно оказывается беседой о переводчике. А фамилий не называю потому, что найти их при желании нетрудно, но не необходимо: трудно дефинируемое т.н. «качество перевода» является «вмешивающейся переменной», влияющей на процесс опосредованно и неочевидно. Наверное, любой, даже самый «мирный» профессиональный переводчик имеет свой черный список безухих, безруких, пафосных идиотов, но они переводчики – не нейросети...

Чтобы пояснить, сравню на пальцах филологию и историю. Думаю, история – так себе наука. Как можно серьезно утверждать, что нечто происходило в Египте 5 тысяч лет назад? Да, есть кафедры истории, понятие – историк, но это ведь фасад. Внутри здания – две науки, эмпирические, классификационные, целиком исчерпывающие задачу истории документировать и реконструировать прошлое. История ≈ источниковедение (предмет: записи о событиях) + историография (предмет: модели и концепции среды, в которой эти события происходили). Казалось, бы с филологией картинка схожая, но нет: филология ≠ литературоведение + лингвистика. История изучает уже произошедшие события, они случились и более не изменятся. Может поменяться трактовка, возникнут новые детали, но сами по себе события – им-то куда? Люди разное объясняют египетские пирамиды, а пирамиды так и остаются пирамидами, так сказать, *passé composé* или даже *passé simple*. Готов допустить, что они растут или усыхают, самопроизвольно вступают в сношение со звездами, но эта их деятельность лежит, мне кажется, вне сферы исторического интереса. Литературоведение классифицирует и описывает тексты, а лингвистика – среду, в которой они происходят, то есть язык. Филология изучает вещи, которые осуществляются до сих пор. Тексты живые мертвых и полумертвых событий, поскольку сильнее связаны с живой средой. Сам текст

в своем становлении выпадает из конструкции «литературоведение + лингвистика». Не хватает третьего, связующего элемента.

Я предложил нейросети формулу «история = источниковедение + историография». Нейросеть почитала по теме и заметила, что я забыл методологию и синтез. Так историки защищают свое занятие, ведь методология описывает инструментарий источниковедения, а синтез – волюнтаризм историографии. Вот для текстов методология и синтез не влезают в одно слагаемое: лингвистика не принимает текста как чуда, литературоведение не хочет языка вне культуры. Человек, который по долгу службы разрезает, анализирует и сшивает обратно тексты, является/называется переводчиком. Транслятология и метафрастология, переводо- и переводчиковедение могли бы заполнить дыру, дополнить формулу.

«Три сестры» Чехова я видел не раз; несколько раз в театре Юрия Погребничко. И перечитывать никогда не надоедало. Пока не сравнил текст с английскими и немецкими переводами пьесы, не замечал странной вещи. Самое начало первого действия. Всего две реплики.

В доме Прозоровых. Гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал. Полдень; на дворе солнечно, весело. В зале накрывают стол для завтрака.

Ольга в синем форменном учительницы женской гимназии, все время поправляет ученические тетрадки, стоя и на ходу; Маша в черном платье, со шляпкой на коленях сидит и читает книжку, Ирина в белом платье стоит задумавшись.

Ольга. Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая, в твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда шел снег. Мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко, ты уже в белом платье, лицо твое сияет. (*Часы бьют двенадцать.*) И тогда также били часы.

Пауза.

Помню, когда отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой, между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда. Сильный дождь и снег.

Ирина. Зачем вспоминать!

Глядя только на эти фразы, из спектра чувств можно вычленил некоторый неуют, неловкость и неудобство, несмотря на «солнечно, весело». Привычка спишет неловкость на общий чеховский распад. Однако, подумав, представив себе то, что написано, видишь: взгляд идет снаружи – через колонны – внутрь зала, задевая и двор, и стол для завтрака. Такой взгляд возможен круто извне, например, откуда-то сверху – отчужденный взгляд. Далее, не очень ловко поправлять тетрадки стоя и на ходу, не очень ловко читать, сидя со шляпкой на коленях. Хотя до распада далеко. Потом вдруг Ольга начинает рассказывать о похоронах отца, а Ирина – не забегая вперед, легко понять, что она тонкая, нежная, раз в белом и в обмороке, – ее срезает, наотмаш.

Близкие по времени переводы, английский (1998) и немецкий (1995). Переводчики и режиссеры сами ощущают неловкость и стараются ее сгладить. Английский: the sun is shining brightly outside. Немецкий: draußen ist es sonnig, heiter. Снаружи, а не на дворе, хотя это одно и то же. Но есть нюанс – нет идущего извне взгляда. У Чехова Ольга использует горизонтальные глаголы, ты лежала, отца несли. В переводах вместо «лежала» – была (were in a dead faint, du warst bewusstlos), вместо «несли» – шествие, выносили (at the funeral, raus trug). Реплика более сердечна, эмоциональна. Ирина соответствует: Why think about it! Wozu daran denken! К чему об этом думать! Про часы: «также» переводится как «так же» (just the same way, genauso). Били «таким же образом, точно также» вместо «тоже били». Мелочи, но происходит следующее.

Если засунуть сцену в музыкальную шкатулку с фарфоровыми фигурками, и пусть они вращаются на своей оси под звон колокольцев – милые, изящные; согнутые в локтях ручки сестер подвижны в плечевых соединениях, – то все делается естественным. Зритель велик, сцена – кро-

хотная, движения фарфорово-музыкальны, хрупкость постулирована. Ольга открывает другую шкатулку, в ней снег, дождь, выстрелы. Часы в обеих отбивают ритм. «Закрой, – велит ей Ирина, – останемся в той, солнечной». В переводах чеховская геометрия исчезла, изменилось отношение между сестрами. Ирина обращается к человеку (заткнись, дура), в русском ее просьба-приказ адресована предмету (захлопнись). Щелк – самый резкий звук; выстрел, которым Соленый убивает Тузенбаха, «глухой и далекий».

У Чехова в пьесах говорящий не обязательно обращается к партнеру: иногда к себе самому, иногда к залу, иногда ни к кому, но устроено всякий раз по-разному. Шкатулка в шкатулке, лежащей на шкатулке или под или рядом со шкатулкой.

3. Театры военных действий

«Глубинные литературоведческие проблемы не решаются средствами самой филологии: они требуют иного понятийного аппарата», – такие слова Михаила Вайскопфа известны мне из статьи Ильи Кукулина о стихотворении Константина Симонова «Жди меня». Вне контекста очень хорошие, правдивые слова, но лучше их понимать широко, а не узко – не в смысле, вернее, не только в смысле дополнительного изучения контекста, традиции или еще чего-нибудь внетекстуального. «Жди меня» (1941) есть *Text an sich*, текст в себе, и не нуждается в помещении во внешний контейнер для проведения рентгена или резонанса. У исследования длинное название – даже не полностью приведенное, оно с успехом заменяет собой статью: «Легализованное заклинание в интерьере советского бидермайера: о возможных жанровых, стилистических и социокультурных истоках...» Илья – филолог чуткий, но пафос классификатора с годами превратился в проблему.

Показательно в статье то, что она вскрывает недостатки понятийного аппарата, в ней используемого. Перечисляя истоки заклинательной природы, автор приводит строки Веры Меркурьевой, обращенные к Марии, к умершей сестре (1931):

...И услышу где-то, где-то там, ответ:
– Милая, пойми, разлуки нет. //
Что с того, что я в земле – и день, и ночь, –
ты же на земле – день и ночь –

с комментарием:

– Повторы в этом стихотворении – тоже избыточные, а грамматически – очень разнообразные. Помимо анафоры «если» и рефрена «разлуки нет» Меркурьева вводит тавтологические рифмы «день и ночь»...

Первая «ночь» в винительном падеже выступает в качестве обстоятельства (части обстоятельства из 4 слов), по фактуре может быть приравнена к несклоняемому наречию и никак не тавтологична «второй» ночи – существительному в именительном падеже в роли сказуемого (она, скорее, омонимична). Однако повторение однокоренных также считается тавтологией, что в данном случае противоречит смыслу понятия тавтологии. А тот, кто станет утверждать, что «день и ночь» тоже обстоятельство, обвинит поэтессу в идиотизме. Ситуация та же, что и, к примеру, в:

Ты скажи мне, в чем сила, брат?
Я ведь твой двоюродный брат!

Тут и падежи разные (звательный, именительный), и слова разные: один «брат» равняется «чуваку», «земеле», «брателло», другой означает степень родственной связи. Назвать рифму тавтологичной – значит оскорбить само понятие тавтологии.

«Зло/назло» – оно, наверное, тавтологично... хотя кто знает. *Któż to wie?*

А здесь: *dla mnie* и *na mnie*? В «Танго самоубийц», известном как «Утомленное солнце», рифмуются не местоимения – мироздания.

To ostatnia niedziela
Więc nie żałuj jej dla mnie
Spójrzj czule dziś na mnie
Ostatni raz

Мне всегда представлялось, что подлинное (?) заклинание – вещь непубличная. На глазах у толпы вызывающий дождь маг окутан облаком непроницаемости. Произнесение заклинания требует «доступа к силам», профан способен лишь воспроизвести формулу, абракадабру на незнакомом ему языке. Стихотворение, писанное на публику, в принципе не заклинательно. Свидетельства чтения «Жди меня» наизусть в госпиталях ранеными солдатами, «когда им было особенно больно», должны иметь человеческое обоснование. Проба внедрения «иногo понятийного аппарата» оборачивается, академически выражаясь, недвусмысленной констатацией литературоведческого фиаско:

– Эта странная двусмысленность – текст с заклинательными интонациями, который действительно приобрел ритуальные и психотехнические функции – была задана предшествующей литературной традицией аналогичных стихотворных «заклинаний».

Приведу слова Романа Михайлова: «У меня было предчувствие, что в текстах людей с психическими расстройствами присутствуют определенные узоры, и раскрытие свойств этих узоров способно дать новое представление о пространстве. Это не ритм текста, не пульс, это узоры со склейками-разрывами, которые можно разглядеть лишь при глубинном подходе. Бред должен быть качественно отличен от имитации бреда. Бред лежит на больной поверхности, а имитация лежит на здоровой, искусственно помятой».

«Заклинательных интонаций» не бывает, магия, ритуалы основаны на узорах, а не тупых восклицаниях, сколько ни говори «халва», во рту сладко не станет. Исследователь и сам это понимает, он заключает «заклинания» в кавычки, но зачем? Уличить Симонова в имитации не получается, «Жди меня» – мощный текст, только совсем о другом. А если сюда, к параллельному рассмотрению (вроде наложения Шульца на Кафку), принять «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», раскроется геометрия 41-го года. Надо взять два стихотворения Симонова и одно – Алексея Суркова, «Алеши», к которому обращается Симонов, – «Бьется в тесной печурке огонь...». Геометрия опять спрятана в расстановке автора и адресата, «героя» и «собеседника» – во времени, в которое по тексту сжалось пространство. Ниже выпишу фрагменты текстов, чтобы не вспоминать и не искать в сети.

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
+
Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих. //
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина –
Не дом городской, где я празднично жил,

А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

+

Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти – четыре шага. //
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

У стихотворений Симонова адресаты де-юре – Валентина Серова (жена) и Алексей Сурков (старший товарищ). У обоих адресат де-факто – читатель. Касательно первого, по словам близких, «печатать стихотворение он сначала не собирался, считал его слишком личным и читал только самым близким», но верить в это – упрекать поэта в наивности. Оно направлено из настоящего в будущее, при этом в настоящем поэта как бы нет, он либо умер, либо на войне, что уже почти и то же. Согласно статье с длинным названием, якобы «заклинание о верности» (против т.н. анонии), якобы вслед за и впрямь любовной «Балладой о прокуренном вагоне» Алексея Кочеткова... – Симонову было интересно другое, я думаю, он хотел продолжить жить. И спустя несколько месяцев «заклинание»отрефлексировал:

Злую, ветреную, колючую,
Хоть ненадолго, да мою!
Ту, что нас на земле помучила
И не даст нам скучать в раю.

Но пока что он, как бы умерев, воскресает в ее ожидании. На деле адресат – он сам, это коммуникация с самим собой, хотя и – по привычке – публичная. Чужая речь – речь собеседника (или героя) – если переписать ее в прямую или косвенную, зазвучит набором условий, а не просьб:

ЕСЛИ ОНА БУДЕТ ждать меня, я вернусь...

ЕСЛИ только ОНА БУДЕТ очень его ждать, когда наведут грусть...

Нет, это не заклинание, это чистый транс. Сейчас Валентина Серова недостижима, и пафос разговора с самим собой не кажется смешным (а обращенные к ней «требования верности» – не превосходящими ее возможностей). Только если он к ней вернется, то – да, ему, возможно, станет неловко. Но когда он вернется, цель будет достигнута, он замолчит (а уж годы спустя напишет ей всякое...). В транс трудно соврать, текст очень искренний, он подкупает своей сердечностью, в состав которой естественно входит страх (тем и силен текст) – а кому не страшно?

Еще момент – заклинание может вторгнуться в сферу дополнительной опасности, а в маргинальной ситуации это не лучшее решение, если ты не посвященный. Член партии и сын княжны и генерала так, наверное, не думал, но ощущал – всякий, думаю, ощутил бы, как ощущал наличие энергетического щита вокруг тирана; это и сейчас так, нельзя без риска делать расстановки на правителей, а искусственный интеллект блокирует вопросы о своем будущем.

Второе стихотворение Симонова направлено из прошлого в настоящее. Опять о том, что хочется жить, и еще о том, как он надеется: прошлое поможет ему уцелеть. С кем он говорит? Если сам с собой о таких сокровенных вещах, то зачем призывает в свидетели другого? Не уверен в том, что говорит? Значит, здесь врет. А если он взывает к читателю (манифест), то почему, говоря от имени двоих, говорит один? Взял на себя лишнее? Опять врет? Видимо, обращается он именно к Суркову. Между ними 16 лет разницы, Сурков участвовал в походе в Западную Белоруссию

(Польская кампания) и в Финской кампании. Тут страхи прикрыты бравадой. Тут живет неверие в то, что он чувствует и говорит: *как будто, наверное все-таки, все-таки*; апелляции к прошлому: *встарь, по русским обычаям, по-русски*; спрашивание напоказ – *ну что им сказать?* Между 1-м и 2-м стихотворениями прошло четыре месяца, наступил надлом (говоря о страхах, я говорю не страхах военных, были – говорят те, кто их испытал – и пострашнее). Поэтому вот так.

Наконец «Землянка» Суркова. Она из настоящего – в настоящее. «Лейтенантское, – кто-то скажет, – стихотворение. Печурка в землянке!» Да, это между кем-то и Сурковым, а я вижу: Сурков разговаривает со смертью, мысленно, – и это снова чужая речь; кого-то, кто, будучи автором, смотрит на автора со стороны:

И поет мне в землянке гармонь про улыбку ЕЕ и глаза.

До НЕЕ мне дойти нелегко, до ТЕБЯ, смерть, ЛИШЬ четыре шага.

Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви К НЕЙ.

Эта речь не предназначена для чужих ушей, настолько она интимна. Известно, что местоимение «моей» в народе заменялось на «твоей», что было нормально для песенного исполнения, и однако. В итоге геометрия: 1-е и 3-е транс, монолог, обращенный к себе, но для читателя, и монолог, обращенный к смерти – не для читателя. 2-е – кокетство, якобы разговор с другом – для подслушивания, как мемуары для потомков, прикидывающиеся исключительно личными дневниками.

4. Оториноларинголог и что он лечит

Кусок начну с того, что сам себя процитирую. «Опыт быстрого чтения», статья 2020-го – о, как мне кажется, истинном предмете текста «Колымских рассказов» Варлама Шаламова.

На семинарах я обычно предлагаю участникам пару тестов (для тестирования структуры фразы, а не участников): *ять*-тест и *сцуко*-тест.

Ты жива еще, моя старушка? *ять*

Жив и я. Привет тебе, привет! *сцуко*

Пусть струится над твоей избушкой *ять*

Тот вечерний несказанный свет. *сцуко*

Как известно, ненормативная лексика многозначна – русская в особенности: она даже не нуждается в приставках и суффиксах для передачи множества оттенков и нюансов (а уж с флексиями – туши свет!). Это делает ее вполне нейтральной семантически: будучи вставлены в предложение, междометия «сцуко» и «ять» не меняют его смысла, но служат лакмусовой бумажкой, своеобразным индикатором интонации. Если в переводе к соответствующим фразам можно приписать такое же слово, что и в оригинале (что, в сущности, не обязательно), то соседние фразы перевода могут быть сцеплены оригинальными интонационными крючками. (Что также не всегда обязательно, но...)

Дальше у меня там фрагмент из «Военной тайны» Аркадия Гайдара в оформлении.

Ждать ей пришлось недолго. Вскоре рывкнул гудок, у подъезда вокзала остановилась машина, и крепкий старик с орденом распахнул перед Наткой дверцу.

– И что за горячка? *ять* – выбралил он Натку. – Ну, поехала бы *сцуко* завтра. А то «дядя», «жалко»... «поезд в пять часов»...

– Дядя, – виновато и весело заговорила Натка, – хорошо тебе *ять* – «завтра». А я и так на трое суток опоздала. *сцуко*

<...>

Я *ять* однажды твой портрет видела. Ты *сцук* стоишь, да Буденный, да еще какие-то начальники. А я *ять* нигде, ни на чем, *сцук* куда и ни разу. Тебе *ять* сколько лет? Уже больше пятидесяти, а мне *сцук* восемнадцать. А ты – «завтра» да «завтра»...

– Ой, *ять* Натка! – почти испуганно ответил Шегалов, сбитый ее бестолковым, шумным натиском. – Ой, Натка, *сцук* и до чего же ты на мою Маруську похожа!

Далее про «поражение Паустовского», говорить о нем стало вдруг модным.

А в текст Паустовского ни единого матерного словечка не вставишь. Ни в «Облака» с их шпиёнами, ни в «Романтиков» с их войной. Кое-куда вроде бы лезут, но следующее предложение непременно вышибает их на противоходе: пробкой от шампанского.

Письмо Паустовского обладает специальным свойством, отличающим его от письма Бунина, Набокова, Платонова, Булгакова, Солженицына, упомянутых в вышеупомянутой статье в качестве эвентуальных конкурентов. Структурные единицы его текстов не сцеплены аурами, иначе места сцеплений можно было бы расклинить и нащупать крепеж. Элементы текста взаимно изолированы, как бы упакованы в специальные оболочки. Если сравнить чтение с прогулкой – по лесу ли, саду ли, улице, – то почти всем/всему, кого/что мы там встретим, должно в чем-то лежать или стоять – в общем, храниться.

Кладбище или библиотека (в своем роде тоже кладбище) – таково их пространственное устройство <...>, и вопрос «поражение или нет?» относим уже не к Паустовскому, а к культуре библиотек или кладбищ. А так получается, что нынче в основном не до культуры.

Достаточно давно крутой женевский лингвист Фердинанд де Соссюр придумал так называемую ларингальную теорию, предположив существование в праиндоевропейском языке «сонантических коэффициентов», которые с временем исчезли, оставив невидимый, но слышимый след, удлинявший в словах звуки, находившиеся по соседству (и там же и оставшиеся). Теория, по-видимому, в духе дивизоров алгебраиста Эдуарда Куммера или планеты Нептун, открытой «на кончике пера» астрономом Урбенем Леверье – как бы «дополняющих» объектов, необходимых для правильного завершения неких вычислений. Возникает искушение распространить схему «ларингалов» уже на фразы текста, на весь текст. Пример – выше: «сонантические» *ять* и *сцук*. Чтобы как-то пощупать текст – отчего он такой, а не сякой, предположим, что в нем изначально были какие-то вставки, позже вычеркнутые (удаленные рудименты). *Написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец* (Антон Чехов). Я сейчас насыплю пару примерчиков, они неслучайны, мой пез слышит там особый запах.

[Евгений Харитонов]

Перед заправочной станцией. Девушка складывает свой самолет, Незримый – свой, не сводя с девушки глаз. По заднему плану маляр красит какую-то стену, оборачивается и тоже не может оторвать от девушки глаз. Она возится с самолетом; Незримый снимает с нее шляпу; девушка думает, что это ветер, гонится за шляпой; Незримый играет с девушкой, любит ее, не дает ей шляпу; бегает по площадке. Тогда маляр неожиданно выхватывает шляпу у Незримого, передает девушке; та одевает ее, смотря в зеркало (в зеркальную дверь стены, которую красил маляр; в раме зеркала появляется актриса – отражение девушки).

+

Перед заправочной станцией. *идите все нахуй* Девушка складывает свой самолет, Незримый – свой, не сводя с девушки глаз. *идите все нахуй* По заднему плану маляр красит какую-то стену, *идите все нахуй* оборачивается и тоже не может оторвать от девушки глаз. *идите все нахуй* Она возится с самолетом; Незримый снимает с нее шляпу; *идите все нахуй* девушка думает, что это ветер,

гонится за шляпой; *идите все нахуй* Незримый играет с девушкой, любит ее, *идите все нахуй* не дает ей шляпу; бегают по площадке. *идите все нахуй* Тогда маляр неожиданно выхватывает шляпу у Незримого, *идите все нахуй* передает девушке; та одевает ее, *идите все нахуй* смотрясь в зеркало (в зеркальную дверь стены, которую красил маляр; *идите все нахуй* в раме зеркала появляется актриса – отражение девушки). *идите все нахуй*

[Роман Михайлов]

Следующий уровень – давящие страхи, приходящие в моменты, когда меня оставляли одного дома. Приходилось утыкаться головой в подушку, накрываться сверху одеялом, так лежать, пока не придет мама. Казалось, что мир вне одеяла действует, портреты на стенах улыбаются или скалятся, в зеркалах видны иные люди, по обоям ходят тени несуществующих предметов, и весь воздух пронизан плотными сгустками бытийностей. И еще! Это все крайне интимно, об этом нельзя рассказывать никому, это тайна просачивания, которое и есть «я».

+

Следующий уровень – давящие страхи, *мир полон тайн* приходящие в моменты, когда меня оставляли одного дома. *мир полон тайн* Приходилось утыкаться головой в подушку, *мир полон тайн* накрываться сверху одеялом, так лежать, пока *мир полон тайн* не придет мама. Казалось, *мир полон тайн* что мир вне одеяла действует, портреты на стенах улыбаются или скалятся, *мир полон тайн* в зеркалах видны иные люди, *мир полон тайн* по обоям ходят тени несуществующих предметов, *мир полон тайн* и весь воздух пронизан плотными сгустками бытийностей. И еще! *мир полон тайн* Это все крайне интимно, об этом нельзя рассказывать никому, *мир полон тайн* это тайна просачивания, которое и есть «я». *мир полон тайн*

[неизвестный автор]

Забыл сказать *пора в дорогу* – к ключу провололочкой прикручена голубая пластиковая бирка *пора в дорогу* с цифрами на бумажной полоске внутри. *пора в дорогу* Больно не было, она хорошо спала, ей снились тенистые улицы и дома, которые лепятся прямо к церквям. *пора в дорогу* Ее несли над землей Барбьеры, Пьяццолла и Оливейра, *пора в дорогу* последнее танго сливалось с предпоследним, *пора в дорогу* но когда на следующий день она сняла бинт, то упала в обморок, *пора в дорогу* а очнулась в ярком свете ванной комнаты с головой в ванне *пора в дорогу* и с вопросом «кто я?» («где я?»). В определенный момент наскальный рисунок *пора в дорогу* из живописи превращается в письменность. *пора в дорогу* Руна соскальзывает с плеча и обретает смыслы. *пора в дорогу*

«Пора в дорогу» заменимо на «проснись и пой», типа того. В самые разные тексты встает ларингал «я дура». О первом примере: тема двояко табуирована, по одну сторону нельзя даже упоминать, по другую – критиковать. Воспользуюсь термином «нестандарт», так в годы моего студенчества «на картошке» называли кривые морковки. *Нахуй* возник в результате психологического представления собственной ориентации как социального протеста в официально недружественной среде. В «нестандартных» текстах вопрос власти (посылание нахуй – это же властная демонстрация) до сих пор встает в большей степени и в более яркой форме, чем в «стандартной» культуре, и получается, что ты словно сидишь за столом нового русского хама, который непрестанно рыгает и шпынует прислугу, и говорит тебе «ты» – но все это в благородной, эстетской, по его представлениям, форме.

Серия «Grème de la Grème» – для любителя таких несоответствий, вроде кремового торта с прослойкой из дерьма. А есть залежи навоза, открывающие миры. Есть переводы, сделанные «незаинтересованными», так сказать, переводчиками, они не деформируют изящество и печальную деликатность в надломленную декларацию исключительности и избранности. Владимир Маяковский в «Я сам» писал: «Я – поэт. Этим и интересен». Текст есть текст, этим и интересен. Сказанное относится не к форме моркови, а к геометрии текста, как к макро, так и к микро. Дифференциал функции, мгновенная скорость объекта: отчего бы не учесть мгновенные характеристики текста – что велит читателю продолжать или забросить чтение? Почему швейцарская

топ-книжка «Лазар» Нелио Бидермана сразу показалась синтетической игрушкой – не в целом, а же ее не дочитал, а в каждом повороте текста; как получается, что крайне похожие тексты русских рэперов транслируют то дружелюбную агрессию, то отчаянную злобу (желание причинить вред) – в каких буквах прячется это желание?

Ларингальное и есть мгновенное, незримый наполнитель шва, скрепляющий или рвущий текст. Если сравнить с футболом, то: я не знаю всего узора ковра, но движение нитей захватывает или не захватывает; не понимаю (никто, кроме Пеле, не понимал) сути первого паса в длинной комбинации, которая закончится голевой передачей, а то и голом, но внутренне напрягаюсь – в ожидании. Если живопись, то: картина осознается почти мгновенно, это как раз и говорит о мгновенности контакта с текстом (в данном случае – живописным), о моментальном «взятии» определенной вибрации. Считывается мимика и микромимика, и мелкая моторика, и весь габитус, и целый организм текста с его циклом Кребса, кровотоком и паттернами различной природы и глубины.

«Lázár», в нем ларингальное: *я хороший умный устроенный мальчик...* примерно то же в «Tyll» у похвалившего Бидермана прямо на его суперобложке Даниэля Кельмана: *я правильный умный удачливый писатель...* Удивительно – неудивительно, – что ведет себя в жизни Кельман сообразно своим «коэффициентам». Уве Телькамп, парень с непростым бэкграундом (гэдээровский Дрезден вместо Мюнхена/Вены, зато район вилл) – также. Речь в его «Башне» не принадлежит ни автору, ни персонажам, ни самому Дрездену (Башне) – ее, речь, постоянно выбрасывает наружу, в актуальность, в сверхзадачу. Книга порождает рваную геометрию, он словно не смог или не захотел расположить себя в традиции либо же оторваться от нее полностью. Но – что бы ты там ни собрался описывать из разряда: свалка, бордель, гадюшник, – геометрия должна быть стабильной, как «гости» на станции Соляриса. «Ларингал»: *kann auch sein, может тоже быть*; читать скучно.

5. Die Welt ging unter am Zürichsee

В марте этого года рассказал одному юному рижскому поэту и художнику историю про зимние шины. Видел ее по телевизору в каком-то идиотском репортаже в январе. Во время снегопада, явления прочно забытого, где-то в глубокой Латгалии полиция устроила рейд на камеру. На сельской дороге полицейский экипаж, который, видимо, нельзя было объехать (есть такие деревни с одной дорогой посередине), измерял глубину протектора, и если она было меньше положенных 4 мм, торжественно снимал номера. По рижскому ТВ транслировалось с восторгом, хотя в деревнях без машины попросту не выжить.

В ответ художник и поэт рассказал мне историю про трамвайную облаву. В чистом поле на большом перегоне трамвай остановился: полиция, контролеры, много. Вожатый был, видимо, предупрежден, боялся – и выключил компостеры. Одна дама протелепала проблему творческой личности и протянула ему аж целый веер билетов, какой-то он даже успел вытянуть, но экраны погасли. Зато двери открылись, он смело вышел из вагона, отодвинув, по его словам, девушку в униформе «Rīgas satiksme» как мешающую ветку. – Кур юс? – закричала она. – Куда вы? – Каут кур талак! Куда-нибудь подальше, – ответил поэт и художник и удалился.

Эту историю я пересказал писателю и архитектору из Берлина, который курирует проект постройки больницы в Баварии, недалеко от Нюрнберга. Раз в две недели мотается он туда и обратно, порой опаздывая на берлинский поезд, тогда ему приходится ночевать в Нюрнберге. Гораздо проще летать, но это запрещается – близкие командировки нужно отбывать экологичным транспортом. В апреле он сел в поезд ICE, в дорогой – не простой региональный. Он имел билет с местом (тридцатка, что ли, сверху: копейки для фирмы), а напротив сидел реально усталый человек в полицейской форме. Дело в том, что только в форме, то есть при исполнении, можно ехать ICE бесплатно, но люди недовольны, когда в вагоне вермахт или полиция в форме, типа, военщина, в Германии на улицах вообще мало кто в форме, это не Израиль. И вот человек в форме едет в

Берлин, сбросить усталость или навестить кого-то, а тут, наверное, какой-нибудь безбилетник забыковал, мигрант, скорее всего, и – объявление по радио: сотрудника полиции с места такого-то в вагоне таком-то просим пройти туда-то. Тот опечалился, понуро глянул на архитектора и писателя, встал, пошел...

После третьей истории я отчего-то сразу поверил, что, едва сволочная ТВ-тетка с микрофоном и ее камерамен отбыли в столицу, полицейские, оказавшиеся местными, все снятые номера вернули ошарашенным селянам, погрозив – или не погрозив – им пальцем.

Крайне простые истории. Вторая и третья описывают (не порождают) геометрию замкнутого пространства – вагона трамвая и Intercity-Express. Последовательно вытекая из первой, они намекали на ее замкнутое пространство, упущенное в описании (рассказчики, будучи творцами, поймали его и передали дальше). И я вспомнил – это был салон старого автомобиля марки Audi, из которого, опустив стекло, обалдело таращился на съемочную группу нестарый еще парень, которому без авто ни бзднуть, ни пернуть.

Я хотел пересказать эти истории не в качестве слезовжималок, а чтобы обнажить скелет перетекания «реальной» геометрии в геометрию текстуальную – и обратно. Если пробовать описать механику, выходит что-нибудь лунатическое, не вызывающее доверия. В одном известном [эстонском] русскоязычном онлайн-проекте, когда-то свежем, нежном, обнаруживаются целые выпуски, полные мертвых «текстов», наборов слов. Мои бывшие приятели и друзья стараются выглядеть живыми, но я их не слышу. Для себя объясняю тем, что их внутренний отказ от метрополии языка (а у русского, в отличие от других больших европейских языков, в настоящее время ровно одна метрополия) запирает окна в «тот» мир (найду слово или нет?), о котором только и делает, что говорит мир «этот», все его религии и искусства: в мир-исток, в мир-ключ. Те, кто во славу языковой метрополии воспевают... (найду я слово или нет?), также глушат вибрации «того» мира. Я уже связал в одно целое до сих пор не определенные и в целом неопределяемые понятия «геометрии» и «вибраций», пусть пока так и остается. Ясно ведь, что геометрия скрипки определяет ее звучание. И глюкофона, и колокола, и обычного горшка. Кстати, о воспевании – можно рассмотреть как вариант фракцию ненависти. Ненависть деформирует лица, ненависть деформирует социум, в случае текстов ведет к проседанию вибрации. Что такое ненависть в ларингальном смысле? Гипервязкость, склеивающая то, что должно звучать порознь, или напротив – поросье расталкивающих трещин? Те ребята в Эстонии думали: дескать, сочиняем что-то антивоенное. А война – аутоиммунное заболевание, как рак или псориаз, которые мы не умеем лечить, только зализывать. Будь загвоздка единственно в том, что не должно [du sollst nicht] одному миллиону людей убивать другой миллион, при этом, согласно замыслу, погибая тоже, то люди – которые не звери – давно бы это прекратили. Геометрия мироустройства, взятого как текст, таит на очень высоких уровнях, на очень низких тонах сложносочиненные заморочки, поэтому лобовое «антивоенное» творчество представляется мне ангажированным либо инфантильным, в массе – поролон, целлюлоза.

Сюда же я добавил бы наблюдение за тем, как культура (литература) становится менее открытой, сосредотачивается на себе (часто – в ущерб). Заметить, указать на это трудно, отрицать гораздо легче. Но сопоставление мелких деталей неумолимо складывает паззл. Я бы предположил, заведомо утрируя, что в России все происходит по «известным причинам», в Литве – от обиды на большие государства, в Эстонии – от корректной мании величия, в Латвии – от горького одиночества (мы никому не нужны – так и нам никто не), в Польше – в борьбе с заразой глобализации, в Германии – в противостоянии тотальной дегерманизации. Швейцарию атакуют эйджизм и балканская мафия. Похоже на то, как хозяин письменного стола защищает от родни или от гостей свою настольную геометрию: все равно – педантичный абсолютный порядок или надежный привычный хаос. У наций, народов с тяжелым, но не слишком сложным прошлым это созвучно этноцентризму, у тех, кто прошел путь высокой культуры и творческой аристократии –

страху растворения в мировом котле всего того, что было собрано большими усилиями за большое время. Мой соавтор, Мильда Соколова, назвала – в связи с Пушкиным и Мандельштамом – простор в их текстах следствием более обширной базы, нежели у тех, чья строка неестественно суха и тесна, даже когда длинная. Если это тоже переводы с высшего языка, как принимается ради того, чтобы не разделять без нужды творчество на оригинальное и якобы не-, то они располагали более широким выбором оригиналов, такая невидимая многослойность. В «ларингальной» модели ощущаемый объем строки связан с запредельным, с какими-то призрачными коэффициентами, определяемыми видением автора и его позицией (слоем, в котором он расположен как наблюдатель). В итоге у Пушкина в паузу можно засунуть что угодно, а у тех абиотиков – ничего не получается.

Напоследок еще одно начало.

Берчикон-Госсау под Цюрихом. Тупо «под», на северо-восток. Разговор с Робинот Хуллом. Он – писатель, меценат, куратор IAHN [Международное общество Олдоса Хаксли]. «Литературоведение умирает, – сетует Робин, – но на это никто не обращает внимания. Вот если бы умерла какая-нибудь ветвь бизнеса...» В сопоставлении литературоведения с бизнесом в общем-то нет натяжки. Компас в мире художественных книг является мегаинструментом развития языкового мышления бла-бла, без него всему кранты: и бизнесу, и дипломатии, и социологии etc. Вопрос – есть ли в этом вина самого литературоведения?

Ужинаем в гостинице, у меня за спиной стоит рояль, на стенах висят Розенталь и Пурвитис, мастера с родины его жены Иевы. После ужина с вином Робин интересуется, курю ли я сигары. В целом не курю табак, отвечаю – и тотчас же испытываю сожаление оттого, что не курю, поскольку один он курить не станет, а ему, вижу, было бы по кайфу. Я бы составил компанию, но, во-первых, не умею курить сигары, а во-вторых – меня, скорее всего, стошнит. Вспоминается доктор Опир из «Хищных вещей века» Аркадия и Бориса Стругацких в диалоге с Иваном Жилиным: «Хорошо. Коньяк и кофе с коньяком. Какое-нибудь бледное вино к рыбе и хорошую натуральную сигару...» Робин не станет курить не только из вежливости, он – я чувствую – принимает разные версии завершения ужина, даже не подстраиваясь, но настраиваясь на них. Он говорит об Ирине Головачевой, известном специалисте по Хаксли из СПбГУ. Будто бы она согласна перевести его книгу о Хаксли на русский, по крайней мере проконтролировать перевод.

На следующий день я обнаруживаю в сети куски ее диссертации, к примеру, введение. Головачева трактует «Brave New World» как не просто «негативную утопию»:

– Мы уже говорили, что одна из задач нашего исследования – корректировка клишированной оценки «Дивного Нового Мира».

Так, в частности, мы не только ставим под сомнение, но и опровергаем распространенное мнение, согласно которому этот роман в той законченной форме, с которой имеет дело читатель, – антиутопия.

И это здорово. Я тоже мог бы достаточно быстро показать (если кто-то этого еще не сделал), что «Полдень, XXII век» Стругацких на самом деле – антиутопия, но вот поверят ли мне? Ирина поверит, она ведь пишет: «Одновременно Хаксли видел и трагизм, присущий любому утопизму, ибо любая утопия содержит зерна саморазрушения». Список литературы содержит около трехсот наименований, при всем при том. Думаю: если такое число работ далеко не глупых, по-видимому, людей потребовало написания еще одной, чтобы сформулировать нечто, с чем я готов миглом согласиться – не значит ли это, что знатоки литературы утратили/угробили в своей науке необходимый ей стержень, причем наверняка сознательно?

Мир рушился на Цюрихском озере, при тридцати градусах в тени, не было ответа, потому что не было вопросов, над крышами жара, в которой я мерзну, все тот же город, где мы никого не видели, кроме самих себя, так пела в 70-е Хильдегард Кнеф, впервые я услышал ее в 90-х, когда мне казалось, что.

6. Краковский трубач

Рига, 2025. Лена Стабуrowa, известный синолог, вдова большого латышского поэта и переводчика Улдиса Берзиньша, одного из шести поэтов, вошедших в так называемый *Kanons*, предложила мне сделать книгу «Город Чака» – так, как ее замышлял сам Улдис в конце шестидесятых. История вкратце такова. Он был реформатором современной поэзии латышей, во многих смыслах. Прежде всего реформатором, всячески разнообразя форму, как метрическую, так и геометрическую. В частности, предпочитал выравнивать стихи как по левому краю, так и по правому. Потом – тематика. Он писал о том, о чем еще не было принято. Об антисемитизме латышей, о собственной нелюбви к русским, о каком-то своем личном боге, который одновременно есть всехний Бог и пр. и пр. В его геометрии темы звучали четко и ярко, приправленные как бы легким закосом под дурачка, таковым он и сделался впоследствии, очарованный вниманием за границы. Еще там был раздел «Лена» – имя русской женщины, невероятная вольность. Девять лет книгу мариновали, да так и не издали, напечатали ее карикатурную версию, «Памятник козе», не той, что в огороде, а той, что кафе на улице Вальню: с купюрами, искажениями строфики, белыми пятнами лишних пробелов и т.д. и т.п., не то стихи, не то проза. Врагом книги была объявлена советская власть, Улдис позже подгонял тексты под легенду. Он, можно сказать, въехал в историю латышской поэзии на белом коне из этого маринада.

– 1960-е годы были довольно уникальным периодом в мировой истории по обе стороны железного занавеса. Легендарное кафе «Каза» было, пожалуй, одним из наиболее прозрачных зеркал, открывавших очевидное стремление людей той эпохи к свободе души и выражения, – подытожит после кто-то из нынешних.

Книжечку, изданную в «Пламени» [Liesma], я купил в 80-е в Аглоне, католическом центре Латгалии (соотв., и неверующей Латвии), в маленьком книжном, какие были тогда в каждом приличном поселке, напротив автостанции и рядом с поворотом на Резекне, где лет сто назад родился Юрий Тынянов; в Витебской губернии. «Был теплый майский день, / и на земле было славно, / Но коза лезла в небо». Мы, Лена и я, сидим на кухне столетнего двухэтажного дома на берегу Двины и в центре Риги одновременно. Этот дом дед Улдиса выиграл в карты (или выиграл паром, продал его и купил или построил дом). Строение надежно, дом будто белый гриб, местами траченный червячками, но в целом съедобный. Внутри – хаос, органический: ящики с яблоками и бензопилами на лестнице, за дверью – книги, газеты эпохи Мин, Стучки и Брежнева. Лене (и, разумеется, Улдису) всегда было известно, что предложенная им поэтика слишком сложна, чтобы книгу завернули русские, латышского не понимавшие, что сами латыши, будущие коллеги Улдиса, мариновали ее. Известный в России Имант Зиедонис пинал его во внутренней рецензии будто пацана – не то из зависти, не то из осторожности. Лена считала, что таким образом в латышской поэзии не свершился назначенный ей прорыв. Я почти год находился под гипнозом этой мысли, однако к концу работы начал осознавать, что без мифа о Советах, боровшихся с Улдисом как Ангел с Иаковом у реки Иавок, его стихи попросту канули бы в вакуум. Так, собственно, не был замечен Юрис Куннос, в исчислении моем и кое-кого еще – наиболее значительный поэт Латвии (в Канон не вошедший). А именно он, восприняв идеи Улдиса, совершил прорыв, оказавшийся практически ненужным.

Город Чака лежит в летаргическом сне. Книга, еще не будучи издана, уже устарела. Великая книга (была бы) – положи руку на сердце. Это пример не просто интерактивного взаимодействия текста с читателем в малой среде, а чего-то большего, сложнейшего. Не случай подмены текста биографией, характерный для раскрутки т.н. феминисток, жертв насилия или т.н. колониализма. Факт, вписывающийся в представление о «зажиме» как факторе, стимулирующем творчество и его рецепцию. Очень интересна работа «тисков» с вибрациями, но это побочка.

Следующее начало – Хафельланд, озерная местность в относительной близости от «моста шпионов» (и родового гнезда, ландшафта души Эффи Брист Фонтане). Франциску Цверг, пере-

водчицу целого спектра писателей и поэтов, я спросил примерно так: почему, зная, что в моей Heimat и вокруг нее происходит непостижное уму, я сопереживаю ей в такой степени, что – стоит выразить мое сопереживание более конкретно – не миновать мне не столь отдаленных мест моей Wahlheimat. Причина – голос крови? зов будущего? живущие там мои близкие? Тут надо бы продолжить – *And my spirit said No, we but level that lift to pass and continue beyond*. Франциска сказала – нет, это не голос и не зов, просто там есть какая-то вибрация, которая тебе необходима, она не может быть уничтожена, смята, оттого ты на ее стороне. Некстати вспоминается другой латыш, Янис Рокпелнис. «Упасть пред тобой на колени я все еще не смогу, но я остаюсь последним стоять на твоём берегу...» В сторону Хафеля убегают поля, посреди полей шумит лес, в лесу расположен военный полигон, Militärgelände, раньше мы по нему гуляли, лес как лес, а за полигоном заброшки казарм Адольфа, они долго служили ограниченному контингенту, инвесторы их превращают в район Потсдама, сбивая не добитую красноармейцами лепнину (не всю). Людям надо где-то жить, и что интересно: порой магия мест сживается с людьми, но часто бульдозеры срезают ее вместе с дерном.

В иных землях этой вибрации нет.

«Строчит пулеметчик за синий платочек». Правду сказать, синему тому платочку гораздо большее угрожал, чем.

*полвека назад мы ушли бы с тобой на войну
где кто-то простой и суровый потребовал: жди
меня я вернусь я с победой вернусь
а нынче у нас не осталось за что уходить*

Одно ясно: если вдруг что, вибрация может быть разрушена. Так вот – за вибрацию он это. К геометрии: свойства – плотность, вязкость, всяческие коэффициенты – задают частоты, амплитуды вибрации. Ларингальное в тексте работает как клей – как разные клеи, от схватывающей намертво холодной сварки и до перепозиционируемых аэрозолей («...слов, скрепленных их собственным светом...» – Арсений Тарковский, возможно, о том же самом).

Многое оказывается не тем, чем казалось раньше. В Бранденбурге небывалая жара, сорок один градус, в то время как в Видземе всего двадцать два. Чтобы убедить немцев в правильности зеленой политики, им жестоко демонстрируют перемену климата, для этого плантации солнечных батарей переключаются с приема на излучение, и черные зеркала методично накаляют атмосферу – даже ночная гроза не в силах ее остудить. Когда запас электричества кончится, наступит осень.

Краков. С Артуром Грабовским, поэтом, писателем, профессором UJ [Ягеллонский Университет] в сетевой пекарне Lajkonik. Это «Лайконик» на Столярской улице, откуда рукой подать до костела Святого Франциска на улице Францисканской. Пан Артур – фан «четвертого пророка» Станислава Выспяньского, чей витраж «Бог-отец» в гигантском стрельчатом окне пресбитерия горит магическим пламенем модерна. Францисканский модерн загадочен – так же, как доминиканская неоготика, так же, как и сам Лайконик, в костюме татарского хана скачущий на бутафорском конике, надетом на пояс, во время октавы праздника Тела и Крови Христовых. Веселый плотогон, спешщий город от хана и его войска (в отличие от спасшего город трубача-зомби – вечно живой). От немецкого Fronleichnam происходит его корень Laj. Или от Leich, поскакушек шпильманов. Мне нравится вторая версия, ведь Лайконик в разработанном Выспяньским дизайне буквально вскопчил логотипом прямо на обивку кресел в трамваях «Штадлер Танго» краковской МРК [Муниципальная транспортная компания]. На голове у него тюрбан с полумесяцем, в руке булава, которой он шутя побивает штатских, на ногах – цивильные брюки со штиблетами. Носки обуви и голова бутафорского коника-костюма глядят в одну сторону. В некоторых автобусах на креслах также выткан Лайконик, но у того носки сапог смотрят в разные. Когда за окнами бежит весенний или осенний Краков, город жесткий и требовательный, вовсе не ласковая размазня Варшава, дебильная улыбка Лайконика из-под фальшивой бороды говорит: держись! за ремень или за поручень.

Артур вернулся из путешествия по Африке. Он – бродяга планетарного размаха, и вот что прикольно: где бы он ни странствовал, ему прежде всего интересны люди. Самые обычные люди в кафе, в поездках, на обочинах дорог, которые весьма быстро оказываются необычными. Прикольно в том смысле, что талисманы, артефакты, всякое ритуальное его, кажется, не пленяет. Расспрашиваю о методике перемещений.

– Ну да, поначалу тебя рассматривают как ходячий банкомат. Но как-то удается дать понять, что ты не банкомат. Тебя оставляют в покое, дают тебе наблюдать. Однажды я ехал в автобусе, на край земли, где собирался переночевать в хостеле. Впереди сидел какой-то черный парень, вокруг него сгушалась туча недовольства остальных пассажиров, я чувствовал. Внезапно несколько человек бросились на него и стали бить. Они били его довольно жестоко, никто не обращал на это внимания, потом шофер остановился, открыл дверь, и парня выкинули из автобуса. Через какое-то время я спросил своего соседа, что это было. – Он «бросал магию» – буквально – *did magic*: он колдовал, наводил чары. За это его и побили.

(Убили?)

– Я провел там три дня, хозяин хостела готовил простую еду, а вечером приходил с большим железным чаном, полным тлеющих углей, садился напротив меня: «Теперь час (время) на разговоры». Между прочим, я спросил его о происшествии в автобусе. – Это нормально, – сказал он, – нельзя наводить чары на окружающих. – А если бы твоя мать на тебя навела чары, ты бы убил ее? – Обязательно. Ведь она страдала бы оттого, что навела на сына чары. Когда бы я ее убил, я облегчил бы ей совесть – а себе жизнь.

Я настаиваю на пользе альтернативных методов анализа произведения, поскольку в традиционные уже не верю. «Дело в том, что в само произведение уже никто не верит», – Артур, конечно, прав, хотя сам разрабатывает новые методы. Мы продолжаем не вчера начатый разговор о геометрии текста. Говорю, что обожаемые мной «Три сестры» Чехова напоминают мне шкатулку с музыкой (*pozytywka*), он не вполне соглашается – «но что-то механистическое там есть». Рассказываю ему о Франциске и вибрации, о том, что тексты могут генерировать вибрации – не сами по себе, наверное, а ретранслируя чьи-то готовые вибрации, какого-то (слово?) мира. Напомню, Артур – поэт, ему не нужно заморачиваться отношениями реального и чувственного. Каков этот какой-то мир – неважно, главное что он живой и светится (вибрирует). Тексты и есть окна: в куда-то. Не авторы транслируют, те в подавляющем большинстве мертвы, а [с]оставленные ими наборы букв, слов, фраз – в каждом случае чего-то большего, нежели. И вместо того, чтобы биться с очевидностями, защищая право «Черного квадрата» Малевича стоять баснословных денег и право мутных полосок Ротко называться искусством, можно предположить (не раз предполагалось уже, но так и не пробило заслон искусствоведческого мейнстрима), что Малевичу и Ротковичу удалось родить нечто, эманлирующее *etwas*, ретранслирующее *quelque chose*, причем как в оригинале, так и в репродукции; и в виде идеи, только не «черноквадратности», не только «черноквадратности»: в «цветовых полях» Ротко я вижу Двину, навсегда влившуюся в голову маленькому Маркусу. Неважно, подделка «Слово о полку Игореве» или нет – оно вибрирует вне зависимости от знания, кто его написал. А вибрирует ли псевдоперевод, выполненный академиком Лихачевым, – не могу судить. Я еще вернусь к теме беседы, а сейчас еще одна цитата, в рамках погрешности воспоминания: «Таким образом, мы здесь довольно провокативно оспариваем устойчивую концепцию, русскую по преимуществу, кстати, что произведение есть источник интерпретаций порожденного им кода. А ты утверждаешь, что произведение есть источник многих кодов».

7. В краю черных мельников

Во время т.н. пандемии, на втором году, я решил, что в Европе осуществляется борьба против русского языка как в наименьшей степени поддающегося «усмирению». Сейчас я думаю, что

борьба ведется против вибрации. Люди с разными политическими взглядами, полярными ожиданиями, различными версиями русского языка вибрируют на какой-то общей волне, и с ними мало что можно поделать, только убить. На дороге бывает так, что пристроившись за фурой, обогнать не получается, ну и начнешь читать, что на ней написано. Сначала то, что ниже всего, на брызговиках зловещая белая надпись на черном фоне: Schwarzmüller, Черный мельник. Это фамилия основателя компании, он мастерил повозки, потомки клепают прицепы и самосвалы, самого, к слову, звали Йозеф. Звучит нормально, не страннее, чем Черномол. Но если ехать долго, замечается всякое.

Расскажу еще, что любовь к Шерлоку Холмсу – моя детская травма. Что в дощатом домике, где мы с бабушкой проживали лето за летом, было собрание Шерлока Холмса, и я ребенком читал его по многу раз, и тогда же понял, что главное – это не что, а как. Если телегу «средняя скорость муравьев превышает давление травы, поэтому туфля погибшего находится в трех кварталах от торфяного болота» прогнала бы какая-нибудь мисс Марпл или даже отец Браун, или, не дай бог, Мегре или Пуаро, то – туши свет!

«Что» и «как» не про содержание и форму, здесь одна из официальных дыр всякого литературоведения; те (структуралисты, наверно) говорили, что смысл под поверхностью, эти (постструктуралисты), что он вытекает из структуры выражения и втекает обратно, но отменить различие между «что» и «как» им не удавалось. Если о произведении спросить обученную на подходах и тех и этих нейросеть, она, пройдясь по содержанию (тематике), предложит описать особенности структуры (форму). Двойное членение, никуда не деться, литература жива, пока можно конструктивно разделять «что» и «как»; для одного главным будет «что», для другого «как», пишущий, читающий различают интуитивно-осмысленно, референтные группы сопоставимы, различие субъективно-объективно, везут, везут черные мельники свой песок в двадцатипятикубовых кузовах по большим дорогам.

Мне бы мельника встретить: он жил над рекой,
Ни о чем не тужил и ходил по дворам,
Он ходил – торговал нехорошей мукой,
Горьковатой, с песком пополам.
(Арсений Тарковский)

Пушкин и Мандельштам, шифровальщики света и тени, захваченные криминалом между «что» и «как». Оба востребованы как специалисты, решающие тему власти. Строка *Одиссей возвратился, пространством и временем полный* – о том, как Герой вновь обрел территорию; уточнения «свою», «собственную», «принадлежавшую ему» не подходят, в реальности ее не было и нет, он конституирует ее заново: где-то. Обретение – шаг власти. Бруно Шульц? Самая темная тайна – не кто убил Лору Палмер, а кто кем управляет; он об этом. У Кафки тайна упрощена, почти снята (я сам собой управляю). Кафка заступает на фашизируемую почву, фашизм лишь имитирует таинственность, уничтожая смысл тайны глобальностью намерения, похоже на то, как нейросеть глушит (приглушает, нивелирует) вибрации. Нейросети ≈ фашизм? Выполненный ими перевод, даже отредактированный, ликвидирует геометрию, потому что текст будет склеен, пускай и очень умело, из рыхлых ошметков других текстов. В нем не найти того, что на сегодня все еще отличает человека от машины – характера (повторяясь, подчеркиваю). Нейросеть, mon amour.

Однажды на перегоне между Варшавой и Августовым я захотел купить боияйца, девять штук в изящном ящичке из бежевого картона, что обычно дают в «Бедронке», сети (франшизе) желто-красных дисконтов. Вопрос принципа, наутро я бы выехал из Польши – без хабара. Кругом все было мертво, заперто, радары тоже не подавали признаков жизни, я даже подставил одного мачо на фуре, он меня поджимал, хотел обогнать в населенном пункте, чтобы после я трясся за ним как

прицеп, я вынудил его разогнаться до семидесяти в заставленной радаром деревне, но ни один циклоп не моргнул своим красным глазом. Когда слева по ходу вспыхнула огнями «Бедронка», время было – начало одиннадцатого. Я видел: внутри есть люди, на обширной площадке перед блочным баракм есть пара автомобилей, но въезда нет. Зато справа ждал новый радар, я как зайка прошел под ним, развернулся и пошел обратно. Теперь «Бедронка» была справа по ходу, но въезда не было по-прежнему. В любом случае я должен был развернуться, но мешал поток, в обе стороны потянулись караваны фур, я почти выскочил из деревни, наконец развернулся, дошел до радара, медленно, въезда не нашел – площадку по всей ее длине отгораживали от дороги мощные трубчатые отбойники, а слева-справа, по всей ее ширине, бетонные надолбы. Я предположил, что сошел с ума – либо эта «Бедронка» принадлежит другой вселенной. Я еще раз развернулся, миновал «Бедронку», развернулся, миновал «Бедронку», почти покинул эту систему белого карлика, но передумал и на кругу перед следующим радаром свернул влево, на поперечную улицу, насчитал на ней несколько домов, за ними вселенная обрывалась, раскинулись поля, в левое поле ушла грунтовая дорога, и я опять повернул налево, дорога слегка вильнула среди раскисших (какого черта я здесь делаю?) полей в бесцветном и жидком звездном свете, впереди обнаружилась встречные фары, это меня обнадежило, через километр слева показалась тыльная стена «Бедронки», глухая и темная. Площадка перед ней уже опустела, когда я, натянув свою черную маску, зашел в торговый зал, чтобы оказаться один на один с кассиршей, черные маски не успели войти в моду, я испугался ее испуга, а испугавшись, забыл, зачем я здесь, купил две бутылки молока и канистру жидкости для лобового стекла, заплатил, вышел, сел в машину, полями вернулся к улице, на которой кончались дома, свернул направо, но на кругу вспомнил про яйца, сделал полный круг, по полю добрался до магазина и в черной маске за пять минут до закрытия вошел в светящиеся двери... Название деревни – Суховоля. Год спустя отыскал в газете: таким образом проявлялась борьба местного самоуправления с собственником, который не выполнил данное при получении участка под магазин обещание – ту кривую дорожку в полях заасфальтировать.

Дух пограничья веет где хочет, в Суховоле, например. Две вселенных, между ними сварные ограждения и бетонные столбы, черная маска Зорро в разных мирах срывает по-разному. В предпоследний заход я уже не верил, что вижу «Бедронку». К вопросу: эта вот детская мазня – Ротко или не Ротко? Мы не создаем миров, только заглядываем в их витрины, а уже то, что на выходе, является отчетом о заглядывании. Какую-нибудь школу (подвид экспрессионизма) рождает – не как они пишут, красят, лепят, а что они там (в тех мирах) увидели, хотя, конечно, многое зависит от того, какой способ зрения (смотрения) выбран: форма видения определяет увиденное. Текст – ретранслятор, а не источник (тем самым он источник вибраций).

Игра в «Черного Петера» – типа «Акулины», заключается в сбрасывании парных карт, а идиома «валить на Черного Петера» значит найти козла отпущения, виноватого без вины. Проигравший остается с Черным Петером, дополнительной картой (в «Акулине» с дамой пик), ее нельзя сбросить, только подсунуть соседу. Если в колоде Черного Петера нет, можно назначить Петером джокер, а так – на ее лице рисуют черного кота, арапчонка или трубочиста с хлыстом и в маске.

8. Филология в законе

Так кто же эти русские, авторы устойчивой концепции? Начав с улицы Тербата, нельзя не кончить Тартуской школой. Перед все более достижимым концом света (имею в виду не «новые войны», а новые интересы) назову Юрия [Михайловича] Лотмана гением приближенности. Он сыграл в интеллектуальную оппозицию и вывел себя и целый коллектив из-под возможной критики тех, кто был способен понять его (таких нашлось бы немало), создал «зону пониженной ответственности». Думаю, уронить нагроможденную «тартуанцами» стену мифов вокруг текстов и языков невозможно, да и зачем? Под руинами окажутся отдельные вменяемые мысли отдельных крайне вменяемых людей, павшие жертвой изначально административного намерения:

выдать за науку то, что вряд ли может быть оформлено в науку и вынуждено оставаться богатой смесью наблюдений, догадок и, само собой, моделей, как-то сбалансированных, не претендующих на статус общей картины мира. Вдобавок над данной стеной до сих пор плещется знамя грандиозного Романа Якобсона – как оберег, что ли. Основная беда: тексты тартусцев бывали квели и невнятно написаны. Стихoved Михаил Гаспаров, к примеру, имел слабо развитый лингвистический слух. А когда люди, не очень умеющие писать тексты (оттого уязвленные писательским даром Бахтина), взамен устанавливают для них законы, то сами утрачивают понимание их хрупкости, их гибкости, слоистости, теряя чуткость к тому, что авторы текстов фактически буквально приглашаются к нарушению границ этих законов.

Показательный сюжет. Борис Гаспаров, эмигрировав в 1980 году в Америку, через девять лет находит нужным пнуть бывшего начальника, по ту сторону железного занавеса публикуя статью, с едкой, хотя и допустимой иронией описывающую деятельность школы как масонского кружка:

– Сама тенденция к герметическому замыканию и удалению из русской языковой и культурной среды несли в себе явные социальные и психологические обертоны.

– Специфическая тартуская атмосфера действовала как мощный и безошибочный механизм социальной и психологической селекции.

– Владение этим имманентным языком обеспечивало общение внутри сообщества и преграждало путь постороннему.

Такое дело: из-за бугра критиковать не одну методологию, но и устав, только я не об этом. В сборнике 1994 года, вышедшем сразу после смерти Лотмана, помещена статья Б. Гаспарова – для демонстрации научной объективности. Ее, как *следку луком* (Михаил Светлов), *окружают* т.н. реплики, типа оправданий-наездов. Реплика Лотмана попросту недобра. Ну а с чего бы «рыцарю науки» так выступать, тем более параллельно сильной манифестации: *у нас была общая база – безусловная научная честность.*

Моя цель. Формулировку, найденную Артуром за чашкой кофе с логотипом кафе «Лайко-ник», я должен противопоставить телеге, многократно прогонявшейся Лотманом. Лотман был человек пронизательный, безусловно; уверен, он понимал, что ходит вокруг да около прозрений, но прозревать боялся: прозрев единожды, не сможешь преумножать сущности, бесконечно камуфлировать открывшийся смысл, аморфно обволакивать ватой птичьего языка. Я не раз пробовал убедить себя в величии Лотмана, но сходу наткался на феерическое. Однажды я предложил эстонской переводчице с французского набрать в поиске «10 цитат из Лотмана», затем «20 цитат из Лотмана» – та была ошарашена (я проверил: предполагаю, что цитаты меняются, но эффект тот же). Двадцатое мая, два часа дня, «Пушкин», 205-я страница, 2-й полный абзац (одновременно четырнадцатая строка – не знак ли?).

«Противуположность выгод» – непримиримость наиболее глубоких интересов дворянства и крестьян – делает конфликт между ними фатально неразрешимым, ибо каждая сторона отстаивает коренные и со своей точки зрения самые справедливые свои права.

Закавыченное взято из «Истории Пугачева» самого А. С. Пушкина.

Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны.

А в неоконченных заметках «О русской истории XVIII века» Пушкин пишет:

Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян.

Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизилла беспокойное наше дворянство.

Под выгодами Пушкин, очевидно, подразумевает не «коренные права» дворян, но выгоды от удавшегося восстания, его мысль намного живее и актуальнее. (Невольно?) Лотман совершает подлог, с помощью тире уравнивая «права» и «выгоды». Цитаты, само собой, я нашел в сети, но искать начал потому, что поэт, соотносивший – в области прав и свобод – несоотносимое, о фатально неразрешимом конфликте говорить никак не мог:

Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправоe гоненье:
Он взял Париж, он основал лицей.

Самое дикое теперь. Б. Гаспаров в той своей статье выразил общее категорическое мнение:

– Ни один текст культуры не может быть адекватно прочитан путем простого эмпирического восприятия и наблюдения; для его понимания необходимо либо интуитивно владеть соответствующим культурным языком, либо реконструировать его в научном описании, т.е. построить его «грамматику».

Еще страшнее у самого Лотмана («Триединая модель культуры», 1982):

– Триединство этого механизма, то, что каждая из его частей в определенном смысле может функционировать как вполне самостоятельная и одновременно, все они, в другом аспекте, образуют нерасчленимое функциональное единство, – представляется фундаментальным его свойством. Только такое устройство позволяет тексту из пассивного передатчика извне заложенного в него смысла превратиться в смысловой генератор.

Вот же она, гениальная приближительность. Что на самом деле имеется в виду? Все слова присутствуют: передатчик, смысл, генератор. Но как заложен в него смысл, что за смыслы он генерирует, кем постигаемые? Задача сказанного – отнять у текста магичность. Текст, вокруг которого все якобы и заверчено, по-прежнему лишен самостоятельности. Право на передачу признается за автором, культурой, право на восприятие – за читателем. В древней статье «О множественности художественных кодов» (не применил бы эпитета «древний» к Якобсону или к Тынянову, сюда же, как писали в т.н. списках замеченных опечаток, он вкрался) вместо множественных кодов произведения Лотман провозглашает множественность способов «дешифровки» кода произведения.

Здесь прежде всего следует остановиться на одном принципиальном различии между естественными языками и вторичными моделирующими системами художественного типа. В лингвистической литературе получило признание положение Р. Якобсона о разделении правил грамматического синтеза (грамматика говорящего) и грамматики анализа (грамматика слушающего). Аналогичный подход к художественной коммуникации раскрывает ее большую сложность.

Дело в том, что воспринимающему текст в целом ряде случаев приходится не только при помощи определенного кода дешифровывать сообщение, но и устанавливать, на каком «языке» закодирован текст.

Расширение подхода Якобсона к речи на художественный текст происходит путем приписывания воспринимающему (читателю) обладание множеством дешифраторов:

*– Воспринимающий и передающий пользуются одним общим кодом...
– Воспринимающий навязывает тексту свой художественный язык...
– Воспринимающий пытается воспринять текст по уже знакомым ему канонам, но методом проб и ошибок убеждается в необходимости создания нового, ему еще неизвестного кода...*

Спорить можно до морковкина заговенья, бессмысленно, Лотман, как «Жди меня» Симонова, о чем-то ином, он моделирует, а не постигает: сначала среду, потом то, чем займется его среда, после, на базе занятия, управляет средой. Но – чтобы поставить точку. Так или иначе, описание свойств текста Лотман подменяет описанием свойств читателя – не в лоб, формулировки по-отдельности можно откатывать назад, мол, что вы, дяденька. Лишь триединство в его функциональной нерасчленимости автономно и фундаментально одновременно. Путем подтасовок Тарту топит магию текста как клопа в керосине, а я настаиваю: не разнообразное читательское множество, с его навыками решения ребусов, извлекает смыслы из закодированного текста, но именно тексты заглядывают в смыслы и излучают их подобно антеннам. Когда зимней ночью едешь через Тарту, чудится, что ты в волшебной стране, о которой мечталось философам древности – цеха и гильдии ремесел в красивых постройках, библиотеки, мосты, виадук, дворцы в огнях. Хочется остановиться и прижаться лицом к какому-нибудь стеклу, но холодно и вечная спешка.

9. Ты пошто старуху убил?

В начале 10-х читал монографию офигенного эстонца Пеэтера Торопа «Тотальный перевод». Под окном располагался детский сад, знакомый с детства хронотоп – именно как хронотоп, сам я садика избегал (бабушка), зато десять лет подряд наблюдал его из окон школы. В старших классах за его забором было хорошо прятаться и пить пиво, из кабинета директора нас легко было заметить, но коллизий не возникало, видимо, дети, пьющие пиво в детском саду, казались директорше галлюцинацией. По территории этого сада группками бодро перемещались упитанные детишки в оранжевых накидках словно пакеты нервных импульсов по пустырю сознания. С некоторых пор писатель Янис Грантс присылает мне фотографии детского сада с ул. Шота Руставели гор. Челябинска, свои сто видов горы Фудзи: днем, ночью, зимой, летом, тут сняли забор, тут ставят новый, такой длинный текст. Среди сомнительного (чего я тогда не осознавал) и тривиального (что не раздражает и сегодня) в монографии – след явного интереса к «геометрии» Достоевского. Усилия по внедрению понятий топографического, психологического и метафизического хронотопов выдают замысел поговорить чисто о «геометрии», вот только «по понятиям» это было бы слишком наивно, семиотики из геометрии не сошьешь.

Самая полная Википедия у Торопа болгарская, родился он в Таллине, а учился в Тарту, где нашел себе вожатого. В относительно ранней для него, но поздней для целого Тарту статье (1984) «Симультианность и диалогизм в поэтике Достоевского» он совсем еще открыт «природному» геометрическому восприятию. Положение автора относительно протагониста – один из уровней геометрии.

Ниже мы покажем, что слово «невидимого и всеведущего» повествователя тесно соприкасается с индивидуальными словами отдельных персонажей.

А чуть выше:

Уже писалось о специфичности соединения Достоевским сюжета и героя, о том, что их соответствие требует некоторых дополнительных условий (т.е. тесной взаимосвязи между данными уровнями): максимальной мобильности героя и сильной дискретизации романного пространства, а также ускорения времени.

Писалось же это в еще более ранней (1973) статье Владимира Топорова «Поэтика Достоевского и архаические схемы мифологического мышления»:

Если в романах Толстого автор находится *над* героями, скрепляет их своей последней и всеведущей волей, то в романах Достоевского автор *внутри* героев...

Тороп и Топор[ов], какой кайф для лингвиста, торчащего на этимологиях. Все уже проговорено, но общий переводоведческий гумус в прессе, тут переводчик не поймал игру слов, там у Шекспира вонь, а не запах; Лотман приучал тартусцев изъясняться загадками, чтобы они могли дистанцироваться от всесоюзных методологических полей и, говоря о двух мирах, грузили себя редундантным: *Итак, есть миры сакральных и профанических текстов, вечных (ср. вечная книга и «вечная Соня») и сиюминутных, временных.* При чем тут «тексты»? Есть миры! Интуиции Торопа тотально геометричны.

Таким образом, уровень топографического хронотопа является наблюдаемым миром, уровень психологического хронотопа – миром наблюдателей и метафизический хронотоп – миром устанавливающего язык описания.

+

Кроме границы есть еще два мира, мир профанический и мир сакральный, «антропоцентрический» и «теоцентрический».

+

В этом профаническом мире персонажи Достоевского находятся в иерархических отношениях, и место иерархии зависит от их близости к границе и к другому, сакральному миру.

Топоров близок стандарту: схемы, задачи, соответствия. В размышлениях о тексте он – раб ограниченности выбора. Хотя образцов мириады, их все же конечное число. На этом, кстати, держится убеждение, что нейросети со временем исчерпают себя, поглотив все написанные тексты, и остановятся в развитии; Ахиллес догонит черепаху. (Тексты синтетические скроены по натуральным образцам, но механизмы случайностей вот-вот позволят нейросетям выпускать собственные миры исключительно по своим правилам.)

Примеры обильны и, как во многих других случаях у Достоевского, предельно стандартизованы; речь идет о заготовленных клише, переходящих со страницы на страницу.

В настоящее время так легко скроить текст по любому лекалу, можно переставить два слова в «клише» Достоевского, еще два слова, получится Б. Акунин. Думать, что – раз Достоевский написал столько-то страниц, достаточно изучить их все во всевозможных контекстах – странно. Достоевский встроен в космос. *Брюллов поправил ученику этюд. Ученик, взглянув на изменившийся этюд, сказал: «Вот чуть-чуть тронули этюд, а совсем стал другой». Брюллов ответил: «Искусство только там и начинается, где начинается чуть-чуть».* Это писалось Львом Толстым в «Для чего люди одурманиваются» в связи с Раскольниковым. Что за чуть-чуть? Почему похожих на мерседес корейцев начала века не путали с мерседесами, а шкodu, похожую на бмв, не путают с бмв? Мерседес, в результате труда его дизайнеров, не просто железный ящик на колесах – это цитата «из мира», он несет его ауру. Красивые авто вписаны в ландшафты, по которым они бегут: как конь или птица. Деталь кузова типа изгиба Хофмайстера отсылает к чему-то большему, «чуть-чуть» включает геометрию части в геометрию целого. Как при сборке чего-либо необходимо бывает что-либо стесать, чтобы состыковать, «чуть-чуть» направляет текст на посадочное место. Когда через текст проходит волна света, а где-нибудь торчит заусенец, то – убери заусенец, если хочешь света.

«Всякое новаторское произведение строится из традиционного материала. Если текст не поддерживает памяти о традиционном построении, его новаторство перестает восприниматься», – утверждал Лотман в 70-м, то есть еще раньше. Он деликатно обходит стороной вопрос: если материя после взрыва не изменяется, что происходит с законами, по которым она функционирует? Пришли братья Стругацкие, принесли новые законы, методы работы со сценой, с персонажами,

с полным космическим театром (знали Тороп и Топоров?). «Вертер» уже написан, Лотман читал «Понедельник начинается в субботу». А «Пикник на обочине»?

– Они ведь все, Очкарики, такие. Им главное название придумать. Пока не придумал, смотреть на него жалко, дурак дураком. Ну а как придумал какой-нибудь гравиконцентратор, тут ему словно все понятно становится, и сразу ему жить легче.

Мало всё поименовать, нужно, чтобы последующие коды вписались в предыдущие (механика Эйнштейна не отвергает, а продолжает механику Ньютона согласно «принципу соответствия»). Топоров, указывая на экстраординарное употребление в «Преступлении и наказании» слов «вдруг» и «странно», комментирует: *Герой берется в таком состоянии, которое оправдывает заранее его вхождение в любые конфигурации сюжета*. Но точно такое же состояние убедительно показано выстраиванием хармонической Зоны в «Пикнике на обочине». *Вдруг и странно* у Достоевского – оставленные в тексте «ларингалы», еще один аспект его личной архаики, ритуальный танец празуров. Если их удалить, исчезнет ощущение пространства, где может свершаться что угодно.

«Преступление и наказание» – геометрия паранойи с вкраплениями эпилепсии. Текст завораживает как действия факира. Зная, что произойдет дальше, я все-таки даю себя околдовать, наблюдая за отвлекающими действиями, прекрасной ассистенткой или за белыми перчатками мастера, и не вижу, как *В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту*, неся в мозгу Федора Михайловича Достоевского, который вылезает из головы своего носителя после успешной невестричи с квартирной хозяйкой. Крючок брошен – и как будто забыт, хотя герой и дело соединены невидимой связью. Перемена порядка слов – *подумал он с странную улыбкой* – автор покидает голову героя и более не знает о Деле. Достоевский – параноик, ничего не говорящий прямо, но тоже ходящий вокруг да около, наматывающий спирали вокруг сокровенного – откровений художественного, живописно-графического порядка, вовсе не философского: вокруг невероятных картинок, которые он упаковывает в кокон, тщательно скрывая и консервируя. Без квалифицированной помощи не носителю языка трудно размотать этот кокон и точно установить картинку, оттого Достоевский в переводах столь приближителен, оттого стали возможными гонения на него (в отличие от Шекспира, к примеру).

Можно заметить, что гениальный роман задался не полностью; автор устал прыгать туда и обратно и слил кончик (известная Торопу оценка Толстого гораздо радикальнее), геометрия распалась... Нельзя было признать это публично, но не обязательно связывать концы с началами.

10. Убила ли ты в себе душу?

Трудное место, но мне так нужно: показать, куда я иду и не нахожу прохода, хотя проход давно открыт, только заклеен, заклеивали от таких, как ты, а не от таких, как я, говорит Щекн-Итрч в «Жуке в муравейнике», – таких как я. Душераздирающий вопрос задан поэтом Денисом Соболевым из Хайфы, по совместительству прозаиком, филологом, культурологом, доктором философии (не переводчиком, и то хорошо). Статью Соболева «Вальтер Бенъямин: между языком и историей» я нашел в сети году в 12-м и не знал, что она из книги «Евреи и Европа» (2008). Статья элегантная, проблема в том, что я отнесся к ней серьезно, а это была попытка «говорить о сложном доступно», то есть развлекалочка, отсюда и легкость стиля, и домыслы, и неточности. При повторном чтении обнаружил – лежащий в сети с 2000 года перевод, которым пользовался Соболев, до сих не исправлен. Развязность по отношению к персонажу не только трагичному, но такому угловатому, с надтреснутостью, побитому московским морозом, – на фоне всего...

Саму книгу про евреев я читать не смог, но прочитал в «Вопросах литературы» еще одну статью («Лотман и структурализм: опыт невозвращения», 2008) и одно интервью (2021), еще текст

невыясненного назначения про «что такое литература» (2011), все это много позже. Я хотел читать его прозу и стихи, но вспомнил историю одного знакомого, хозяина небольшого автосервиса, который долго наблюдал, как мастера раскручивают и скручивают обратно машины, затем выгнал всех в отпуск и занялся ремонтом сам. Бокс с подъемником пришлось продать, чтобы. В том элегическом интервью Соболев корректно, с подобающей грустью и предельной откровенностью хоронит [свою] «нашу науку».

В литературную теорию, неожиданно показавшуюся пустырем, на который не только можно, но и следует сваливать все, что попадает под руку, приносили как разной степени общности наблюдения над литературными текстами, так и в разной степени эмпирически фундированные теории из психологии и психоанализа, социологии и антропологии, религиоведения, киноведения, гендерных теорий и многого другого. В результате начало XXI века оказалось временем разочарования в «литературной теории».

Я узнал, что авторитетный литературовед-компаративист Джонатан Каллер в 1997 году с грустью констатировал, что «теория» не стала тем, чего от нее ждали, а именно «систематическим осмыслением природы литературы» и обсуждением методов ее исследования. Это – веха, работы Соболева изданы спустя годы. Таким образом, он стал объектом исследования: меня интересовало желание спасти неспасаемое, если обобщать – нежелание литературоведа, признавшего системный кризис литературоведения, начать с чистого листа; цепкость отрасли в борьбе за место под солнцем разума. Из работы над текстом изгнана боль самой работы, становясь автором, он ее стесняется, как спартанцы – слез. В статье о Лотмане он «выходит из тени»:

И если за эти годы я постепенно пришел к выводу, что тартуский структурализм был во многом основан на заблуждении, это понимание не было для меня легким.

Тем не менее, несмотря на восхищение Лотманом как человеком и ученым, следует сказать столь однозначно, сколь это вообще возможно: *языковая модель литературы – представление о литературе «как языке» – сколь бы привлекательной она ни выглядела, является ложной.*

Вообще-то ложным является, видимо, любое утверждение подобного типа. Всякая модель строится одновременно с областью ее применения. Судить о модели вне области применения бессмысленно. Лотман был трикстером, но определенно являлся своего рода «нуси» в духе «Отягощенных злом» А. и Б. Стругацких – странным наставником, «причем самого высокого класса». *Держать в подчинении такое стадо, оплодотворить эту безмозглую пустыню идей...* Я перегибаю, конечно, но если под стадом и пустыней понимать широкие массы населения, то. Атмосфера высокой концентрации приводила отдельных участников, не самых, кстати, «заметных», к вспышкам и сдвигам. Захотелось заступиться. Лотман создавал теорию идеальной литературы, ее воплощают нейросети; ходами его рассуждений предсказаны цепочки, которые творит искусственный интеллект (уточнения, уточнения уточнений). За восемнадцать лет ряд мыслей из статьи Соболева зазвучал наивно (о горизонте читательских ожиданий напр.), в то время как мысли самого Лотмана трансформировали свое содержание и даже созвучны эпохе блогосферы. Текст, обличающий концепции Лотмана, написан под Лотмана, что предсказуемо, но он еще и мимо Лотмана, так как Лотман не там, где Лотман. И, конечно, литература – язык, только недоразвитый.

Здесь Соболев практикует иронию.

– ...Дорожный знак «полукирич-полуресторан» бессмыслен. Речь идет о своего рода «квантуемости» знакового пространства, переходы в котором определяются системно предзаданными дистинктными оппозициями.

Подозреваю, автор водил машину нечасто или не везде. Знак осмыслен («Сквозное движение

запрещено» – типа кирпич, но если в ресторан, можешь ехать), и пространство в восприятии водителя не квантуемо. Затем следует такая фраза: «В литературе же ситуация обстоит диаметрально противоположным образом». Получается, что автор решил задачу отделения литературы от нелитературы, отделения резкого, резче, чем различие козлиц и агнцев; литературоведение наконец-то в курсе, чем оно ведаёт.

В конце статьи Соболев вступает в петушинный бой с Лотманом. Крепко держался до последнего, и вдруг открылся, как Йозеф Блок в фильме Вима Вендерса по рассказу Хандке, сцепился с анализом стихотворного послания Блока Анне Ахматовой «*Красота страшна*» – *Вам скажут...* (1913). В пособии 1972 года «Анализ поэтического текста» Лотман, похоже, издевается, вываливая на студентов гору хрени, эта хрень фиксируется Соболевым. Короче: *обращение на «Вы» совмещает лирический мир с бытовым; диалог идет не между «я» и «Вы», а между «Вы» и некоторым предельно обобщенным и безликим третьим лицом»; вокализм и консонантизм дают здесь разные схемы организации и в общую сумму значений входит возникающий при этом конфликт, что «ни в коей мере не помогает понять ту удивительную власть, которую стихи Блока имели над огромной аудиторией». Собственно, Лотман опять вокруг да около, но если копнуть, там четко, например: пара «Вам – Вы» выглядит не как две формы одной парадигмы, а как противоположные реплики в диалоге; композиционное кольцо; повторяющееся звуковое ядро. И все-таки он пишет:*

В анализе этого стихотворения мы сознательно отвлекаемся от внетекстовых связей – освещения истории знакомства Блока и Ахматовой, биографического комментария к тексту, сопоставления его со стихотворением А. Ахматовой «Я пришла к поэту в гости...», на которое Блок отвечал анализируемым произведением.

И тут Соболев – бац!

Он пишет, что «сознательно» оставляет вне рассмотрения историю знакомства Ахматовой и Блока, биографический комментарий, интертекстуальные аспекты (это стихотворение было ответом на стихотворение Ахматовой), а также общее «отношение Блока к зарождающемуся акмеизму».

И по бим-бом-брамселям.

Но среди многих троп в лабиринте культуры аналитик мог бы выбрать, например, и следующую. При анализе первой строфы он должен бы обратить внимание на то, что восприятие женщины как объекта восхищения, эротического притяжения и некоторого страха пропущено через призму представлений, характерных для массовой урбанистической культуры того времени.

<...>

Наконец, последняя строфа – с помощью сложной конструкции, состоящей из однозначных и частичных отрицаний, – сводит воедино темы страха, простоты, убийства и ужаса жизни. Однако эти темы проступают сквозь любование юностью, образы желания, пришедшие из массовой городской культуры, и эротизированную религиозность – и, таким образом, становятся глубоко значимыми и во многом влекущими.

Мало того, что он, отрицая, воспроизводит прихваты кумира своей юности, оба поэта (вслед за Лотманом?) полагаются им идиотами. Спутал Лотман годы или еще что, но не мог Блок так отвечать Ахматовой, это она ответила ему (и наоборот, в стихах Ахматовой слышен отклик, просто так она бы так не писала).

<i>Александр Блок</i> Я пришла к поэту в гости. Ровно в полдень. Воскресенье. Тихо в комнате просторной, А за окнами мороз И малиновое солнце Над лохматым сизым дымом... Как хозяин молчаливый Ясно смотрит на меня! У него глаза такие, Что запомнить каждый должен; Мне же лучше, осторожной, В них и вовсе не глядеть. Но запомнится беседа, Дымный полдень, воскресенье В доме сером и высоком У морских ворот Невы. <i>январь 1914</i>	<i>Анне Ахматовой</i> «Красота страшна» – Вам скажут, – Вы накинете лениво Шаль испанскую на плечи, Красный розан – в волосах. «Красота проста» – Вам скажут, – Пестрой шалью неумело Вы укроете ребенка, Красный розан – на полу. Но, рассеянно внимая Всем словам, кругом звучащим, Вы задумаетесь грустно И твердите про себя: «Не страшна и не проста я; Я не так страшна, чтоб просто Убивать, не так проста я, Чтоб не знать, как жизнь страшна». <i>16 декабря 1913</i>
--	--

Мир, выстроенный Блоком – калейдоскоп, отражения зеркал. Геометрия текста – юла. «Вы» – интонация издевки, на «ты» человека юлой не обзовешь. «Вы хотите быть игрушечной, / Но испорчен Ваш завод, / К Вам никто на выстрел пушечный / Без стихов не подойдет», – заводил Ахматову Мандельштам в 1911-м. И в знаменитом «Вполоборота, о, печаль...» тоже вращение, потом она застывает под каменеющей шалью; Блок, напротив, судя по черновику, раскрутил свою юлу от каменного «Вы демон страшный и красивый». Ахматова вроде как обиделась и остановила юлу, заморозила. Лотман вычерчивает линию Блока [Ахматовой] без ошибки: *Кармен → Мадонна → человек, чей внутренний мир не поддается стандартным объяснениям (поэт)*.

«Большая тема» Соболева: где граница различения смыслов, как осуществляется качественный прыжок (и скромно замалчиваемый вопрос – как стать великим?). Все эти вещи лежат на поверхности и легко читаются с помощью той же классификации Проппа. Просматривая «Беньямина между», я вновь испытываю ощущение фрустрации, словно не сказано главное. Превращение «невротика-шлимазла» в икону культурологии XX века – с последующим растворением в уполномоченной править среде – нарисовано более чем:

– Ссылки на Беньямина станут обязательной частью языка новой леворадикальной, политической и академической элиты – имя человека, всю жизнь противостоявшего власти, будет без остатка поглощено ее языком.

Но главное: не – как никому не известный эссеист стал посмертно мегазнаменитым чуваком, а – почему. Роль Ханны Арендт и Теодора Адорно важна; так редактор отдела поэзии журнала «Знамя» Ольга Ермолаева раскрутила Бориса Рыжего, но того цитируют в основном люмпены умственного труда и челябинские менеджеры культуры. Может быть, написанные на жутком, неудоваримом языке тексты Беньямина за прошедшие десятки лет приблизились к чему-то, куда-то повернулись, что-то приоткрыли и завибрировали? Люди не были готовы принимать вибрации (не настроены, подвержены пропаганде, пьяны или под кайфом), но протрезвели.

Заключу довеском – примером из статьи 2011-го; Максим Шапир уже несколько лет как умер, да и Михаил Гаспаров тоже.

Остается перейти к примерам. Наугад возьмем несколько строчек из Мандельштама.

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
Здесь в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла...

Любым современным читателем этот фрагмент будет опознан в качестве стихотворного. Действительно, в нем присутствует, как параллелизм (в том числе, в привычных для русского культурного сознания формах – рифма, аллитерации, почти регулярный размер, а чуть дальше и деление на строфы, и грамматический параллелизм), так и выраженная графическая сегментация. Более того, мне не удалось найти ни одного примера текста с конвенциональным параллелизмом и выраженной сегментацией, который бы не был идентифицирован в качестве стихотворного.

А стихотворный он потому, что герой – Одиссей – то есть Мандельштам – является героем лирическим. «Опознаватель» вступает в эмоциональный контакт, видит стихи. Но если поменять лирика на эксперта-криминалиста, строчащего отчет с места преступления на узкой бумажной полоске от края до края, отчет и получится:

[Золотистого..... Меда струя – из бутылки..... Текла]
[Так тягуче и долго, что – молвить! – хозяйка успела –]
[Здесь, в печальной Тавриде. Куда нас судьба занесла?]

Другой синтаксис, другое членение; другая интонация; фрагмент, пусть с трудом, но все же может быть «идентифицирован в качестве» прозаического.

11. Лукавые рассказчики

К печальной Тавриде я подстыкую клише «ненадежного рассказчика». Это такой трюк, придуманный для объяснения – зачем кто-то пишет херню, когда херня не катит, как покати фильм Курасавы «Расемон» по рассказу [«В чаше»] Акутагавы. Появилась галерея образцов – как можно нести якобы «прекрасную чушь», в галерее завелись даже нобелевские лауреаты. Можно сказать, их туда сначала завели (Фолкнера, например), а после с помощью галереи вывели (к примеру, Кадзуо Исигуро).

Итак, *unreliable narrator* – это чувак, которому нельзя верить. Это не «гонщик», не сказочник и не фантазер, поскольку в этих случаях вопрос доверия вообще не стоит. По идее, любой рассказчик ненадежен, если сообщает хоть пару фактов (даже неявная связь между ними – равно как ее отсутствие – уже будет его субъективной интерпретацией). Из статьи о Беньямине: *В русской традиции таким символом является, например, блоковская незнакомка – физически присутствующая в горячем кабацком воздухе и одновременно, благодаря огромному смысловому потенциалу породившей ее традиции, становящаяся отблеском того, что уже не может быть названо*. Фишка Блока – не «Незнакомка», способная как погулять за шлагбаумами, так и в кабаке присесть к окошку. Его ноу-хау – [созданное им] пространство, в котором наличие и поведение подобных девиц абсолютно естественно (в каком-то смысле пространство *faïgy*). В пространстве текста, наделенном соответствующей геометрией, описываемое делается столь же возможно, как Прекрасная Дама, лежащая в некошеном рву с крестом и розой на обнаженном плече.

В ряде «классических» случаев достаточно понять – кто, кому, зачем говорит (как у Чехова). У Фолкнера в *The Sound and the Fury* («Шум и ярость» в том русском переводе, который был

издан первым) много голосов, четыре партии. Три брата, Бенджи-Квентин-Джейсон, рассказывают друг другу про Кэдди, их сестру, на самом деле объясняя, как умеют, себе самих себя, после автор рассказывает всем про служанку Дилси, которая объясняет им все остальное. Всех их там связывает выморочный морок Юга (что бы это ни значило). Можно повернуть и так: надежный рассказчик, ненадежный слушатель. То, что литературоведы называют отвратительным словом «оптика» – она естественна как у полудурка Бенджи, так и у черной Дилси. В сцене на железнодорожном переезде к только что проснувшемуся Квентину, из окна поезда глядящему на негра, сидящего верхом на похоме на кролика муле, приходит чувство дома, который вовсе не люб, но тем не менее сладок. Дивная, знаменитая сцена, утренняя настройка на «немудрое мира», но можно и так повернуть: менее надежный рассказчик имеет более надежного слушателя.

В не столь знаменитом, но не менее дивном «рассказе в рассказах» Яниса Грантса «Луи с грабаркой» Луи – это Луи Арагон, муж Эльзы Триоле, родной сестры Лили Брик, по совместительству крупный французский писатель-коммунист. В 1930 году семейная пара в составе иностранной делегации посещает строительство ЧТЗ [Челябинский тракторный завод]. «О чем думали в этой поездке по Уралу выдающийся французский поэт и его жена Эльза Триоле? О чем они говорили с первостроителями ЧТЗ, офицерами ОГПУ, другими историческими и вымышленными персонажами? – в одном из газетных интервью говорил Грантс. – Из газет может сложиться впечатление, что Арагон всю дорогу только и восхищался возводимым заводом-гигантом и энтузиазмом людей. Но такой герой был бы плоским и неинтересным. Поэтому я вложил в его голову сомнения насчет правильности выбранного пути. Мой Арагон – мятущийся, сомневающийся, чувствующий подвох». Настройка: мой Арагон. Грантс конструирует «его» пространство, откуда Грантс тридцатых годов прошлого века радирует Грантсу начала нынешнего, а тот рекурсивно отвечает ему. Только так возможны эти ироничность и серьезность разом: в метамире, где все случается одновременно, один Грантс, тамошний, повествует другому Грантсу, здешнему, получая в ответ комментарии, четко вшитые в изотропный текст. Оба Грантса сцеплены как сиамские близнецы, сила геометрии не дает им ускользнуть в дешевый флешфорвард.

В зачетном романе Харуки Мураками «1Q84» – так же, как «Шум и ярость», разбитом на части названиями месяцев (апрель... июнь...), протагонистов двое: Аомамэ, фитнес-инструкторша, и Тэнго, преподаватель математики. Она вдобавок – киллер, спец по абьюзерам, а он – писатель, стилист. Тайно влюбленные друг в друга со школы и разлученные обстоятельствами, они впадают в некую параллельную реальность с двумя лунами, откуда – встретившись в 3-м томе – выбирают обратно. Русский перевод по устоявшейся традиции малопригоден (но – респект культуртрегерству переводчика), так что сужу по переводу на немецкий. В моей голове он как-то совместился с фильмом «Пределы контроля» Джима Джармуша. Оба автора замороженно говорят о «ризоме зла», их тексты в известной мере обладают структурой Соляриса (ср. с Шульцем), только не воспитывающей, а типа дружественной – как захочешь, так и будет:

[..... На заливное]
поле иногда ложится туман
и тогда местность приобретает характер Соляриса:
что придумаешь, то и случится там –
от драки собак до паденья «поляриса»...
(Алексей Ивлев)

Если пользоваться лексикой Романа Михайлова (две книги которого я перевел на латышский, в результате чего по привычке к его словарному запасу), Джармуш – прямо-таки симбиоз фрактала с глубинными узорами. Вклейка узора во фрактал – ты сам лепишь и одеваешь героев (можешь трактовать по-своему всякий взгляд, всякое движение, любую тень *от* и *на*). Мураками – чистая ризома; там, где мастерство граничит с манипуляцией, ризома становится репрессивной, и ни

фракталы, ни те, кто от них устал, ее не принимают (поэтому Мураками не дают Нобелевскую премию?).

ТЦ (Mall) «Murakami», в котором есть/происходит *всё*, «Аленький цветочек» light. Мураками описывает то, о чем можешь догадаться и сам, попросту наблюдая. Сожаления Аомамэ и Аюми по поводу выбора блюд в меню (всегда кажется потом, что лучше бы ты выбрал это); Тэнго прячется от домашней жизни (с отцом) в ряды цифр – хоть описание и неверное, там вовсе не чисто и спокойно, как уверяет Мураками, там свой ужас, но и это получаешь от автора как бы телепатическим путем. Складывается слегка заторможенное, несмотря на внешнюю суету, пространство; медлительность придает естественный облик перекачиванию в мозгу героев камешков мыслей. Для японца не хватает изысканности, наверное, и фирменной brutality тоже нет, да и какая изысканность в супермаркете? Но сам я уже ни в бутики, ни в какие антикварные магазины почти не захожу (разве что в лавки букинистов), меня устраивают «Альди» и «Кауфланд».

Так вот, о ненадежном рассказчике. В главах «Аомамэ» автор рассказывает Тэнго про Аомамэ, а в главах «Тэнго» – Аомамэ про Тэнго. Информация надежна, как система навигации IKEA. Она перестает быть надежной к концу, когда исчезает скрепляющая ее мистика. Заявив поиски нового, особого ключа вне привычной вербальности, автор так соединяет Ромео и Джульетту с помощью конкретных посредников. Усикава и Тамару, по факту преступники, сводят их вместе, а я не верю, что они выполняют предначертанное, такой уж я Станиславский. В 3-й том просачиваются чуждые главки от второстепенных персонажей, геометрия рассыпается, читать неинтересно. Читателя подводят к дешевому фастфудовскому фудкورتу, заканчивая тем, чем чаще всего заканчиваются посещения торговых центров – фрустрацией. Геометрию задает адресация, рушит – переадресация.

«В чаще» Рюноске Акутагавы адресация повышает степень надежности каждого рассказчика. Дровосек, монах, стражник и старуха обращаются к судейскому чиновнику; жена исповедуется; дух убитого вещает устами прорицательницы. Суд, храм, медиум – это всё пограничные среды, оказавшись в которых, говорящий сотворяет правдоподобную реальность, чтобы в ней как в коконе перейти невидимый Рубикон. Под таким углом именно инстанции-слушатели ненадежны как «орел или решка». В классическом русском переводе (1959) история заканчивается так: «И кто-то... этот кто-то невидимой рукой тихо вынул кинжал у меня из груди». Невидимая рука словно пишет на стене сумрака (like a sign put there saying, по выражению Фолкнера): ваши истории признаны верными.

До кучи – русская «Прогулка» Роберта Шекли [«Tripout», 1971] в блистательном, пусть и в урезанном на треть переводе (1985). Посвященная этому рассказу Википедия только на русском, потому, видимо, что перевод снял избыточную пародийность и текст перестал казаться silly. В разделе «Сюжет» она предлагает краткий пересказ перевода, я его [не]много почищу и дополню.

В современном Нью-Йорке «возник Папазиан, замаскированный под человека», проверил, «на месте ли голова», напомнил себе, что «нос и носки ботинок должны смотреть в одну сторону», и захотел гроппнуть, но просто улыбнулся и «вышел из телефонной будки – играть с людьми». Ищущему угол Сорок девяти и Бродвея «ответил без колебания»:

– Ощупывайте эту стену, а когда найдете неплотность, идите напролом. Этот туннель проложили марсиане – когда они еще были марсианами...

Буфетчика на Бродвее он убеждает в том, что половина клиентов – пришельцы. Каждый второй бледнеет под гримом. Затем он «взял [loft] в аренду» и «сменил имя на Хол». Присланной агентством секретарше велел напечатать «какое-нибудь письмо». На улице осуществил контакт пожилого вдовца с астральным телом бывшей супруги. Здесь его узнает якобы сосед – происходит «Кризис Совпадения Личности» [Confrontation Scene & Identity Crisis]. Хол Папазиан возвращен якобы собственной жене. В семье он пытается вспомнить и изобразить землянина, а жена пишет «Исповедь женщины, чей муж верил, что он с Альдебарана». Воспоминания никуда не ведут:

– Я вспоминаю себя в возрасте восьми лет. Я поил какао железного фламинго на лугу, возле маленькой беседки, недалеко от которой катила свои воды река Чесапик.

«Это были неоспоримо земные воспоминания, но не их искал доктор», читающий мысли.

– Ложная память из фильмов, – комментирует он, сверившись с собранным женой досье.

Наконец за Папазианом приходит продавец щеток или офицер связи с Арктура, предлагая завершить отпуск и лететь домой:

– Как провели время, играя с аборигенами?

– Кажется, женился на одной местной.

– Настоящая земная жена, это входило в вашу программу.

До сих пор все, за исключением американских аллюзий и шуточек с сексуальным или политическим подтекстом, было почти точно. В самой последней фразе переводчик делает уступку собственной концепции – и не зря.

Корабль поднялся в полночь. Полет был замечен локационным подразделением ВВС. Изображение, возникшее на экране, объяснили большим скоплением болотного газа, через которое пролетела плотная стая ласточек.

Несмотря на отвратительный холод открытого космоса, Хол оставался на палубе и наблюдал, как в отдалении исчезала Земля. Его ждет скучная однообразная жизнь, ждут жены и дети...

Но он не испытывал сожаления. Земля – чудесное место для отдыха, однако она мало приспособлена для жизни.

В оригинале Хол возвращается к монотонной жизни кого-то вроде частично-системного фотонимического конфигулятора, к докучливости ржи и лишайника.

He knew that Earth was a nice enough place for a vacation; but one couldn't really live there.

Он знал, что Земля – довольно приятное место для отдыха, но [реально] жить там невозможно.

Прекрасность этого текста в его непротиворечивости. Едва отдельная фраза [меня] убеждает в том, что у Папазиана шиза, как следующая – разубеждает. Он несет пургу про инопланетян в сосисочной – а те бледнеют. С инфой, разнесенной на расстояние, не так очевидно: Папазиан то материализуется в телефонной будке, то улетает, стоя на палубе в открытом космосе. Оригинал, судя по отзывам, можно читать как рафинированный стеб, но переводчик так не поступил. Что, если действие происходит с сознаниями – и жена тоже с Альдебарана или с Арктура? В их мире корабль и ласточки – одно и то же. Текст требует доверия, а оно обеспечивается геометрией: сцена действия = уровень сознания.

...And she, like most Terrains, spends an incredible amount of time having hurt feelings.

Подобным образом в литературу внедряли «референциальность», позаимствовав ее у лингвистов, чтобы рассуждать о документалистике, мокьюментари и бла-бла, оценивая «соотнесенность» псевдореального с реальным, зазор между ними, маржу ненадежности, то ли дождик, то ли в четверг и больше никогда, а мне не нужна доп. вариативность мира, в который я хочу войти, надежный мир сам по себе вариативен. Цель т.н. наррации я вижу не в рассказе о якобы произошедшем в т.н. реальном или воображаемом мире, а в создании портала, открывании окна в мир неведомый и неведомо как достижимый.

12. On the Road

Открытые вопросы остаются; Фуко обозначил и следующий. «...Предположим, что мы имеем дело с автором: относится ли все, что он написал или сказал, все, что он оставил после себя, к его творчеству?» Такой ход вполне мог быть вызван намерением поддеть художников и композито-

ров, ведь у них любая безделушка является частью наследия. А интересно, каким образом текст коммуницирует с остальными текстами данного автора? Кажется, даже непрочитанные тексты работают в связке с тем, что читается в настоящий момент. Поле для рассуждений, спекуляций. Лесков (огромное наследие) – когда читаешь «Очарованного странника», как-то ощущаешь все же, что у конкретной повести есть фон, в основном размытый, состоящий из множества других текстов, там и «Запечатленный Ангел», и «Соборяне», и «Левша», читанное-нечитанное. В «Школе для дураков» Саши Соколова – напротив: отчего-то ощущается, что вещь штучная, что возможны довески, но они несущественны. Влияет ли позднее дерьмо на ранние шедевры? У Николая Тихонова вроде бы нет. А у кого вроде да? У Пастернака? У Берзиньша, Рокпелниса – однозначно, потому что они ввали, но ввали завораживающе, и раннее вранье вскрывалось благодаря позднему. Но если не знать позднее и читать только раннее, будет ли на раннем лежать тень позднего? Если речь о ходе событий – наверняка, а как с текстами, с вибрациями?

Вспомнилось некстати – оказалось кстати, в принципе. Франциска Цверг о своих книгах, вынося их к помойке, в телефонную будку на углу возле «Пенни» (книжный обменник самообслуживания) или продавая онлайн: большую часть этих книг я не читала (особенно русские, я тогда часто ездила в Россию и каждый раз что-нибудь покупала и привозила домой), но они мне были дороги, они ездили вместе со мной (переезжали с места на место, с квартиры на квартиру), с каждой из них была связана какая-то ситуация, в которой я ее приобретала (и потом тоже ситуации, например, Николай Лесков – с ним была связана таможня, – я помню, говорю я, таможенник подозревал, что в книге что-то спрятано, он спрашивал, зачем вам Лесков? – да, но я показала ему еще и Цветаеву, и он успокоился), а теперь (перед наступлением нового мира) все эти ситуации исчезли, и они (книги) мне больше не нужны...

А в самом начале Фуко прямо указывает на геометрию. «...Ей [критике], скорее, следует анализировать произведение в его структуре, в его архитектуре, в неотъемлемой его форме и во взятии его внутренних связей». Архитектура – это красиво, но слишком общо; вернее, чересчур глобально, разве можно проанализировать архитектуру «Войны и мира»? Проще написать новую [«Анну Каренину»].

Дело, видимо, не только в том, как писатель пишет свой текст, из чего он состоит, – то есть не в архитектуре и связях дело, а в том, где он этот текст размещает, как близко к тому миру, который он призван ретранслировать (с какой-то «внеаходимой» точки зрения призван, сам автор вряд ли ставит тексту такую задачу). Под каким углом он висит там, к чему, так сказать, прилеплен, с каким обзором. Если кому-то такой взгляд на текст интересен, то ни в коем случае не следует уточнять, что это за другой мир по ту сторону границы. Какая-нибудь «надмирность» в подобном раскладе – ложный, ненужный термин. Наш мир не окончателен – этого достаточно. Не вера, не философия; просто модель, я с ней работаю. А еще Фуко сопоставляет письмо (*l'écriture*) и смерть, говоря об их родстве и – опосредованно – о проявлении (*mettre au jour*) жизни в смерти. Когда люди заботятся о посмертной репутации, это их завуалированная забота об остатке жизни, а, возможно, и о будущей жизни, если она состоится. Граница вообще релевантный проявитель.

Крым, тектоническая пазуха данной части вселенной. Недавно организаторы XXVI крымских научных чтений И.Л. Сельвинского «Путешествие как топос, литературный прием и универсальная метафора...» предложили мне выступить онлайн. Заманчиво, да и люди хорошие. Подробности опушу: не сложилось (псевдопатриотический доклад одного неприятного типа появился в программе, решил не подставляться). Но я готовился. О чем было говорить? Сельвинского я не перевариваю, но по классике он – фигура большого социокультурного значения, что к пониманию чего-либо никак не ведет. Можно было – о смерти литературоведения в контексте путешествия.

Я перевел разные тексты, связанные с путешествиями. Стихотворные циклы поляка Чеслава Милоша, швейцарцев Курта Марти, Клауса Мерца, Юрга Хальтера с паушальным названием «По [нашей] земле». Поэму Милоша «На крыльях зари на край света» (*Gdzie wschodzi słońce*

i kędy zapada) о «долгой дороге в дюнах» из литовского села в город Сан-Франциско. Роман «Морфий» Щепана Твардоха, в котором последнюю примерно треть занимает поездка протагониста из Варшавы в Будапешт. Дело происходит осенью 1939-го, он рулит себе под брезентовой крышей темно-зеленого шевроле: кабриолет Master Deluxe, модель 1937-го. Он, поляк Константы Виллеман, одет в мундир тайной полевой полиции, принадлежавший его мертвому отцу, Feldpolizeikommissar'у Бальдур Штрахвицу фон Грос-Цаухе унд Каминец, с его же документами и с женщиной – патриоткой, шпионкой, дамой света, – по дороге трансформирующей инфантильного журналиста, «мота, бабника и наркомана» в мужа-героя, бестрепетно едущего навстречу собственной смерти. Большая книга, сама Силезия написала ее руками бедного Твардоха, а после она его оставила, он стал польским «лицом» мерседеса, и трипы его из ментальных странствий превратились в вояжи от «Лидля» к бензоколонке. Наконец роман Кристины Улберги «Дилжанс на Сантьяго». Кристина и выданный ей на перевоспитание недоросль Алекс идут пешком из Парижа в Сантьяго-де-Компостела, путем св. Иакова, питаясь печеньем и апельсинами, ночуя в приютах и в картонных коробках, но чуда не происходит, ни один из них в результате не меняется фактически ни на йоту. А путями Костека я проезжал, причем не раз, дороги изменились сильно, но ощущение снега, смахиваемого щетками со стекла в польской ночи, такое же вечное, как езда в Будапешт, длившаяся по сути всего трое суток. Костек двигался напрямик на юг, выбирая, *чтобы не искушать судьбу*, боковые дороги, не трассы; и сегодня рука судьбы тяжела, но пока не всюду, однако лесные тропы, где с трудом разойдутся две машины, приходится выбирать все чаще, чтобы объехать патрули, ремонты, заторы – и шоссе, если дворники сломались.

«Ладонями сжат руль. Рядом с моим коленом в перфорированном кожухе ствол автомата, семь отверстий огромной перечницы, за ними колено Дзидзи Рохацевич в шелковом чулке телесного цвета. Я варшавянин», – читал я на полу в сортире краковского отеля, уже не помню, какого, болело колено, ползать было легче, чем ходить, я захотел это перевести и положил себе в чемодан вырванную из дайджеста новых польских изданий страницу.

В условном детстве я рос на книгах о путешествиях. «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, «Под пологом пьяного леса» Джеральда Даррелла, «Путешествие с молодым месяцем» Василия Пескова, «Тень птицы» Ивана Бунина. Почему называю именно эти книги, хотя книг о путешествиях прочитано гораздо больше – именно они приходят в голову, а другие книги о путешествиях кажутся книгами о чем-то другом. «Дети капитана Гранта» Жюль Верна о дружбе и предательстве; «Фрегат Паллада» Ивана Гончарова о социуме и месте в жизни; «Жень-шень» Михаила Пришвина о человеке наедине с самим собой; «Дерсу Узала» Владимира Арсеньева о человеке в тайге и во времени; «Путешествие в Армению» Осипа Мандельштама о красоте, любви, смерти; «Рыжий Орм» Франса Бентсона об отношениях людей с богами, «На дороге» Джека Керуака о вечном драйве поколения битников... А в тех, что я назвал, веял чистый дух странствий: ни проблема апартеида, ни народно-хозяйственная ирония, ни иудео-христианские розмыслы меня не волновали. Если бы не переводы, я бы и не задумывался. За два дня понял, что пора развить новые классификации, вернее, новые инструменты, в классификационные рамки не укладывающиеся, поскольку вместе с литературоведением умерли и классификации.

Почти для всех моих существенных (в смысле оригинала) переводов была важна тема матери. Если жизнь – это путешествие, то начинается оно с псевдотравмы, на самом деле с нулевой инициации: мать выгаливает дитя в мир, на дорогу. Дорога начинается в воде (в водах), заканчивается разделением на душу (воздух) и тело (землю). За движение, по-видимому, отвечает дух трансформации, огонь. Огонь = дорога = метафора жизни = война = огонь. То, во что сейчас превратилась война, подсказывает мне, во что в скором времени превратится жизнь. Как смерть у Фуко играет роль не факта, но призмы, сквозь которую он видит факты, так в отдельных случаях путешествие играет сходную роль, но я не горю желанием засунуть эти роли в предложенную схему: путешествие как топос, литературный прием и универсальная метафора. Каждый пункт то-

чен, но не продуктивен. Эта схема, доставшаяся по наследству от Михаила Бахтина, построена на классике. На практике связь, к примеру, путешествия с инициацией может выражаться каким-нибудь до сих пор не описанным способом. Если говорить о чистом духе путешествия, то для меня это два упомянутых романа. В «Дилижансе на Сантьяго» героиня (автор), имеющая проблемы с матерью, отправляется в путь ради предполагаемого очищения – но оно не происходит, героиня возвращается такой же, какой была (в отличие от классического романа, ее не учит странствие). В «Морфии» герой, также имеющий проблемы с матерью, переживает подлинную взрослую инициацию, но сразу по возвращении его убивают; и здесь с путешествия снята нагрузка квеста – даже не зная, чем кончится роман, мы знаем заранее (из истории), что путешествие бесполезно.

Дорога и идущий по ней не эквивалентны (не как время и разметка). При общей установке на тот или иной тип прохождения геометрия путника и пути в отдельно взятом случае индивидуальна. Для Артура это граф связей: от него к людям и обратно. У меня – [мета]коммуникации с местностями. Франциска, по ее признанию, включена в метаболизм «где, как и чем кормят». На вопрос, почему я решил участвовать, хотя не люблю ни Сельвинского, ни Волошина, ни вообще Крыма («никогда он Рима не любил»), я ей ответил, что хотел бы поговорить о замене – временной, ради непрерывности – литературоведения метафрастологией. – Ты считаешь, они тебя послушают? – А пусть послушают.

Говорят, translation matters, перевод существенен, я бы сказал, translators matter, переводчики существенны. Когда надо выступить, всегда можно рассказать о переводах Мандельштама, богатый материал, пасьянс раскладывается так и этак. Переводы, о которых я мог судить, т.е. польские и немецкие, – удручали тем, что в них не хватало простора. Кто, что и как понял – в принципе по барабану: тексты были узки как цыплячьи гузки, один Целан умудрялся, даже не понимая, вмещать в текст амплитуду биений Мандельштама. Ральф Дутли в конце написанной им биографии собрал высказывания, немцы сказали самые разумные вещи, о непреложном, истинном (Целан), об утешающем, окрыляющем сам образ мыслей (Дурс Грюнбайн). Мандельштам из прошлого отвечал им: *Скажите мне, друзья, в какой Валгалле... Бог Нахтигаль, меня еще вербуют... Звук сузился...* Полякам всегда хотелось иметь Мандельштама на польском. Ну как же – родился в Варшаве, написал строку «...И Польша нежная, где нету короля», питал, по свидетельствам, чувства к католицизму. Збигнев Херберт, Адам Загаевский несли о нем прекрасную чушь, хоть и по доброте душевной (один, пугая евреев с хасидами, – как тот «пляшет на радость уркам в смертельной рубашке страха»; другой, мечтая о России, живущей в слове, а не в кулаке, видел в Мандельштаме желаемого законодателя). Милош сумел бы его перевести, но вместо этого сочинил гадость, уверен, от зависти (как Толстой о Шекспире), догадываясь: по отношению к Мандельштаму он – что Набоков, «который против Платонова – все равно что канатоходец против альпиниста» (Иосиф Бродский).

Мандельштам был имперцем, имперец способен возвысить голос и не дать петуха, имперец способен превозмогать деспотию один на один, точно зная, *где сердце спрута/ И есть ли у спрута сердце...* Дед и бабка Мандельштама со стороны отца проживали в Риге, родители сочетались браком в Динабурге, в юности он бывал на Рижском взморье, этим Прибалтика заканчивалась. Ладно Мандельштам, – его биограф Дутли слабо представляет себе историю Варшавы и где расположена Латвия. Ладно швейцарец – его переводчик выдал перл – [выходцы] *из латышско-литовской еврейской среды*, дважды абсурдный. «Россия, Лета, Лорелея» – Россия! – а на Польшу и уж, конечно, на Латвию было насрать, не существовали они для него, я хорошо ощущаю, ведь я люблю и Латвию, и Польшу, понимаю их языки, однако язык Мандельштама – мой родной, я так через него ощущаю. Ему противопоставлен современный польский: изящный, зауженный, прохладный, иначе звенящий, близкий лишь на первый взгляд. Регина Эзера, самая, думаю, крупная в латышской прозе фигура – ее домашним языком был польский, а она выбрала латышский, пространство вокруг нее уже требовало взрослеющей речи крестьян и рыбаков. Русский – не случайность в жизни Мандельштама, а миссия. Будь я поляком, возжелай я переводить Мандельшта-

ма, прежде всего спросил бы себя, как вообще впрягают коня в телегу, уже запряженную ланью. Затем отбросил бы хрень про миф-не-миф о борце-жертве, тоску по неведомой «мировой» культуре, предсмертное якобы безумие...

– Видите ли, – сказал Зурзмансор, – статья, которую ждет господин бургомистр, у вас все равно не получится. Даже если вы будете очень стараться. Существуют люди, которые автоматически, независимо от своих желаний, трансформируют по-своему любое задание, которое им дается (Стругацкие, «Хромая Судьба»).

Главное слово здесь «автоматически».

13. Прялка тишины

Стихотворение про виноград и Одиссея (1917), приплывшего в гости к друзьям, стало со временем программным, но в нем есть разные версии синтаксиса, а разночтения не объяснены. Маяковский лукавил, утверждая, что *Довольно, стыдно мне / Пред гордою полячкой унижаться...* «читается как провинциальный разговорчик»: *Довольно стыдно мне...* В расширенном фрагменте «...И в жертву мне Бориса обрекла – / Царевич я. Довольно, стыдно мне / Пред гордою полячкой унижаться» пауза сохранится, даже если убрать знаки препинания. Мандельштам может без знаков, но волнообразный ритм четче фиксирует синтаксис сборника «Tristia» (1922):

Я сказалъ: виноградъ какъ старинная битва живетъ...

Ну, а въ комнатѣ бѣлой, какъ прялка, стоитъ тишина...

Зачем публикаторы вставляли тире, запятые, убирали их? Пофиг. Разбирался этот текст, наверное, тысячу раз. Вспомнил о словах практически земляка из Резекне: «Я стал изучать Грибоедова – и испугался, как его не понимают и как не похоже все, что написано Грибоедовым, на все, что написано о нем историками литературы», – и как гнобили его «академики». Для начала потыкал в Симферополь, там нашел построчную реконструкцию ситуации, сделанную крымчанами – В. Казариным из ТНУ [Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского], М. Новиковой из КФУ [Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского] и – на момент публикации покойной – Е. Криштоф. Важная работа 12-го года, несмотря на то что не учитывает геометрии текста, и на то, что начинается с недоразумения:

Здравый, житейский смысл возражает против того, что написано в стихах 1 и 2 приведенного стихотворения: мед не хранят в бутылках, потому что он быстро засахаривается и его трудно будет из этой бутылки извлечь. Кто-то возразит, что это трудно, но возможно (можно растопить мед, погрузив бутылку в горячую воду). Другие упрекнут нас в буквализме и скажут, что эти строки – просто поэтическая вольность. И те и другие будут не правы.

Неправ и авторский коллектив, и кто-то, и другие, «золотистый мед» – метонимия. Мандельштаму – убежден – без разницы, что там текло в чай вместо сахара (поэт и чета Судейкиных, якобы «будучи приезжими людьми в ориентальном Крыму, принимали за мед покупаемый ими у местных жителей *бекмес* – гущенный виноградный сок» – он же, если интересно, дошаб или нардек). Крым, август, мед. Мелочь, но: одно дело принять виноградную гущенку за пчелиную милость, другое – по-царски не замечать обмана. «Мы ведь только и делали, что пировали. Даже банка консервов или пшенная каша на нашем столе, доске или чемодане воспринимались как пир» (Надежда Мандельштам, «Вторая книга»).

После чая следуют перечисления бед и казней: голод, «вынужденное прибытие», неизвестность. Беды с прописной буквы еще впереди, «Холодная весна. Голодный Старый Крым... <...> Природа своего не узнаёт лица...»; а сейчас – огромный сад, белая комната, как прялка стоящая тишина. Чего же еще желать, «кого же слушать мне?» – (Одиссей – царь Итаки!) – «все движется любовью». В интуитивно-геометрическом приближении Одиссей и «крымские затворники» живут в разных мифах – авторы отделяют Одиссея от временных хозяев большой комнаты, хотя и со-

поставляют Веру Судейкину с Пенелопой. Тут-то как раз метафора, где-то там, вдали Пенелопа не то ткала, не то вышивала, и тождество Мандельштам = Одиссей. Зато «битва» – не сравнение, не «виноград живет как битва», а – «виноград, как и битва, живет», констатация факта. Одиссей не «занесен» судьбой, не изгнан (он извержен, но это у всех так, дорога = мать = война = огонь (кому война, кому погреться, само собой)), он – прибыл в жизнь, герой = виноград = битва, тишина натянута как земная ось, без запятой (...в комнате белой, как прятка, стоит... запятые проставлены). Так и тексты – как что-то иное, глазами в иное, живут. Вера глядит через плечо – а как они сидят, пока из бутылки течет струя бекмеса или дошаба? Она не просто обернулась – поглядела (в темное окно?).

Золотое руно, гдѣ же ты, золотое руно –
Всю дорогу шумѣли морскія тяжелыя волны,
И, покинувъ корабль, натрудившій въ моряхъ полотно,
Одиссей возвратился, пространствомъ и временемъ полный.

Мандельштам-Одиссей, его совибрация с пространством (вопрос о времени все еще открыт); даже в модусе «вынужденности», на этапе (маргинальная форма путешествия) в поезде, идущем на Урал:

Сплошные пять суток/ Я, сжимаясь, гордился пространством...

Несколько родственных мест из «Второй книги».

– *Быть может, именно таким сознанием объясняется легкая радость, которая никогда не покидала Мандельштама.*

– *Он пугался тени зла, но страха не знал. Объяснить этого я не могу, но видела собственными глазами, что он прожил без страха. Его свобода заключалась в радости.*

И предвосхищением Фуко:

– *Для Мандельштама текущее время, «сейчас» – великий дар, от которого он не собирается отказываться, и даже вечность он познает через радость этого «сейчас».*

– *У меня создалось впечатление, будто для него смерть не конец, а как бы оправдание жизни.*

«и радость, радость! / лучший синоним утраты» (Роман Хонет).

Мандельштаму в 1917 году двадцать шесть лет и, как и Шульцу, не менее тысячи, он такой же древний еврей: вечный мальчик, с рождения – взрослый. Его взгляд обладает детской непосредственностью, но лишен рассеянности. Движение взгляда плавно, значит, вторая строфа продолжает поступь первой – взгляд хозяйки в неопределенность, туда они и выходят после чая, и оказывается, что виноград там живет и представляет собой битву, то есть дорогу, и все это находится (покоится) вокруг земной оси («Вооруженный зреньем узких ос, / Сосущих ось земную...»), женского (!) лингама, протыкающего белую комнату по-за опущенными ресницами темных штор. Золотое руно, пришедшее якобы от журнала, и, скорее всего, действительно навеянное «Миром искусства», могло явиться из Колхиды: что, если морские тяжелые волны – это борозды вспаханного поля («Время вспахано плугом...», «Ну, здравствуй, чернозем...»? Язон и Одиссей, оба пахали быками и сеяли – один соль, другой драконьи зубы («Я запрягу десять волов в голос...»)).

К чему тут прилепить «тоску по мировой культуре»? Культура всегда при нем – то, что было при нем, и было культурой. Любовь к Средиземноморью декларировал Шамшад Абдуллаев, имевший схожие культурные ориентиры (с поправкой на эпоху), в то же время не терпевший даже воздушно-капельных следов русофонности, как он это называл. В одинаковых рамках один работал на связывание, другой – на развязывание, и это тоже носит оттенок Heimweh.

И вот всё позади, путь пройден, цикл завершен, хотя всё впереди, на дорогу лишь предстоит выйти. Геометрия текста кольцевая, пускай даже: кольцо – недобрый знак, «На войлочной земле голодные крестьяне. / Калитку стерегут, не трогая кольца», «Я около Кольцова / Как сокол закольцован, / И нет ко мне гонца, / И дом мой без крыльца». Природа дает неожиданные

передышки. Пашущие землю – просто перекапывающие ее, обычные огородники, знают: годы медведек, годы кротов, слизней, гигантских ос («Года войны, ковры чуме...») минуют сами собой, как правления тиранов. Неудивительно, что стихи написаны в семнадцатом – удивительно. А вот Лермонтов, с его ритмом предсмертной исповеди («Выхожу один я на дорогу...», 1841), – вообще-то узор саморазрушения. Но читая, не хочется об этом задумываться; текст не жмет, не давит, грудь, дыша, вздымается тихо. Не знаю, есть ли уже такое понятие – «объем строки» в смысле ее ментальной протяженности, наполненности воздухом. Объем не связан прямо с фактической длиной (ср. с одной из четырех координат, данных Максимом Шапиром, – «речевой»). «Сегодня дурной день» Мандельштама – это объемная строка, а «в Михайловском зима перерастает в осень» Романа Тягунова – как поддувшийся шарик, слова мешают друг другу. Но если в Лермонтове проварьировать знаки препинания и поменять три слова, выйдет исповедь обдолбанного американского солдата в лагере вблизи границы с Ираном после локального «удара возмездия».

Выхожу один я после пьянки
Сквозь туман; кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет янки,
И душа с душою говорит. //

В небесах торжественно – и чудно!
Спит земля... В сиянье голубом
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего, жалею ли о чем?

Строки съеживаются, меняется геометрия. У Лермонтова пространство принимает, раскрепощает, американскому солдату оно – враг. Как из символизма сделать футуризм (или акмеизм): немного конкретики и здорового цинизма. В блоковском стихотворении герой – молчаливый наблюдатель [Незнакомки], свидетель чудесно сработанного Блоком пространства, тот, о ком говорит автор. У Мандельштама герой – говорящий сам. Здесь требуется аккуратность, Михаил Гаспаров, *беря начало лермонтовского стихотворения* «Белеет парус одинокий / В тумане моря голубом!...» *незначительно его изменял* на «Белеет парус одинокий / В морском тумане голубом...»; надо полностью абстрагироваться, чтобы не услышать – строка «В морском тумане голубом» даже в русском шансоне недопустима.

[Блок]
По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

[не Блок]
По вечерам над рестораном
Горячий воздух дик и глух.
Приправлен окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Можно продолжить рассуждение об активной и пассивной позициях, но это, мне кажется, неважно, как если бы они, символисты, подошли к одному окну, попали на один слой метареальности, а футуристы подошли к другому – это окна в мир, но не в «наш», который сам есть окно.

14. Выходила на берег Катюша

Я рос в медицинской семье, мама была акушером и детским гинекологом, папа был брюшной хирург, теперь говорят – абдоминальный. Их вызывали на экстренные случаи, маму чаще. Разго-

воры о панкреатитах и разрывах влагалища после изнасилований велись прямо за едой. С детства я слышал, что аппендикс – это какой-то рудимент, но, кажется, никто не запаривался по поводу его прежней роли. Псориаз, который вроде бы тоже не лечат, объявлен аутоиммунным заболеванием, он поражает кожу, когда иммунная система разрегулируется. Простая тема: в протоколах иммунной системы мог быть штатно вписан мотив разрегуляции – она приходит кому-то в голову? Может, сверхбыстрое обновление клеток раньше служило средством защиты от чего-либо, только сейчас действительно разрегулировалось и плодит вредные наросты? Рифма – в старину ее, кажется, не было, затем она возникла, развивалась, постепенно теряла свое значение в наши дни. Я читал книгу Виктора Жирмунского об истории рифмы, сделано круто, но убеждает [меня] не до конца. Жирмунский – классик, горбатого не лепит, он написал выдающийся труд по истории стиха без ярко выраженных рифмовок, но объяснить их довольно-таки внезапное появление не смог или вообще не намеревался. Ну, лично я считаю, что не стоит рифму класть на отдельную полочку, это влияние т.н. «Рижской поэтической школы», в ней числились виртуозы, менявшие формы как перчатки внутри одного текста, «две парные кольцевые рифмы для дефективных» – издевался Олег Золотов. Для тех, кто сегодня в коротком верлибре сумеет зарифмовать пару строк, такие дефективные придумали термин «гетероморфный стих» (думал ли Рихард Вагнер?). А я думаю: давайте рифму трактовать как действие иммунной системы стихосложения – зашла, излечила невидимое нечто и вышла. Я знал людей с сильным псориазом, псориаз мучителен, а для кого-то мучительна рифма. Среди страдавших от рифм были большие поэты, те кто мучился от их отсутствия, были не очень.

Есть высказывание у Колмогорова: «В каждый данный момент существует лишь тонкий слой между тривиальным и недоступным. В этом слое и делаются математические открытия». Как математику важен слой между известным и трансцендентным, так тексты должны занимать позиции как можно ближе к границе – с чем? Нуль-мир, исток, ключ, прамир, надмир, около-мир, любое название будет данииландреевщиной. Меня восхищает «Роза мира», но там столько сущностей: жругры, эгрегоры. Тем более, что не вполне ясны размерности этого мира – он может быть каким-нибудь музыкальным, состоящим из хребтов и ущелий симфоний, живописным, а скорее всего – миром бесконечно красивых и одновременно жутких абстракций наподобие математических, странных настолько, что кажутся не порождениями человеческого разума, но данностью, которую разум людей упорно заселяет. Может быть внутренним космосом, личным микро- или макрокосмом (у кого как), и тогда вообще бессмысленно говорить о внешних, даже трансцендентальных вещах, на которые так привычно уповать или хотя бы полагаться или ориентироваться. Это, наверное, не мир платоновских идей, это мир чего-то неизвестного нам, но наверняка плотный и населенный кем-то не бесплотным (сказать, что у каждого он – свой, значит утонуть в безнадежном изобилии интерпретаций).

Текст есть место, но это место подвижно. Течение (чего? времени – а есть ли там время?) может относить текст дальше от границы (разумеется, там есть время – может, интегрированное в пространство как чип встроенной видеокарты). Шекспир, Достоевский, Толстой, неизвестные мне китайцы и японцы как-то удерживаются, в этом их сила, а не в чем-либо другом; прочие их особенности – это свойства вне-, пара-, метамира.

Шапир как-то раз написал (2001) заметку о МЛК (Московский лингвистический кружок, 1915–24). Как многое, что я читал у Шапира, она излучает нечто светлое, может, это признак гениальности? Именно из нее я узнал, что история семантических ореалов (а еще были ареалы) тянется более ста лет. Целый век ученые доказывали, что каждый стихотворный размер имеет индивидуальную «область значений». Началось с «Выхожу один я на дорогу...», с пятистопного хорея. В втором томе монографии «Язык – смысл – стих...» дано более полное рассмотрение темы. Осип Брик, согласно Шапиру, выступил застрельщиком, а локомотивом – К.Ф. Тарановский. Кирилл [Федорович] Тарановский (род. в Тарту) выпустил в 1953 году на сербском огромную книгу

«Русские двусложные ритмы». В ее русском переводе слово «согласный» [звук] находимо ровно 1 раз – нонсенс. И я вижу две причины, известные всем участникам дискуссий. Первая: репрезентативных стихотворений написано слишком мало, чтобы устанавливать какие-либо законы (300 тысяч проанализированных строк – с этим надо обращаться к Фуко, *est-ce que tout ce qu'il a écrit ou dit, tout ce qu'il a laissé derrière lui fait partie de son œuvre*). Вторая: актуальной поэзии Тарановский не знал, но и сейчас русская рифмованная поэзия переживает кризис, очередной. Если традиция не возродится – то не о чем говорить, а если возродится, свежая волна нарушит старые закономерности.

Шапир исключительно нежно обходится с версиями стариков, рассматривая не сам вопрос, а историю вопроса.

По словам М.Л. Гаспарова, Тарановский первым рассмотрел ряд стихотворений, написанных пятистопным хореем, «очень известных, но обычно не сопоставлявшихся»: «Выхожу один я на дорогу...» (Лермонтов), «Вот бреду я вдоль большой дороги...» (Тютчев), «Выхожу я в путь, открытый взорам (Блок), «Выходила на берег Катюша...» (Исаковский), «Гул затих. Я вышел на подмости...» (Пастернак) и др., – «и показал, что в них единообразно перекликаются как метрика (вплоть до ритмико-синтаксических формул), так и семантика («тема пути», как реального, так и метафорического, жизненного)».

<...>

Судя по всему, слава первооткрывателя должна принадлежать Брику. В прениях по докладу «О стихотворном ритме» (1 июня 1919 г.) Брик <...> перечислил все «опорные» примеры Тарановского, за исключением «Катюши» и пастернаковского «Гамлета», которые еще не были написаны.

Тут ожидаемо приходят прозрения. М. Гаспаров: «связь есть, но не безусловная, а условная, не органическая, а историческая». Шапир цитирует: «...Избрать какое-то слово или размер уже значит подсказать читателю целую сеть смысловых ассоциаций, тянущихся за ними». Как переводчик рифмованных стихов скажу – вряд ли. Если в ауру стихотворения погрузиться достаточно глубоко, то т.н. интертекстуальность отходит на второй план, в область технических данных. Автор, ныряя как бы в околородные воды в преддверии рождения текста, «делает» размер – как ставку на рулетке делают, повинаясь самым разнообразным порывам. Вообще рассуждения о развитии размеров звучат плоско без учета того, как менялись условия стихотворчества. Кто-то писал, сидя в кресле, кто-то на прогулке, кто-то в седле, в телеге, в вагоне поезда. Кто-то смотрел на проезжающие и проносящиеся авто, что уже вело к ритмическим реформам.

Заканчивает Шапир мягко, приводя «признание» из частного письма Тарановского:

Но не будем всё же преувеличивать: история одного термина, хотя бы и ключевого, пусть даже освобожденная от всякой мифологизации, – с точки зрения специалиста, не более чем «деталь», которая, «конечно, интересна сама по себе, но для нашей науки большого значения не имеет».

Признание равносильно сдаче, выкидыванию белого флага. Вот какие предлагались к рассмотрению тексты (возьму по одной строфе).

[М. Ю. Лермонтов]

Чтоб, всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

[Ф. И. Тютчев]

Завтра день молитвы и печали,

Завтра память рокового дня...
 Ангел мой, где б души ни витали,
 Ангел мой, ты видишь ли меня?
 [Александр Блок]
 Нет, иду я в путь никем не званный,
 И земля да будет мне легка!
 Буду слушать голос Руси пьяной,
 Отдыхать под крышей кабака.
 [Михаил Исаковский]
 Отцветали яблони и груши,
 Уплыли туманы над рекой.
 Уходила с берега Катюша,
 Уносила песенку домой.
 [Борис Пастернак]
 Гул затих. Я вышел на подмостки.
 Прислонясь к дверному косяку,
 Я ловлю в далеком отголоске,
 Что случится на моем веку.

Общее в текстах – не один размер, но жесткая геометрия, выдерживаемая в любом состоянии. Лермонтов (в мечтах) лежит, Тютчев (задумавшись) стоит, Блок (под балдой) бредет, Катюша (в туманах) выходит и уходит, Пастернак висит (дверной косяк с верхней переладиной рисуют виселицу). Везде острый модус смотрения: Лермонтов смотрит сам на себя, Тютчев на ангела, Блок на путь, Исаковский на Катюшу, Пастернак в зал, т.е. в глаза судьбы, вооруженные биноклями. О Есенине Тарановский пишет с пренебрежением (Якобсон – нейтрально), еще бы, ведь тот нарушает строгую картинку. Есенин – это театр, высокое скоморошество (Hamlet is not a Player). «Не жалею, не зову, не плачу...», «Ты еще жива, моя старушка?..», «Мы теперь уходим понемногу...», «Каждый труд благослови, удача!..», «Персидские мотивы» («Улеглась моя бывшая рана...», «Никогда я не был на Босфоре...» и пр.): даже там, где есть печаль и дорога, появляется публика и сторонние наблюдатели, сыплются реплики в сторону. Летящая облачная геометрия, белая карусель, подернутая грустью, будто подпоясанная платком. В последнем «До свиданья, друг мой, до свиданья...» нет взгляда глаза в глаза. С Есениным так – Есенин не интимная лирика, как принято думать, поэтому пенье у костра под гитару про клен его опавший звучит чуть ли не пошловато. Вот Ахматова о своем народе и где он, к несчастью, был, пишет сквозь призму своего галактического величия, вот Есенин... он и пел, и плясал прилюдно. Я не могу припомнить такого размера у Арсения Тарковского. Если идущему трудным путем предлагается готовый паттерн, чего бы его не выбрать? Несмотря на военную хромоту, Тарковский есть автономный странник в вечности. Зато старуха Шапокляк ака Эдуард Успенский выбирает.

Лунным светом залита аллея –
 Выхожу с рогаткой на простор.
 Все скамейки перемажу клеем,
 А потом... махну через забор.

Можно сочинить куплет о невозможности движения:

я лежу на розовом диване
 предо мною грудь твоя блестит
 ты забыла лифчик в общей ванне
 и за ним стремишься пойти

Можно транспонировать в размер что угодно, «как я встретил вас и все былое / вдруг в отжившем сердце ожило» или «мне пятнадцать лет уж скоро минет / не дождусь я радостного дня», но ничто не завибрирует. Интересно искать «инварианты» – частоты, модуляции, задаваемые геометрией текста. В четырехстопном ямбе, внешне годящемся для курения фимиама, легко сопоставить *все, что попадает под руку*:

[Пушкин, 1826]

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

[Блок, 1908]

Пускай заманит и обманет, –
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

[Пастернак, 1931]

И я приму тебя, как упряжь,
Тех ради будущих безумств,
Что ты, как стих, меня зазубришь,
Как быль, запомнишь наизусть.

[Мандельштам, 1937]

И ты прорвешься, может статься,
Сквозь чашу прозвищ и имен
И будешь сталинкою зваться
У самых будущих времен...

Четыре текста вновь о совершенно разном: о будущем, о прошлом, о настоящем и о ненастоящем. В гибкий ритм легко вливается сладковатый ладан Булата Окуджавы (1975): «Крест деревянный иль чугунный / назначен нам в грядущей мгле.../ Не обещайте деве юной / любви вечной на земле!», замыкающий, в рамках момента, пушкинские «Стансы».

Пастернака я читал и перепечатывал на портативном ундервуде, оставшемся от бабушки, из тетрадок ее сестры, офтальмолога, старой девы и члена партии; позже я редко встречал людей, чувствовавших текст как она. Выносить тетради из ее квартиры было нельзя. Когда я прочел стихи из «Доктора Живаго», она спросила – понравилось? Что-то меня раздражало в них, цветистая избыточность что ли, но я соврал – понравилось; ну-ну, сказала она. С ней же я открыл и Мандельштама. В районной библиотеке меня полюбили библиотекари, тайком впускали в особый зальчик, в котором стояли книги не из общего доступа. Там мне показали толстого Мандельштама из «Библиотеки поэта». Я упражнялся в улучшении поэтов серебряного века, например, Брюсова:

Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
Слышу ваш топот чугунный
По еще не открытым Памирам.
Слышу я в гуле столицы
Внятное бешенство сабель,
Вижу, как в тихие лица
Входит задумчивый кабель.

Я напечатал под копируку штук восемь книжечек Мандельштама «Горечь», раздал друзьям. В книжке было около десяти стихотворений, некоторые из них я помню.

Тщетно крепили свои Рима воители сотни.
Каменной бочки уторы выбиты –
Чернь океаном течет.

Возможно, в Москве на Садовом кольце или где-нибудь в Санта-Барбаре валяется в сортире мой неизданный Мандельштам.

15. Строительная яма

Замки, дворцы, соборы, монастыри – места силы, но разной: геометрии разные и разные вибрации. Артур Грабовский, тот самый, с которым мы пили водку в «Посольстве сельди», и примкнувший к нам с зеленым чаем Богдан Залевский, журналист, криптолог и экзегет Новой Хуты, странствуя по Польше, совибрируют с надстройкой, так они сказали, а я – с базисом. Их восхищают швы между Римом и Византией, я схожу с ума от самой земли. Шестьдесят счастливых лет литературоведы любят интертекстуальность. Если я не ошибаюсь, библейские цитаты и аллюзии по факту клейки одного в другое – примеры интертекста. А ведь не для всех Библия остается только текстом, сакральным или каким другим, неважно. Для некоторых вложить в свой текст слова из Евангелия – как пожелать чихнувшему «будьте здоров». То же самое относится к другим книгам, явлениям, которые перестали быть голыми текстами и превратились в нечто большее (к братьям Стругацким, например). Кроме того, в Библии полно полезных устойчивых архетипов. Упомянуть как нарицательное Иосифа Прекрасного или Иванушку-дурачка – какая разница?

Да, у Иоганнеса Бобровского есть интертекстуальность, наверное:

Имеющий, где голову
приклонить,
он уснет, будет слышать
в грезе крик, окруживший
равнину, кружа над
водами – вот стал свет, разбил
два холма, видны резко
тропа, камни, берег,
зелень блеска – крик
беззвучен, «одуванчик,
но окрылен молитвой».
[Для Нелли Сакс]

Но есть ли смысл считать интертексты в тексте самой Нелли Сакс?

Песка глубинная дрожь
выброшенного
из сна ревом рога витого.
Мертвых час прорицания
спешил вылущить из их трупных мантий
суть одуванчика семя лишь
окрылены молитвой
шли они домой –
[Нелли Сакс, «Этот край»]

И вот мы с поляками любим вибрации Андрея Платонова, но каждый ловит в нем свое. «Котлован» Платонова – оселок, на котором пробуются соответствующая культура перевода (если она вообще имеется). «В день тридцатилетия личной жизни Вошеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда». Здесь – линия отрыва, примерно такая же, как переход Фердинана Бардамю, ведомого Артюром Ганатом с террасы вглубь кафе в «Путешествии на край ночи», в те же годы написанном Луи-Фердинандом Селином; ступенька на пути в котлован.

Перевод Адама Поморского (2017):

Na dzień trzydziestolecia życia osobistego Woszczew otrzymał wypowiedzenie w niewielkim zakładzie mechanicznym, w którym zdobywał dla siebie środki do życia. W wypowiedzeniu napisali mu, że usuwa się go z produkcji skutkiem wzrostu w nim osłabienia i zamyślenia w ramach ogólnego rytmu pracy.

Тут – в целом – мелодрама. Перевод практически дословный, как и положено в случае Платонова, но поправка на асимметрию языков не докручена до конца. С учетом асимметрии обратный перевод таков: «В день своего тридцатилетнего личного юбилея Вощев получил уведомление из небольшой механической мастерской, где он зарабатывал на жизнь. В уведомлении говорилось, что его отстраняют от производства из-за усиливающейся слабости и задумчивости в общем рабочем ритме». Добавлена и капля косноязычия, чего нет у Платонова, его русский чист и не абсурден, вопреки.

Уже на четвертом слове языковая асимметрия вступает в свои права. В русском «личная» – это и частная, приватная жизнь, которой у Вощева, по-видимому, не было, и собственная его жизнь как таковая, не влитая целиком в жизнь коллективную, всеобщую. В латышском это решается легко: *viņa privātā dzīve* (его личная жизнь), долгое *ā* на конце обязательно при личном местоимении, что сохраняет двузначность – *privāta*, «личная» в прямом значении, и *privātā*, опять же «личная» – в идиоматическом. В немецком языке существительное тяготеет либо к артиклю, либо к личному местоимению, в польском оттенок задается порядком слов: *osobiste życie* и *życie osobiste*. Чтобы снизить акцент на этот оттенок, нужно перестроить фразу, увести прилагательное из-под ударения. Проблем всего четыре: в ритме (логические акценты), в «личной жизни», в «своем существовании» и «в нем», членящим фразу так, что «рост» не может прямо относиться к одному или к обоим дополнениям. Наиболее проблематична личная жизнь.

Ну, Поморский не становится от этого плохим переводчиком. Поморский – гигант, культурперер, его переводы неоценимы. Есть замечательная дискуссия «Dół, czyli kosmos Andrieja Płatonowa». *Dół* [дул]: углубление, впадина, низ – название перевода Поморского; то есть «Котлован», то есть космос Андрея Платонова». Для сравнения – в сети есть лекция «Язык в тупике», прочитанная о «Котловане» патриархом цеха русских переводчиков в рамках проекта «Ликбез» закрытого на сегодня портала. Наш патриарх на фоне польских интеллектуалов вызывает т.н. «испанский стыд», он говорит ненужные вещи, что «очень просто на него, на самом деле, пародию написать», об отсутствии ауры у советизмов (а у слов нет аур, ауры создаются контекстом)... и плюс какой-то детский пословный анализ зачем-то. Польская дискуссия тоже ссылается на Иосифа [Бродского], и важна она тем, что речь в ней идет о богатом спектре смыслов, которые неявно включают рациональные уровни и затрудняют восприятие вибраций (так же и с переводами Кафки и Хандке). Не я первый замечаю эти однотипные ловушки. Перевод Целана возбудил мировой интерес к Мандельштаму, а для диссера надо цитировать Дутли. Поляки прекрасно владеют русским языком, но чувствуют его не настолько, чтобы не ошибаться в деталях текста Платонова. Приводимые ими цитаты переведены неточно, а дискуссия исходит из мелочей, прав-

да, и шутка Хомского *colorless green ideas sleep furiously* цитируется в каноническом переводе (идеи яростно спят, а не спят яростно), что в разговоре о «Котловане» теряет смысл.

Вначале ведущий излагает интуицию Бродского об отсутствии у Достоевского преемников в России, Поморский с ним спорит, приводя в пример Андрея Белого, Евгения Замятина и «даже» Леонида Добычина. Поморский – выдающий теоретик, Бродский – нет, но Бродский, так или иначе, – гений языка, а Поморский просто переводчик. Бродский прав «на чуйке», хотя объяснения его нередко мимо. Ни Замятин, ни кто-либо другой не наследуют Достоевскому ни музыкально, ни геометрически. Разница не в «реализме» или «эсхатологизме», а в глубинном принципе изображения, как между Вайдой и Антониони. «Актер работает не со своей ролью, он работает с пространством вокруг себя, создавая некую ауру, эту ауру и цепляет камера» (Роман Михайлов). У Толстого это как-то иначе, не возьмусь здесь описывать. Платонов не имеет отношения ни к одному из них – или опосредованно имеет к обоим. Толстой строит усадьбы, Достоевский едет мимо них в поезде, Платонов над ними крутится на орбитальной станции.

Тридцать лет назад Адам Поморский издал книгу «Пролетарий духа» [Душевный пролетарий] – о «социальном ламаркизме», русском космизме, вере в добрую эволюцию и утопических идеях Платонова. Поморский пишет обаятельно и доброжелательно, великое искушение согласиться, я даже соглашаюсь с ним, но это тангенциальное согласие, моего Платонова или моего Мандельштама он не задает, обходя их по касательной. «Деревья неважны, важна почва, она вздутая, похожая на пузырьки, прижатые друг к другу» (снова Михайлов). Но дело в том, что в названной дискуссии соглашаться хочется по очереди со всеми участниками, хотя их мнения порой противоположны, а это проблема. Кроме того, каждый нет-нет да и брякнет что-нибудь. Поморский: «Это язык, который без оговорок едва ли возможно назвать русским». Не знаю, как с ним спорить, могу лишь повторить, что это не так.

Данута Улицкая, автор неопубликованного перевода «Котлована», четко говорит об абсурде, мол, Платонов – не абсурд, а гротеск, и сразу после недоумевает по поводу фразы Платонова «Опять, – ответил Козлов своим бледным голосом ребенка». Но цитата звучит неверно: «Znowi, odpowiedział Kozłów, blednym głosem dziecka». Из нее выпало «своим», местоимение под ударением; в польское предложение его не получится вставить, не меняя порядка слов. Не понимаю, как она не слышит, что это «своим» делает фразу осмысленной, – то есть не улавливает структуру речи фактически. Зато она настаивает на том, что Платонов пишет на русском, причем очень точном.

Агата Белик-Робсон избирает «наивную перспективу», отбрасывая контексты; она рассуждает о христианской гностике, избегая слова «православие», словно не в Воронеже родился Платонов, а в каких-нибудь Вадовицах. И она популярное место о прибывшем к Вошеву сухом листе цитирует в неудачном переводе и трактует его неверно (неважно как), поскольку наивно отбросила контексты (Поморский ее поправляет). Патриарх хорош тем, что сам признался в отсутствии у него инструментов для разговора о «Котловане» (но разговор продолжил). Дискутирующие профессора верят, что у них инструменты есть, не замечая, что пилят сук фонендоскопом, – и либо уже всем вернуться ко множественности интерпретаций, либо поискать-таки альтернативу.

У меня тоже нет особых средств, кроме настроек на вибрацию. Текст – не копия (в смысле модного предположения, что всякий оригинал есть перевод с божественного), но оригинал в том смысле, что каждый артефакт для работы с «иными» силами – оригинален (а в этом смысле оригинален и любой перевод). Потому текст способен ретранслировать и в переводе, потому и «Котлован», вряд ли имеющий переводы, которые можно считать адекватными, эквивалентными, тирьямпампационными, любо-дорог иностранному сердцу (проза в переводе теряет не более тридцати процентов, а поэзия может потерять всё – слышал несколько раз, не знаю, кто говорил, но кажется вполне достоверным). Потому и рассказы Шульца чтут в самых разных культурах, а не из-за того, что его показательно пристрелил унтер-офицер SS на улице еще польского Дрогобыча. Однако оригинальный текст также является переводом в том смысле, что он выхватывает кусок другого (иного) мира, который в нем, в тексте, трансформируется так, как оригинал трансформи-

руется в перевод (перекодируется и транспонируется, сказал бы Тороп). Этот кусок, чтобы быть «выхваченным», обязан обладать «геометрией» (можно выхватить из супа картофелину или курию ногу, но кусок символической манной каши можно только вышмякнуть).

16. Башни ПБЗ

Когда в связи со своими переломами колена я лежал в Склифосовского, нас было четверо постояльцев в палате на шестерых, еще двое периодически менялись. Краткая больничная дружба возникла между нами, а после мы даже сходили в казино. Однажды к нам на передержку положили мужика в костюме с обеими загипсованными голенями – он только-только пришел к любви, когда явился муж: пришлось сигать из окна. На стене над кроватями были кнопки вызова, под ними по трафарету сделаны надписи, по разным трафаретам, моя надпись была «сестраА», не хватало лишь восклицательного знака. Когда начинало темнеть, я выбирался на костылях в конец коридора и с десятого этажа смотрел, как зажигали фонари – на Садовом, внутри Садового, на Сретенке, у Красных ворот, еще где-то. Помню, та копеечная несвобода – из-за гипса, процедур, костылей – ощущалась, по причине этих бегущих огней, как нечто давящее. Напротив меня на Сухаревской стоял известный дом Наркомтяжпрома, его строили в середине тридцатых по проекту Реммеле, а перестраивал Булгаков. Бежавший от нацистов и расстрелянный коммунистами Ганс Реммеле неизвестен немецкому поиску, скорее всего, его звали Рёммеле (швабская школа функционализма) или Леммле (баварские проектанты соцжилья), фамилию исказил он сам или его наниматели. Дом не понравился заказчику, и второй архитектор задекорировал его чистый супрематизм, по-своему очень чисто, цитатно, будто предчувствуя постмодерн. В доме до ареста жил тот мой дед, которого я не помню, с бабушкой, которую я никогда не видел. Папа ходил в школу в соседний переулок. Позже все они оказались на Пресне, где жила мама. В маминой коммуналке в одной из комнат жил алкоголик, и в папиной тоже, только мамин был безвредным, а папин – злыдень. Если бы не огни, я мог бы размышлять обо всем этом, опираясь на костыли и глядя на вечернюю Москву, но – нет.

Жизнь на земле не вызывает доверия, что давно просекли продюсеры российских детективных сериалов. Действие там разворачивается в декорациях нереальности (офисы, квартиры, отделения полиции, морги), но это не победа художника над форматом, как утверждал один кинокритик: россияне (и не россияне) не знают, где они живут (ср. с т.н. магическим реализмом латиноамериканских писателей в 50–60-е годы). Шекли актуален; возможно, рептилоиды на Земле не бледнеют при упоминании Арктура или Альдебарана, но [реальную] суть происходящего на одной из внутренних границ бывшей империи он предсказал еще в рассказе «Watchbird» (1953, «Страж-птица» в навязчиво-дидактичном переводе): группа террористов с помощью набора дронов с искусственным интеллектом может угрожать любому человеку в любом государстве.

Век назад футуристы сообразили, символисты тоже осознали. Одни пытались это «неизвестно где» гармонизировать, другие – огрубить. Можно ли сейчас стать футуристом или акмеистом? Так называемое «зло» пожирает само себя, само по себе никакое «добро» не в состоянии с ним справиться (разве что специальное добро, куда самопожирание зла заложено опцией). Противостояние распадающихся цивилизаций пассионарным варварам, противостояние империй и архаичных деспотий с фашизмами нового типа. Мы здесь не восстанавливали никакой независимости, не обретали – нас попросту дважды отпустили; тогдашнее «отпускание» возводилось «независимыми» странами в ранг триумфа, а сейчас попробуй Латвия или Силезия захотеть быть отпущенными? Торжествует гомеостазис: он, скорее всего, и может быть приравнен к самой сути «существования», но что именно берет в данном периоде существования верх – «добро» или «зло», то это как посмотреть. Вибрации, доносимые текстами – крики, доносящиеся из-за лет или световых лет, что не ново, об этом достаточно много написано. Движение волн внутри гомеостазиса не дает им смолкнуть; впрочем, возможно, там все уже замолчали, одни голоса всё идут...

Михаил БАРУ

ВО ВСЯКИХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ

(Окончание. Начало см.: Волга. 2026. №№ 3-4, 5-6)

Список убитым, раненым и без вести пропавшим

В четырнадцатом году Вологодские губернские ведомости запестрели объявлениями о том, что «Крестьяне Беляевской волости Сольвычегодского уезда по приговору волостного сельского схода от 3 октября сего года пожертвовали 150 руб. на раненых и больных воинов. Крестьяне Покровской волости Сольвычегодского уезда пожертвовали 60 руб. на раненых и больных воинов. Крестьяне Великосельской волости Сольвычегодского уезда по приговору волостного схода от 17 октября сего года за №5 постановили: оборудовать в лазарете Вологодской Общины сестер милосердия Красного Креста для раненых воинов две койки имени крестьян означенной волости и содержать таковые в течение шести месяцев. В Сольвычегодском Уездном по воинской повинности Присутствии во время призыва новобранцев выставлена была кружка для сбора пожертвований на раненых и больных воинов, в которую было собрано 122 р. 47 к. и, кроме того, пожертвовано по подписному листу членами и секретарем Присутствия 16 р. 50 к., каковые деньги назначены на четвертый лазарет Вологодской Общины сестер милосердия Красного Креста и уже поступили по принадлежности». И под всеми этими объявлениями вологодский губернатор писал: «Объявляю всем крестьянам означенной волости мою благодарность за это пожертвование на святое дело помощи нашим доблестным воинам – защитникам Веры, Царя и Отечества».

Крестьяне различных волостей Сольвычегодского уезда, кроме того что единовременно жертвовали деньги на лечение больных и раненых, по приговорам волостных сходов собирали деньги на оборудование одной или двух именных коек в лазарете Вологодской Общины сестер милосердия Красного Креста с обязательством содержать их несколько месяцев или даже до конца войны. Податной Инспектор Сольвычегодского уезда, надворный советник Брылев изъявил желание оборудовать в лазарете Вологодской Общины сестер милосердия Красного Креста для раненых воинов одну койку имени умершей его матери Веры Ивановны Брылевой и содержать таковую на свои средства во все время войны.

В ноябре в Сольвычегодске устроили лотерею-аллегри, давшую чистого дохода 850 руб., из которых половину отдали в кассу Местного Управления Российского Общества Красного Креста для лечения больных и раненых, а остальные отослали в Вологодский Губернский Комитет помощи призванным на войну чинам ведомства Главного Управления Землеустройства и Земледелия и их семьям. Сольвычегодский любительский театральный кружок дал в декабре четырнадцатого года благотворительный спектакль в помещении чайной попечительства о народной трезвости. Анонимный зритель писал в Вологодском листке: «Поставлена была драма Островского “Не так живи, как хочется”. Пьеса была разыграна недурно, и многочисленная публика не скупилась на аплодисменты. Наибольший успех выпал на долю Алмазовой и Журавлева. Чистый сбор от продажи билетов и пожертвований выразился в солидной для Сольвычегодска цифре – 137 руб. Глубокая благодарность любителям-артистам, инициаторше и ответственной распорядительнице спектакля Т. Ф. Новицкой. Кроме материальной пользы, спектакли освежают коснеющую в сплетнях душу обывателя». Образовался Сольвычегодский Комитет по сбору пожертвований на раненых и больных воинов, быстро собравший четыреста рублей и передавший их в губернский Комитет пожертвований.

Правительство в самом начале войны и даже немного раньше решило интернировать германских подданных в западных пограничных районах. Большую их часть после того, как арестовали, направили в Вологду, а из Вологды в уездные города Вологодской губернии. К началу пятнадцатого года в Сольвычегодский уезд было водворено на жительство около пятисот человек, а в самом городе Сольвычегодске почти полторы тысячи. Прибавим к этим интернированным ссыльных, и получится, что Сольвычегодск, при том что, собственно, сольвычегодцев было около двух тысяч, просто трещал по швам. Через год, в шестнадцатом году, в уезде проживало тысяча шестьсот интернированных, не считая самого города. Следить за ними приставили трех полицейских надзирателей и полтора десятка конных стражников, которые конечно же не могли за всеми уследить, а потому хозяев, сдающих им комнаты, обязали следить за отлучками своих квартирантов и в случае их отсутствия вечером и особенно ночью сразу же заявлять полиции. С одной стороны, все эти интернированные квартиранты доставляли страшное неудобство сольвычегодцам, а с другой – они платили деньги. Хозяева, чтобы получить как можно больше квартирной платы, часто отдавали лучшие комнаты интернированным, в которых они жили по несколько человек, а сами жили в тех, которые остались. Медицинскую помощь получали они точно такую же, что и жители уезда и города. В целом условия у гражданских пленных были неплохими, насколько это было возможно в Сольвычегодске и уезде, но жаловались интернированные на эти условия постоянно, требуя перевести их из уезда в Сольвычегодск, а из Сольвычегодска в Вологду. Жаловались они не только уездному исправнику, но даже и в Бюро помощи американского посольства. Все их не устраивало – болотистая местность, малярия весной и летом, клопы, плохое качество медицинской помощи, антисанитария, враждебность местного населения, необходимость лечения в условиях города... Уездный исправник, которого интернированные заваливали прошениями о переводе, их отклонял, поскольку отсутствовали доказательства диагноза. Пленные, видя, как их плохо охраняют, пытались бежать, но куда бежать немцу в тайге, особенно зимой, когда и местные жители не раз и не два замерзали насмерть, заблудившись.

Все это было в четырнадцатом году, а в пятнадцатом в Сольвычегодский уезд, как и во все остальные уезды Вологодской губернии, стали доставлять большие партии немецких и австрийских военнопленных. Размещали их в крупных селах партиями по сто и более человек. Обстановка в уезде, и без того не очень спокойная, стала еще беспокойнее...

В конце января Вологодские губернские ведомости стали регулярно публиковать список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам по Вологодской губернии.

Между тем обычная жизнь с ее повседневными заботами и печалью в городе и в уезде продолжалась. В зале чайной общества попечительства о народной трезвости состоялся концерт ученического оркестра местного высшего начального училища. Зал концерта был переполнен приглашенными лицами и ученицами местной прогимназии. Крестьянин Черевковской волости деревни Среднего Харина Я. Е. Воронов, 69 лет, ночуя в соседней деревне Кузьминской у крестьянина Павла Виравчаева, покончил с собой через повешение. Воронов, как выяснилось, был в нетрезвом виде. Сольвычегодское полицейское управление разыскивало хозяина быка, находящегося на прокормлении у крестьянина Сольвычегодского уезда, Алексеевской волости деревни Ершевской Павла Никонова. Государь Император, согласно положению комитета о службе чинов гражданского ведомства и о наградах, Всемилостивейше соизволил пожаловать золотую медаль для ношения на груди на Аннинской ленте присяжному Сольвычегодского Казначейства отставному рядовому Федору Зазубрину и серебряную для ношения на груди на Станиславской ленте отставному боцманмату фельдфебелю Ивану Абакумову. Приставу Первого стана Сольвычегодского уезда титулярному советнику Клеопатрову, за проявленную им энергию и при обнаружении похищенных из запертой кельи иеромонаха Коряжемского монастыря о. Серафима двух серебряных часов с цепочками и быстрое задержание преступника, вологодский губернатор объявил благодарность. Резолюцией Губернского Правления от 25 июля 1916 года, утвержденной за Губернатора Вице-Губернатором, удостоены награждения на 1-е июля 1916 года: серебряными медалями с надписью «за беспорочную службу в полиции» для ношения на груди на Аннинской

ленте трое урядников, пятеро стражников и трое городских Сольвычегодского уезда и города Сольвычегодска. Некто под псевдонимом «Проезжающий» написал в Вологодском листке о беспорядках на Сольвычегодской земской станции и о недопустимой грубости содержателя станции Шергина. «Масса письменных жалоб в книге, личные жалобы управе ни к чему не ведут и Шергин, с непонятного соизволения последней, продолжает орудовать и изводить несчастных проезжающих... хотя он растерял уже почти всех своих ямщиков и, говорят, вместо одиннадцати пар лошадей имеет всего четыре пары. Дошло до того, что теперь на этой станции не дают лошадей по билетам вологодской земской управы. Так, при моем последнем проезде через Сольвычегодск, 21 января, содержатель Шергин, осмотрев мой билет, выданный из губернской управы, бросил его на стол и грубо предложил ехать "на билете", говоря, что лошадей он не даст и не обязан давать по этому билету...». В середине августа вышло обязательное постановление о езде по городу Сольвычегодску с колокольчиками и воркунами. Езда в городе с колокольчиками и воркунами воспрещалась во всякое время дня и ночи всем, за исключением пожарной команды и тех, кому право на это предоставлено особыми распоряжениями. Вслед за этим постановлением вышло постановление о воспрещении владельцам домашнего скота допускать бродить его по городу. Тоже обязательное. Третьим обязательным постановлением запретили жителям города Сольвычегодска производить очистку и вывозку нечистот из выгребных и помойных ям в летнее время ранее десяти часов вечера и оканчивать позже десяти часов утра. В селе Пучеге Верхнетоемской волости местные торговцы продавали сушки из своих пекарен. Муку эти торговцы, как выяснили любознательные покупатели, заготовили оптом на весь год, а вот цены на сушки поднимали каждый месяц, а потом и каждую неделю. Что же до сахарной сушки, то она, как писал «Вологодский листок», «совсем и не пахнет сахаром, а пахнет только дорогой ценой».

Цены на продукты росли не по дням, а по часам, а заработная плата... «Вологодский листок» по этому поводу писал в августе шестнадцатого года: «Служащие уездной сольвычегодской управы за все время войны получили прибавку к жалованью от 7 до 12 процентов своих окладов. Оклады же существуют такие, что трудно и предполагать. Например, самым большим окладом является 48 руб. в месяц; до такой громадной суммы дослужился лишь один единственный во всей канцелярии работник, отдавший 12 лет беспорочного и усердного труда на пользу сольвычегодского земства. Затем идут в нисходящей последовательности: лицо, прослужившее 11 лет, получает 41 рубль., лицо, прослужившее 10 лет, получает 30 рубль и так далее. Мелкие служащие получают от 13 до 20 рублей в месяц. Так земство оценивает труд своих работников в то время, когда цены на предметы первой необходимости, одежду и квартиры поднялись неимоверно. Так, например, мясо, стоившее раньше 9 коп. фунт, продается по 40 коп., скоромное масло с 25-28 коп. дошло до 80-85 коп. фунт, хлеб с 2 ½ до 7 коп. за фунт. Можно себе представить, как живут эти люди, если у них есть семьи? И если только они не бегут со службы, то разве исключительно потому, что преданы своему делу душой и телом. Но если это так, если эти служащие земства настолько преданы своей тяжелой в данное время работе, то должно быть более стыдно тем, кто так пренебрежительно относится к этим труженикам. Правда, в настоящее время в портфеле председателя управы находится прошение служащих об увеличении им жалования, но ведь надо ждать земского собрания, а до того времени можно много раз умереть с голоду».

И все это при том, что уездное земское собрание, прошедшее в конце ноября шестнадцатого года, увеличило председателю оклад до трех тысяч рублей, выдало ему полторы тысячи наградных и подарило золотые часы за пятьсот рублей. Членам земской управы увеличили оклады до 1200 рублей и дали премии по восемьсот рублей. Земским учителям дали прибавку в пять рублей. Правда, задержали выплату.

В уезде с продуктами дело обстояло ничуть не лучше, чем в городе. Исчез из продажи сахар, и крестьяне стали скупать карамель и изюм, цены на которые мгновенно выросли в четыре и даже в пять раз. В Сольвычегодске, в котором тоже не стало сахара, расцвела меновая торговля – за два фунта сахара можно было выменять воз дров, стоимостью в пять рублей. С дровами тоже все было не слава богу. В феврале шестнадцатого года собрание городских уполномоченных

постановило организовать заготовку дров для продажи населению, и для этой цели временно заняли из благотворительного капитала купца Хамина три тысячи рублей. Пока искали лес, который можно купить числом поболее ценою подешевле, прошло восемь месяцев, и к концу осени выяснилось, что трех тысяч рублей на эти цели не хватит. Запасов дров в городе почти не осталось, а цены на них поднялись так, что большинство жителей их не имели возможности купить. Собрание городских уполномоченных решило просить правительство о ссуде размером в пятнадцать тысяч сроком на девять месяцев. Правительство отказало и предложило сольвычегодским властям взять кредит у частных банков под правительственные гарантии. Денег и на закупку продовольствия тоже не хватало. Решили возбудить отдельное ходатайство о выдаче городу продовольственной ссуды.

Наступил семнадцатый год. Корреспондент «Вологодского листка»⁸⁰ сообщал из Сольвычегодска о том, что «Восьмого февраля в помещении чайной комитета о народной трезвости дан был ученицами местной гимназии под руководством г. Р-ва спектакль, сбор с которого поступил в пользу столовой для учащихся в г. Сольвычегодске. Поставлена была пьеса “На пороге к делу” Островского и Соловьева. Пьеса прошла с большим успехом. Очень мило проведена роль учительницы Веры. Прекрасно передан тип сторожа Акимыча и вообще всеми участвующими роли переданы хорошо. Нельзя не выразить благодарности г. Р-ву, сумевшему организовать молодые силы. Сбор, несмотря на маленькое помещение, выразился в сумме около четырехсот рублей».

Десятого февраля в помещении чайной комитета о народной трезвости состоялся ученический вечер воспитанников реального училища. Были разыграны весьма живо “Дома”, миниатюра Чехова, “Унтер Пришибеев” и “Вытурил” шутка в одном действии Гриссер и Чирикеева и исполнено несколько легких вещиц оркестром балалаечников из учеников реального училища под управлением воспитанника IV класса, у которого заметны большие музыкальные способности. Сбор, состоявшийся из пожертвований, поступил в пользу родительского комитета при реальном училище».

Громогласное ура

Четвертого марта Сольвычегодский Временный комитет распространил срочно напечатанное в местной типографии обращение к сольвычегодцам: ««Граждане города и уезда Сольвычегодского! Произошли великие события. Свершилось то, о чем каждый из нас, быть может, едва смел думать: Россия стала свободной, и мы все свободные ее сыны! Старое правительство, стремясь бесконтрольно хозяйничать в стране, не сумело править нашей Великой Родиной. Полнейшая разруха во всех отраслях народной жизни, недостаток продовольствия и невообразимое расстройство в доставке предметов первой необходимости в обывденной жизни и нужных для обороны, как результат всей деятельности старого правительства, привели к тому, что Государственная Дума, в ответ на указ правительства о роспуске Думы, решила разом покончить с этим злом, разъедающим нашу внутреннюю жизнь и отдаляющим и час нашей решительной победы над внешним врагом. Она 27 февраля, в согласии и единении с союзом рабочих и солдатских депутатов, арестовала всех членов старого правительства и взяла всю полноту власти в свои руки. Назначены новые министры из числа народных избранников – членов Государственной думы и учрежден высший орган власти Исполнительный Комитет Государственной Думы. <...> Власть эту признали и на сторону ее встали все войска Петрограда, начиная с войск, стоявших на личной охране Царя, все войска, находящиеся внутри России и все войска, находящиеся на фронте. Признали ее и все Российские граждане. В помощь временному Комитету Думы организуются на местах такие же Комитеты, в губерниях – губернские, а в уездах – уездные, составленные из избранников самого народа. 4 сего марта и в г. Сольвычегодске образовался Временный Уездный Комитет, который состоит из 17 членов, 11 из коих избраны общим собранием граждан, состоявшимся в городе 4 марта, а 6 имеют быть избраны на местах в уезде. Все правительственные учреждения и отдельные служащие лица, признавшие новое правительство, остаются на своих местах и должны делать каждый свое дело».

В состав местного Сольвычегодского Комитета избраны: Городской Староста Д.А. Спасский, И.о. Председателя Съезда Земских Начальников В.А. Ешкилев, Непременный член Землеустроительной Комиссии А.А. Андреев, Котласский лесничий Д.Я. Голубев, Сольвычегодский лесничий П.А. Сабуров, учитель Реального училища Н.Ф. Назарьев, учитель приходского училища А.Д. Жданов, земский врач И.С. Славин, крестьянин Метлинской волости П.В. Верховцев, начальник почты Я.Е. Мосолов, судебный следователь Б.А. Россов. <...> Сам Комитет из состава своих Членов избрал: Председателем Д.Я. Голубева. Товарищами Д.А. Спасского и П.А. Сабурова и Секретарями: Н.Ф. Назарьева и А.Д. Жданова.

Нам, граждане Сольвычегодские, надлежит спокойно и вдумчиво отнестись к происшедшим событиям. Признав всецело новое Правительство пусть каждый из нас отдаст все свои силы на согласную и плодотворную работу под его началом, на благо Родины нашей, памятуя, что это благо выше всего. Не должно оставаться ни одной минуты в нерешительности. Отныне нам дано великое право называть себя гражданами. И как свободные граждане свободной России объединяйтесь, организуйтесь, становитесь каждый на защиту своих прав и на охрану собственных и общественных спокойствия и безопасности. Не допускайте никаких насилий над другими, не оскорбляйте друг друга ни словами, ни делом, помня, что это прежде всего недостойно нас самих, как свободных граждан. За разрешением всяких сомнений и вопросов обращайтесь к власти, которая есть на местах и по-прежнему исполняет свое дело, оказывайте ей полное повиновение и содействие, ибо она есть власть законная. Без власти было бы безвластие, следовательно, не было бы порядка. Воинские чины повинутесь офицерам и не делайте ничего без их приказаний! В г. Сольвычегодске обращайтесь во всех нуждах к Членам Временного Комитета. Всякие попытки к нарушению общественного спокойствия со стороны, как отдельных членов, так и целых групп, старайтесь предупреждать и прекращать путем вразумления и разъяснения, что этого не должно быть, не ожидая вмешательства вооруженной силы. Итак, дружно к общей согласной работе во благо нашей Родины и к победе над врагом. С нами Бог!»

«Вологодский листок» писал: «Утром пятого марта нижними чинами местной воинской команды разоружена полиция и оружие сдано воинскому начальнику. Никаких столкновений с полицией не произошло. Охрана города до организации милиции вверена воинскому начальнику. В полдень дня пятого марта перед зданием уездного съезда при большом стечении народа председателем комитета Голубевым прочитан манифест об отречении Николая II от престола, а затем произнесена горячая речь, закончившаяся громогласным ура. В городе все спокойно. Все учреждения функционируют. Граждане Сольвычегодска, переходя на сторону нового правительства, горячо приветствуют солдат и рабочих, освободивших России от векового гнета, который привел Россию к полной разрухе. Граждане в полной уверенности, что новое правительство в единении с народом доведет войну до желательной победы».

За день до разоружения полиции в Сольвычегодске в уезд, в село Черевково, приехал для установления новой власти уполномоченный от Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов левый эсер Зиновьев⁸¹. Буквально в день приезда революционно настроенный Зиновьев напал на местного урядника, сорвал с него погоны, кокарду с шапки, отобрал шашку, сломал ее через колено и выбросил обломки в ручей. Восьмого марта в село Черевково, бывшее административным центром Черевковской волости, из Сольвычегодска пришла начальнику почты телеграмма, в которой предписывалось оповестить население волости о необходимости избрать волостное отделение Сольвычегодского временного комитета, который к тому времени уже начал работать в уезде.

Вологодские губернские ведомости в мае напечатали очередной именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам по Вологодской губернии, в который попали пятеро сольвычегодцев: старший унтер-офицер Пантелеев, подпрапорщик Лазарев, рядовые Стуков, Щипин и Ганев. Первые три ранены, а последние два убиты.

Первого июня образован Сольвычегодский уездный совет крестьянских депутатов. В исполнительный комитет этого съезда вошли шесть человек. Правда, как писала газета «Вольный голос

Севера», средств у этого комитета не было, а потому и работы в нем никакой не велось. В начале июля в Сольвычегодске при содействии инструкторов Вологодского общества сельского хозяйства организовалась уездная культурно-просветительная комиссия при земской управе, которая ставила своей целью постоянную и непрерывную работу по внешкольному образованию в уезде и, что было тогда ничуть не менее, а может быть и более важно, политическую подготовку населения к выборам в Учредительное собрание. В середине ноября выборы в Учредительное собрание в волостях Сольвычегодского уезда прошли и большинство крестьян проголосовало за эсеров. В середине мая начали набирать людей в штат сольвычегодской городской милиции и набрали два десятка человек, в основном из демобилизованных по болезни солдат. Не то чтобы инвалидная команда, но...

К концу лета семнадцатого года стало ясно, что продовольственный кризис того и гляди превратится в голод. Хлеба не хватало, и просто купить его, как раньше, в Вятской губернии было невозможно. Вятской губернии его самой не хватало. Зерно нужно было экономить и расходовать его, к примеру, на самогонование, но... сольвычегодские крестьяне расходовали. Как, спрашивается, не варить, когда еще в четырнадцатом году старыми властями был введен запрет на продажу крепкого алкоголя, а новые в ноябре впредь до особого распоряжения воспретили производство алкоголя и всяких алкогольных напитков.

«Вольный голос Севера» напечатал в августе семнадцатого года две заметки на тему самогонования в Сольвычегодском уезде. В первой, написанной солдатом по фамилии Волосков, было сказано, что «Несмотря на остроту продовольственного вопроса и тяжелое положение нашей родины, наши крестьяне продолжают варить “ханжу” (пиво) и делать самодельную водку – “самокурку”. С грустью приходится отмечать неотзывчивость населения к происходящим событиям и несочувствие в нужде своему же брату. С давних времен в волости установились летние праздники в роде: “Петров день”, “Прокопьев день” и т.д. И эти дни святых превращаются в сплошное пьянство, сопровождающееся дракой между собой. Особенно нынче отличился “Ильин” день 20 июля. В деревне Раменье, за малым исключением, все домохозяева наварили и накурили хмельных изделий вдоволь. Пьяных появилось много. На почве укрывательства от военной службы произошла драка, в итоге которой одного крестьянина избили до полусмерти, двоим нанесли тяжкие побои и выбили 17 шт. рам в окнах. А между тем, ведь фунт хлеба составляет большую ценность, а тут перегоняют на водку этот ценный предмет. Не преступно ли это? Пора, граждане, бросить забавлять себя этим скверным удовольствием. Для строительства новой жизни нужно знание. Вот над этим-то и следовало бы подумать. Нужно сознательное отношение к переживаемым событиям. К этому и надо стремиться. В волости при двухклассном училище организуется библиотека и читальня. Побольше проявляйте интереса к ней и почаще заглядывайте туда»⁸².

Вторая же под названием «Воззвание ко всем гражданам Сольвычегодского уезда» и за подписью председателя комитета Мальцева и секретаря Бурмагина напоминала крик души: «Обращаемся к вам, граждане с великой мольбой и искренним убеждением, и пусть наши слова не замрут бесследно в пустом воздухе, а найдут отзыв в ваших добрых сердцах. Самодержавие жестоких и бесчувственных правителей давало русскому народу поменьше школ, а побольше кабаков и полиции. И правительству вместе с помещиками-капиталистами выгодно было держать нас в темноте и невежестве как в хлев с завязанными глазами. Оно властно повелевало закрывать народные газеты, уничтожало хорошие книги; лучших людей – борцов за народное право – сажало в крепости и гноило там по десяткам лет, всячески издеваясь над мучениками за истину. Ни библиотек, ни собраний – ничего нельзя было устроить и образовать. С глупым, ехидным чувством чванством оно приказывало: “плати подати и не смей рассуждать!”. И народ не смел рассуждать даже о самых необходимых улучшениях своей жизни, в постоянном молчании замирал и переставал думать... И с горя, и от безмолвия продолжал тянуть “никалаевскую”.

А теперь ведь, граждане, не то. Зловонная власть царя и его приспешников сброшена. И солдат, и рабочий, и люд крестьянский стали свободными. Величественно разлетается по Руси

свободное слово крестьянской печати. Множество книг расходуется и почитывается; в книгах открывается вся правда, особенно про бывших наших поработителей. Открываются библиотеки и народные дома для разумных развлечений, для поучительных беседований. Вы, граждане, сами теперь можете разобраться во всем окружающем и сознательно относиться к устройству новой жизни; да много есть и хороших людей, которые помогут вам в создании лучших, новых порядков. Всякую свободную минуту вы можете употребить на пользу себе. Довольно, граждане, забавляться и отравлять свою жизнь “ханжой” и “самокуркой”. Тяжело чувствовать это в настоящее время, когда каждый фунт муки на учете, когда каждый час дорог для полезной работы. Бросьте эту привычку; это царское самодержавие приучило вас проводить время в безсознании. Это безсознание было выгодно врагам народа. Бессознательный народ не мог требовать отчета в делах своих гнусных правителей. Граждане! Берегите муку на здоровое продовольствие, а время не на выгонку “пьяных зелий”, а на строительство своей счастливой новой жизни!»

В декабре Вологодские губернские ведомости напечатали «Циркуляр начальникам вологодской городской милиции и всем уездным. В Губернском Правлении получено требование Вологодской Казенной Палаты о розыске недоимщика Великобританского подданного Чарльза Лангфорда, производившего лесные заготовки в Березонаволоцкой волости Сольвычегодского уезда и принадлежащего ему имений и капиталов, на предмет числящихся за ним недоимок». В самом конце декабря уездный член Великоустюгского окружного суда через губернские ведомости вызывал наследников к имуществу, оставшемуся после умершего в октябре семнадцатого года Сольвычегодского второй гильдии купца Прокопия Васильевича Хаминова. Сами Вологодские губернские ведомости умерли в декабре этого же года.

Мобилизация социалистически настроенных трудовых масс

О том, что власть в Петрограде перешла в руки большевиков, в Сольвычегодске и уезде узнали из телеграфных сообщений. Газеты добирались в эти края не меньше недели. Встретили новую власть спокойно. В начале января восемнадцатого года в Сольвычегодске прошел Третий Чрезвычайный уездный съезд крестьянских депутатов, признавший, что власть в стране должна быть сосредоточена в руках рабоче-крестьянского правительства, возглавляемого ЦИК Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. И его исполнительного органа Совета народных комиссаров. Вся полнота власти в уезде должна принадлежать Совету, которую он осуществляет с настоящего момента, и все граждане должны подчиняться его решениям. Вместе с тем съезд приветствовал и созыв Учредительного собрания, поскольку это было требование как рабочих, так и крестьян. Съезд постановил объединить советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а в волостях организовать советы крестьянских депутатов. С конца января по конец августа восемнадцатого года большевики эти советы крестьянских депутатов и организовывали. Точнее сказать, переименовывали теперь уже устаревшие и не соответствующие требованиям текущего момента земские управы в советы крестьянских депутатов.

В самом конце января на совещании по закупке хлеба при продотделе Сольвычегодского уездного земства, которое пока еще существовало, было решено командировать в Сибирь уполномоченного земства Долинину и заведующего продотделом Пузырева для закупки хлеба по любой цене. До первого июня необходимо было купить в Сибири как минимум полсотни вагонов зерна. В противном случае городу и уезду грозил голод и, как следствие, беспорядки.

23 февраля в Сольвычегодске открылся уездный съезд Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. Начался он с того, что председатель собрания зачитал известный декрет Совета Народных комиссаров РСФСР о том, что «Социалистическое отечество в опасности», изданный в связи с начавшимся наступлением 18 февраля германской армии. Съезд постановил поддержать народное правительство и немедленно приступить к формированию отряда Красной армии в уезде для обороны страны. С сообщением об этом была отправлена телеграмма в Петроград. Тут же, на съезде, была избрана комиссия для безотлагательного формирования такого отряда. Во второй

телеграмме Сольвычегодский съезд Советов извещал центральные власти о том, что «Сольвычегодский уездный съезд Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов стоит на точке зрения меньшинства ЦИК и полагает, что мобилизация социалистически настроенных трудовых масс даст должный отпор германским империалистам и этим самым пробудит революционное движение среди рабочих и крестьян всех стран». На том же съезде было принято решение об уменьшении нормы продовольствия до 25 фунтов хлеба в месяц и о реквизиции всех имеющихся сверх нормы запасов. В волостях это решение энтузиазма не вызвало. К примеру, крестьяне Нижнетоемской волости после того, как заслушали постановление съезда на своем собрании, решили: «так как... в волости имеется недостаток хлебных запасов, то ввиду излишних расходов по переписи одного и того же хлеба уже 3 раза, больше переписать не производить, т.к. ввиду недостатка хлебных запасов реквизиции никакой быть не может».

Четырнадцатого марта, когда до весеннего сева оставалось полтора месяца, в продовольственный комитет Сольвычегодского уезда из Вологды пришла телеграмма с известием о том, что Вятская, Пермская и Уфимская губернии отказали в семенном материале вологодским представителям. «Организуется забастовка Сибири, надежды получения потребного количества слабы. Примите меры перераспределения местных семян. Губпродком». Такая телеграмма уездные власти, мягко говоря, не обрадовала. В тот же день в Сольвычегодске решением Сольвычегодского городского Совета рабочих депутатов городская дума, учрежденная еще по указу Екатерины Второй, как орган местного самоуправления, была упразднена. Все ее обязанности и полномочия перешли к городскому Совету рабочих депутатов. Городскую управу оставили в прежнем составе, и она должна была работать до тех пор, пока Совет посчитает это необходимым, а уж после решения о роспуске ее обязанности будут возложены на новый исполнительный орган.

Съезды следовали один за другим. 23 мая открылся Второй съезд Советов крестьянских и рабочих депутатов совместно с представителями организаций Сольвычегодского уезда. Съезд открыл избранный на первом съезде первый председатель Сольвычегодского уездного исполкома Василий Николаевич Скорняков, который признал, что финансовое и экономическое положение уезда тяжелое, что население относится к советской власти в лучшем случае недоверчиво, а в худшем просто враждебно, что от уплаты подоходно-прогрессивного налога население некоторых волостей отказалось наотрез. Часть населения просто голодает, не имея ни хлеба, ни денег на его покупку. Власти, конечно, помогали голодающим как могли, а могли они с помощью постоянных реквизиций хлеба у зажиточных граждан и пособий от уездного продотдела. Реквизиции порой проводились на местах самовольно и напоминали обычные грабежи, в результате которых продукты тайком вывозились и продавались. Конфискованные у частных владельцев, у церкви и казенные земли поставили на учет и поделили. Уравнительно, конечно, поделили. У тех, у кого земли было мало или очень мало, она наконец появилась, но беда была в том, что оставленное на семена зерно часто размалывалось в муку, и поэтому сеять было просто нечем. Само собой, что при такой раздаче земель конфликты между волостями и частными землевладельцами происходили куда чаще, чем властям хотелось бы.

На съезде ряд депутатов выступил с предложением создать уездную газету, которая была бы печатным органом Сольвычегодского уездного Совета крестьянских и рабочих депутатов. Предложение поддержали единогласно, и уже в июне сольвычегодцы держали в руках первый номер уездной газеты «Свободный край». Это был один лист серой оберточной бумаги очень плохого качества, но это была первая в истории Сольвычегодска газета, выходившая раз в неделю, пусть и небольшим тиражом. К концу ноября восемнадцатого года газета, сменившая к тому времени название на «Голос бедняка», выходила уже два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Вернемся к съезду и к проблемам, которые на нем обсуждались. Состояние дорог в уезде, и без того не очень хороших, за время перехода от старого мира к новому стало хуже некуда. Не хватало медикаментов и медицинского персонала, а вот заразных болезней было более чем достаточно, поскольку лечить было некому. Прошли и второй, и третий, и четвертый съезды Советов, а ситуация в уездном здравоохранении оставалась прежней.

Из доклада заведующего уездным отделом здравоохранения на Пятом Съезде Советов Крестьянских, Рабочих и Красноармейских Депутатов и представителей различных организаций Сольвычегодского уезда в июне девятнадцатого года: «Развитие эпидемических заболеваний вследствие заноса эпидемии приезжающими больными солдатами и на почве голода. <...> Особенно в последнее время участились заболевания сифилисом, занесенным в деревни приезжающими солдатами. Для сифилитиков предположено открыть барак в селе Черевково. Особенно трудно было работать в борьбе с заразными болезнями медицинскому персоналу оттого, что не было совершенно перевязочных средств. Так как население было занято перевозом военного транспорта и когда нужна была необходимая помощь немедленно, приходилось ждать лошади и день и два. Медикаментов в больницах и фельдшерских пунктах ощущается большой недостаток, да и достать их сейчас очень трудно, это ставит в трудное положение при лечении больных. Продовольственное положение больниц плачевное в связи с недостатком продуктов питания в Упродкоме и невозможностью закупить таковые на местах. <...> Оплата труда медицинским работникам производилась не очень аккуратно, но в последнее время с переходом расходов по медицине на государственный счет, удовлетворение содержанием происходит без задержки».

Из доклада заведующего ветеринарным отделом: «Работа направлена к прекращению эпидемических заболеваний скота, занесенных прибывшими с фронта лошадьми и на борьбу с заболеваниями, возникшими от плохого питания. Указывая на громадную убыль скота от частых реквизиций военными властями и гибелью от перевозки транспорта, докладчик предлагает обратиться в центр с ходатайством об освобождении нашего уезда от дальнейших реквизиций скота и мобилизаций конского состава».

С народным образованием в восемнадцатом году все обстояло немногим лучше, чем со здравоохранением – в уезде не хватало школ и училищ⁸³. Газета «Северное эхо» в апреле восемнадцатого года писала: «Продовольственная неурядица больше всего отразилась на учащихся. Угрожающий городу в апреле голод поставил перед педагогическими советами дилемму: продолжать занятия до Пасхи, рискуя заставить учащихся голодать в буквальном смысле слова, либо в ущерб законченности и цельности курсов отпустить учащихся по домам на месяц ранее. Пришлось признать Сольвычегодск угрожаемым “по голоду” и, скрепя сердце, поставить на первый план требования желудка, а не педагогики. Возможность скорого наступления весенней распутицы, лишающей главный контингент учащихся детей крестьян из уезда сообщения с домом и доставки “харчей”, явилась не менее важным мотивом для необычно раннего отпуска. Как можно судить уже теперь, эта мера крайне нецелесообразная с педагогической точки зрения, оказалась весьма благоразумной. Весна наступила дружная. Дороги почернели и рыхлый снег проваливается даже под ногами пешеходов, не говоря уже о лошадях. Цены на подводы заиграли: за провоз на одной лошаденке берут до ста двадцати рублей за шестьдесят верст. Порча пути отразилась и на обычном благовещенском “торжке” – маленькой ярмарке. Нет подвоза продуктов из дальних деревень, а привезенная ближними крестьянами снедь берется нарасхват по очень высоким ценам изголодавшимся обывателям».

Несмотря на сложности с дорогами и продовольствием, 19 мая в Сольвычегодске начал свою работу учительский уездный съезд, на который прибыло свыше двухсот пятидесяти участников. Большая часть из них пришла пешком, некоторые спустились в лодках по бурной и многоводной в это время Вычегде. Обсуждали отделение церкви от государства, преподавание истории и естественной истории в начальной школе, краткосрочные учительские курсы, выбирали делегатов на разные съезды и в губернский совет по народному образованию. О том, о чем не говорили вовсе или почти не говорили, написал корреспондент «Северного Эха», присутствовавший на съезде: «Доклады с мест лишний раз подчеркивают “мягкотелость” нашего интеллигентного учителя. В первую голову они говорят о необходимости поднять экономическое благосостояние деревни и улучшения таким путем жизни населения, затем о необходимости создать духовные ценности и повысить культурный уровень учительства, для чего последнее, уделяя крупные сравнительно отчисления из своего грошового жалованья на выпуск педагогических журналов, книг и газет,

организовывало особые библиотеки, устраивало групповые собрания, на которых читались доклады и рефераты. И только вскользь, как бы стыдась, докладчики отмечают “плачевное” материальное положение учащихся, которым и земство заработной платы не шлет, и крестьяне в долг не дают и не верят.

В пояснение того, что принято называть “плачевным положением учительства”, должен указать, что местами дети учащихся идут “в кусочки” (нищенствуют), местами учащие просят обучающую ими мелюзгу принести им хлеба и крупы, так как иначе они не в силах будут вести преподавание, местами по окончании учебного дня сами учащие идут по деревням собирать съестные продукты для пропитания себя и семьи! Такое положение вещей начальный учитель называет лишь “плачевным” и ропщет про себя на горькую судьбу, полуголодный и оборванный он мечтает о самоусовершенствовании и создания экономического благополучия и умственного развития деревни».

И еще о съезде. Жители Сольвычегодска приехавшим школьным работникам были совсем не рады, воспринимая их как лишние рты. Горожан можно понять, если учесть ситуацию, в которую попал Сольвычегодск весной восемнадцатого года.

29 мая в Сольвычегодске закончил свою работу съезд лесных специалистов уезда. На съезде выяснилось, что за время революционных событий было вырублено с нарушением всех планов лесоустройства свыше полумиллиона строевых бревен. Вследствие этих вырубок лес оказался засорен ветками срубленных деревьев, что грозило масштабными лесными пожарами. Для расчистки леса требовалось триста тысяч рублей и не менее шестисот человек добавочной лесной стражи. Впрочем, и с той лесной стражей, что уже имелась, было не все благополучно. Старую, которая работала еще при царе, уволили и набрали новую, но оказалось, что в новую стражу попал элемент, настолько неподготовленный к выполнению стоящих перед ним задач и настолько неблагонадежный, что впору было защищать лес от него.

Голод неотвратимо приближался, и городские власти лихорадочно искали средства для закупки продовольствия. Еще раз процитируем сольвычегодского корреспондента Северного эха: «Проявил признаки жизни и недавно захвативший в свои руки городское хозяйство исполнительный комитет городского хозяйства. “Отцы города” решили призвать горожан к взносу 70000 рублей на покупку муки. Нельзя не отметить значительности этой суммы для маленького Сольвычегодска, насчитывающего вряд ли свыше 2000 душ. Взносы на покупку хлеба были установлены двоякие: невольные и добровольные. Первыми из них облагались более зажиточные, вернее, признанные таковыми комиссией городского совета, обыватели. Число их достигало внушительной цифры 126 человек. Признаки, по которым комиссия отделяла козлищ от овец, точному определению не поддаются. Размер ссуды городскому управлению был определен в 45 руб. в год на едока, так, что лицам много семейным, даже из числа получающих приличное сравнительно содержание в 400–500 руб. в месяц, уплата ее в установленный двухнедельный срок оказалась не по силам. Комиссия постановила у уклоняющихся от платежа брать суммы с книжек сберегательной кассы и даже описывать и продавать имущество. Однако и при этих энергичных мерах приток средств в пустую кассу города не превысил 16000 рублей. Где и как будет добыта остальная сумма, неизвестно. Поговаривают о предстоящем обложении некоторых лиц, располагающих капиталами свыше 5000 руб. Вряд ли, однако, и этим путем удастся сколько-нибудь значительную сумму. Недовольство в городе общее, а неуверенность в возможности получения хлеба взамен внесенной “ссуды” от городского самоуправления мало способствует устранению обывательского брюзжания».

Нужно сказать, что власти не только описывали и продавали имущество богатых сольвычегодских граждан, нежелающих платить взносы на покупку муки, но и отправляли некоторых из них посидеть в тюрьму и подумать над своим поведением. Кроме того, был введен налог в пользу безработных, которых в Сольвычегодске, если не считать тех, кто не хотел работать, вовсе не было.

Теперь об обычной, не связанной со съездами, жизни города в восемнадцатом году. Она, несмотря на голод, отсутствие промышленных товаров, выросшую преступность, национализацию

купеческих домов, пароходов и гражданскую войну, была. Обратимся к одной из заметок сольвычегодского корреспондента «Северного эха», напечатанной в газете в конце мая восемнадцатого года: «<...> А так как денег в Сольвычегодске по-прежнему тратить не на что, то процветает теперь наш клуб, где идет крупная картежная и бильярдная игра, и чуть не ежедневно устраиваются спектакли в нашей чайной. Театральная публика у нас теперь новая: те, кто раньше занимал первые ряды – те теперь сидят дома или берут входные билеты, а первые места занимают кавалеры и барышни “с почты”, пристроившиеся к новой власти учителя и прочая “чистая” публика новой формации. Интеллигентный пролетариат съезжил и потихоньку вздыхает о своем былом довольстве, да понемногу распродает то, что успел скопить за прежние годы. Благо, цены на все стоят высокие, так как капиталисты наших дней не привыкли пользоваться деньгами и бросают их, как и куда попало. На днях только продан был трехрублевый будильник за 35 рублей <...> а дамские часики за триста. Кто не хочет покупать – прибегают к старинному способу приобретать вещи – просто крадут. И новая власть бессильна прекратить редкое прежде воровство. А воры наглеют с каждым днем».

Между дорогими дамскими часами за триста рублей и созданием комитетов деревенской бедноты втиснем сообщение о том, что в середине июня была организована Северо-Двинская губерния с центром в Великом Устюге. В нее вошло пять уездов, среди которых был и Сольвычегодский.

Теперь о комитетах бедноты, которые стали создавать в уезде по решению Сольвычегодского исполкома в середине июля. Понятно, что не всем в уезде это понравилось. Зажиточные крестьяне и часть деревенской интеллигенции была против. Поскольку рупором этих настроений была беспартийная газета «Сольвычегодский листок», власти ее немедленно закрыли. Поскольку обстановка была, мягко говоря, тревожной, уездный исполком ввел в городе и уезде военное положение и оповестил об этом граждан объявлениями, привел в состояние боевой готовности расквартированные части Красной армии и милиции. Повод для тревоги был серьезнее некуда – второго августа англичане высадились в Архангельске, в котором накануне ночью произошло восстание. Советской власти пришлось из города срочно эвакуироваться. Известие о белогвардейском перевороте достигли до Сольвычегодска и уезда буквально через пару дней. Настроения в разных волостях уезда были разные, но в целом крестьяне остались спокойными и никаких сколько-нибудь заметных выступлений против Советской власти летом восемнадцатого года не было. Военных действий на территории Сольвычегодского уезда не велось. Правда, в государственном архиве Архангельской области сохранилось сообщение Сольвычегодского уездного военкома о том, что на территорию уезда в конце августа залетал вражеский аэроплан, который был обстрелян нашими пароходами. Вот, собственно, и все военные действия.

В середине сентября в Сольвычегодске прошел Третий съезд Советов крестьянских и рабочих депутатов и представителей организаций Сольвычегодского уезда. На съезде постановили немедленно приступить к организации комбедов с тем, чтобы они взяли на учет излишки урожая и не спускали глаз с кулаков; начать формировать продотряды и коммуны; объявить мобилизацию буржуазии для рытья окопов и подсобных работ. Обстановка в городе и уезде была спокойной, насколько возможно в тех обстоятельствах. Открытой антисоветской агитации нигде не велось, крестьяне северных волостей уезда вблизи границы Архангельской губернии оказывали частям Красной армии поддержку в борьбе с англо-французскими интервентами и белогвардейцами. Мобилизация молодежи и даже буржуазии по всем волостям проходит успешно. В конце октября в Сольвычегодске был организован Реввоенсовет, председателем которого стал уездный военком, а членами председатель уездного исполкома и председатель уездной ЧК.

Декрета вашего не признаю

Тринадцатого ноября в Сольвычегодске был расстрелян настоятель Сольвычегодского Введенского монастыря игумен Леонид (Молчанов). 29 октября того же года Сольвычегодская ЧК,

рассмотрев следственное дело о. Леонида, постановила: «В связи с непризнанием настоятелем Введенского монастыря Леонидом (Молчановым) советской власти <...> принимая во внимание, что настоятель сам создается в непризнании власти <...> и упорно отказывается исполнить просьбу городского исполкома, за нанесение оскорбления учреждению, кроме того, Леонид (Молчанов) открыто агитировал с амвона против советской власти, а потому расстрелять».

Все началось с требования Сольвычегодского исполкома составить в двухнедельный срок в трех экземплярах инвентарную опись храма и принадлежащего ему имущества, предназначенного для богослужбных и обрядовых целей, опись прочего церковного имущества – домов, земель, свечных заводов тому подобных доходных имуществ, в чем бы они не заключались, описи церковных капиталов и метрические книги за все годы, что хранятся в церкви. Требование это возникло после того, как еще в январе восемнадцатого года советская власть издала декрет об отделении церкви от государства. По этому декрету все церковное имущество объявлялось народным достоянием и переходило в руки советской власти. Сольвычегодские власти толком и не знали о том, какое имущество принадлежало Введенскому монастырю, а потому запросили у игумена его опись. Поначалу о. Леонид не отвечал на запрос и просто тянул время, надеясь, что новая власть долго не продержится, и его можно было понять, учитывая обстановку на фронтах к осени восемнадцатого года, но когда посыльный из исполкома в третий раз принес требование составить опись церковного имущества, ответил письмом: «Богоотступникам и врагам Церкви Христовой, опомнитесь осатанелые, сами пишете, что церковь отделена, так не дерзайте касаться Священного, вам мало того, осатанелые, что грабите и убиваете невинных людей, еще восстаете против самого Бога, закон Божий изгоняете, святые иконы из школы и дома, которые вы заняли, выносите. Вы забыли, проклятые, что вы дети христиан, вас малолетних по обряду христианскому приносили и приводили в Святую Церковь, приобщали Святых Христовых Тайн. Я ожидал вашего покаяния и исправления, а вы восстаете на большее зло. Помните мои слова, еще не перестанете разорять Церковь Христову, то скоро вас Господь накажет. Я признаю над собой начальство духовное Патриарха и епископов православных, а вам не подчиняюсь, богоотступникам, врагам Христа моего, и декрета вашего не признаю».

Получив такой ответ, сольвычегодские власти обратились к местным чекистам, которые немедленно вызвали о. Леонида на допрос, на котором игумен Введенского монастыря не только повторил свои слова о непризнании декретов советской власти, но и сознался в том, что выступал в церкви с проповедями против нее. Уже на следующий день после допроса Сольвычегодская ЧК, рассмотрев дело о. Леонида, вынесла расстрельный приговор. Губернская ЧК этот приговор утвердила и постановила, чтобы он был приведен в исполнение немедленно, что и было сделано рано утром тринадцатого ноября.

Расстрел игумена Введенского монастыря был не единственным случаем расстрела священнослужителя в Сольвычегодском уезде. Уже упоминавшаяся газета «Голос бедняка» писала в июне восемнадцатого года: «Северо-Двинский Революционный трибунал в открытом судебном заседании в городе Сольвычегодске 2 июня 1919 года <...> рассмотрев дело о священниках Александре Голубцове и Авраамии Петропавловском, обвиняемых в контрреволюции, определили: подсудимый Голубцов виновен в том, что в августе месяце 1918 года вел среди населения волости агитацию с целью внести возмущение среди масс, восстановить население против Советской власти, ету⁸⁴ агитацию он вел во время исполнения религиозных обрядов, то есть с целью воздействовать на массы во вред Советской власти под влиянием религиозных чувств. Виновен Голубцов в том, что не подчинился законным требованиям агентов Сольвычегодского Упродкома о выдаче излишков скота для армии и призывал население волости не давать скота для Красной Армии с определенной целью принести этим пользу бандам белогвардейцев и этими преступными действиями он восстановил массы деревни против реквизиции скот, внес возмущения в массы и вследствие чего его возмущение вылилось в открытое выступление крестьян против агентов по реквизиции скота, угрожавших убить агентов, что могло повлечь за собой невинные жертвы. Голубцов своими призывами призывал к открытому выступлению, задавшись определенной целью

свержения власти Советов, способствуя приходу белогвардейцев, также нарушил планомерность снабжения продовольствием красных бойцов на фронте, отстаивающих интересы крестьян и рабочих в силу чего в Вилегодского района реквизиция скота была далеко не в целом выполнена. Виновность священника Петропавловского в контрреволюции не установлена. Революционный трибунал приговорил священника Богоявленской церкви, Сольвычегодского уезда Александра Александрова Голубцова подвергнуть высшей мере наказания расстрелять. Священника Богоявленской церкви Авраамия Петропавловского за недостаточностью обвинения по сему делу считать оправданным».

Сольвычегодские власти отделяли церковь от государства и от верующих как могли, используя для этого все доступные им средства. Одним из таких средств стала газета «Голос бедняка», в которой довольно часто печатались материалы, дискредитирующие священников. Протицируем лишь малую часть из таких публикаций. В январе девятнадцатого года корреспондент «Голоса бедняка» под псевдонимом «Земляк» писал: «Наши Сольвычегодские попы все-таки соблюдают централизм своей власти; о начальстве своем пекутся и подчиняются ему. Они заботятся о своих желудках, но и не забывают желудки своего начальства. Как же, ведь они погибнут, не получая ни откуда дохода. Во всех приходах гор. Сольвычегодска образовались общины верующих граждан. На общих собраниях общин обсуждался вопрос об оплате труда служителям церкви. Решено платить по пятьдесят копеек с каждого верующего члена семьи в месяц. Вот тут-то наши попы и позаботились о желудках своего начальства архи-попов. Они испросили у граждан еще... единовременное пожертвование по сорок копеек с члена семьи архиерейских, то есть на содержание бедных, сирых, убогих толстопузых епископов и т.д.; всей етой преступной братии. Граждане, конечно, забыв, что у поповского начальства еще не прожито нагробленное ранее добро, не прожиты деньги, получаемые раньше десятками тысяч рублей ежемесячно, с предложением наших попов согласились и вносят единовременные по сорок копеек с человека архиерейских. Очень жаль, что вы, товарищи бедняки, поддаетесь на удочку мракобесов. Подумайте хорошенько – за что вы вносите по сорок копеек? За что? За то, что они архиереи? Для того, чтоб они продолжали жить на ваши деньги, сидеть этим жирным канальям на вашей шее? Не давайте им ничего, пусть зарабатывают сами, если им нечего жрать. Местным попам вы плотите за труд, а архипопам-то за что? Подумайте и откажите им в етой помощи».

Еще одна заметка на ту же тему, названная «Поп обжора» от корреспондента под псевдонимом «Свободолюбивший», напечатанная уже в октябре. «Собранием общины верующих Верхне-Уфтыгской Троицкой церкви, постановлено брать с граждан в пользу бати означенного прихода, по четыре фунта хлеба с каждого душевого надела. Всех душевых наделов в приходе более 2350. Следовательно, наш батя получит 235 пудов хлеба. Кроме того, он еще, кажется, получает хлебную норму по 30 фунтов в месяц. Напрасно община верующих так рискует хлебом, не так-то много хлеба на Уфтыге у бедных мужичков. Насколько мне известно, весною сего года в Июне месяце, наши мужички голодали, получая хлеба по два фунта в неделю на человека, а теперь попу хотят вбить в один день это. Серьезно лопают батя Верхне-Уфтыгской волости. Следовало бы побеседовать Уфтыгской ячейке с мужичками о грабительской потачке общиной верующих».

Заканчивая разговор об отношениях новой власти к церкви в годы Гражданской войны, приведем два удивительных документа, датированных январем двадцатого года. Документы представляют собой копии протоколов граждан Горковской волости Сольвычегодского уезда о выборе священника в храм Преображения Господня, хранящиеся в архиве Сольвычегодского историко-художественного музея.

«Протокол №1, 1920 года января 7 дня. Мы, нижеподписавшиеся граждане Горковской волости Сольвычегодского уезда Северо-Двинской губернии, собравшись в своем храме Преображения Господня и обсудив вопрос о церкви и священнике, постановили: образовать при Мало-Пинежской Спасо-Преображенской церкви свободную, независимую от Патриарха, Архиерея и Епархиального Совета «Общину верующих» и избрали: священником гражданина Якова Яковлева Куклина. Обещаемся содержать нашу Св. церковь и служителей ея, а выбранного пастыря

защищать во всех обстоятельствах. Свидетелем нашего обещания ставим Всемогущего Бога. – Председатель. Граждане: (следуют подписи). <...>

Протокол №3, 1920 г. января 25 дня. Мы, нижеподписавшиеся граждане Горковской волости Сольвычегодского уезда Северо-Двинской губернии, прихожане Мало-Пинежской Спасо-Преображенской церкви, сего числа в своем храме у службы слушали бумаги, посланные на нашу церковь благочинным, которые при сем прилагаются, и были возмущены такой дерзостью к нашему народу и нами поставленному Священнику. Мы граждане и прихожаня, избрали и поставили служить в нашем храме священника и не признаем никакого Патриарха, Архиепископа и Епархиального Совета, нам дорог народный свой священник. Мы защитим его от духовного толстопузого зверя, никто не в праве закрыть наш храм, кроме Советской власти. Как церковь наша есть народное достояние, мы просим Вас, наш дорогой товарищ Владимир Ильич, глава нашей республики, защиты у Вас от этих духовных зверей, которые в лицах Патриархов, Архиепископов и прочей своры рассылали послания и проклятия большевикам по церквям, которые попали и в наш приход. Наш же избранный народный священник Яков Яковлевич Куклин стоит за Советскую власть, при богослужении неоднократно молится вслух о здравии Советского правительства, а также и мы прихожане, стоим и стараемся помогать Советской власти всеми силами. У нас ныне фронт, мы возим военные грузы, укрепляем позицию от белых банд. Мы верим в Бога, сотворившего все, и радуемся науке и изобретениям, процветающим под управлением Советской власти. Нами избранный и поставленный Священник есть бывший нас псаломщик, который служил у нас в приходе 15 лет, и мы хлопотали о его посвящении пред Архиепископом Великоустюжским, даже посылали, чтобы он его посвятил, самого налицо Архиепископа, но не могут же наши Патриархи и Архиепископы, разве им на руку бедные псаломщики: приехал ни с чем наш псаломщик, нынешний Священник народный. И мы решили сами его поставить, а от Патриархов, Архиепископа и прочей своры теперь отрекаемся раз и навсегда. Новый священник нами избранный, служит прекрасно, лучше бывших всех архиепископских ставленников, и мы все им довольны. Просим Вас, дорогой Владимир Ильич! Положите на этом нашем прошении свою властную товарищескую резолюцию в том, чтобы духовные палачи более не беспокоили нашу "Малопинежскую общину верующих", а также и нашего избранного народного Священника Я.Я. Кукулина. Чтобы они, ставленники Царские и Архиепископские, к нам более не лезли со своими достоинствами перед Богом. А также просим Вас, Владимир Ильич, возвратить это наше прошение с наложенной Вами резолюцией нам в скором времени. Мы, "Община верующих", будем гордиться Вашей драгоценной резолюцией. Ждем с нетерпением Вашей резолюции. Просим послать по следующему адресу: Верхне-Тоемское п.о. Сольвычегодского уезда Северо-Двинской губернии в Горковскую волость Мало-Пинежской Спасо-Преображенской общине верующих. При сем прилагается церковное постановление в копии об избрании Священника Я. Я. Кукулина, а также бумаги благочинного. (Следуют подписи)».

Дворец Искусств

Теперь о новостях культуры. Несмотря на войну всех со всеми, голод, расстрелы, продразверстку и разруху, они были. Еще в декабре восемнадцатого года в Сольвычегодске был организован Подотдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины. У этого Подотдела появляется молодой и энергичный заведующий – Илья Иванович Томский⁸⁵, по предложению которого и был создан Подотдел. Всего за год Томский мало того что сумел организовать учет памятников старины в городе и уезде, провести огромную работу по их фотофиксации, организовал перевоз архивов городской управы, духовного правления и казначейства на безопасное хранение в каменное здание, реставрационные работы в Благовещенском и Введенском соборах, так еще и обосновал необходимость создания в Сольвычегодске музея, который был открыт первого мая девятнадцатого года на базе древлехрамения Благовещенского собора. И это при том, что в Сольвычегодске в то время не было ни специалистов по музейному делу, ни искусствоведов. Энергии Томского хватило еще и на то, чтобы написать две брошюры: «Памятку о достоприме-

чательностях гор. Сольвычегодска» и «Синодики Сольвычегодского Благовещенского собора», которые были отпечатаны в местной типографии и продавались в музее всем желающим, устроить выставку картин художников-любителей и фотографий, с целью, как писал сам Томский, «содействовать развитию в массах эстетического чувства» и... тут лучше всего привести фрагмент из отчета Томского о работе Подотдела по музейным делам и охране памятников искусства и старины за девятнадцатый год: «Кроме этого, Подотделом был приглашен техник для обследования через простукивание стен подцерковий собора. Последнее было вызвано распоряжением Уездного Исполнительного Комитета отыскать подземный ход, о котором существуют предания и есть некоторые указания в литературе. Простукивание обнаружило существование замурованных тайников. Один из них частично вскрыт. Он состоит из двух отделений. В нем кроме щебня и мусора ничего не найдено. Подотдел указанную работу вел с необходимой осторожностью, выжидая приезда архитектора-специалиста». Стало быть, не давали спокойно спать строгановские сокровища уездному исполкому.

Нужно признать, что культурная жизнь в Сольвычегодске и даже в уезде в первые годы советской власти была ключом – спектакли, концерты, живые газеты, лекции... Одних только театральных секций в Сольвычегодске было семь – при уездном отделе народного образования, при клубе Красной Армии, при клубе моряков, при городской организации РКСМ, при уездном бюро профсоюзов, при школе второй ступени и даже при местном почтовом отделении. И это не считая любительских театральных кружков в волостях. Конечно, в этих кружках и секциях, как правило, не было профессиональных режиссеров, да и откуда им взяться в такой глуши, катастрофически не хватало декораций, грима, костюмов, париков, и все же... «Спектакль устраивался местными молодыми товарищами д. Метлино. Среди их было несколько мальчишек-учеников. Поставлены были весьма курьезные вещишки собственного произведения играющих, которые очень интересовали присутствующих граждан деревни Метлино и из окрестных деревень. Большинство зрителей составляли женщины и дети, было несколько старушек. Как-то радостно было при виде такой картины, когда маленькие детишки, женщины-старушки и молодые девицы с большим вниманием относились к разумному развлечению. Главное несмотря на то, что была страшная теснота в помещении, порядок был образцовый, ни шуму, ни спору. Все внимание присутствующих было устремлено на сцену. Спектакль устраивался в простой крестьянской избе, немного декорированной. На играющих были гримы. Все это изготовлено ими же. Радостно, весело делается при виде брата крестьянина, недавно бывшего забитым, униженным, к самообразованию, самопросвещению, когда видишь своего темного брата крестьянина, стремящегося к свету. Заметно, как изменилась деревня за это очень короткое время, за год революционной борьбы, у нас на севере. Вспомним этот день 7 января хотя бы прошлого 1917 года. Совсем тогда было иное. В прошлом годе в сегодняшний день, как мне помнится, молодые люди деревни Метлино с утра занялись картежной игрой на деньги, даже дети играли и так продолжалось ежедневно, чуть ли не до половины января. Теперь же, как мы видим, товарищи метлинцы решили провести праздник совершенно иначе. На спектакле я узнал, что тов. Метлинскими актерами будет устроено несколько таких спектаклей – завтра, послезавтра и т.д. Приветствую Вас товарищи актеры Метлинцы, инициаторы этого великого святого дела. Желаю Вам продолжать это великое дело с успехом».

Еще одна заметка из «Голоса бедняка» под названием «На пути к свету и знаниям», но уже за январь девятнадцатого года: «Благодаря энергии и работе культурно-просветительных сил начинают просыпаться темные народные массы в самых отдаленных уголках нашей страны и охотно идут к свету и знанию. Этот луч света проник и к нам в Верхотальскую волость. Сегодня 30 марта сего года в ней открытие Народного дома имени Розы Люксембург. <...> Был устроен митинг, на котором выступали с речами представители от волостного исполкома, культурно-просветительного общества и от учащихся. Много говорили о пользе народного дома и о текущем моменте. Когда выяснилась печальная жизнь Розы Люксембург, то на лицах всех присутствующих была непритворная грусть. Заключительные слова о смерти Розы Люксембург вызвали вставание всех и пение похоронного марша. Во время митинга был пропет «Интернационал». После митинга

местной интеллигенцией была поставлена пьеска «Дорогой поцелуй». Как митингом, так и спектаклем посетители были очень довольны, что было видно из того, что за все это время соблюдался порядок и тишина, а уходя из Народного дома изъявляли желание почаще бывать на таких митингах и спектаклях»⁸⁶.

В самом Сольвычегодске в середине декабря восемнадцатого года Внешкольным отделением Сольвычегодского уездного отдела просвещения был устроен тургеневский вечер, половина дохода от продажи билетов на который пошла на Тургеневские пособия нуждающимся учащимся, а вторая половина – книжному магазину «Просвещение» на приобретение сочинений Тургенева для Сольвычегодской Советской Публичной Библиотеки, библиотеки реального училища и гимназии. Конечно, пройди такой вечер в Великом Устюге, а тем более в Вологде, может никто и не заметил бы, но Сольвычегодск не Великий Устюг и, тем более, не Вологда. В нем ни тургеневских вечеров, ни книжного магазина «Просвещение», да и вообще книжного магазина до той поры не было вовсе⁸⁷.

Не забывали сольвычегодские власти и о монументальной пропаганде. В августе двадцатого года в газете «Голос бедняка», которую к тому времени переименовали в «Борьбу и труд», было напечатано следующее объявление: «Обязательный субботник. Президиум Уездисполкома и Укомтруд обязывают всех граждан и Советские учреждения города Сольвычегодска, имеющих лошадей, прибыть на дрогах с коробами 23 августа (понедельник) к 7 часам вечера на сборный пункт к пожарному двору для подвозки строительных материалов для постройки памятников – бюстов Карлу Марксу и Ленину. Распорядителями субботника назначаются: т.т. Нефедьев, Плешков и Субботин Н.П. Уклонившиеся от субботника будут привлечены для принудительных работ в течение трех дней. Председатель Уездисполкома А. Горбунов Председатель Укомтруда Нефедьев Член-секретарь Тимофеев». Уклонившихся не жаловали, что и говорить. Да и как уклоняться в таком маленьком городе. Потом, когда памятник построили, к нему стали приходить козы, коровы, лошади и пастись внутри ограды, потом ограда повалилась, потом стали искать кого бы назначить ответственным за поддержание порядка возле памятника и уборку мусора рядом с ним, потом написали фельетон на эту тему в городскую газету...

В конце февраля двадцать первого года в Сольвычегодске, в здании бывших присутственных мест открылся Дворец Искусств. Открытию предшествовал ремонт изрядно обветшавшего здания, в котором раньше помещалась тюрьма. По поводу открытия Дворца искусств газета «Борьба и труд» писала: «Хочется верить, что “Дворец Искусств” будет отвечать своему названию и по внутреннему идейному значению. Он построит в умах и сердцах, посещающих его, дворцы мысли, дворцы красоты... И с гордостью можно будет сказать: Сольвычегодск, имеющий первоклассный музей, сохраняющий первоклассные памятники старинного искусства, обогатился еще одним культурным, облагораживающим центром. Пусть доказательством правильности принятого начинания будет общая благодарность, общий подъем, с которым ожидается торжественный день открытия “Дворца Искусств”. Пусть же это будет и наградой для всех потрудившихся на субботниках, ремонтных и иных работах по созданию “Дворца Искусств”». Само собой, в номере газеты, посвященном открытию, было большими буквами напечатано: «Открытием Дворца Искусств мы обязаны славной Комм. Партии, совершившей Октябрьскую революцию и открывшей трудящимся широкие двери в царство науки и искусства. Сегодня Сольвычегодск справляет великое торжество – открытие “Дворца Искусств”, этого очага пролетарской культуры, научных и политических знаний и разумных духовных наслаждений. Честь и слава труженикам⁸⁸, приложившим все свои силы и способности на создание могучего культурного центра!».

Прочитируем часть речи, которую в самом начале торжества произнес председатель уездного исполкома Горбунов: «Этот седой великан является свидетелем прошлого. Перед ним прошли столетия. <...> Он видел, как трудовой народ своим трудом, доходившим до кровавого пота, ложил кирпич за кирпичем, возводя это здание. А для кого и для чего служило тогда это здание? Стены его служили только для пыток, только для страданий и несли они только кандалы для трудового народа. Эти стены видели и полицейщину, и жандармерию, и тюремщину. <...> Эти стены

были свидетелями того, как вошел сюда в Октябре семнадцатого года трудовой народ, сбросивший оковы рабства. <...> Другой жизнью зажило тогда это здание. В стенах его находили приют красные бойцы, вооруженные винтовками, защитники великих завоеваний трудового народа. Когда трудовой народ победил своего классового врага на фронте огня, когда настало затишье, сюда вошли новые бойцы, бойцы, вооруженные топором, молотком и киркой. <...> Открытие Дворца – начало мирного строительства. С этого дня перед нами расстилается широкая и светлая дорога к светочам науки и искусства». В программе торжественного открытия «Дворца Искусств» значились спектакли «Потонувший колокол» Гауптмана, драма из эпохи Революции 1905 года «Его шаги» Юрьина и несколько концертов. Во дворце искусств по решению городских властей разместились городской театр, народная библиотека, клуб профсоюзов, кинематограф и, в одном из флигелей, музеев, а в музее картинная галерея, в которую из Государственного музейного фонда поступило около пятидесяти полотен известных русских художников девятнадцатого и двадцатого веков – Шишкина, Репина, Айвазовского, Бенуа, Кончаловского, Лентулова и других.

Буквально через две недели после открытия во Дворце Искусств прошло празднование, как тогда его называли, международного дня работницы 8 марта. С часу дня все женщин освободили от работы в городских учреждениях, и они, вместе с крестьянками из близлежащих деревень, направились в Дворец Искусств. Для собравшихся, а их было пятьсот человек, был прочитан праздничный номер живой газеты-митинга, посвященный женскому движению. После газеты-митинга женщины получили талоны на обед и чай в общественную столовую, а также билеты на вечерний концерт⁸⁹.

Население требует хлеба

Талоны на обед и чай в феврале двадцать первого года на четвертый год Гражданской войны были не просто хорошим, а очень хорошим подарком. Ситуация с продовольствием в городе и уезде уже не первый год была крайне тяжелой. Еще в июле восемнадцатого года в сводке ВЧК по Беломорскому военному округу было написано: «В Сольвычегодске (Вологодской губ.) настроение тревожное, вследствие голода. Идет агитация кулаков против Советской власти». На следующий год положение лучше не стало. В уезде отсутствие хлеба накалило обстановку до предела. В Нижнетоемской волости беднейшее крестьянство летом восемнадцатого года употребляло в пищу мох и древесину с примесью хлеба. В Метлинской волости голод обострил отношения между деревенской беднотой и зажиточными крестьянами. В январе девятнадцатого года «Голос бедняка» писал: «Бедняки Метлинцы, сбросьте с себя паутину, которой вас опутали кулачье, не верьте их преступным словам. Они вас ведут к верной гибели. Не забывайте товарищи те бедствия и лишения, которые вы перенесли весной 1918 года из-за недостатка продовольствия, когда вы сидели голодом, не имея средств купить у кулака по бешеным ценам хлеба, который издеваясь над нами, смеясь, продавал хлеб по цене до двухсот рублей за пуд, набивая деньгами толстые карманы. <...> Немедленно товарищи проверьте хлеб, возьмите излишки от имущих, поставив их на норму тридцать фунтов, тогда вы будете обеспечены на более продолжительное время, в течение которого будем надеяться на получение хлеба из тех областей, которые наша доблестная красная армия отвоевывает от наших врагов».

В протоколах заседаний второй уездной Сольвычегодской конференции РКП(б), созванной в середине июня девятнадцатого года, можно прочесть о том, что в Николаевской волости «Население требует хлеба. Можно ожидать голодного бунта»; в Афанасьевской волости «Продовольственное положение критическое. Начались голодные волнения. Но удалось граждан уговорить и пока положение волости спокойное. Половина полей не засеяно за неимением семян»; в Черевковской волости «Продовольствия в волости хватит только до 23 июня». На этой конференции было принято решение направить в ЦК РКП(б) и Совнарком телеграмму: «2-я уездная конференция РКП(б) констатирует катастрофическое положение в деле продовольствия. <...> Конференция обращается к Центральному Комитету партии и Совету Народных Комиссаров и заявляет,

что, если не будет оказана немедленно продовольственная помощь, уездная конференция слагает с себя всякую ответственность за дальнейшее, так как мы стоим перед фактом массового восстания». Нужно сказать, что и сами власти приближали эти восстания как могли – например, продразверсткой⁹⁰, которая забирала не только излишки, которых было кот наплакал, но и семенное зерно, и даже хлеб, предназначенный для пропитания.

В селе Черевково весной девятнадцатого года местные власти решили произвести подворный учет хлеба и засыпать необходимую часть зерна в общие амбары для сева, а потом выдать его нуждающимся – бедноте и семьям красноармейцев. В первый раз попытка учета не удалась – крестьяне просто не подпускали продотряд к своим запасам. Второй раз, 15 мая, все кончилось тем, что несколько членов учетной комиссии были избиты. В ответ волостное начальство арестовало наиболее активно сопротивлявшихся учету крестьян. На коллективное прошение освободить арестованных власти не ответили. Секретарь Черевковской партийкейки, мягко говоря, испугался и отбил в Сольвычегодск телеграмму: «Сегодня при отчуждении семян население сделало открытое нападение на некоторых коммунистов, тяжело изранив. Остальные в опасности. Положение критическое, необходима помощь. Секретарь ячейки Зайков». На следующее утро толпа возбужденных крестьян под белым флагом двинулась к дому волостного исполкома, чтобы вновь заявить о своих требованиях. На подходе к исполкому их встретили красноармейцы расквартированной в селе гаубичной батареи, местная милиция и вооруженные члены партийкейки.

Переговоров между крестьянами и властями не получилось. Работника волысполкома, подъехавшего к крестьянам верхом, чтобы уговорить их разойтись, едва не убили камнями. Крестьяне расхотиться не желали. После предупредительного залпа в воздух был открыт огонь по толпе. Пять человек было убито, несколько ранено и восемнадцать арестовано. 17 мая в Черевково прибыл из Котласа карательный отряд из полутора сотен моряков, вооруженных четырьмя пулеметами. Как только стало ясно, что черевковские власти серьезно преувеличили все, что можно было преувеличить, в Котлас и в Вологду были отправлены телеграммы: «В Черевкове спокойно. Положение было преувеличено местными органами. Происходили кулацкие волнения против проддекрета. Причем беднота спровоцирована нелепыми слухами и привлечена угрозами кулаков. Была стычка. Убитых 5 крестьян. 2 члена исполкома тяжело избиты и несколько крестьян легко ранено. Много арестованных, аресты продолжаются. Ведется следствие. Дело взято в руки фронтowej экспедиции. Белогвардейской конспирации не чувствуется. Приступаем к агитации». Арестованные зачинщики были на пароходе вывезены в Котлас, где троих из них, признанных организаторами восстания, которого, в сущности, не было, расстреляли. Уездные власти этот инцидент надолго запомнили и при распределении хлеба для нуждающихся, поступившего из центра в уезд через два месяца, Черевковской волости не дали ничего. Как писал тогда же о Черевковской волости военком Северодвинской военной флотилии Эрнест Батис: «бывшее осиное гнездо купцов и всевозможного рода спекулянтов, уголок богатеев-крестьян, недаром называемый второй Украиной».

У горожан амбаров с зерном не было, а хлеб и другие продукты они получали по карточкам. Есть им хотелось не меньше, чем крестьянам, а потому они, пользуясь временным приездом или выездом родственников или знакомых, продолжали получать их паек. Те, кто получал по талонам обеды в общественной столовой и имел на руках продуктовые карточки, норовили получать продукты наравне с теми, кто в общественной столовой не обедал. Советские служащие, уезжая в отпуск или продолжительные командировки, продовольственные карточки в уездный продовольственный комитет и не думали сдавать, а оставляли их домашним для отоваривания. Обо всех этих хитростях уездный комиссар продовольствия, конечно, знал и через газету пытался усюветить граждан города Сольвычегодска: «Упродком, напоминая таким товарищам о гражданском долге объявляет, что все замеченные в означенном злоупотреблении понесут строгое наказание, усугубленное страданием тех товарищей, которых они обрекают на голодную смерть, съедая их паек; вместе с тем обращается с горячим призывом к гражданам города прийти на помощь Упродкому в этом серьезном деле, заявляя все известные факты означенных злоупотреблений».

О том насколько серьезной была ситуация с хлебом, говорит объявление, данное в городской газете в начале декабря девятнадцатого года уездным продовольственным комиссаром Незнамовым: «В последнее время на имя Упродкома поступила небольшая партия хлеба, пахнущая керосином. Ввиду полного отсутствия хлеба, кроме указанной партии, Упродком вынужден пустить к выпечке эту муку. Во избежание всяких кривотолков об этом объявляется для сведения городского населения».

Ничуть не лучше дела с мукой обстояли в уезде. К примеру, в Великосельской волости, как писала сольвычегодская газета, «Работникам просвещения и их детям дается на продовольствие мука: на зубах трещит, горькая, с отрубями, с мусором, с землей, с песком. Есть хлеб невозможно. Члены семьи Окуловской школы все переболели от этого хлеба. Неужели учителя у великосельцев не заслужили лучшей доли? За что же они отдают народу свой тяжелый труд? Неужели заправили Великосельского кооператива питаются тем же хлебом? Вероятно, нет. Так не роите же преждевременную могилу людям, отдающим свою жизнь вам и вашим детям».

К печеному хлебу претензий было не меньше, чем к муке. В двадцать первом году в Сольвычегодске выпекало хлеб потребительское общество «Эконом». Выпекало, надо сказать из рук вон плохо. Сольвычегодцы жаловались на качество этого хлеба в газету. «Вот уже два месяца скоро как потребительское общество “Эконом” кормит граждан города Сольвычегодска затхлым хлебом, от которого даже свиньи ворочат морду. Конечно, у “Эконома”, как всегда, найдется в свое оправдание “масса уважительных” причин, мешавших ему кормить граждан доброкачественным хлебом, но можно ли потребителям “Эконом” прощать такую бесхозяйственность безнаказанно? Например, 14 сентября выдавали такой детский хлеб, что если и взрослый человек поест, то и тот “впадает в детство” и вспомнит мать родную. Ну настоящий “вяземский пряник”. Только если этим пряником покормить заправил Эконома, то им бы не поздоровилось – и желудок подвело бы и кишечник свернуло. Бедные детки Сольвычегодска!»

Городские власти, когда не могли помочь хлебом, окормляли сольвычегодцев через газету ценными советами. Например, такими: «Граждане! Разводите овощи: в них ваше спасение от голода. Овощи – хлебу замена. Овощи – наиболее здоровая, легкоусвояемая пища. Овощи важны как “Харч”, разнообразия наш скудный в голодное время стол. Овощи могут дать и большой доход. Овощи – требуют наиболее легкого приятного труда. Граждане, разводите овощи. Сольвычегодский Уземотдел». Ситуация осложнялась недосевами – крестьяне, справедливо полагая, что советская власть заберет у них все излишки хлеба, как только они соберут урожай, не хотели засеивать больше того, что нужно для пропитания. Власть тоже не дремала – проводила учет незасеянных земель, составляла списки всех недосевщиков и угрожала лишить прав получения всех видов товаров, продуктов и продовольственных пайков не только их лично, но и деревни, в которых они проживают.

В этих условиях особенно тяжелой была ситуация с детским питанием. Для того, чтобы ее хотя бы как-то поправить, в ноябре двадцатого года в Сольвычегодске устроили Неделю ребенка. Уездная тройка по проведению этой Недели обратилась к сольвычегодцам через газету с воззванием: «Товарищи и Граждане! <...> Удовлетворить детей предметами первой необходимости – питанием в достаточном количестве, одеждой, обувью и проч. из скудных запасов Республики власть не в состоянии, а потому Советом Народных Комиссаров 12-го октября 1920 года издан особый декрет о “Неделе ребенка”. В эту неделю, которая в Сольвычегодском уезде назначена с 12 по 20-ое декабря все граждане должны прийти на помощь голодающим детям.

Родители и воспитатели! <...> Если мы посмотрим в школу, в детский сад, детский дом, то увидим ряд маленьких людишек, страдающих малокровием, рахитом, и проч. болезнями. Невольно встает вопрос, что же повлияло на них? Где та резвость, которая замечалась раньше? Ответ прост: “накормите досыта, и мы опять будем жизнерадостны”. Товарищи крестьяне! Вы можете в этом отношении принести громадную помощь, дав из своих, хотя и скудных запасов, часть для ваших же детей. Припомним же здесь пословицу “С миру по нитке – голому рубаха”. Каждый фунт муки, каждая горсть крупы, каждый аршин холста слишком дороги в настоящий момент. <...> Каждая мать, отправляя свое дитя в школу или детский сад, пусть помнит, что там его накормят.

Дорогие дети! Вы, посещая школу, составляйте в ней одну общую дружную семью. Вы видите, что одни из вас приносят в класс хлеб, молоко, а другие не имеют этого. Такая разница приносит в вашу жизнь разлад, зависть, а чтобы этого не было, просите своих родителей обеспечить вас всем необходимым для варки горячей пищи, которую и будете употреблять, как дети одной семьи, как равные между собою.

Товарищи! Производя этот сбор, мы помним, что многие из вас сами не имеют лишних запасов, но мы говорим “пусть мы не доедим, а наши дети будут сыты и здоровы”. На отсутствие обуви и одежды тоже необходимо обратить внимание и, если есть у вас излишки – дайте раздетому, разутому ребенку и вы увидите, что, почувствовав тепло, он сразу улыбнется – и вот вам самая щедрая награда за подарок. Будьте сознательные и честны в эту неделю, и вы сделаете великое дело для человечества! Помогите ребенку – в нем наше счастье и ему принадлежит великое будущее».

Граждане откликнулись на призыв помочь детям и за неделю собрали хлеба полтора пуда, картофеля около пятнадцати пудов, сахар (песок и рафинад) три фунта, яиц два десятка, спичек двадцать пять коробок, пшеницы один пуд, несколько пар детского белья и других мелких пожертвований. Устроили денежную подписку по советским учреждениям, бесплатно шили детское белье и одежду.

Новая Сухаревка

Среди всего того, чего не хватало для пропитания жителям города и уезда, была обычная поваренная соль, которую в этих краях добывали с незапамятных времен. Казалось бы, уж соль-то... Конечно, соляные источники с тех незапамятных времен поистощились, но какое-то количество все же можно было добыть, чтобы обеспечить жителей города и уезда солью, пусть и в небольших количествах. Сольвычегодский Совнархоз летом двадцатого года подготовил проект небольшого соляного завода по технологии, которую использовали еще во времена Строгановых. Дело было за малым – построить и запустить, но оказалось, что нет стройматериалов, и проект загдох. В конце концов через год завод кустарного типа был построен, но пока его строили...

Стройматериалов не было только у Совнархоза, а у жителей города они были. То есть у них этих материалов тоже сначала не было, а потом они довольно быстро появились. Тем способом, которым часто появлялись стройматериалы у советских граждан – кто-то отодрал железный лист с кладбищенской ограды и сделал из него противень для варки соли, кто-то выгачил кирпичи, приготовленные для фундамента строящегося моста, и сложил из них печки, дрова... кто их будет в лесу считать. Таким образом в Сольвычегодске были построены и стали варить соль более десятка солеварен. Добываемой соли хватало не только для собственных нужд, но и для торговли или, как тогда говорили, спекуляции.

В деревне Тимошино Тимошинской волости дело зашло еще дальше. Тут лучше не пересказывать своими словами, а процитировать полностью заметку в газете: «В Тимошинской волости открыта новая Сухаревка. В верстах семи от села Тимошино есть селение Солоново, где имеется соленое озеро. Население этого селения и соседних с ним волостей занялось вываркой соли, первоначально для своих потребностей. Когда это увидели более юркие и пронырливые людишки-спекулянты разных мастей, то тоже занялись солеварением и не только своим трудом, но и наемным. Достали листового железа, наделали противней для варки соли и отдают их желающим заняться солеварением, за что получают по 12–15 фунтов соли в сутки, а то и женщину или мужчину пригласят сидеть у противней за что дают пять фунтов соли. Так как дрова около озера уже пережгли, и приходится возить их на лошади, спекулянты находят и лошадку, и рубщика, и возчика, и уплачивают им солью за приготовленный куб дров. Некоторые из несознательных граждан предпочитают заняться солеварением, чем выполнять трудовую повинность. В результате Солоново превратилось во вторую Сухаревку. Тут можно слушать разные нарекания на РКП и власть рабочих и крестьян. Тут же ведется полная спекуляция солью, хлебом, который провозят пудами, кожей, сапогами и проч., и проч. предметами. Необходимо бы спекуляцию урезать и искоренить трутной».

Уездный исполком без внимания эти призывы не оставил – запретил солеварение в Сольвычегодске частными лицами. Всех не подчинившихся запрету солеваров милиция переписала и списки направила уездный совнархоз для принудительного привлечения к общественным работам.

В скобках заметим, что питательная среда солеварения порождала строгановых – пусть не таких крупных, как тогда, когда соли в источниках было больше, пусть мелких, пусть не таких зубастых и размашистых, но порождала каждый день. Откуда же среде было знать, что новорожденных будут принимать в свои цепкие руки исполком и милиция...

Последнее предупреждение

Кроме урезания спекуляции и искоренения трутней уездным властям приходилось бороться с дезертирами, которых за годы Гражданской войны развелось в городе и уезде немалое количество. Была организована уездная комиссия по борьбе с дезертирством. В июне девятнадцатого года комиссия постановила: назначить семидневный срок добровольной явки дезертиров с 26 июня по 2 июля сего года. В назначенный выше срок все укрывающиеся дезертиры, лица, уклоняющиеся от мобилизации и лица, просрочившиеся после кратковременных отпусков, должны явиться в город Сольвычегодск в Комиссию по борьбе с дезертирством при Уездном военном Комиссариате, имея при себе удостоверение личности или другой соответствующий документ, для назначения и отправления в части войск. Все добровольно явившиеся в назначенное время будут освобождены от суда и наказания. Все же неявившиеся в течение указанного семидневного срока считаются врагами и предателями Трудового Народа и подлежат высшей мере наказания вплоть до расстрела. «Голос бедняка» обращался к крестьянам и дезертирам: «Товарищи-Крестьяне! Не укрывайте дезертиров, строго помните, что дезертир несет вам барщину и рабские цепи. Дезертир! Знаешь ли ты, что эта неделя явки дезертиров. Вернись и ты искупишь свою вину перед революцией». Красноармейцы сольвычегодской караульной роты, собравшись на митинг по борьбе с дезертирством и разгильдяйством приняли резолюцию, в которой слали «проклятия дезертирам, которые позорно и бессознательно бегут из наших рядов» и обещали «бороться всеми силами, чтобы подобных случаев не было среди нас».

Правду говоря, призывы эти действовали плохо. Особенно в таких глухих местах, как Сольвычегодский уезд. В конце ноября того же года сольвычегодская уездная комиссия по борьбе с дезертирством снова обратилась с призывом к дезертирам: «К Вам малодушные, к Вам не прозревшие, к Вам вольные и невольные предатели свободы, себя и своих детей, направлен этот призыв. Рабоче-Крестьянское Правительство еще раз дает возможность всем уклонившимся от службы в Красной Армии до 8 ноября 1919 года, которые явятся добровольно до 15 декабря сего 1919 года, будут освобождены от наказания согласно постановления ВЦИК об амнистии. Уездная Комиссия по борьбе с дезертирством предупреждает, что это последнее предупреждение и что шкурникам и предателям, уклонившимся от добровольной явки пощады не будет. Слушай дезертир и опомнись – сними с себя позорное пятно, спеши же явиться в Уездную Комиссию по борьбе с дезертирством до 15 декабря сего года тебе все прощается, помоги же своему товарищу в деле освобождения трудящихся, он ждет тебя и твоей помощи, хотя на шапочном разборе, в последнем издыхании белых банд, которым не сегодня завтра будет конец существования, если ты поможешь, ты дезертир себя и других от тяжелой жизни. Дезертир, если ты этого не хочешь, так шкурник ты и предатель своего брата, так смертью же тебя сметет с лица земли Революционная рука Трудового народа».

За укрывательство дезертиров стали наказывать денежными штрафами. К примеру, в апреле двадцатого года уездной комиссией по борьбе с дезертирством оштрафованы крестьяне Селянской волости деревни Фоминской Иван Захаров за укрывательство сына-дезертира на тысячу рублей, Дмитрий Попов за укрывательство сына-дезертира на тысячу рублей, Степан Попов за укрывательства брата-дезертира и других на тысячу рублей, деревни Ипатовской Василий Соловьев за укрывательство сына-дезертира на триста рублей условно, при повторении укрыватель-

ства у вышеозначенных лиц будет конфисковано имущество. Деньги взысканы и внесены в депозит казны. У семьи дезертира Михаила Сысоева Дмитриевской волости деревни Назаровской конфисковано две коровы, у семьи дезертира Василия Бурчалова, Белослудской волости деревни Сенькинской конфискована лошадь, у семьи дезертира Суворова Ильинско-Подомской волости условно на три месяца конфискована корова. Денежные штрафы могли налагать на целые села и даже волости, уличенные в укрывательстве дезертиров, а на членов семей дезертиров налагали повинности по общественным работам и заставляли выполнять урочные работы в хозяйствах красноармейцев.

К дезертирам приравнивались уклонисты, которые встречались даже среди членов городской организации РКП(б). «Голос бедняка» весной девятнадцатого года писал: «Приходится отметить очень печальный факт, имевший место в нашей городской организации РКП (б). Высшей партийной организацией была объявлена мобилизация коммунистов и сочувствующих и на общем собрании городской организации для отправки на фронт от группы сочувствующих был избран служащий военкома Ядрихинский, который не замедлил подать заявление об исключении его из группы, а также некоторые члены партии как-то служащий отдела здравоохранения Куделин и служащий военкома Мильков, видя ту тяжелую ответственность, которую должен выполнить всякий коммунист, забыли данные обещания бороться за великие идеи коммунизма, подали заявления об исключении их из партии, то есть, боясь за свою собственную шкуру, зная, что будучи мобилизованы, им придется лишиться всех тех удобств, при которых они находятся в настоящее время. Примазываясь в наши ряды, эти чистенькие, аккуратненькие коммунистики думали, что коммунистом с партийным билетом быть очень выгодно – можно будет сделать для себя хорошую карьеру, материальную выгоду и удобства. Все эти господа с мещанскими взглядами вредили нам своим преступным присутствием в наших рядах, забывая, что членский билет коммуниста возлагает тяжелые, неприятные для мещанского благополучия обязанности. Не может быть места таким трусам и карьеристам среди нашей пролетарской семьи, а также не может быть им места в Советских учреждениях, такие паразиты не могут быть полезными работниками для рабочих и крестьян они только высжидают часы и ждут 15 и 30 числа, чтобы получить ни за что народные деньги. Заканчивая заметку, скажу вам низменные людишки, что партия учла ваши подлые замыслы и предала вас суровому партийному суду, от которого вам пощады не будет»⁹¹.

Петроградская парикмахерская

Все же новый советский быт в Сольвычегодске начал налаживаться. В январе девятнадцатого года в городе был объявлен набор служащих в учреждения – требовались секретари-производители, их помощники, бухгалтеры, счетоводы, машинистки и опытные писцы. Желавшие занять ту или иную должность подавали заявления в Совет Союза служащих советских учреждений Сольвычегодска и уезда. В помещении бывшей гимназии Хаминова открылся детский сад. Для горожан и соседних с городом деревень уездный продовольственный комитет организовал обувную мастерскую. Вслед за этой мастерской открыли еще три сапожных и одну портняжную. Купить новую, фабрично изготовленную обувь в Сольвычегодске и в уезде было почти невозможно. С починой старой дело обстояло еще хуже, чем с покупкой новой – действующие сапожные мастерские постоянно чинили обувь красноармейцев, а на гражданское население не было ни времени, ни материалов. Власти при отделении Утилизации уездного Совнархоза организовали починочную сапожную мастерскую для населения города и уезда, в которую набрали полтора десятка сапожников. Работал построенный уже при новой власти гончарный завод, выпускавший глиняную посуду, распределявшуюся по больницам, школам и приютам. Правда, продукции он выдавал то много, то мало, поскольку постоянных рабочих у завода не было и все делалось руками трудмобилизованных. Образцы этой простой и немудрящей посуды – тарелка, чашка, солонка, кувшин – чудом сохранились и находятся в Сольвычегодском историко-художественном музее. Не кузнецовский фарфор, конечно, но уже и не керамика времен раннего неолита.

В городе работали три клуба – клуб Красной армии имени Троцкого⁹², клуб моряков имени Зиновьева и клуб коммунистов имени Ленина⁹³. Работала часовая мастерская, фотографическое ателье и ателье по пошиву шапок. Вот только часовщик и фотограф за деньги фотографировать и чинить часы отказывались – требовали натуральную оплату продуктами. Оно и понятно – продукты тогда и за деньги купить было сложно. С фотографией было еще сложнее. Денег фотографу не полагалось. Фотографическое ателье было национализировано и находилось в ведении отдела народного образования, который выдавал удостоверения на производство работ, но... получив такое удостоверение, фотограф сообщал клиенту, что материалов у него нет, а за продукты... есть. Когда в Сольвычегодске открылась «Петроградская парикмахерская», то в ней работали, как писала местная газета: «два брата Бебяковы, освобожденные, вероятно, от других трудповинностей. Цены на стрижку и бритье растут с быстротой молнии: сегодня сто рублей, завтра двести, через два дня дошло до пятисот, а частенько братцы требуют уплаты натурой. Получая жалование две-три тысячи рублей в месяц, бриться и стричься, пожалуй, подумаешь. Удивляюсь, как до сих пор не установят таксу на их работу. Ведь этак братья скоро превратятся в самых крупных буржуев. Посетитель Б».

Прежде чем перейти к уголовной хронике Сольвычегодска и уезда времен Гражданской войны, скажем о событиях политической жизни города. В октябре девятнадцатого года уездным комитетом партии была инициативная группа по организации в городе и уезде союза коммунистической молодежи. Возглавляли эту группу члены партии Иван Бунаков, Михаил Клыпин и Феодосий Тюкавин. Через полгода в клубе Коммунистов собрался Первый уездный съезд сольвычегодского комсомола⁹⁴. Съезд избрал председателем Сольвычегодского комитета комсомола Феодосия Тюкавина, который выполнял председательские обязанности до конца двадцатого года. В двадцать первом году в уезде уже работали девятнадцать комсомольских организаций. Правда, на Втором сольвычегодском уездном съезде РКСМ работу уездного комитета комсомола критиковали самым беспощадным образом: «Работа Коммунистического Союза молодежи в Сольвычегодском уезде весьма и весьма слаба. <...> Доклады с мест выявили слабую работу организации, вследствие отсутствия связи и помощи от укома и организации РКП(б). Неработоспособность укома объясняется совершенным отсутствием в нем работников. Всего в укоме в последнее время находился только один член. Вследствие этого укомом не сделано ничего существенного. Из мелких его работ можно назвать созыв двух райконференций, проведение дня сбора интернационала и др. Съезд показал слабость работ по уезду, ощущающуюся вследствие отсутствия всякой связи с укомом, выразил уверенность, что при поддержке Губкома работа во всех организациях встанет на должную высоту».

Теперь об уголовной хронике. К обычным делам вроде растрат, краж, мордобоев и даже убийств прибавились невиданные до сих пор дела. Осенью девятнадцатого года выездная сессия Северо-Двинского Революционного Трибунала в Сольвычегодске рассмотрела дело заведующего лесными заготовками Тропина, обвиняемого в саботаже, гражданина Никольской волости, обвиняемого в контрреволюционном выступлении, группу граждан Никольской волости, обвиняемых в контрреволюционном выступлении на волостном собрании, трех членов реквизиционной комиссии Верхолальской волости, обвиняемых в том, что они в сентябре и октябре восемнадцатого года при реквизиции товаров и имущества буржуазии бесконтрольно расходовали для личных надобностей реквизированные сахар и папиросы, не уплачивая за них ни копейки. Правда, в небольших количествах. Поэтому этих трех, один из которых был председатель волисполкома, второй волостной милиционер, а третий – волостной военный комиссар, освободили от наказания.

Заведующий лесными заготовками Тропин по постановлению Революционного Трибунала получил год тюрьмы с отправлением на общественные работы. Гражданин Леготин признан виновным «в оскорблении Советской власти, вождей пролетариата всего мира, товарищей Ленина, Троцкого, Рабоче-Крестьянской Красной Армии и, приняв во внимание низкий уровень общественного развития вынес Леготину общественное порицание».

Особняком стояло дело бывшего начальника милиции 4-го района Сольвычегодского уезда Пулькина, обвиняемого в злоупотреблениях по должности. Пулькин трибуналом признан вино-

вным «В присвоении народного достояния и растрате его. Удовлетворяя свои корыстные цели растратил полученные для расчета участковых милиционеров суммы и взятые с граждан по окладным листам, в пьянстве в компаниях и халатном отношении к службе, то есть в действиях, направленных к ослаблению силы и авторитета Советской власти и как совершившего таковые поступки сознательно, злостно, стоящего на ответственном посту, признал порочным членом пролетарской семьи, злостным врагом трудящихся и приговорил к высшей мере наказания расстрелу». Уже осужденный Пулюкин просил трибунал заменить расстрел отправкой на фронт для искупления вины, но трибунал ему отказал, «находя присутствие Пулюкина в рядах красных бойцов, как порочного члена общества, недопустимым». Отказал, между прочим, в разгар Гражданской войны. Отказал, хотя судили Пулюкина не за убийство, а за растрату казенных денег и халатное отношение к службе. Отказал, когда тысячам дезертиров, которых советская власть надеялась вернуть на фронт, объявляли одну амнистию за другой.

В феврале двадцать первого года сессия Северо-Двинского Революционного Трибунала в Сольвычегодске рассмотрела дело благочинного Верхотальской Михайло-Архангельской церкви Дмитриевича, обвиняемого в контрреволюционной агитации, а гражданин Федьковской волости Борисов попал под трибунал за то, что ругал РКП(б) и председателя волисполкома Кузнецова.

В октябре двадцать первого года газету «Борьба и труд» закрыли, и все материалы о жизни Сольвычегодска уездному исполкому велено было отправлять в газету Северо-Двинской губернии «Советская мысль», издававшуюся в великом Устюге, а уж там решали, печатать или нет. Своя газета под названием «Сталинский путь» появится в Сольвычегодске лишь через восемнадцать лет – в ноябре тридцать девятого года.

Еще через год в октябре двадцать второго кончилась Гражданская война и началась мирная советская жизнь с ее коллективизацией, раскулачиваниями, высылками, ударными стройками пятилеток, чистками, проработками, партийными и комсомольскими собраниями, доносами, репрессиями и невиданным энтузиазмом строителей социализма в отдельно взятой стране. Если, конечно, такую жизнь можно назвать мирной.

Курорт и техникум

В двадцать третьем году в Сольвычегодске открылся бальнеологический курорт. Илья Иванович Томский, в то время заведующий Сольвычегодским музеем, написал о курорте небольшую заметку: «Современный нерв Сольвычегодска – его курорт, открытый в 1923 г. Для лечебных целей использован местный минеральный источник – соленое озеро. Во времена Строгановых этот источник был использован иначе – на нем стояли солеваренные заводы. Нет никаких реклам о Сольвычегодском курорте, но многие едут сюда на лечение. Принимающих ванны в настоящее время 158 человек в день. Маленькое ванное отделение – почти на берегу соленого озера в стенах закрытого Введенского монастыря. В ваннах опрятно и чисто. Сиделки обмывают зеленым мылом ванную после каждого купающегося. Курортники сидят в ожидании на свой номер ванны, тихо разговаривают. Часть уже приняла ванны и отдыхает в комнате отдыха. Мерно постукивает за стеной насос, подающий минеральную воду. <...> – Бывают случаи, – рассказывает сиделка, – когда больных приносят на носилках, а после лечения выходят на своих ногах. <...> Большинство курортников Сольвычегодского курорта – приезжие с разных концов севера: много зырян из области Коми, архангельцев, котлашан, красавинцев, устюжан, вятчей. <...> Приходится пожалеть, что на курорте до сего времени не организовано грязелечение. Грязи Сольвычегодского источника, по данным исследования Вятского бактериологического института, отличаются большими целебными свойствами. Их намечено было использовать в ближайшее время.

– К сожалению, мы бедны, – говорит заведующий курортом врач Журавлев М. А., – и нет средств, чтобы развернуться. При применении грязелечения лечебные эффекты были бы поразительнее. Правда, и сейчас, без рекламы, из сезона в сезон увеличивается количество приезжающих лечиться. По-видимому, побывавшие и получившие облегчение, а иногда и полное выз-

дорование, рекламируют курорт достаточно. Результаты водолечения, очевидно, говорят сами за себя. <...> Единственный минус Сольвычегодска – сообщение с Котласом. Едущим на курорт с Двины приходится просиживать в Котласе в ожидании парохода на Вычегду сутки. Местное сообщение курсирующим между сольвычегодским и Котласом пароходом “Рогачев” также как-то не согласовано и неудачно. Данных же к развитию Сольвычегодского курорта много. Только необходимо их своевременно и без оттяжек использовать».

В двадцать шестом году для того, чтобы определить на какой глубине залегает слой минеральной воды, устроили пробное бурение скважин прямо на территории курорта. Оказалось, что на глубине восьмидесяти двух метров.

В двадцать восьмом году Сольвычегодский район был упразднен, а вслед за ним, через год, была упразднена и Северо-Двинская губерния. При районировании Северного края город Сольвычегодск был включен в состав Котласского района, а вместе с ним и полтора десятка сельсоветов упраздненного Сольвычегодского района. Сольвычегодский район появится на картах во второй и в последний раз в тридцать восьмом году и просуществует двадцать лет.

По решению Северо-Двинского губернского исполнительного комитета в Сольвычегодске в двадцать седьмом году открылся педагогический техникум. Городские власти отдали техникуму два дома по улице Сталина – двухэтажный деревянный дом бывшего реального училища для мальчиков и двухэтажный каменный дом высшего начального училища. Открытие приурочили к десятилетию Октябрьской революции. Открывали торжественно. По плану первого заведующего Василия Сергеевича Третьякова предполагалось «Здание украсить снаружи гирляндами зелени (плавун), световыми плакатами (звезда и фигура рабочего, разбивающего цепи) и флажками, а внутри гирляндами зелени, таблицами и диаграммами, световыми плакатами над эстрадой, световым фонарем и сооружением киоска. 6 ноября днем коллектив педтехникума будет участвовать в общегородской манифестации, а заведующий имеет приветствовать эту манифестацию у здания педтехникума с особо устроенной и декорированной трибуны. 7 ноября имеет быть вечер, распадающийся на 2 части: официальную с речами, приветствиями и исполнением интернационала и литературно-музыкальную... По истечении программы будет предложен чай и возможны игры».

Первыми студентами стали учащиеся школы второй ступени с педагогическим уклоном. Педагогов взяли из этой же школы. Бюджет у техникума, который находился в ведении Северо-Двинского губернского отдела народного образования, был местный, иными словами, очень скудный – на каждого студента приходилось почти в полтора раза меньше денег, чем этого требовалось по республиканским нормам. Прежде всего не хватало денег на стипендии. Поскольку время было голодное, то техникум наделили большим количеством земли для ведения подсобного хозяйства. Поначалу оно было не большим, поскольку для большого нужны были средства, но к тридцать четвертому году одной только пахотной земли у техникума имелось семь гектаров, в три раза больше сенокосной, семнадцать гектаров под огородами и тридцать шесть гектаров парников. В тех краях авокадо не вырастить, но картошки, капусты, помидоров и огурцов студенты выращивали столько, что хватало и для собственной столовой, и для продажи. Кроме того, в хозяйстве была лошадь, три коровы и два теленка.

Через три года после открытия техникума открылось при нем общежитие, а в общежитии сразу была организована студенческая коммуна, состоявшая из пяти секций – хозяйственная заведовала питанием, бельева следила за одеждой и обувью, а санитарная за чистотой помещений. В тридцатом году при техникуме открылись подготовительные курсы, но принимали туда только детей рабочих, батраков, крестьян-бедняков и колхозников. В тридцать седьмом году техникум был переименован в сольвычегодское педагогическое училище. В самом начале тридцатых годов, когда в стране началось то, что называли сплошной коллективизацией, в Сольвычегодске организовали тракторные мастерские. К тридцать пятому году в них работало более полутора сотен человек. Мастерские реконструировали в пятидесятых, построили для рабочих десять восьмиквартирных домов и переименовали в ремонтно-механический завод.

В тридцать четвертом году в Сольвычегодске стали искать нефть. Бог знает почему. Стали бурить возле соленого озера в центре города. Нефти, как ни бурили, не нашли, но на глубине ста ше-

стидесяти с лишним метров пришлось остановиться, поскольку из скважины пошла минеральная вода под давлением шесть атмосфер, причем куда более соленая, чем в озере. Источник обнесли деревянной восьмигранной башней и передали курорту. Через два года пробурили еще одну скважину и там на глубине восьмидесяти метров тоже не нашли нефти, но добрались до минеральной воды. Возле первого источника устроен небольшой бассейн с фонтаном, из которого круглый год вытекают под давлением струи целебной горькой и противной на вкус сульфатно-хлоридно-натриевой воды с запахом, который еще хуже вкуса. Камни, по которым вода стекает в землю, рыжие от содержащихся в ней окислов железа.

Имевший на иждивении четырех несовершеннолетних детей

Сольвычегодск, как и всю страну в тридцатые и в сороковые годы, репрессии не миновали. В книге памяти жертв политических репрессий Архангельской области, в которую к тому времени войдет Сольвычегодск, можно найти сведения о том, что жители Сольвычегодска Кондрат Кондратович Бренинг, работавший дворником бальнеологического курорта, за «систематическую контрреволюционную агитацию» был осужден тройкой УНКВД по Архангельской области в октябре тридцать восьмого на десять лет лишения свободы; заведующий мельницей Дмитрий Сергеевич Богоулев, имевший на иждивении несовершеннолетнего сына, за «контрреволюционную деятельность» был осужден тройкой УНКВД по Архангельской области в ноябре тридцать седьмого на такой же срок; директор музея революции Филипп Николаевич Комков, тоже имевший на иждивении ребенка, осужден в январе тридцать седьмого Архангельским областным судом по ст. 58-10 ч. 1 на пять лет; кочевар Тадеуш-Фадей Михайлович Войткач, имевший на иждивении четырех несовершеннолетних детей, тройкой УНКВД по Архангельской области в декабре тридцать седьмого за «контрреволюционную деятельность» осужден сроком на 10 лет; служащий Николай Максимович Денисов, имевший на иждивении трех детей, арестован в октябре тридцать седьмого и через месяц тройкой УНКВД по Архангельской области за «антисоветскую агитацию» осужден на 10 лет; начальник пожарной охраны Сольвычегодска Федор Иванович Мильков Архангельским областным судом по ст. 58-10 ч. 1 осужден в августе сорок седьмого к лишению свободы сроком на 5 лет с поражением в правах на 2 года; слесарь ремонтно-строительных мастерских Николай Борисович Выгодников, имевший на иждивении четырех детей, Военным трибуналом войск НКВД по Архангельской области в феврале сорок четвертого по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР осужден на восемь лет; пенсионер Константин Васильевич Караулов арестован в феврале тридцатого тройкой ПП ОГПУ Северного края и через два месяца выслан за «антисоветскую агитацию» в Северный край сроком на три года; инвалид второй группы Аркадий Иванович Молчанов Архангельским областным судом в июне сорок седьмого по ст. 58-10, ч. 1 УК РСФСР осужден на 6 лет с поражением в правах на 3 года... Список репрессированных жителей Сольвычегодска можно еще долго продолжать. Всех этих людей, полностью реабилитированных впоследствии за отсутствием состава преступления, объединяет то, что о судьбе их ничего не известно кроме того, что они сгинули в тюрьмах и лагерях, а вот про жителя Сольвычегодска Григория Михайловича Елфимова точно известно, что он по постановлению тройки УНКВД по Архангельской области в феврале тридцать восьмого был расстрелян за «распространение порочающих и террористических настроений», так же как и рабочий городской больницы Петр Петрович Реймер, которого по постановлению тройки УНКВД по Архангельской области осудили по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР и расстреляли в ноябре тридцать восьмого года⁹⁵.

Сам Сольвычегодск в тридцатые годы был транзитным пунктом для репрессированных, через который проходили пешие этапы заключенных и ссыльных. На старом городском кладбище на месте перезахоронения останков тридцати пяти человек на средства граждан Сольвычегодска и Котласа установлен памятник жертвам пеших этапов тридцатых годов. В Сольвычегодском и соседнем Котласском районах была создана целая сеть спецпоселков, где депортированные из южных и центральных районов страны крестьяне, и не только они, работали на лесозаготовках, а

точнее, умирали поодиночке и целыми семьями от непосильного труда, голода и болезней. Кроме того, в конце тридцатых и начале сороковых в Сольвычегодске и районе размещались депортированные осадники⁹⁶ и беженцы из Польши.

Эвакогоспиталь

Во время войны, в августе сорок первого, в городе была организована госпитальная база Карельского фронта – сольвычегодский бальнеологический курорт был перепрофилирован в эвакогоспиталь на триста коек. Позднее его расширили до пятисот. Почти весь персонал курорта был зачислен в штат госпиталя. Вместе с врачами были мобилизованы и медсестры. Поскольку госпиталь имел в своем распоряжении лечебные грязи и минеральную воду, то он стал специализироваться на долечивании раненых с повреждением опорно-двигательного аппарата. Размещался эвакогоспиталь в главном здании курорта – в доме купцов Пьянковых. Раненых, продукты, медикаменты и оборудование в госпиталь доставляли сначала по железной дороге до Котласа, потом везли до переправы через Вычегду. От железнодорожного вокзала в Котласе до переправы чуть больше двадцати километров. Это сейчас туда идет автобус с двигателем в сто тридцать лошадиных сил, а тогда тащились подводы, в которые запрягали выбракованных, не годных для армии лошадей мощностью едва ли не меньше одной лошадиной силы. После переправы через Вычегду те из раненых, кто мог ходить, добирались от пристани до госпиталя пешком, а тяжелораненых везли на подводах. Топили госпиталь дровами, которых постоянно не хватало. Каждые сутки требовалось не менее сорока кубометров дров. Заготовкой дров, а их нужно было напилить, наколоть и привезти с берега Вычегды в госпиталь на подводах, занимались женщины и подростки, поскольку большая часть мужского населения ушла на фронт. Освещали госпитальные палаты копилками, так как электростанции в Сольвычегодске в то время не было, а динамо-машина, имевшаяся в госпитале, могла обеспечить электричеством только электропилу, рентген-кабинет и физиотерапевтические процедуры. Сотрудникам госпиталя не хватало самой обычной еды. С авитаминозом боролись с помощью хвойного экстракта, который сами и делали, заготавливая в большом количестве хвою. Конечно, не всех раненых смогли вылечить и поставить на ноги. Тем, кто умер от ран и похоронен в Сольвычегодске, поставлен памятник на городском кладбище.

После окончания войны госпиталь расформировали, и курорт снова заработал. Лечиться сюда приезжали в первые послевоенные годы в основном инвалиды войны. В пятьдесят седьмом году газета «Сталинский путь», которую к тому времени переименовали в «Знамя ленинизма», писала, что в санатории по путевкам профсоюзов лечилось около тысячи семисот человек и еще сто пятьдесят амбулаторно не только из Архангельской, но и из других областей Российской Федерации. В пятьдесят девятом изучили и очертили границы месторождения сульфидных вод. В шестьдесят шестом открыли новую грязелечебницу, а в восемьдесят восьмом открыли новый, уже пятый по счету, корпус курорта.

Досрочные обязательства

Не будем, однако, забегать вперед и вернемся в послевоенные годы. По публикациям газеты «Сталинский путь» можно составить представление о том, чем жили Сольвычегодск и район в конце сороковых и в первой половине пятидесятых годов. Само собой, на первых страницах писали о тех, кто план выполнил, перевыполнил и не выполнил. К примеру, в январе сорок девятого года Сольвычегодская МТС годовой план тракторных работ выполнила на 104,5%, в том числе план обмолота хлебов на 101%. Песчанский маслозавод план выполнил к 1 декабря. Сверх плана выработал 30 пудов сливочного масла. Это на 120 пудов больше, чем в 1947 году. Пищекомбинат выполнил план на 115,7%. Лучших показателей добились в кондитерском цехе, где выполнили план на 165,5%. Отстающих хронически было основное и самое крупное предприятие Сольвычегодского района – Нюбский леспромхоз, получивший свое название от реки Нюба, правого

притока Вычегды, который годовой план по вывозке леса выполнил лишь на 69,5%. Леспромхоз был головной болью сольвычегодских властей. Основан он был еще в тридцать втором году, и никто уже и не помнил, когда он выполнял к сроку свои плановые обязательства. Тут тридцатые пудами сливочного масла сверх плана и успехами кондитерского цеха пищекомбината не отделаться. Обком по голове не погладит. И это несмотря на то, что в конце декабря сорок восьмого года «агитбригада Сольвычегодского Дома культуры на лесопунктах Ньюбского леспромхоза охватила культурным обслуживанием свыше двухсот человек лесорубов. На лесопунктах Четырнадцатый километр, Мотыменский и Семиречный инспектором отдела культпросветработы тов. Трубиным для рабочих был прочитан доклад на тему: "Выборы народных судов". После чего на первых из них двух состоялись концерты. Лесорубы тепло встретили участников агитбригады». Вот и охватывая лесорубов культурным обслуживанием...

Работники Сольвычегодска и района постоянно участвовали в каких-нибудь соревнованиях. Социалистических, конечно. Перед первомайскими праздниками рабочие и служащие Сольвычегодского райпищекомбината выполнили план первого квартала на 101,8%. Вступая в предмайское социалистическое соревнование, они обязались повысить производительность труда на 10%, снизить себестоимость против плана на 5% с улучшением качества выпускаемой продукции. В результате в кондитерском цехе мастер Епишкина с одной рабочей до предмайского соревнования вырабатывала пряников за смену от 20 до 50 кг, а в ходе соревнования за то же время стала выпускать 120 кг. Коллектив работников Рябовского маслозавода установленный план выполнил на 109,3%, а четырехмесячный план обещался выполнить до 20 апреля. К празднованию семидесятилетия отца народов коллектив Сольвычегодской МТС принял досрочные обязательства по ремонту тракторов – за счет уплотнения рабочего дня и за счет повышения производительности труда отремонтировать до 1 января 1950 года сверх графика два трактора. На каждой ремонтируемой машине сэкономить 2% отпущенных средств для ремонта. Как они эти два процента высчитывали... но сейчас не об этом. В механических мастерских токари обязались ежедневно выполнять технические нормы на 150%, а к первому декабря, за восемь дней до официального отмечаемого всенародного праздника, артель инвалидов «Кустарь» выполнила план на 155%. Артель «Крестьянин» и вовсе встала на стахановскую вахту и обязалась на 20% повысить производительность труда, а продукцию выпускать только первого сорта и усилить борьбу за экономное расходование сырья и материалов.

Конечно, были в работе городских организаций недостатки, да и отдельные граждане давали, что и говорить, поводы.... Газета о них регулярно писала. Директор городской бани Герасимов пьянствовал в рабочее время. 6 августа сорок девятого года он со своими родственниками, напившись пьяным, провел весь день в городской чайной. Кое-кто из очень хозяйственных сольвычегодцев регулярно подбирал лучшую древесину с берегов реки Вычегды, принадлежащую государству, которую разделявал на личные дрова. Что касается дров, то, как сообщал в письме в газету председатель колхоза «Новая жизнь», летом и осенью сорок девятого года граждане города Сольвычегодска «Герасимов, Дедюля, Задорин, Строганов, Верховцев, Петраков, Абакумов и другие самовольно в лесах местного значения колхоза "Новая жизнь" Метлинского сельсовета заготовили и увезли дров к своим квартирам на сумму около 2000 рублей». Отдыхающие на сольвычегодском курорте жаловались на директора хлебопекарни Сольвычегодского горпо⁹⁷ тов. Ногтева, который «до сего времени не обращает должного внимания на качество выпекаемого хлеба». Хлеб, выпекаемый на городской хлебопекарне мало того, что влажный, так еще и кислый.

Через шесть лет читаем в газете снова о том же в жалобе сольвычегодского пенсионера Клочихина: «Зачастую в магазинах города продается хлеб плохого качества. То он бывает недопечен, то перепечен. Не пора ли директорам и заведующим магазинами покончить с примиренчеством к бракоделам и по-настоящему использовать свое право – не принимать для продажи некачественный хлеб, а руководителям горпо относить убытки за счет бракоделам». Еще как пора покончить – Гражданская война кончилась тридцать с лишним лет назад, и мука была уже совсем другого качества, и не было в ней ни песка, ни мусора, ни отрубей, и недоброй памяти потребительское

общество «Эконом», выпекавшее в девятнадцатом году черт знает что вместо хлеба, давно приказало долго жить, а хлеб как был плохого качества, так и...⁹⁸

Сольвычегодцы не то чтобы любили жаловаться в свою газету, но... что, спрашивается, делать, если те, кому положено, на эти жалобы не реагируют. В пятьдесят пятом году жаловались на плохую работу городского радиоузла, который должен был обслуживать город и близлежащие деревни. Мало того, что работал он далеко не каждый день, так еще и слышен был из него «только шепот, свист или шум. Работники радиоузла интересуются только тем, чтобы своевременно была внесена абонентская плата, и при опоздании взыскать штраф, а не интересуются качеством радиопередач».

Жаловались на то, что в городском Доме культуры нет порядка. «Во-первых, он очень мал и далеко не соответствует требованиям культурного отдыха. Во-вторых, порядка в Доме культуры нет. Зачастую в кино продается до семидесяти билетов с нумерованными местами так называемых «входных». Но продаются они за ту же стоимость, что и билеты с местами. В результате создается толкучка, недовольство зрителей. На вечерние сеансы допускаются даже дети дошкольного возраста. Нередко сеансы начинаются не в установленное время – или раньше или же позднее. <...> В зрительном зале и фойе Дома культуры грязно. Наглядная агитация по много месяцев не обновлялась и к тому же очень бедна по содержанию и оформлению. Есть крайняя необходимость навести в районном Доме культуры должные порядки».

Жаловались на работников советской торговли. Как, спрашивается, на них не жаловаться, если они продают товары из-под прилавка. За нарушение прав советской торговли заведующей магазином Сольвычегодского горпо Сорокиной и объявлен выговор с предупреждением – если она и в дальнейшем будет нарушать правила, ее привлекут к суду. Так она и перестала... Между тем в начале пятидесятых со снабжением продуктами питания и не только с ними в Сольвычегодске дела обстояли далеко не лучшим образом. Процитируем заметку «Пора навести порядок в торговле горпо», напечатанную в июне пятьдесят второго года: «Второй месяц горпо не может организовать торговлю в городе керосином, который в летнее время крайне необходим в каждом доме для приготовления обедов. В райпищекомбинате имеются в избытке различные напитки: пиво, квас кислый и сладкий, брага, морс, морс, в маслопроме есть мороженое, которое уже портится, но горпо никак не может организовать торговлю даже этими напитками. Чтобы купить порцию мороженого, или, например, свежей рыбы, молочных продуктов, свежей зелени, стакан ягод клюквы, жителям Сольвычегодска приходится ездить в Котлас, тогда как все эти продукты можно найти в избытке внутри нашего района. Исключительно скверно работают и общественные столовые. В столовых грязно, обслуживают недопустимо медленно, на столах почти никогда не бывает горчицы, перца и часто даже соли. На обе столовых – две чайных ложки. Меню столовых стало отвратительно». Наверное, проще было рыбы наловить в Вычегде и насобирать клюквы в окрестностях города⁹⁹, чем ехать в Котлас. В конце концов, можно и соли самим наварить, если ты живешь в Сольвычегодске, но зачем тогда существует горпо...

Кстати, о столовых. Нельзя не привести результаты проверки торговой комиссией горсовета предприятий общественного питания города Сольвычегодска в августе пятьдесят пятого года. «В столовой №1 в марте сего года зав. столовой т. Ногина и повар т. Лушкова допустили обвес. Например, треску жареную готовили с обвесом на 15 граммов у порции. Буфетчица т. Паламодова у отпущенного хлеба 200 граммов обвешала потребителя на 20 граммов, а у 200 г пряников допустила обвес 8 граммов. В столовой №2, где заведующим в то время был т. Чмирев, а старшим поваром т. Аршинова, также допускались неполновесные блюда. У взятых на контроли 8 порций отварной трески обвес составил 140 граммов. Каша гречневая имела недовес 125 граммов у порции, блины с вареньем – 35 граммов у порции, котлеты мясные – 30 граммов у порции. Гарнир к свинине жареной – 45 граммов у порции.

При вторичной проверке столовой №1 в июле с. г. оказалось, что обвес потребителей продолжается. У раздатчика на кухне пом. повара т. Будахиной А.П. мясные котлеты были приготовлены с обвесом 15 граммов у порции, недовес к жареной треске имел 10 граммов у порции, каша рисо-

вая – 75 граммов у порции. У буфетчицы Семеновой на контроль хлеба оказалось: у 200 граммов обвес на 13 граммов, у 150 граммов обвес на 15 граммов. Продавец магазина т. Тюкавина взятую в качестве контрольной покупки рыбу взвесила на бумаге, а на второй чашке весов бумаги не было. Эти факты говорят о том, что в городе слабо поставлен контроль и проверка деятельности предприятий торговли общественного питания. Там, где дело организовано правильно, где четко и хорошо работают ревизионные и лавочные комиссии, там случаи хищений и воровства государственного народного добра, как правило, не допускаются. Членам ревизионных и проверочных комиссий необходимо повысить ответственность за порученное дело, по-настоящему бороться за улучшение торговли в районе». Как писала газета, «на предприятиях торговли и общественного питания Сольвычегодского горпо имеются грубейшие и при том массовые нарушения правил советской торговли, многочисленные факты злоупотреблений». Можно подумать, что только Сольвычегодского горпо¹⁰⁰.

Очень остро обстоит дело со снабжением города и района керосином. Отсутствие керосина означало и проблемы с приготовлением пищи, и отсутствие света, поскольку электричество в городе, если и было, то только не у простых граждан. Газета писала в ноябре сорок девятого: «В продаже горпо нет керосина уже более месяца и население города Сольвычегодска вынуждено по вечерам сидеть без света. Пора правлению горпо проявить заботу о трудящихся города и полностью удовлетворить их потребность в керосине».

Вот что писал в газету заведующий сельской школой Сольвычегодского района осенью пятьдесят второго года: «Как весной, так и сейчас осенью, в магазине Новиковского сельпо нет ни одного литра керосина и колхозникам после работы приходится сидеть с лучиной. Особенно нуждаются в керосине школы, которые работают в две и полторы смены. Но такое положение ничуть не тревожит председателя сельпо т. Горнова, он не принимает никаких мер к заводу и продаже керосина. На территории Новиковского сельсовета Горнов не бывал уже три месяца. О таком бездушном отношении т. Горнова к нуждам трудящихся известно райпотребсоюзу, но последний никаких действенных мер к улучшению работы Новиковского сельпо не принимает».

Забегая вперед, процитируем уже «Знамя ленинизма» от первого сентября пятьдесят седьмого года: «На городском керосиновом ларьке прибита дощечка с надписью: “Ларек торгует в четверг, пятницу и субботу с 18 до 17 часов. Перерыв с 12 часов”. Но это только написано. На самом же деле керосина трудящиеся не видят все лето. После настоятельных требований горожан райпотребсоюз “забросил” ... 10 бочек. Чтобы купить 5 литров керосина, пришлось стоять в очереди 5–6 часов. Керосин был распродан за один день. Горпо и райпотребсоюз, видимо, успокоились этой подачкой и завод керосина прекратили, а райторготдел спокойно наблюдает за бездеятельностью райпотребсоюза. И сейчас, когда вечерние сумерки с каждым днем наступают все раньше и раньше, а электростанция центральных ремонтно-механических мастерских далеко не полностью обеспечивают город светом, потребность в керосине возрастает все больше, керосиновый ларек закрыт уже более двух недель на крепкий замок. Вот и приходится горожанам или зажигать лучину (это в век-то электричества!), или, хотя и не хочется, раньше ложиться спать. Так ли надо торгующим организациям заботиться о быте трудящихся?» Вот вам и электричество на сороковом году советской власти...

Кстати, о сорокалети советской власти. Под заголовком «Нам обеспечена спокойная старость» в «Ленинском знамени» в ноябре пятьдесят седьмого было опубликовано письмо инвалида Якова Эдельштейна: «Недавно весь наш народ отметил 40-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. С особенной радостью встретили эту знаменательную дату мы, инвалиды. Мы знаем, что нас в царское время ожидала бы нищета и голодная смерть. Нищенствуют и голодают и сейчас инвалиды в капиталистических странах. Наша Коммунистическая и Советское правительство проявляют особое внимание и заботу об инвалидах. Нам предоставлены особые дома, мы размещены в светлых просторных комнатах, обеспечены постельными принадлежностями, бельем, питанием. При доме инвалидов имеется хорошо оборудованный просторный красный уголок, где можно послушать радио, прочитать газету, книгу, поиграть в шашки или

шахматы. Мы очень любим проводить вечера в красном уголке. Имеется также у нас и медпункт. Фельдшер Макарова и ее помощница Владимирова ежедневно обходят палаты, выясняют, кто заболел, и оказывают помощь больному. Весь обслуживающий персонал чутко и внимательно относится к нашим нуждам и запросам. Хочется от души поблагодарить нашу Коммунистическую партию и Советское правительство от имени 96 инвалидов, проживающих в нашем доме, за заботу и внимание»¹⁰¹.

В том же году сорокалетия советской власти сольвычегодскому дошкольному детскому дому исполнилось тридцать лет. За эти тридцать не самых простых лет детский дом вырастил и воспитал шестьсот круглых сирот.

Завершая разговор о жалобах и недостатках, о которых так подробно писала газета «Сталинский путь» в первое послевоенное десятилетие, процитируем июньское сорок девятого года постановление архангельского обкома ВКП(б) о самой газете. «Бюро обкома ВКП(б) отметило, что сольвычегодская районная газета не улучшила своей работы в свете решения четвертой областной партийной конференции и по-прежнему ведется на низком идейном и культурном уровне. Редакция газеты, по существу, оторвалась от первичных партийных организаций и сельских Советов, не опирается на широкий вне редакционный актив. Печатаемые на страницах газеты материалы носят случайный информационный характер и, как правило, пишутся штатными работниками редакции. Редакция газеты делала некоторые попытки улучшить освещение отдельных вопросов жизни района (например, провела рейд селькоров по проверке содержания скота в колхозах), но эти хорошие начинания носили эпизодический характер, организационно ничем не подкреплялись и в силу этого не дали необходимых результатов. Редактор газеты тов. Антропов в командировки не выезжает, положения дел на местах не знает, оторвался от жизни района и ограничивает свою деятельность сбором информации по телефону.

Газета не поднимает перспективных вопросов развития хозяйства и культуры района, зачастую проходит мимо насущных вопросов, выдвигаемых жизнью. Редакция не подхватила ценного начинания в разворачивании социалистического соревнования за повышение качественных показателей в работе промышленности и сельского хозяйства. Газета проявила недопустимую медлительность в деле разъяснения трехлетнего плана развития общественного колхозного и совхозного животноводства, по существу самоустранилась от мобилизации широких масс колхозников на выполнение этого важнейшего постановления партии и правительства.

Вопросы партийно-политической и культурно-воспитательной работы освещаются поверхностно, нецелеустремленно, без продуманного плана. На страницах газеты редко печатаются материалы о состоянии массово-политической работы на крупнейшем предприятии района – Нюбском леспромхозе, слабо показывается ведущая роль коммунистов и в целом первичных парторганизаций.

Совершенно не находят отражения в газете вопросы естественно-научной пропаганды, борьбы с пережитками и влиянием враждебной буржуазной идеологии. Крайне редко публикуются материалы с острой деловой критикой недостатков и работе партийных и советских организаций, предприятий и колхозов, не показываются пути их быстрее устранения. Редакция газеты слабо борется за улучшение идейного содержания и повышения литературных качеств публикуемых материалов. Статьи и корреспонденции в большинстве случаев излагаются сухим, стандартным языком, страдают общими рассуждениями. Вместо обстоятельного анализа деятельности и показа опыта работы партийных организаций, предприятий, колхозов, стахановцев, культурно-просветительных учреждений, редакция часто помещает материалы, которые не дают объективного представления о действительном положении на местах.

На страницах газеты нередко публикуются плохо отредактированные материалы, допускаются грамматические ошибки и опечатки. Газетные полосы верстаются неряшливо, без продуманных макетов, с нарушением правил верстки. Контроль за версткой и печатанием газеты не налажен, техническая учеба работников типографии не организована.

Оторванность газеты от жизни района, ее низкий идейный и культурный уровень привели к тому, что газета перестала пользоваться авторитетом среди населения района и плохо распро-

страняется по подписке. Установленный тираж газеты реализован по подписке только на 58,9%. Сольвычегодский РК ВКП(б) смирился с тем фактом, что газета из боевого партийного органа по существу превратилась в информационный листок, не вникает глубоко в содержание работы редакции, не направляет ее деятельность на освещение наиболее важных и злободневных вопросов жизни района. Райком крайне слабо использует газету, как важнейшее средство повышения производственной активности и коммунистической сознательности района.

Обком ВКП(б) предложил Сольвычегодскому райкому ВКП(б) и редактору газеты «Сталинский путь» тов. Антропову устранить недостатки, обеспечить коренное улучшение в работе газеты, поднять ее идейный и культурный уровень, для чего повысить организаторскую роль газеты в развертывании социалистического соревнования за досрочное выполнение послевоенной пятилетки, за улучшение качественных показателей в работе промышленности сельского хозяйства. На ярких и убедительных фактах и примерах показывать результаты соревнования по выполнению плана лесозаготовок и лесосплава, своевременному и высококачественному проведению весеннего сева, повышение урожайности колхозных полей и продуктивности социалистического животноводства, пропагандировать положительный опыт передовых предприятий и колхозов по созданию бригад отличного качества, смело и решительно критиковать недостатки, показывая пути их устранения. Поднимать в газете перспективные вопросы в развитии промышленности и сельского хозяйства района, уделив особое внимание разъяснению постановления партии и правительства о трехлетнем плане развития общественного животноводства, мобилизуя широкие массы на успешное его выполнение. Систематически показывать на страницах газеты, как партийные организации и культурно-просветительные учреждения района ведут работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, организуют естественно-научную пропаганду, ведут борьбу с пережитками и влиянием чуждой буржуазной идеологии, добиваются повышения социалистической сознательности и активности рабочих, колхозников и интеллигенции района. Широко привлекать к выступлениям в газете руководящих партийных, советских, комсомольских и хозяйственных работников, сельскую интеллигенцию, решительно улучшить работу с рабочими и сельскими корреспондентами, создать вокруг газеты постоянный вне редакционный авторский коллектив, организовать с ним повседневную работу путем проведения инструктивных совещаний и ознакомления корреспондентов с планами работы газеты, своевременно принимать меры по каждой корреспонденции, добиваясь действенности печатаемых материалов. <...> Обком ВКП(б) обязал первого секретаря Сольвычегодского райкома ВКП(б) тов. Антоновского лично заниматься работой редакции районной газеты, систематически рассматривать и утверждать на бюро райкома планы работы, контролировать содержание публикуемых материалов, направлять газету на освещение наиболее важных вопросов жизни района».

Вот так... перспективных вопросов не поднимала, низкий идейный и культурный уровень, оторвалась от жизни района, от первичных партийных организаций и сельских Советов, перестала пользоваться авторитетом. Видимо, после такого постановления редакция газеты и ее главный редактор соответствующие выводы сделали и в самом конце сорок девятого года в «Сталинском пути» была напечатана статья о сегодняшнем дне Сольвычегодска. Не то чтобы она приукрашивала действительность, нет, но...

«Наш маленький город после Октябрьской социалистической революции в корне изменил свой облик. Жизнь в нем, как и всюду в советской стране, бьет ключом, куда не взглянем – везде видим новое, созданное за годы советской власти. Раньше, как в городе, а также и в уезде промышленности не было. Лишь кустари одиночки вырабатывали ручным способом гончарную и бондарную посуду, шили сапоги, делали телеги и сани, вот, пожалуй, и вся дореволюционная промышленность. Теперь в городе ремонтные механические мастерские, обслуживающие лесозаготовительные предприятия нескольких районов, открыты кооперативные швейные и сапожные мастерские. Два года тому назад построен и действует пивоваренный завод.

В прошлом году построена городская электростанция и коммунальная баня, в текущем году завершено строительство большого здания средней школы. В районе работает большой механи-

зированный леспромхоз, сплавная контора, отбуксировавшая за лето сотни тысяч кубометров леса, заканчивается строительство крупнейшей лесоперевалочной базы, расширяются Тулубьевские судоремонтные мастерские. Большинство из этих предприятий работают точно по графику и опережают его. Например, коллектив Виледской сплавконторы на десять дней раньше срока завершил сплав леса, высвободив из оборота около полутора миллионов рублей оборотных средств.

По территории района прошла Печорская железная дорога. В связи с этим вырос недалеко от города большой поселок Вычегодский. В нем построены благоустроенные дома для железнодорожников и рабочих других предприятий, здание семилетней школы, клуб, электростанция и другие культурно-бытовые учреждения. Трудящиеся поселка почти ежедневно могут смотреть звуковые фильмы.

Сельское хозяйство района давно стало социалистическим. Теперь нигде не встретим сохи и деревянной бороны. Большие колхозные поля обрабатываются машинно-тракторной станцией, имеющей значительный тракторный парк, комбайны и многие другие сельскохозяйственные машины. <...> Передовые полеводческие бригады намачивают ржи и пшеницы до ста и больше пудов с гектара. <...> В области развития общественного колхозного животноводства имеются также значительные успехи. <...> Все колхозы имеют по четыре животноводческие фермы: крупного рогатого скота, овец, свиней и птицы. <...> Колхозный строй избавил крестьян-бедняков от эксплуатации кулаков, нищеты. До Октябрьской социалистической революции в окружавших Сольвычегодск деревнях многие крестьяне не имели не только лошадей, но и коровы, а хлеба со своих полосок снимали столько, что его не хватало на полгода. Сейчас не встретишь колхозника, который бы не имел коровы и мелкого скота, нет недостатка в хлебе. Материальный уровень колхозников неуклонно повышается.

Исключительные изменения произошли в культурном отношении. До Октябрьской революции в Сольвычегодском уезде только около одной четверти населения умели читать и писать. В самом городе была лишь небольшая гимназия, в которой обучались дети купцов и богатых крестьян, начальных школ в уезде были единицы. Иная картина теперь: неграмотность давно ликвидирована полностью. В городе имеется средняя школа и педагогическое училище, выпустившее из своих стен за двадцать лет свыше тысячи учителей начальных школ. В педагогическом училище сейчас обучается свыше трехсот юношей и девушек, в средней школе – свыше шестисот человек. В районе, исключая город, имеется семь семилетних школ и двадцать одна начальная школа. В них обучается три тысячи детей рабочих, служащих и колхозников.

Большевистская партия и советское правительство, руководимые великим Сталиным, широко открыли для простых людей двери в науку. Сотни сыновей рабочих и крестьян за годы советской власти получили среднее и высшее образование, и многие из них теперь занимают ответственные посты в советских и партийных организациях. Сын крестьянина – воспитанник педагогического училища А.Н. Коломинов – ныне генерал-майор, сын колхозника Козьминского сельсовета В.П. Бегоулев – военврач Герой Советского союза.

Районная библиотека, имеющая свыше тринадцати тысяч томов художественной и политической литературы, районный радиоузел, звуковое кино, краеведческий музей, клубы, библиотеки на предприятиях в сельской местности – все это и многое другое создано после Великого Октября. Дома и улицы освещаются электричеством. В текущем году зажглись лампочки Ильича в лесу в общежитии лесорубов. Трудящиеся города выписывают сотни экземпляров центральных и областных газет и много журналов. Все это появилось в годы советской власти и все это свидетельствует о неуклонном росте культурного и материального благосостояния трудящихся района. Сольвычегодск – бывшее место царской ссылки – стал культурным районным центром».

Про то как дома и улицы освещаются электричеством, про директора городской бани, про работу радиоузла, про звук в кино и про то, как большинство предприятий работают точно по графику и опережают его, газета писала, и за это на бюро обкома ей... а с другой стороны – кулаков действительно истребили как класс, сельское хозяйство стало социалистическим, никто не

голодает, появились клубы, краеведческий музей, педучилище, большая городская библиотека и сельские поменьше, культурное и материальное благосостояния неуклонно растут...

Кстати, о домах и улицах. Раньше, при царе, очистка городских улиц и площадей производилась арестантами городской тюрьмы. Обязанности по очистке выгребных ям и ремонту частных домов лежали на домовладельцах, а теперь, когда арестантов от дела отстранили, когда городскую управу заменило домоуправление горсовета, когда дома стали принадлежать городу... Приведем четыре письма, написанные на эту тему сельвычегодцами весной пятьдесят пятого года в газету:

«Проходя по улицам города... А загляните на улицу Футбольную. Чего только и нет здесь. Улица захлавлена лесом, дровами, на ней идет строительство сруба под какое-то небольшое помещение. Вот место водоснабжения – колодец у общежития, стоящего рядом с конторой МТС. В колодце – разный мусор и отбросы. Вода превращена в сплошное месиво грязи. Но, к сожалению, факты эти не единичные. Их можно встретить повсюду. Когда все же горсовет не формально, не бюрократически будет относиться к осуществлению своих планов и решений о благоустройстве? Н. Паламонов. Член уличного комитета.

Резолюция есть, а дела нет. Я являюсь домоуправом в доме №6 по улице Урицкого в г. Сольвычегодске. Еще в марте я подавала в горсовет заявление об очистке уборной. Руководитель домоуправления горсовета тов. Терехов сразу же написал на заявлении резолюцию: «Очистить в ближайшие дни». Прошли не дни, а месяцы, но яма все еще не очищена. Жителям дома приходится самим ведрами убирать льющуюся через края ямы навозную жижу. Кроме того, в нашем доме крайне нужно перекрыть крышу. Во время дождя нет спасенья, вода проникает в помещение всюду. Руководителям горсовета об этом тоже известно, но они никаких мер не принимают к тому, чтобы перекрыть крышу.

Санинспекция, где ты? Во дворе конторы МТС всюду огромные груды навоза, вываленного из животноводческих помещений. Владельцы скота – служащие МТС ничуть не заботятся держать занимаемую ими территорию в должном санитарном порядке несмотря на то, что рядом расположены столовая и булочная-пекарня горпо. Почему санинспекция и ее руководитель т. Басаргина примиренчески относятся к грубейшим нарушениям правил санитарии?

Забывтый дом. На территории города Сольвычегодска находится санаторий для туберкулезных детей. Много детей отдыхают, а вместе с тем и восстанавливают свое здоровье. Но когда подходишь к этому дому, то обстановка вокруг дома совершенно не располагает на отдых. Ворота и ограда вокруг дома стоят еле-еле, при сильном ветре все упадет. Кое где ограда приперта колыями, чтобы не упала. «Заботливый» руководитель не позаботился даже озеленить территорию санатория, посадить деревья, разбить цветочные клумбы., чтобы не только лечение, но и окружающая среда воздействовала благоприятно на лечащихся там детей. Заведующая тубсанаторием тов. Евдокимова никаких мер по благоустройству не принимает. Забыли, видимо, о санатории и руководители райздравотдела, а нужно немедленно позаботиться о нем, ведь там отдыхают и лечатся дети – наше будущее».

Власти реагировали. Исполком Сольвычегодского Совета депутатов трудящихся каждую весну ближе к майским праздникам, приказывал «Обязать председателей городского и сельских Советов, руководителей предприятий и организаций, учебных заведений, лечебных и детских учреждений, комендантов домов и общежитий в срок до 30 апреля организовать и закончить массовую очистку территории улиц, дворов, площадей, общественных ящиков, нечистот, мусора и навоза. Категорически запретить вывоз фекалия из города и населенных пунктов района на огороды, парники, поля для овощных культур и корнеплодов и разрешить вывозить фекалий как удобрений на поля только под зерновые культуры. Совместно с саннадзором в городе, а на территории района с участием медработников выделить «свалочные» места для вывозки всех нечистот на расстоянии не ближе километра от населенного пункта. Привлечь для вывозки гужевой

и автотранспорт всех общественных организаций. В срок до 30 апреля произвести ремонт всех уборных и помойных ям. <...> Обязать райздравотдел обеспечить через районную аптеку продажу хлорной извести всем организациям, предприятиям и населению. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заведующую райздравотделом».

Нужно сказать, что сольвычегодцы активно участвовали в благоустройстве города. Школьные учителя, ученики, врачи горбольницы, курорта, служащие райкома партии, воспитанники детского дома, преподаватели педучилища и студенты сажали березы, тополя, яблони, кусты малины, сирени, акации, сотнями, строили заборы, тротуары и разбивали клумбы. Летом пятьдесят второго года горожане посадили для укрепления берега Вычегды ниже города свыше шести тысяч кольев ивы в четыре ряда. Не просто сажали и бросали на произвол судьбы, а еще и поливали, и защищали их от поедания скотом, который бродил по городу как при царе, не обращая никакого внимания на то, что власть уж сорок лет как переменялась.

Аптечный киоск и швейная мастерская

Оставим яблони и кусты малины и перейдем к культурной жизни Сольвычегодска того времени. К культурным событиям отнесем первую колхозную ярмарку, прошедшую в конце октября сорок девятого года. Оно и понятно, поскольку для приехавших на ярмарку колхозников читали лекции, проводили беседы, организовывали культпоходы в кино и городские музеи. Ярмарка проходила на центральной площади Сольвычегодска. Там построили открытые столы, прилавки и киоски. Посетило ярмарку свыше четырех тысяч человек. Газета писала: «Торгующими организациями в магазины, лавки, ларьки и киоски в порядке встречной торговли было выкинуто для продажи большое количество всевозможных товаров».

Не знаю, можно ли отнести к событиям культурной жизни массовое гуляние, посвященное сорокалетию со дня пребывания в ссылке Сталина в Сольвычегодске, но поскольку событий культурной жизни в сорок девятом году было не так уж и много, то отнесем и его. «Сталинский путь» подробно описывал это событие: «На место, где товарищ Сталин проводил сходки с местным населением, прибыли трудящиеся, молодежь города, поэт тов. Молчанов, пионеры города Архангельска. В начале гуляния пионерами детдома №1 совместно с пионерами города Архангельска, был организован пионерский костер. Выступивший руководитель пионеров города Архангельска тов. Никитин рассказал собравшимся биографию товарища Сталина. Поэт тов. Молчанов приветствовал присутствующих от Союза советских писателей и прочел ряд своих стихов. После пионерского костра состоялись игры и танцы. Гуляние прошло оживленно с большой активностью трудящихся города».

Таких событий, которые относились скорее к общественно-политической жизни, нежели к культурной, в те годы было много. Например, трехдневный семинар пропагандистов политшкол и кружков по изучению биографии И.В. Сталина и истории ВКП(б), состоявшийся в марте пятьдесят второго. Вряд ли кто-то читал на этом семинаре стихи, а уж игр и танцев точно не было. Туда же отнесем и ежедневные политинформации, проходившие в сольвычегодской центральной сберкассе, в ходе которых заведующий сберкассой товарищ Лопаткин знакомит работников своего коллектива с происходящими событиями в Советском Союзе и странах народной демократии.

В марте пятьдесят второго в районной библиотеке состоялся литературно-художественный вечер, посвященный великому русскому писателю Н.В. Гоголю. Доклад, который прочел преподаватель педагогического училища, сопровождался показом диафильма о Гоголе¹⁰². Сотрудники библиотеки прочли отрывки из произведений Гоголя, а преподаватели училища под аккомпанемент аккордеона исполнили украинские песни.

В библиотеке сольвычегодского райкома регулярно читали лекции для жителей города и района на самые разные темы – например, о вреде религиозных пережитков или о борьбе большевиков за укрепление союза рабочего класса и крестьянства в первой русской революции 1905–1907 гг. В клубе бальнеологического курорта главный врач районной больницы прочел лекцию об ал-

коголизме как о вредном пережитке прошлого. Лекция, как писал «Сталинский путь», «вызвала большой интерес».

В ноябре пятьдесят седьмого года в городском Доме культуры состоялась первая районная конференция работников учреждений культуры, на которой присутствовало более семидесяти человек. Такого еще в истории Сольвычегодска и района не было. Участники конференции заслушали и обсудили доклад председателя исполкома районного Совета депутатов трудящихся Ванюшкина «О состоянии и мерах улучшения работы культурно-просветительных учреждений района». Потом выступали одни депутаты и жаловались – кто на то, что для библиотеки не заготовили дров на зиму и работать приходится в холодном помещении, кто на недостаток или полное отсутствие оборудования, кто на плохую работу клуба в районе, где редко читают лекции, не проводят литературные вечера, а завклубом редкий гость на фермах и в бригадах. После них выступали другие депутаты и не жаловались, а рассказывали, как прочли десятки лекций, устроили концерты, а заведующая одной из изб-читален каждый день приходила на ферму с книгами и читала их дояркам в перерывах между дойками, потом останавливалась на самом интересном месте и звала доярок вечером в избу-читальню дослушать. Энергии этой заведующей из деревни Шешурово Сольвычегодского района хватило на организацию хорового и драматического коллективов силами которых было проведено десять концертов, колхозный фестиваль молодежи и устроен тематический вечер с докладом о том, как мы «В ближайшие годы догоним США по производству мяса, молока и масла на душу населения». Впрочем, и у тех, у кого работа спорилась, дров на отопление изб-читален, библиотек и клубов тоже не хватало.

Конференция закончилась, как и все советские конференции – приняли постановление об улучшении культурно-массовой работы в районе, лучших работников культуры наградили почетными грамотами и избрали на первый областной съезд работников культуры¹⁰³.

От событий культурной жизни перейдем к событиям, связанным с сельскохозяйственными культурами. Вернее, с одной культурой – кукурузой. На десятой районной конференции ВЛКМ в пятьдесят пятом году молодежь приняла обязательство вырастить кукурузу на площади в сто двадцать гектаров. Как писала в начале июня городская газета «Это очень важное и почетное дело. Сотни юношей и девушек, работающих на предприятиях, в учреждениях и колхозах, учащиеся средних и семилетних школ вступили в поход за выращивание высоких урожаев кукурузы. Комсомольские организации колхозов, молодежь шефствующих над колхозами предприятий и организаций, а также ученические начали создавать зимой комсомольско-молодежные звенья, знакомиться с агротехникой выращивания кукурузы, готовить участки к посеву». За выращивание кукурузы взялись все – и юннаты в школах, и студенты педучилища, и преподаватели сольвычегодской средней школы, и конечно колхозы, мнением которых о целесообразности выращивания кукурузы в условиях Сольвычегодского района никто и не думал интересоваться. В газете постоянно печатались статьи о том, как кукурузу сеять, как выращивать и чем удобрять, публиковались списки литературы и даже колхозные поговорки о кукурузе – кукурузные початки растут от Крыма до Камчатки, кукурузная полоса – это ветчина и колбаса, коль кукуруза что лес – колхоз в миллионеры полез, сей кукурузу – свиньи будут не в обузу. Правда, некоторые колхозы изо всех сил старались уклоняться от посевов кукурузы и упорно сеяли то, что обычно в этих краях растет – рожь, ячмень, овес, гречиху. Так, например, поступал колхоз «Красная заря», к которому не один и не два раза приходили представители райкома ВЛКСМ, преподаватели сольвычегодской средней школы вместе с учениками и просили руководство колхоза начать вспашку земли под посев кукурузы. Пока просили, короткое северное лето стало мало-помалу заканчиваться и...

В пятьдесят девятом году Сольвычегодский район упразднили и Сольвычегодск приписали к Котласскому району. Стал он городом районного подчинения или, как сказали бы до исторического материализма, заштатным городом – вроде Красноборска, который был заштатным городом в составе Сольвычегодского уезда. Не то чтобы обидно, но... обидно, что и говорить. С другой стороны, не нужно отвечать за вечно не выполняющий план по лесозаготовкам леспромхоз, за посевную в колхозах, за сбор урожая, за надои молока, за силосование кормов, за работу райпотребсоюза, за заготовки сельхозпродуктов...

Началась в Сольвычегодске тихая размеренная жизнь советского города районного подчинения. Сольвычегодское горпо взялось за ум, завело свиноплекс и обеспечивало сольвычегодцев свининой и молодыми поросятами, создало бригаду по вылову речной и озерной рыбы, которой снабжало курорт и детские учреждения. Появилось у горпо и свое подсобное хозяйство, обеспечивавшее город картофелем и овощами. В шестидесятые построили хлебозавод, который в годы своего расцвета выпускал чуть больше сорока видов хлебобулочной продукции. Только хлеба выпекалось восемь сортов, среди которых и Степной, и Уральский, и Красносельский, и Столовый, и Домашний, и даже Забайкальский, бублики простые и лимонные, баранки, полтора десятка самых разных булок с повидлом, маком, изюмом, медом, булка Колобок, булка Веснушка, булка Октябренок, пять видов сушек... Конечно, столичного жителя, да и просто большого города такой ассортимент вряд ли удивит, но где житель большого города, а где житель крошечного северо-городка среди тайги, болот и медведей. Еще и на другом берегу Вычегды.

В начале шестидесятых капитально отремонтировали городскую больницу, впервые создали детскую и женскую консультации, зуботехническую и общеклиническую лаборатории, открыли при больнице аптечный киоск, физиотерапевтическое и туберкулезные отделения, появился флюорографический кабинет.

В шестьдесят восьмом году построили Дом быта, в котором работали и швейная мастерская, и фотоателье, и парикмахерская, и часовой мастер и все, чему полагается у нас работать в провинциальных домах быта. Парикмахер, между прочим, выезжал в близлежащие села для обслуживания сельского населения. Швейная мастерская у сольвычегодцев пользовалась повышенным спросом – горожане и особенно горожанки постоянно шили на заказ платья и верхнюю одежду. Оно и понятно – в то время купить что-то подходящее тебе по размеру, да еще и хорошего качества в магазине было не так-то просто. Мастерская обшивала не только сольвычегодцев, но и сельских жителей и даже курортников. Время от времени в городском Доме культуры устраивали показ новых моделей одежды, а для курортников проводился специальный Ситцевый бал. Только представьте себе, как сольвычегодские модницы приходили в мастерскую с каким-нибудь срисованным из модного советского или даже заграничного журнала фасоном платья или блузки, как умоляли портних держать его в секрете от знакомых, как потом, увидев похожее – отложной воротник или жакет на соседке (а в таком городке как Сольвычегодск соседками считаются все), ссорились навсегда до следующего платья...

Набережная имени Аники Строганова

К тому моменту, когда в конце восьмидесятых все начало трещать и разваливаться, в Сольвычегодске все было – и хлебозавод, и маслозавод, и лимонадный цех, и молодые поросята, и радио, и булки с маком и повидлом, и вылавливаемая горпо рыба, и лимонные бублики, и бальнеологический курорт, и швейная мастерская, и ремонтно-механический завод, и совхоз «Сольвычегодский», снабжавший город молоком, мясом и овощами, и аэродром, взлетев с которого на АН-2 можно было долететь до Котласа меньше чем за десять минут, и педагогическое... а вот училища уже не было – его закрыли в пятьдесят шестом. Совхоз в девяносто втором реорганизовали в акционерное общество закрытого типа «Сольвычегодское». Бывшие у него на балансе детский сад «Солнышко» и Дом культуры передали на баланс муниципалитета. То, что осталось от реорганизации, расчленили на более мелкие предприятия, и потом, в середине двухтысячных, они, как и акционерное общество чуть раньше, тоже были доведены до ручки. Сольвычегодское горпо продержалось до двенадцатого года, а хлебозавод приказал долго жить в третьем году. Тогда же закрылся и маслозавод. В девяностых стали реорганизовывать ремонтно-механический завод и окончательно его угробили к четырнадцатому году третьего тысячелетия. Больницу, в штате которой работало сто двадцать человек, девять врачей и было сто коек в стационаре, закрыли в двенадцатом году¹⁰⁴. Теперь в Сольвычегодске только поликлиника. Принимают два врача – терапевт

и педиатр. Первичную помощь оказывают фельдшеры. Хочешь попасть к хирургу или гастроэнтерологу – отправляйся в Котлас или в Коряжму. Девятнадцатый век... Родильное отделение вместе с хирургическим и инфекционным тоже закрыли. Теперь рожать нужно ехать в Котлас или даже в Архангельск. Будущие мамы стараются лечь в котласский перинатальный центр заблаговременно. Потому как и в ближний Котлас, и за тридевять земель в Архангельск рожать повезут по дороге, а она после переправы через Вычегду такая, что родить можно и не доезжая до места. Осенью и весной после дождей по дороге в Коряжму просто не проехать – в непролазной грязи вязнут даже фуры, не говоря о легковых машинах.

Газеты городской теперь тоже нет. В первой половине девяностых после долгого перерыва на волне гласности попытались издавать «Сольвычегодские вести», но продержалась она четыре года. Как всегда, не хватило денег на продолжение издания. Теперь новости из жизни Сольвычегодска можно прочесть в котласской газете «Двинская правда» или в коряжемской «Трудовая Коряжма». Тогда же, в начале девяностых, существовала радиопрограмма «Сольвычегодские вести», которая тоже, как и газета, закончилась в девяносто четвертом году из-за отсутствия финансирования и технического износа системы проводного вещания, оставшегося еще от советской власти. Еще и полиции нет. Есть участковый, но, если что... звоните в Котлас.

Аэродром умер в начале девяностых из-за подорожания авиационного керосина, из-за того, что государство перестало субсидировать местные авиалинии, из-за того, что нужно было поддерживать в порядке грунтовую взлетно-посадочную полосу, деревянное здание аэровокзала, а денег у местной администрации...

В девяносто восьмом власти решили на месте аэродрома построить торфобрикетный завод. Намерения были самые благие – обеспечить город и округу дешевым топливом. Надеяться на то, что проведут газ, тогда не приходилось, а торфа вокруг, можно сказать, куры не клюют. Везти его, как уголь, за тридевять земель не нужно. Торф, как известно, образуется на болотах, а болот вокруг Сольвычегодска всегда было более чем достаточно. Топить торфом куда экологичней, чем топить углем. Кроме того, появятся новые рабочие места, что для маленького городка на другом берегу Вычегды немаловажно, но... гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Овраг, собственно, был всего один, но большой – отсутствие денег. Местных средств не то чтобы не хватало – их и не было, а администрация Котласского района, к которому приписан Сольвычегодск, не очень-то и хотела раскошелиться. Через три года областная администрация денег все же дала, и тогда дело с мертвой точки двинулось – первую очередь завода с грехом пополам запустили. На открытие приехал из Архангельска сам губернатор. Как вспоминали потом сами сольвычегодцы, «Все безработные Сольвычегодска были собраны на заводе. Каждому выдали по лопате и велели рыть ямы. Безработные изображали перед высокой комиссией рабочих завода. Когда комиссия уехала, ямы зарыли, а каждому рабочему выдали по пятьдесят рублей». Прошло еще почти два года, и к октябрю третьего года завод сдали, хотя и с существенными недоделками. Тут начали выясняться разные интересные подробности, о которых раньше никто не знал. При двадцатиградусном морозе, а он в тех краях куда чаще, чем двадцатиградусное тепло, механизмы замерзали и переставали работать. Завод был спроектирован для средней полосы, а построили его куда севернее, чем следовало. Мало того, завод поставили у неосвоенных болот, и приходилось везти торф с уже освоенных болот за девятнадцать километров от завода. Не хватало машин, чтобы подвезти сырье. Еще и оборудование поставили не все – нечем было торф дробить и сортировать. К августу девятого года, предприятие, успевшее выпустить с момента запуска триста тонн торфяных брикетов, которые купила местная школьная котельная, обанкротилось и продано за копейки. Новый собственник вложил в завод деньги, закупил новое оборудование и с одиннадцатого года предприятие должно было производить торфяные брикеты круглогодично, но... упал спрос и на полную мощность завод так и не вышел, а в марте двенадцатого года несчастный завод и вовсе загорелся. Высушенный торф в брикетах горит хорошо и потому сгорел не только склад, но и новое, недавно установленное оборудование. То ли электропроводка была неисправна, то ли кто-то склад с готовой продукцией поджог...

Оставим обгорелые руины торфобрикетного завода без сожаления, тем более что в двадцать пятом году в Сольвычегодск после многих лет ожидания наконец-то пришел газ¹⁰⁵. От газораспределительной станции в поселке Вычегодский на котласском берегу Вычегды методом горизонтально-направленного бурения проложили трубы под дном реки к Сольвычегодску. Два года прокладывали – сначала все шло хорошо, потом буровой головкой наткнулись на огромные валуны¹⁰⁶ под дном реки, потом сломали ее, потом долго вытаскивали, потом починили, потом настоятель Благовещенского собора освятил буровую установку вместе с буровой головкой, потом снова сломали, и уже после того, как снова починили, довели дело до конца. Теперь над Сольвычегодском, как когда-то над Лондоном, не будет висеть зимой смог от угольных котельных, нет копоти на стенах соборов, не будет пахнуть дымом, что для курортного городка, каким стал Сольвычегодск, немаловажно¹⁰⁷. Теперь гораздо удобнее и проще подогревать лечебную грязь и минеральную воду. Теперь и в городских соборах, которые вместе с курортом являются, так сказать, градообразующими предприятиями Сольвычегодска, можно будет с помощью газового отопления поддерживать нужный температурный режим для сохранения уникальных фресок и иконостасов.

На этом месте и закончим рассказ о Сольвычегодске, чтобы не писать дежурных слов о том, как похорошел в двадцать первом веке старинный русский город, как приятно пройти по новенькой с иголочки набережной имени Аники Строганова вдоль широкой и стремительной Вычегды, как уверенно смотрят в будущее сольвычегодцы, как под сводами Благовещенского собора... нет, писать этого мы не будем. Тем более что будущее, в отличие от советских времен, теперь у всех разное – у той молодежи, которая уезжает из Сольвычегодска получать образование или в поисках работы¹⁰⁸ одно, а у тех, кто остается – совсем другое. Скажу только, что как ни уезжай из Сольвычегодска, уехать из него совсем не получается. Бог знает почему. С одной стороны, маленький Сольвычегодск в душу не лезет как какой-нибудь Париж или Нью-Йорк. В глаза тебе не заглядывает, купить ничего не предлагает. Не мельтешит и не сверкает огнями рекламы. С другой стороны – он просто рядом с тобой. Маленький северный город – скромный и немного застенчивый. Настанет пора прощаться – утром встанешь пораньше, сядешь на паром, переплывешь Вычегду, обернешься, помашешь рукой Благовещенскому собору и укачишь в свою Москву или Питер, или Хабаровск, а через полгода или через год вдруг проснешься среди ночи на каком-нибудь двенадцатом этаже от того, что Сольвычегодск смотрит на тебя с того берега. Закроешь глаза – смотрит. Поворачаешься к боку на бок и уже засыпая станешь думать – ангелы на фресках Благовещенского собора писаны с натуры или нет? Не может быть, чтобы не с натуры. То есть потом, конечно, их писали по рассказам тех, кто видел, а то и по рассказам тех, кто слушал рассказы тех, кто встречался с теми, кто видел, но тогда, при Строгановых...

Примечания

⁸⁰29 марта 1917 года «Вологодский листок» сообщил, что «По постановлению Временного Губернского комитета арестованы и заключены в тюрьму: управляющий типографии “Вологодского Листка” Навродский, рабочие Вологодских Главных железнодорожных мастерских Циманович, Кленин и рабочий депо Няндомы Коншин. По сведениям, добытым при разборе дел жандармского управления, оказалось, что эти лица были провокаторами, т.е. за деньги поставляли в жандармское управление сведения обо всем, что делается среди рабочих в типографиях и в общественных организациях; сами же продолжали принимать во всем революционном движении, которое они продавали, самое горячее участие. Арестованные трое провокаторов сознались в своем предательстве, Навродский же отказался от всяких объяснений».

⁸¹В «Голосе бедняка» в декабре девятнадцатого года было напечатано объявление под названием: «Отречение от партии левых эсеров»: «Состоя в партии левых эсеров с 1908 г. ныне прерываю всякую связь с последней и вступаю в РКП(б) в чем и подписуюсь. И. Зиновьев».

⁸²В конце марта восемнадцатого года на общем собрании крестьян Нижнетоемской волости

Сольвычегодского уезда было решено замеченного в самогоноварении сажать под арест на трое суток и отбирать у него весь запас хлеба, выдавая на продовольствие по 25 фунтов в месяц.

⁸³По предложению представителей Двинских волостей Второй съезд Советов крестьянских и рабочих депутатов принял принципиальное решение о разделении Сольвычегодского уезда на два. Причина была одна – слишком большие расстояния (400 верст) от своего административного центра и связанные с этим многочисленные неудобства. Вопрос о том, где будет находиться новый уездный административный центр и как он будет называться, решен на съезде не был.

⁸⁴По всей видимости в газете «Голос бедняка» корректора не было, и все, что приносилось в газету или писалось ее корреспондентами, печаталось в том виде, в котором приносилось и писалось. В том же виде, с той же орфографией, я привожу эти материалы здесь. Поэтому, если вы читаете «етой» или «плотите», или «призидиум» – знайте, что в девятнадцатом году было напечатано именно так и никак иначе.

⁸⁵В биографии Ильи Ивановича Томского, несмотря на все усилия сольвычегодских краеведов еще достаточно белых пятен. Известно, что Томский его ненастоящая фамилия, что родился он в Сольвычегодске, в 1893 году у крестьянина Тотемского уезда Ивана Ильича Тыкина и его законной жены Юлии Петровны, что в 1915 году по окончании Петроградской духовной семинарии Илья Тыкин стал студентом Петроградской духовной академии, но проучился в ней всего лишь год, а следующие два года он уже юнкер и затем подпоручик 2-й Петергофской школы прапорщиков. По всей видимости получить высшее богословское образование ему не удалось, поскольку заочно в Петроградской духовной академии можно было учить только с четвертого курса, да и в семнадцатом году диплом о таком высшем образовании... В 1918 году Илья Тыкин появляется в Сольвычегодске под фамилией Томский и работает поначалу как инструктор по внешкольному образованию и археолог-любитель. Впрочем, на этой работе он проработал недолго и вскоре стал заведующим Подотдела по музейным делам и охране памятников искусства и старины, организованном по его же инициативе. От имени Подотдела церковноприходским общинам и владельцам особо ценных памятников искусства были выданные охранные грамоты. Усилиями Томского были поставлены на учет и государственную охрану практически все известные на тот момент памятники архитектуры Сольвычегодского уезда. Многие из этих памятников да нашего времени не сохранились, но они остались в фотографиях и рисунках, сделанных в краеведческих экспедициях, инициатором и организатором которых был Томский.

Сохранился любопытный документ, датированный январем двадцатого года и подписанный заведующей отделом по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Народного комиссариата просвещения Натальей Седовой-Троцкой, в котором отдел обращается в Сольвычегодское Бюро по распределению предметов первой необходимости с просьбой «не отказать выдать ордер на право приобретения костюма и пальто заведующему Сольвычегодским Подотделом по охране памятников искусства и старины И.И. Томскому, так как по роду своей службы т. Томский находится в частных и продолжительных командировках, а единственный костюм и пальто т. Томского пришли в крайнюю ветхость, а посему отказ в получении ордера поставит т. Томского в критическое положение и лишит возможности производить полезную и ответственную работу. Возложенную на него центральным органом рабоче-крестьянского правительства». Видимо, Илья Иванович был знаком с женой Троцкого лично, а не просто как подчиненный. Можно предполагать, что это опасное знакомство и подтолкнуло Томского уволиться по собственному желанию с поста директора музея летом двадцать четвертого года, когда у мужа Натальи Седовой начались неприятности, и уехать в Ленинград. О дальнейшей судьбе Ильи Ивановича неизвестно ничего.

⁸⁶С пьесами при новой власти были сложности. Поскольку новых пьес о новой жизни было... да почти и не было, приходилось ставить старые, написанные в эпоху самовластья. Чему, спрашивается, такие пьесы могли научить нового советского человека, который еще толком не отрекся от старого мира и не отряхнул его прах со своих ног? Кто объяснит зрителю, что такое хорошо и что такое плохо? Нашелся в Сольвычегодске человек, который об этом задумался и написал в

газету «Голос бедняка» заметку «Наше мировоззрение» в апреле двадцатого года. «В гор. Сольвычегодске оживляется клубная и просветительская деятельность. Но ввиду недостатка революционных пьес, часто приходится ставить пьесы буржуазного и даже черносотенного характера. Такие пьесы, как “Сокол и Вороны”* и “Сокровище”** безусловно не могут быть поставлены без оговорок. Это делается по всей Советской Республике в виде “вступительного слова” к пьесе, где поясняется ее смысл для наблюдающих трудовых слоев и говорится, что хорошо и что не хорошо, что соответствует пролетарскому мировоззрению и что противно ему. Это обязательно необходимо ввести и у нас. Правление клуба моряков имени Зиновьева вводит особую редакционную комиссию, которая во время спектаклей и литературно-художественных вечеров освещала бы с классовой точки зрения представляемую вещь».

* «Соколы и вороны» – любовная драма в двух действиях А.И. Сумбатова-Южина.

** «Сокровище» – семейная драма в пяти действиях и шести картинах К.В. Назарьевой

⁸⁷Сейчас, через сто с лишним лет, в Сольвычегодске нет книжного магазина. Закрылся он в девяностых. Конечно, теперь есть интернет и любую книгу можно скачать, да и в таком маленьком городке читателей не наберется столько, чтобы книжный магазин мог хотя бы свести концы с концами, но... книжного магазина нет.

⁸⁸Каменщикам, которые проводили ремонтные работы в здании бывших присутственных мест, за их ударный труд подарили материю на рубашки и по десять мотков ниток каждому.

⁸⁹Эту заметку из «Голоса бедняка» под заголовком «Труженики советские», напечатанную в августе девятнадцатого года, к новостям культуры формально отнести нельзя, но... если мы про живую жизнь, а не про высушенное краеведение, то лишней она не будет. «Не так давно мне пришлось быть по делам службы в Управлении Сольвычегодской Уездной Советской Милиции. За пишущей машинкой сидела и с большим усердием работала машинистка Попова. Я поинтересовался и спросил ее, что она работает? Она мне показала какие-то любовные стишки. Я спросил для чего ей такие вещи? На что Попова ответила, что нужны и у ней их много напечатано. К моему удивлению, Попова выложила из стола несколько листов и полулистов, запечатанных стишками на пишущей машинке, и сказала, нисколько не стесняясь, что у ней еще дома больше этого! Я невольно подумал: “вот так труженица!” Честные работники советских учреждений все силы напрягают, работая ввиду массы спешной работы и неимения технических работников, а почтенная Попова, имеющая, очевидно, неиссякаемый источник любви к мужчинам, занимается печатанием любовных стишков во время работы...».

⁹⁰Конечно, крестьяне не могли открыто сопротивляться продразверстке, но некоторые... В декабре двадцатого года «Борьба и труд» опубликовала заметку под названием «На черную доску»: «Корниловская волость. При сдаче продуктов по обязательной поставке гражданин дер. Чеды Анастасия Баскакова вместо масла принесла ком вареной картошки, смешанной с мукой и облепленной маслом; гр. дер. Мартюковской Илья Вас. Баскаков при выполнении поставки положил в масло для тяжести два камня; гр. дер. Корниловской Александра Филипповна Тропина пыталась сдать вместо овечьей шерсти измельченный и расшиньгованный старый войлок. Безусловно подлость нечестных граждан была обнаружена., и от них потребованы чистые продукты. Стыд, срам и позор гражданам, дающим государству вместо хлеба камень. Не уйти вам от суда народного, общественного, от суда тех односельчан, которые честно выполняют поставку, от суда наших братьев красноармейцев, отдающих свою жизнь на спасение революции и Советской Власти».

⁹¹Тогда же газета опубликовала стихотворение, написанное Стефанидой Баскаковой, посвященное уклонистам.

Записался в коммунисты, да одно не вынес:

Стали требовать на фронт –
Из коммуны вылез.
Что же, это не позор,
Что от такой напасти
Стал отваливать хвостом

Представитель власти.
«Наказания же ведь нет
Мне за то на свете.
Правда, назвали разок
Шкурником в газете.
Я отделался легко:
Так же в комитете.
Как и раньше, я служу
Главарем в Совете.
На бумажке построчить
Мне не надоело.
Сыт, в тепле, обут, одет –
До других нет дела».
Коммунистов бы таких
Следует за это
Грязной вымести метлой
Вон из комитета.

Нужно сказать, что стихов в редакцию «Голоса бедняка» присылали много. Чаше всего редакция отвечала сольвычегодским поэтам так, как отвечают почти все редакции почти всем начинающим поэтам. Вот один из таких типовых ответов: «Смирину К. Стихи не пойдут – набор слов. Пишите еще прозой».

Вот другой, похожий не столько на рецензию, сколько на строгое предупреждение или даже угрозу, напечатанный в газете «Борьба и труд» в марте двадцать первого года: «Почтовый ящик. Стелла Бордо. От всех ваших стихов, как от навозной бочки, разит белогвардейщиной. Не радуйтесь, ибо «коты» уже придавлены у нас все, а также доходит очередь и до заграничных. Спасибо за приписочку «пожалуйста извините, если что неладно». Не вздумайте натянуть мне нос: я пишу самым невинным образом, без всякого злого умысла. Если бы было действительно «невинно и без умысла», то нечего бы и опасаться за свой пухленький белогвардейский носик. А разговор двух белогвардейцев «Лисы и волка» действительно замечателен. Волк «смирненно и признать готов, что незримо миром правит бог». Ему даже насмешливые слова Лисы о воле невыносимы: «дальше слушать стало больно», а потом «да одно еще обидно, что нашу правду только видно на бумаге и в словах, а на деле – все промах». В ответ на это Лиса, долженствующая быть, по смыслу басни, защитницей мужиков, говорит: «Кум милый, спорить я устала». И тут лиса захохотала. Хорош защитник! А ведь такие защитники, к сожалению, есть и к ним, видимо принадлежит автор Бордо. Советуем ему действительно отправиться во Францию, в Бордо: там белогвардейцев любят».

⁹²О бурной жизни в клубе Красной армии в декабре двадцатого года писал «Голос бедняка»: «Позорные выходки. Возвращаются из клуба красармии (7декабря) две подружки, а к ним подлетает компания моряков с настойчивым предложением познакомиться, но компания получила ответ: «Мы вас не трогаем, и вы к нам не приставайте». Тогда моряки обругали их всевозможными словами. Стыд и позор товарищам морякам! Вы, как люди, более сознательные, должны действовать на других добрым примером, а не позволять себе подобные выходки. Подслушавший».

Ответ на заметку «Позорные выходки» не заставил себя ждать.

«Я спешу в ответ «Подслушавшему», что «к двум подругам» подлетела не компания, а одна личность, за которую не могут отвечать все моряки. «Подслушавший» выписал не полный ответ «двух подруг», вероятно по знакомству забыл слово «хулиганы», которое и вызывало взрыв ругани оскорбленного т. моряка. Позор моряку, пристававшему к барышням, но еще больший позор обывателям г. Сольвычегодска, называющим моряков хулиганами. Видевший».

⁹³«Голос бедняка» писал в апреле двадцатого года: «5 апреля сего года против Клуба имени Ленина найден серебряный золоченый медальон с тремя отверстиями для камней и портретами

внутри Ленина и Коллонтай. Владельца прошу обратиться в Уездвоенкомат к квартирмейстеру Лазареву.

⁹⁴Перед открытием съезда уездный комитет РКСМ опубликовал обращение к сольвычегодским коммунистам, в котором, в частности, писал: «Молодежь страдает, молодежь рвется к новому светлому будущему, она жаждет его. Не тайна ни для кого, что молодежь ради удовольствия быть в Коммунистическом Союзе подвергается всяким гонениям со стороны родителей. Бедный юноша за то, что он хочет учиться, хочет новой жизни, вступает в свой союз, по несколько дней оставаясь совершенно без пищи, изгнанный из дома. Неужели у кого-нибудь хватит низости пройти мимо таких фактов? Так помогите же, помогите этому бедному юноше деревни. Объясните крестьянину значение Союза и то преступление, которое он делает своим противодействием».

⁹⁵Если репрессированных жителей Сольвычегодска десятки, то уроженцев города и уезда, живших в других городах, селах, поселках и попавших под каток сталинских репрессий, едва ли не на порядок больше.

⁹⁶Осадники – польские колонисты, как военные, так и гражданские, которых правительство Польши переселяло на приграничные территории Западной Украины и Западной Беларуси в межвоенный период (1920-е и 1930-е годы). После присоединения Западной Беларуси и Западной Украины к СССР в 1939 году, многие осадники и их семьи были депортированы в отдаленные районы Советского Союза и находились там на положении спецпоселенцев.

⁹⁷Горпо – городское потребительское общество.

⁹⁸Словно издеваясь над сольвычегодцами, пекарня Сольвычегодского горпо в марте сорок девятого дала объявление в газету о том, что «принимает заказы на выпечку хлеба в неограниченном количестве из всех сортов муки на давальческих началах».

⁹⁹Собирать клюкву, морошку и грибы в окрестностях Сольвычегодска было в те времена небезопасно. Вероятность повстречать медведя, волка или даже стаю волков была довольно высокой. За каждого убитого волка выплачивалась премия в пятьсот рублей. Местная газета время от времени печатала объявления о том, что тот или иной охотник получил премию за убитого волка. Кроме того, за сданную шкуру волка можно было получить еще от восьмидесяти до ста рублей. На районных совещаниях охотники принимали социалистические обязательства за сезон охоты, кроме обычной сдачи пушнины, непременно уничтожить одного хищника.

¹⁰⁰В районе советская торговля мало чем отличалась от городской. Корреспонденты «Сталинского пути» сообщают в ноябре пятьдесят второго года из Рыбовского сельсовета, входившего тогда в Сольвычегодский район: «На днях в магазин по накладной поступил тюль и эмалированные тазы, но в продаже их не было, и куда они исчезли непонятно. Обо всем этом хорошо известно председателю сельпо т. Горнову, но последний при попустительстве своего районного начальства из райпотребсоюза на все жалобы трудящихся не обращает никакого внимания».

Гражданин Горнов плохо кончил. Работая председателем Новиковского сельпо, укрывал растратчиков за что судом был приговорен к исправительно-трудовым работам. Это его не остановило. Во время перевозки муки сам продал семь мешков, а деньги положил себе в карман. В подведомственных ему магазинах Новиковского сельпо у завмагов обнаружили растраты на тысячи рублей, и при этом они продолжали работать. В конце концов Горнов и одна из подчиненных ему завмагов-растратчиц получили по пять лет лишения свободы.

¹⁰¹Теперь в Сольвычегодске нет ни дома инвалидов, ни дома престарелых. Воскресни сегодня Алексей Косьмич Жданов или Иван Степанович Хаминов, пожертвовавшие Сольвычегодску капиталы и дома для богаделен, им и показать-то нечего будет. Вот только и сможем посоветовать поехать в Котлас или в Коряжму. Там есть, а в Сольвычегодске...

¹⁰²В этом диафильме, автором которого был профессор Степанов, а консультантом профессор Добрынин, под рисунком Кукрыниксов, где Пульхерия Ивановна кормит кур, а Афанасий Иванович наблюдает за ней с крыльца их домика, написано: «В “Старосветских помещиках” Гоголь рисует тусклую и бессодержательную жизнь мелкопоместных дворян, в которой приобретают уродливый характер даже хорошие задатки человека».

¹⁰³С культурой это событие (которое кому-то покажется и не событием вовсе) никак не связано, а, скорее, является косвенным (и очень) признаком того, что жить в середине пятидесятых Сольвычегодске стало лучше, жить стало веселее. Пусть этот факт останется в примечаниях. В «Знамени ленинизма» в декабре пятьдесят седьмого года появилось объявление: «Срочно требуется Сольвычегодскому горпо для работы в ресторане швейцар». Теперь ресторана в Сольвычегодске нет. Есть небольшое кафе при столовой бальнеологического курорта. Ассортимент там небогатый, но пельмени и сосиски сварят, яичницу приготовят, кофе или чай нальют. Летом там можно посидеть с чашкой чаю на крошечной веранде. Если, конечно, предварительно как следует обрызгаться каким-нибудь репеллентом.

¹⁰⁴Само здание земской больницы, к счастью, не забросили и не разобрали по бревну – его выкупила местная предпринимательница, привела в порядок и устроила в нем гостевой дом.

¹⁰⁵За проведение газа в Сольвычегодск на протяжении ряда лет сражался, не жалея сил, мэр города Андрей Сергеев. Скорее всего, он бы и разрезал ленточку на открытии новой городской газовой котельни, кабы осенью двадцать третьего года Котласский городской суд не признал его виновным в получении взяток в крупно и особо крупном размерах. В котласских, конечно, масштабах. Мэр получал деньги от бизнесменов за помощь в получении муниципальных контрактов (например, на ремонт тротуаров) и общее покровительство. Общая сумма взяток превысила 2,5 млн рублей (часть из них он получить не успел из-за задержания, но ему их, что называется, зачили). После задержания, которое как на грех произошло в тот день, когда Сергеев должен был открывать в Сольвычегодске отреставрированный арестный дом девятнадцатого века, мэр вину признал, стал сотрудничать со следствием, был отпущен под подписку о невыезде и... немедленно скрылся в неизвестном направлении. Одни сольвычегодцы говорят, что в Турцию, где у него за годя была куплена квартира, а другие, что в США. Впрочем, ни то, ни другое проверить нельзя. Как бы там ни было, а мэру заочно присудили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере девяти миллионов рублей.

¹⁰⁶Конечно, прокладке труб предшествовал проект, в котором предусматривалось детальное изучение дна Вычегды в районе предполагаемых работ. Заказчиком и проектировщиком выступали различные структуры «Газпрома». Проектировщики, если они действительно изучали дно Вычегды, должны были выяснить, что еще со времен ледникового периода там лежат огромные валуны. О том, что Вычегда в тех местах течет через многочисленные пороги и валуны, известно давно. Каких-то особенных приборов для обнаружения этих валунов не нужно – достаточно было с обычным эхолотом проплыть по Вычегде в районе прокладки труб. Почему это не было сделано... Кстати, такие валуны заложены в фундамент Благовещенского собора. Про это тоже было известно давно.

¹⁰⁷Бальнеологический курорт, который с тридцатых годов до девяностых помещался в доме Пьянковых, как только не стало профсоюзных путевок и поток желающих поправить здоровье сильно обмелел, переехал в более скромное здание, причем, хорошо обустроенное. Поначалу в опустевший дом Пьянковых въехали несколько маленьких магазинов, а во внутреннем дворе образовался стихийный рынок, но потом и их не стало. В 2015 году государство выделило большую сумму денег на реставрацию этого памятника архитектуры федерального значения. Освоили только треть выделенного – отреставрировали фасад с северной стороны, ограду и здание арестного дома. В следующем году стали продолжать, но сменился собственник здания – из федеральной собственности он перешел в региональную, а вот деньги на его реставрацию в региональный бюджет не перешли, потому что по условиям федеральной программы «Культура России» реставрировать можно только памятники федерального значения. То есть можно и региональные, но за деньги региона, а откуда региону взять пятьсот миллионов необходимых для окончания ремонта... Поэтому дом Пьянковых пока стоит без ремонта и мало-помалу приходит в полное запустение. Снаружи-то он еще ничего, особенно, если рассматривать его издали, а как попробешь внутрь...

¹⁰⁸Всем на курорт или на почту не устроиться работать, да и зарплаты там даже у врачей, не говоря о медсестрах... а потому мужчины едут в соседнюю Коряжму помощниками машинистов и

грузчиками на целлюлозно-бумажный комбинат, в Котлас, на железнодорожный узел путямицами, ремонтниками, уборщиками подвижного состава и охранниками, а женщины в Коряжме и Котласе устраиваются продавцами в магазинах. Кроме тех, кто едет дальше – в Архангельск, Вологду, Питер и Москву.

Библиография

- А. И. Соскин. История города Соли Вычегодской древних и нынешних времен, сочиненная Алексеем Соскиным, природным мещанином сего города Соли-Вычегодской, в бытность его в Соли-Вычегодском городском магистрате членом-ратманом. – Сыктывкар, 1997. – 190 с.
- Н. Сковрцов. Взгляд на исторические события, имевшие влияние на промышленность, торговлю и состояние жителей Вологодской губернии // Вологодские губернские ведомости. 1866. № 37. С. 369
- Городские поселения в Российской империи. Т. 1. С.-Петербург, 1860. - [4], XVI, 465, [2] с. С. 342
- Продолжение дневных записок путешествия академика и медицины доктора Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1771 году. СПб, 1780. С. 290.
- П. Г. Доронин. Из Вычегодско-Вымской летописи // Документы по истории Коми: Историко-филологический сборник Коми филиала АН СССР. – Сыктывкар, 1958. Вып. 4. С. 257.
- О. В. Овсянников. Усолье Вычегодское // Средневековые города Архангельского севера: Люди. События. Даты. – Архангельск, 1992. – 349 с. С. 278–346
- О. В. Овсянников, М. В. Рождественская. Сольвычегодский летописец как историко-архитектурный и археологический источник // Вспомогательные исторические дисциплины, XXII / отв. ред. А. Шишкин – Ленинград: Наука, 1991. – 282 с.
- Барон Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московитских делах. – СПб, 1908. – 383 с. С. 116.
- Е. В. Краснова. Археологическая разведка в округе г. Сольвычегодска в 1991 г. // Проблемы изучения традиционной культуры Севера (к 500-летию г. Сольвычегодска): Межвуз. сб. науч. тр. – Сыктывкар: СыктГУ, 1992. С. 87–92.
- И. К. Степановский. Вологодская старина: Историко-археологический сборник. – Вологда, 1890. – 591с. С. 371
- П. Сорокин. Город Сольвычегодск в XVII в. // Записки Русского археологического общества. т. 8. СПб., 1856, приложения. С. 43–56.
- Б. Я. Розен. Северная соль. Архангельск, 1957. – 135 с.
- А. А. Введенский. Дом Строгановых в XVI–XVII веках. – М., 1962. – 308 с.
- С. Г. Шейдаева. Лексика солеварения и ее отражение в именах собственных // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология», 2017. Том 27. вып. 2. С. 249–261.
- А. А. Введенский. Аника Строганов в своем Сольвычегодском хозяйстве //Сборник статей по русской истории, посвященный С. Ф. Платонову. – Петербург, 1922. – 459 с. С. 90–113.
- Ф. Протопопов. Записки, веденные по топографо-исторической части учителем Сольвычегодского уездного училища Протопоповым в первую половину 1813 года. – Москва, 1814. – 51с.
- Е. И. Заозерская. У истоков крупного производства в русской промышленности XVI–XVII веков. К вопросу о генезисе капитализма в России. М., 1970. – 477 с.
- Е. Н. Швейковская. Русский крестьянин в доме и мире: северная деревня конца XVI – начала XVIII века. – М., 2012. – 368 с.
- В. А. Ешкилев. Сольвычегодск и памятники его былой культуры // Историко-культурный очерк. Великий Устюг. 1926. – 40 с.
- В. А. Попов Сольвычегодская старина. // Сольвычегодская старина: Материалы и исследования к 500-летию г. Сольвычегодска. – Сыктывкар, 1994. – 203 с. С. 59–199.
- В. В. Игошев. Строгановские мастерские серебряного дела в Сольвычегодске в XVI – XVII вв. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 2 (68). 2017. С. 122–144.

В. В. Игошев Драгоценные вклады Строгановых во второй половине XVI – начале XVII века в храмы и монастыри Великого Устюга // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. V. 2014. № 2 (14). С. 59–82.

В. И. Троицкий. Словарь московских мастеров золотого, серебряного и алмазного дела XVII в. Л., 1928. Вып. 1.

В. А. Булкин, О. В. Овсянников. Сольвычегодские соборы // Памятники Архангельского Севера: Сборник / Сост. А.А. Куратов; вступ. ст. М. И. Меньшикова. – Архангельск. Сев.-Зап. кн. изд-во, 1991. – 286 с., 16 л. ил.

Резун Д. Я. Сибирь, конец XVI – начало XX века: фронтир в контексте этносоциальных и этнокультурных процессов / Резун Д. Я., Шиловский М, В.: Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Объедин-та истории, филологии и философии, Ин-т истории. – Новосибирск, 2005. – 193 с.

М. М. Богословский. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в. Областное деление Поморья; Землевладение и общественный строй; Органы самоуправления. – М., 1909. т. 1. – 322 с.

М. М. Богословский. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в. Деятельность земского мира; Земство и государство. М., 1912. т. 2. – 311 с.

Об укрепленных местах Сольвычегодского уезда в XVII веке // Вологодские губернские ведомости. 1853. № 25. С. 214–215.

Об укрепленных местах Сольвычегодского уезда в XVII веке // Вологодские губернские ведомости. 1853. №26. С. 222

Т. И. Осьминский, Н. В. Озеринин, И. И. Брусенский. Очерки по истории края. Вологодская область. – Вологда, 1960. – 456 с.

О нашествии поляко-литовцев на Сольвычегодск, в январе 1613 года. Отпись из Сольвычегодска в Спасоприлуцкий монастырь // Вологодские губернские ведомости. 1862. №49. С.185.

Акты писцового дела: материалы для истории кадастра и прямого обложения в Московском государстве Т. 1: Акты 1587–1627 гг. / собр. и ред. С. Веселовский. – М., 1913. С. 400

Рынок Устюга Великого. XVII век // Мерзон А. Ц. Рынок Устюга Великого в период складывания всероссийского рынка (XVII век) / А. Ц. Мерзон, Ю. А. Тихонов. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – С. 133-324.

Таможенные книги Московского государства XVII в. Северный речной путь: Устюг Великий, Сольвычегодск, Тотьма в 1675-1680 гг., – М.; Л., 1951. т. 3. – 898 с.

Описание документов московских Приказов. Приказные дела старых лет 1642, 1643 годы / Подготовил А. В. Антонов. – М.: Древлехранилище, 2021. 426 с.

Описание документов московских приказов. Приказные дела старых лет 1644 год / Подготовил А. В. Антонов. – М.: Древлехранилище, 2022. 522 с.

Описание документов московских приказов. Приказные дела старых лет 1627–1629 годы / Подготовил А. В. Антонов. – М.: Древлехранилище, 2023. 610 с.

Описание документов московских приказов. Приказные дела старых лет 1630, 1631 годы / Подготовил А. В. Антонов. – М.: Древлехранилище, 2024. 634 с.

О пожаре в г. Сольвычегодске, бывшем сентября 24 числа 1656 г. // Вологодские губернские ведомости. 1864. – №32. С. 102–103.

И. И. Лепехин Продолжение дневных записок путешествия Ивана Лепехина академика и медицины доктора по разным провинциям Российского государства в 1771 году. – СПб., 1780. С. 290-295;

Б. П. Иноходцев. Описание городов Великоустюжской области с их округами // Месяцеслов исторический и географический на 1793 год. – СПб., 1792. – 122 с. С. 27-37.

Р. В. Макарова. Русские на Тихом океане во второй половине XVIII века. – М., 1968. – 200 с.

В. Н. Аров. «Лиша чинов... сослать в Камчатку» // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2003. №2. С. 53 – 68.

С.И. Вахрин. Дело об убийстве Володимера Атласова. Камчатская Сибиряда. Книга третья. – Петропавловск-Камчатский, 2023. – 1000 с.

- С. И. Вахрин. Встречь солнцу. – Петропавловск-Камчатский, 1996. – 350 с.
- А. А. Филатов. Политическая ссылка в Сольвычегодске (середина XIX – начало XX вв.). – Архангельск, 2019. – 160 с.
- Илья Юницын // Северная пчела. 1834. №78. С. 510-511
- О преимуществах, дарованных по Высочайшему повелению чиновникам, определяющимся на службу в уезды Сольвычегодский, Яренский и Усть-Сысольский // Вологодские губернские ведомости. 1838. №4. С. 25–26.
- О определении к должностям, о производстве в чины и о наградах // Вологодские губернские ведомости. 1838. №7. С. 49
- Сравнительная ведомость о ценах на разные предметы рыночной торговли // Вологодские губернские ведомости, 1838. №8. С. 57 – 66.
- О. А. Плех. Местное управление в Вологодской губернии в первой половине XIX века. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2016. – 400 с. С. 396–397.
- Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. – М., 1958. – 848 с. С. 26.
- Перемещение Сольвычегодских Присутственных мест во вновь устроенное здание. // Вологодские губернские ведомости. 1844. №42. С.423–424.
- О продаже имений. // Вологодские губернские ведомости, 1846. - №39. С.168 – 169.
- Сольвычегодск. // Вологодские губернские ведомости, 1846. - №29. С.295 – 296.
- Краткий статистический взгляд на город Сольвычегодск // Вологодские губернские ведомости. 1847. №34. С.333–335.
- Перечень заводов и фабрик в Вологодской губернии // Вологодские губернские ведомости. 1848. №37. С. 419.
- Смета доходов и расходов по уездному г. Сольвычегодску на 1848 год // Вологодские губернские ведомости. 1848. Приложение к № 8. С.1–5.
- Н. К. Отто. Материалы для истории учебных заведений министерства народного просвещения. Вологодская дирекция училищ до 1850 года. – Санкт-Петербург, 1866. – 198 с.
- В. А. Сметанин «... может ныне служить примером для других» // Котласский курьер. 2013. №12 (278). С.18–19.
- В. А. Сметанин. «... может ныне служить примером для других» // Котласский курьер. 2013. №13 (279). С.18–19.
- Н. В. Пивоварова. Иконы Благовещенского собора Сольвычегодска по архивным документам и соборным описям конца XVI – XIX веков // Вестник СПбГУ. Сер. 15. 2015. Вып. 3. С 20–43.
- Н. В. Пивоварова. «Дневные дозорные записи о московских раскольниках» как источник по истории икон Благовещенского собора Сольвычегодска: факты и вымысел // Культурное наследие Русского Севера: память и интерпретации. – СПб, 2009. С. 101–111.
- О продаже имений // Вологодские губернские ведомости. 1851. №9. С. 57.
- Справочная книжка для Вологодской губернии на 1853 год. – Вологда, 1853. – 124 с. С.104,108,111, 124.
- Справочная книжка для Вологодской губернии на 1854 год. –Вологда, 1854. – 227 с. С. 92
- Справочная книжка для Вологодской губернии на 1856 год. – Вологда, 1856. – 1, 7–86, 94 с. С. 33, 34.
- О восстановлении городской богадельни в г. Сольвычегодске // Вологодские губернские ведомости. 1854. № 23. С. 238.
- Высочайшая благодарность // Вологодские губернские ведомости. 1854. № 45. С. 475.
- О продаже имений // Вологодские губернские ведомости, 1856. № 28. С. 271.
- О продаже имений // Вологодские губернские ведомости, 1857. - № 8. С. 86.
- Высочайшие награды // Вологодские губернские ведомости. 1858. № 2. С. 12.
- В. Попов. О распределении цен на жизненные припасы по Вологодской губернии // Вологодские губернские ведомости. 1861. № 11. С. 73.

Об отыскании имений и капиталов // Вологодские губернские новости. 1868. № 7. Прибавление к официальной части. С. 2.

Об отыскании лиц // Вологодские губернские новости, 1870. № 28. Прибавление к официальной части. С. 7.

Из воспоминаний первого земского учителя в Сольвычегодском уезде // Вологодский листок. 1913. № 598. С. 4.

О найденном мертвом теле // Вологодские губернские новости. 1872. № 26. С. 6.

О разыскании общества. // Вологодские губернские ведомости. 1874. № 61. С. 3

Памятная книжка Вологодской губернии на 1862 и 1863 гг. – Вологда, 1863. Вып. 1 – [2], 88, [1], 89-90, 3-189, 42, IV, [1] с., [6] л. табл. Вып. 2. – 170, [1] с., [1] л. табл.

Торги и подряды на разные предметы городского хозяйства // Вологодские губернские ведомости. 1861. № 6. С. 56.

Торги и подряды на разные предметы // Вологодские губернские ведомости. 1862. № 27. С. 189.

Роспись города Сольвычегодска на 1871 год, // Вологодские губернские ведомости. 1871. - № 6. Приложение. С. 2.

Распоряжения губернского начальства. // Вологодские губернские ведомости, 1863. № 42. С. 243.

Происшествия в губернии // Вологодские губернские ведомости. 1869. № 10. С. 94.

Подкинутые младенцы // Вологодские губернские ведомости, 1870. № 38. С. 5.

Дневник происшествий в Сольвычегодском уезде // Вологодские губернские ведомости. 1875. № 80. С. 4.

Дневник происшествий в Сольвычегодском уезде // Вологодские губернские ведомости. 1875. № 20. С. 2.

Из Сольвычегодска // Вологодские губернские ведомости. 1872. № 41. С. 7–8

Нам пишут из Сольвычегодского уезда. // Вологодские губернские ведомости, 1874. - № 13. С. 3.

Об ярмарках в Сольвычегодском уезде. // Вологодские губернские ведомости. 1869. № 18. С. 179.

Молебствие в Сольвычегодске // Вологодские епархиальные ведомости, 1869. № 4 С. 159–160.

Памятная книжка Вологодской губернии на 1864 г. // Вологда, 1864. – [5], 154, [17], 46, [1], 61 с. [1] л. карт, [10] л. табл.

Открытие сельского одноклассного училища в с. Черевкове Вологодской губернии Сольвычегодского уезда // Вологодские губернские ведомости. 1870. № 54. С. 5.

О действиях земских учреждений // Вологодские губернские ведомости. 1870. № 52. С. 10.

Обзор действий земских учреждений // Вологодские губернские ведомости. 1874. № 80. С. 4.

Высочайшее соизволение // Вологодские губернские ведомости. 1868. № 25. С. 239.

Местный отдел // Вологодские губернские ведомости. 1875. № 16. С. 2.

Город Сольвычегодск // Мирской вестник. Книжка 3, 1872. С. 63.

Из Сольвычегодска. // Вологодские губернские ведомости. 1876. № 94. С. 4.

А. М. Рогачев. Город Сольвычегодск во второй половине XIX – начале XX века // Двинская земля. Выпуск 3. Материалы третьих межрегиональных общественно-научных историко-краеведческих Стефановских чтений, посвящённых 100-летию Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова 10-11 апреля 2004 года. – Вельск, 2004. С. 189–198.

В. В. Верещагин. На Северной Двине. По деревянным церквам Издание второе. М., 1896. – 121 с. С. 2-4.

Перечень определений Сольвычегодской Городской Думы от 26 июня 1879 года // Вологодские губернские ведомости. 1876. № 59. С. 2.

Историко-статистический обзор учебных заведений Вологодской губернии, состоящих в ведении Министерства Народного Просвещения. // Вологодские губернские ведомости. 1881. № 94. С. 2.

О продаже имений // Вологодские губернские ведомости. 1880. № 16. С. 2.

Перечень определений Сольвычегодской Городской Думы от 28 февраля 1890 года // Вологодские губернские ведомости. 1895. № 7. С. 4.

От Вологодского Губернского Правления // Вологодские губернские ведомости. 1895. № 7. С. 4.

Отчет о деятельности Сольвычегодской Городской Управы и подведомственных частей за 1891 год // Вологодские губернские ведомости. 1892. № 36. С. 3.

Перечень определений Сольвычегодской Городской Думы от 9 октября 1891 года // Вологодские губернские ведомости. 1892. № 5. С. 4.

Журналы Сольвычегодского Уездного Собрания первого очередного созыва седьмого трехлетия 1888 года. – Вологда, 1889. – 208 с.

Н. А. Иваницкий Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность // Живая старина. Периодическое издание Отделения этнографии Императорского русского географического общества. Выпуск I. – С.- Петербург, 1898. – 74 с.

Извлечение из доклада чиновника по крестьянским делам Сольвычегодского уезда Флерова по вопросу о введении судебных уставов 1864 г. в полном объеме в пяти северо-восточных уездах Вологодской губернии // Вологодские губернские ведомости. 1882. № 93. С. 1.

Движение населения Вологодской губернии за десятилетний период (с 1867 по 1877 гг.) // Вологодские губернские ведомости. 1880. № 8. С. 2.

Местные и городские известия. Г. Сольвычегодск // Вологодские губернские ведомости. 1900. № 250. С. 1.

Путешествие по Вологодской губернии и пребывание в ней Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Владимира Александровича // Вологодские губернские ведомости. 1885. № 29. С. 9.

Перечень определений Сольвычегодской Городской Думы от 25 октября 1885 года. // Вологодские губернские ведомости, 1885. - № 47. С. 6.

Из Сольвычегодска // Вологодские губернские ведомости. 1891. № 32. С. 5.

Перечень определений Сольвычегодской Городской Думы от 16 мая 1891 года // Вологодские губернские ведомости. 1891. № 33. С. 4.

Перечень определений Сольвычегодской Городской Думы от 19 января 1880 года // Вологодские губернские ведомости. 1880. № 13. С. 2.

Перечень определений Сольвычегодской Городской Думы от 28 октября 1880 года // Вологодские губернские ведомости. 1882. № 80. С. 2.

Празднование в городах Сольвычегодске, Красноборске и Сольвычегодском уезде Священного Коронования Их Императорских величеств // Вологодские губернские ведомости. 1898. № 28. С. 8.

Посещение Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Александровичем Вологодской губернии 1 июня 1898 года // Вологодские губернские ведомости. 1898. № 27. С. 7,8.

Сольвычегодск, 29 мая 1876 г. // Вологодские губернские ведомости. 1876. № 46. С. 3.

Объявления и извещения // Вологодские губернские ведомости. 1885. № 44. С. 5.

Отчет Сольвычегодской городской управы о движении городских и других сумм, а равно и о предметах городского благоустройства за 1879 год // Вологодские губернские ведомости. 1880. № 91. С. 6.

Протокол Особого Присутствия Губернского Правления Сольвычегодский уезд // Вологодские губернские ведомости. 1890. № 24. С. 1,3.

Отчет о деятельности Сольвычегодской Городской Управы и подведомственных частей за 1892 год // Вологодские губернские ведомости. 1893. № 33. С. 3.

Нам пишут. Сольвычегодск // Вологодские губернские ведомости. 1900. - № 72. С. 1.

Ведомость о справочных ценах на провиант и фураж Вологодской губернии за декабрь месяца 1875 г. // Вологодские губернские ведомости, 1876. № 16. С. 4.

Ведомость о справочных ценах на провиант и фураж Вологодской губернии за декабрь месяца 1900 г. // Вологодские губернские ведомости. 1901. № 10. С. 6.

Журналы Сольвычегодского Уездного Земского Собрания первого очередного созыва седьмого трехлетия, 1888 года, 1889. – 219 с.

Раскладка государственного налога между городами и посадом Вологодской губернии в зависимости от ценности городских имуществ в рублях // Вологодские губернские ведомости. 1906. №10. С. 5

Сольвычегодск. Из жизни города // Вологодский листок. 1911. № 287. С. 3.

Обязательные постановления об открытии и содержании пивных лавок в г. Сольвычегодске // Вологодские губернские ведомости. 1908. № 48. С. 4.

Обязательные для жителей г. Сольвычегодска постановления по предметам городского благоустройства // Вологодские губернские ведомости. 1903. № 42. С. 5.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Издания 1885 г. и по Продолжению 1912, с извлечением из решений Правительствующего сената, Свода законов, Сводов воен. И мор. Постановлений, с указанием подсудности, судопроизводственных правил с приложениями. – С.-Петербург, 1914. – XII, 1464 с.; 23.

Соль вычегодская (Наблюдения и заметки) // Вологодский листок. 1913. № 529. С. 3.

Список, назначенных к слушанию с участием присяжных заседателей в г. Сольвычегодске с 8 по 16 декабря 1910 года // Вологодские губернские ведомости. 1910. № 48 С. 3.

Сольвычегодск // Вологодский листок. 1911. № 249. С. 5

Сольвычегодский уезд. Зверское убийство // Вологодский листок. 1913. № 518. С. 3

Сольвычегодск. Шинки работают // Вологодский листок. 1913. № 621. С. 4.

Сольвычегодск. Как тушили пожар // Вологодский листок. 1913. № 598. С. 4.

Журналы Сольвычегодского Уездного Земского Собрания. Очередная сессия 1908 года. – В.-Устюг, 1909. С. 181–182.

Отчет Сольвычегодского Дамского Комитета по сбору пожертвований и изготовлению вещей для больных и раненых воинов на Дальнем Востоке за 1904 год // Вологодские губернские ведомости. 1905. № 35. С. 9.

И. Ц-кий. Путевые заметки // Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям. 1910. № 21. С. 394–395.

М. Лошилов. Уроки истории // Заря. 1996. № 117. С. 3.

Революционная хроника за 1905–1906 годы на территории Северо-Двинской губернии. По официальным документам С.-Двинского Губархбюро // Записки Северо-Двинского Общества Изучения Местного Края. Выпуск III. – Великий Устюг, 1926. – 63 с. С. 4, 58

От Вологодского Губернского Правления // Вологодские губернские ведомости. 1908. № 45. С. 5.

А. Янский. Сольвычегодск // Вологодский листок. 1911. № 255. С. 5.

А. Янский. Сольвычегодск. Хроника местной жизни // Вологодский листок. 1911. № 276. С. 3.

Ег. Северный. Сольвычегодск. Хроника городской жизни // Вологодский листок. 1911. № 282. С. 4.

Ег. Северный. Сольвычегодск. Из жизни города // Вологодский листок. 1911. № 287. С. 3.

Ег. Северный. Сольвычегодск. Хроника местной жизни. Развлечения // Вологодский листок. 1911. № 298. С. 3.

Ег. Северный. Сольвычегодское уездное собрание // Вологодский листок. 1911. № 301. С. 3.

Ег. Северный. Сольвычегодск. Из местной жизни // Вологодский листок. 1911. № 311. С. 3.

Ег. Северный. Городская библиотека // Вологодский листок. 1913. № 593. С. 5.

Война Белой и Алой розы // Вологодский листок. 1913. № 566. С. 3.

А.С. Бебякина. Военнопленные Первой мировой войны на территории Сольвычегодского и Великоустюгского уездов // Двинская земля. Выпуск 12. Материалы всероссийской обществен-

но-научной историко-краеведческой конференции «14-е Стефановские чтения» 26 марта 2021 года, 2021. Котлас. – 268 с. С. 148–156

Список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам по Вологодской губернии // Вологодские губернские ведомости. 1915. № 3. С. 5.

Сольвычегодск. Земская служба // Вологодский листок. 1916. № 1049. С. 3.

Дровяной вопрос в г. Сольвычегодске // Вологодский листок. 1917. № 1130. С.3.

Вородино, Сольвычегодского уезда // Вольный голос Севера. 1917. № 58. С. 4.

Воззвание ко всем гражданам Сольвычегодского уезда // Вольный голос Севера. 1917. № 59. С. 4.

Т. А. Санакина. Крестьяне Сольвычегодского уезда Вологодской губернии в период Гражданской войны 1918–1919 гг. // Международная интервенция и Гражданская война в России и на Русском Севере. Ключевые проблемы, историческая память и уроки истории. сб. материалов международной научной конференции, 2020. – 368 с. С. 233–249.

В. И. Щипин. Они были первыми... Председатели Сольвычегодского исполнительного комитета в 1918 году // Двинская земля. Выпуск 12. Материалы всероссийской общественно-научной историко-краеведческой конференции «14-е Стефановские чтения», 2021. – 268 с. С. 51–54.

Сольвычегодск // Северное эхо. 1918. № 142. С. 4.

Сольвычегодск (Из письма) // Северное эхо. 1918. № 155. С. 4.

Сольвычегодск // Северное эхо. 1918. № 158. С. 3.

«Только стою за святую церковь...» Житие игумена Леониды (Молчанова). – Архангельск, 2007. – 14 с.

Д. Горынцев. Первые газеты котласской округи // Вечерний Котлас, 2012. 16 ноября. С.20–21.

Революционный трибунал // Голос бедняка. 1919. № 50. С. 4.

О начальстве пекутся. //Голос бедняка. 1919. № 6. С..3.

Поп обжора. (Верхне-Уфтьюгская волость) // Голос бедняка. 1919. № 82. С. 4.

И. И. Томский Эскизы из природы и жизни Малопинежья (подг. Текста и комм. А. Н. Власова, З. Н. Мехреньгиной) // Памятники Сольвычегодской старины в культуре Русского Севера начала XX столетия. (К 100-летию Сольвычегодского историко-художественного музея). Отв. ред. и авт.-сост. А. Н. Власов. – Сыктывкар, 2022. – 480 с., ил. С. 23-24.

А. Н. Власов. З. Н. Мехреньгина. И. И. Томский – основатель и первый директор Сольвычегодского музея // Памятники Сольвычегодской старины в культуре Русского Севера начала XX столетия. (К 100-летию Сольвычегодского историко-художественного музея). Отв. ред. и авт.-сост. А. Н. Власов. – Сыктывкар, 2022. – 480 с., ил. С. 15-22.

Деревня Метлино // Голос бедняка. 1919. № 4. С. 3.

На пути к свету и знанию. // Голос бедняка. 1919. № 29. С. 3

Отчет по устройству Тургеневского вечера. // Голос бедняка. 1919. № 4. С. 4.

Обязательный субботник // Борьба и труд. 1920. № 15. С. 2.

Дворец искусств // Борьба и труд. 1920 №45 С. 2

К открытию Дворца Искусств в г. Сольвычегодске // Борьба и труд. 1921. №9 С. 1.

Женский праздник. // Борьба и труд. 1921. № 19. С. 2.

Наше мировоззрение // Голос бедняка. 1920. № 7. С. 4.

Засилье кулаков в Метлинской волости. // Голос бедняка. 1919. №4 С.3

Нижнетоемская волость // Голос бедняка. 1919. №46 С.4.

В. И. Щипин Расстрел в Черевкове // Двинская земля: Материалы 6 межрегион. обществ.-науч. ист.-краевед. Стефан. чтений, посвящ. 85-летию Котласского района, 10-летию движения краеведов “Северное трехречье”, 2010. – Вып. 6. – С. 157–165.

От Сольвычегодского Упродкома. // Голос бедняка. 1919. №79 С.1.

От Сольвычегодского Упродкома. // Голос бедняка. 1919. №97 С.4.

Маленький фельетон. Наварил бы соли, да «гвоздя нет». // Борьба и Труд. 1920. №11 С.4

Вторая Сухаревка. // Борьба и Труд. 1921. №14. С. 2.

- Солеваренный завод. // Борьба и труд. 1921. №43. С. 2.
- Корниловская волость. На черную доску. // Борьба и труд. 1920. №42. С. 2.
- Протоколы заседаний 5 очередного Съезда Советов Крестьянских, Рабочих и Красноармейских Депутатов и представителей различных организаций Сольвычегодского уезда С.-Двинской губернии. // Голос бедняка. 1920. №57. С. 3.
- Шкурники. // Голос бедняка. 1919. №29. С. 1.
- Как кормят учителей. // Борьба и труд. 1921. №45. С. 1.
- Давайте работать! // Борьба и труд. 1920. №4. С. 2.
- Второй Сольвычегодский Уездный Съезд РКСМ // Борьба и труд. 1920. №4. С. 2.
- В Северо-Двинском Революционном Трибунале // Голос бедняка. 1919. №72. С. 3.
- Революционный Трибунал. // Голос бедняка. 1919. №74. С. 4.
- Список дел, назначенных к слушанию С.-Двинским Революционным Трибуналом (Выездная Сессия) в г. Сольвычегодске на 20 февраля // Борьба и труд. 1921. № 13. С. 2.
- Почтовый ящик. Стелла Бордо // Борьба и труд. 1921. № 20. С. 2.
- И. Г. Котова. Сольвычегодский педагогический техникум. Первое десятилетие // Материалы Сольвычегодского музея-заповедника, 2021.
- Курсы по подготовке в техникумы // Советская мысль. 1930. № 29. С.6.
- А. С. Тюкавина. Был в Сольвычегодске госпиталь... // Двинская правда. 1985. № 53. С. 3.
- О сольвычегодской районной газете «Сталинский путь» // Сталинский путь. 1949. № 25. С. 2.
- Директор бани пьянствует // Сталинский путь. 1949. № 32. С. 2.
- Хищение древесины // Сталинский путь. 1949. № 38. С. 2.
- А. Павлов. Сольвычегодск сегодня // Сталинский путь. 1949. № 52. С. 2.
- Безобразиям в торговле нет конца // Сталинский путь. 1952. № 2. С. 2.
- Прора навести порядок в торговле горпо // Сталинский путь. 1952. № 38. С. 2.
- Относительно непорядков в районном Доме культуры // Сталинский путь. 1955. № 7. С. 2.
- Результат бесконтрольности // Сталинский путь. 1955. № 70. С. 2.
- Забутый дом // Сталинский путь. 1955. № 67. С. 2.
- Где купить керосин // Знамя ленинизма. 1957. № 71. С. 4.
- Нам обеспечена спокойная старость // Знамя ленинизма. 1957. № 104. С. 4.
- Ю. Антипина. В Сольвычегодске сгорел торфобрикетный завод // Вечерний Котлас. 16.03.2012.
- О. В. Десяткин. Из истории Сольвычегодского торфобрикетного завода // Двинская земля: Материалы общественно-научной историко-краеведческой конференции Выпуск 9. «10-е Стефановские чтения» 14 марта 2015 года, 2015. Котлас. С. 164–169.

Елена СЕВРЮГИНА

ЭКСКУРСИЯ С ЛЁГКИМ ПРИВКУСОМ НОСТАЛЬГИИ

Веет, где хочет. Где и как жила русская поэзия в 1990–2000-х. Сост. Н. Николаева, Д. Файзов, Ю. Цветков. – М.: Культурная инициатива, ГМИРЛИ имени В. И. Даля, 2025. – 498 с. – (Серия «Формула свободы: история»)

Когда на книжных полках появляются книги, подобные этой, можно смело утверждать, что закончилась эпоха. Все, чем жила, питалась, дышала литература и культура, все, что еще вчера было насущной реальностью, вдруг внезапно стало достоянием истории – предназначенным для изучения музейным экспонатом. «Веет где хочет» – это не просто путеводитель по современной культуре или цикл открытых лекций. Масштабный проект, задуманный Культурной Инициативой в лице Николаевой, Файзова и Цветкова, перерастает все возможные жанровые ожидания, становясь музеем в печатном виде. Это попытка осмыслить истоки литературного процесса конца 80-х – начала 2010-х годов, показать его ключевые фигуры и характерные особенности. А затем, переработав полученное знание в доступную и занимательную форму, сделать его актуальным культурным объектом, следствием тщательной реставрации эпохи, которая ушла, но еще живо напоминает о своем существовании. Потому что, слава Богу, еще здравствуют те, кто ее творил и бережно создавал на богатом фундаменте свободы и творческого многообразия.

Свобода – ведущая нота всего происходящего, и название книги это всецело подтверждает. «Веет где хочет» – значит появляется где угодно, проявляет себя в чем угодно и когда угодно. Без оговорок, без государственных ограничений и нелепых предрассудков, столь характерных для официально узаконенных направлений. О них, кстати, (за исключе-

нием главы «Советское наследие») здесь практически ничего и не сказано.

Авторов интересует тот пласт культуры, который до времени был под запретом, скрывался в тени, будучи по факту нелегальным. Диссиденты, эмигранты, представители андеграунда – одним словом, изгой общества и инакомыслящие – вдруг неожиданно оказались в центре внимания в ту эпоху, когда все стало можно. И вот тогда все многообразие стилей, направлений и мировоззрений мощным потоком хлынуло в литературу, показав, какой неоднозначной и многомерной, яркой и неповторимой она может быть. Поэтому при чтении антологии неминуемо охватывает чувство острой ностальгии – ведь все это было, казалось бы, еще совсем недавно. Экскурсия в прошлое, с лёгким привкусом ностальгии – пожалуй, для меня это самое точное жанровое определение книги. Всего какое-то десятилетие разделяет наш культурный мир на до и после. А мы продолжаем двигаться по спирали, напарываясь на те же пресловутые грабли, что и полвека назад. Так вот, эта книга нужна, чтобы напомнить нам о нашем недавнем прошлом и показать, что сила любого культурного процесса – в его многообразии, в самой возможности альтернативы, которую никто не отрицает.

Ставка на многообразие и относительную объективность в подаче материала была сделана изначально. Чем больше мнений, тем разностороннее и масштабнее можно будет показать читателю облик эпохи. Юрий Цветков в своем предисловии к книге указывает, что участники Культурной Инициативы, не имея возможности полностью уйти от субъективности, «*проделали колоссальную работу, чтобы не стать заложниками собственных вкусов*». В частности, в процессе подготовки книги были получены замечания и рекомендации не менее пятидесяти человек. А около 150 справочных статей о «местах силы» написаны людьми, имеющими непосредственное отношение к их созданию и развитию.

Таким образом, книга говорит с нами множественством голосов, каждый из которых звучит

довольно отчетливо, привнося отдельную яркую подробность в общую картину эпохи.

Представленная авторами-составителями культурная панорама настолько широкоохватна и многопланова, что возникает вопрос, как во всем этом море литературных институций ориентироваться читателю. Здесь и поэтические клубы, и книжные магазины, и издательства, и всевозможные премии, фестивали, события. Но при внимательном чтении книги сразу находятся некие ориентиры, значимые опорные моменты, с помощью которых становится легко структурировать полученные знания. Поэтому перед нами еще и путеводитель, содержащий не только перечень культурных объектов, но и подробный инструментарий для их изучения.

В примечании от составителей обозначены два смысловых стержня издания: хронология и топонимика. То есть наименования многочисленных институций, *«генерировавших литературные события»*, даются строго в порядке их возникновения. При этом подробное описание *«мест силы»* предваряется *«краткой хронологией поэтической жизни»*, которую можно считать сжатым вариантом всего корпуса текстов.

Так читатель получает две значимые информативные опоры, а третью он может обрести при знакомстве с содержанием самих статей. Их разноплановость все же не исключает общего композиционного принципа описания и структурного единства. Так, в представлении каждой институции достаточно отчетливо выделяются ключевые сегменты: источник возникновения (учредитель и площадка для реализации идеи), участники события и его ключевые фигуры, характер и направленность деятельности, период существования.

Вот как, например, начинается первая статья рубрики «Поэтические салоны»:

«Клуб “Образ и мысль” (ОМ) был создан в октябре 1986 года по инициативе Михаила Эпштейна¹, который был его первым руководителем (до конца 1989 года). В основе клуба лежало стремление воссоединить разные типы творческой деятельности: науку и искусство, религию и эстетику, политику и этику...»

В нескольких фразах очерчены и принципы работы клуба, и история его возникновения. А далее уже все идет как по накатанному. Справочные статьи совершенно не утомительны для восприятия – они содержат ровно тот минимум информации, который необходим для понимания сути явления.

Отдельного внимания заслуживает подраздел «Сеть клубов/книжных магазинов ПирОГИ». Здесь все описано с какой-то особенной любовью и вовлеченностью в происходящее (что не удивительно, поскольку деятельными сотрудниками стали сами составители антологии). Примечательно подробное описание самой концепции литературных заведений, организованных тогда ещё студентами РГГУ Николаем Охотиным и Дмитрием Борисовым. Всё создавалось таким образом, чтобы реализовать мечту *«литературно настроенных людей»* – еда, напитки и книги. Плюс магазины и площадки для выступлений. По такому принципу создавался ресторан-галерея «Улица ОГИ» на Петровке:

«В арт-пространстве уживались ресторан с авторской кухней, галерея современного искусства, музыкальная площадка, галантерейный и книжный магазины. С 2005 года верхний белый зал, который очень любили авторы, был выделен для литературной программы, к этому моменту уже хотели читать отдельно от бара».

А «ПирОГИ на Пятницкой», будучи *«диким модным местом начала нулевых»*, привлекали к себе таких известных посетителей, как Андрей Вознесенский, Евгений Бунимович, Диана Арбенина и т.д. В общем, литературная жизнь была ключом, хотя периодически тоже преодолевала трудности и проблемы всяческого рода. Не случайно в книге делается акцент на относительно недолгом существовании отдельных культурных точек – притом, что они считались местами, приносящими приличный доход. Духовное неизменно разбивалось о материальное, географические локации приходилось менять из-за непомерного желания алчных до денег арендодателей зарабатывать на аренде как можно больше. Так прекратили свое существование «ПирОГИ на Зеленом»:

¹ Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

«В конце концов владельцы здания в лице человека по фамилии Самодуров, как обычно бывает в Москве, захотели непомерной арендной платы. В мае 2009 пришлось съезжать».

Читать книгу «Веет где хочет» – все равно что смотреть в глазок калейдоскопа. Картинки, одна другой ярче, сменяют друг друга. Меняются локации, лица, культурные сообщества, журналы, альманахи, цели и задачи искусства. Но если понимать, что все эти «перемещения» происходят в границах одного масштабного явления под названием «культура», цельность восприятия не утрачивается. Сохраняется она еще и потому, что на фоне множества упомянутых культурных деятелей, прямо или косвенно связанных с развитием и устройством культурной жизни России того времени, с завидным постоянством звучат одни и те же имена. Это имена тех, кого можно назвать ключевыми фигурами литпроцесса. С них многое начиналось, на них многое закончилось, либо отчасти продолжается и сейчас. Что же это за люди? Это хорошо знакомые читающей и мыслящей общественности двигатели процесса, обеспечивавшие бытование авторам: Михаил Айзенберг, Игорь Сид, Дмитрий Кузьмин, Елена Пахомова, Алексей Сосна, Николай Байтов, Света Литвак, Юрий Орлицкий. Институты и локации менялись – а имена оставались неизменными. По этим «маячкам» мы и определяем текущие тенденции, черты, бренды эпохи.

Надо отметить, что составители антологии очень бережно отнеслись к своему читателю. Они не бросили его в безбрежный океан явлений и событий, а тщательно организовали пространство для их освоения. Расчистили тропинки, установили сухопутные точки и маячки, расставили «дорожные знаки» и дали «инструкцию по эксплуатации» поэтической Атлантиды. Напомним, что именно выставка «Литературная Атлантида: поэтическая жизнь 1990–2000-х годов» стала для создателей Культурной Инициативы одним из поводов для попытки «каталогизировать и осмыслить время “вольных” литературных кафе и издательств». Что и говорить – попытка удалась на славу.

Думается, что «Веет где хочет» – одна из самых важных и нужных книг сегодняшнего времени. Помните знаменитую строчку Есе-

нина «лицом к лицу – лица не увидать»? Это как раз о том, что эпоха становится ощутимой и зримой лишь тогда, когда завершается, предельно дистанцируясь от настоящего. Пусть те времена свободы и творческого полета уже не вернуть – зато стала видимой истинная суть происходящего. Составители антологии показали нам лицо прежней культуры – и мы сохраним его «посмертный слепок» до лучших времен, которые когда-нибудь снова настанут. Потому что темнее всего бывает перед рассветом.

Оксана ШТАЙН

ВТОРАЯ НАВИГАЦИЯ

Вторая Навигация. Альманах. Выпуск 18 / Сост. М.А. Блюменкранц – Харьков: Права человека, 2025. – 300 с.

Альманах «Вторая навигация» начал свою историю в 1997 году. Его основателями и главными редакторами стали Михаил Блюменкранц (Мюнхен) и Людмила Сигал. В альманахе публикуются художественные эссе, статьи, литературные тексты философов, антропологов, культурологов, литературоведов и социологов из России, Германии, Италии, Нидерландов, Украины. Авторами альманаха в разные исторические периоды были Григорий Померанц, Витторио Страда, Алексей Макушинский, Борис Дубин. Основная идея проекта «Вторая навигация» – осмысление кризисных явлений в современной европейской цивилизации, в том числе на постсоветском пространстве, поиск диалога России и Европы.

Название альманаха связано с именем Платона. Термин «Вторая навигация» в диалоге «Федон» утверждает существование сверхчувственной реальности мира идей, выявляя сомнение в исключительности метода рационального постижения мира. Таким образом Платон обозначал возможную недостоверность рационального и чувственного восприятия. Это неполная фаза Луны, не до конца распутившийся бутон лилии. Также в античности «второй навигацией» назывался переход па-

русского судна на управление с помощью вёсел, когда стихал ветер. Вторая навигация отсылает ко второму дыханию, которое появляется у человека, наполняя его новой жизненной волной: если первая навигация сорвалась, корабль дойдет второй навигацией.

В российской истории термин «Вторая навигация» связан с историческим событием 1922 года, – «философским пароходом». Два хода судов «Обер-бургомистр Хакен» и «Пруссия» переправили философов, агрономов, инженеров, писателей, не принявших советскую власть, из Петрограда в Германию. «Вторая навигация» – название петербургской премии, – идея ее создания принадлежала профессору В.В. Савчуку, а коллегами по организации стали профессор А.А. Грякалов и доцент А.Н. Исаков.

В новом выпуске альманаха «Вторая навигация» три блока: «Время перипатетиков», «Хроники Трои», «В водовороте истории».

«Время перипатетиков» начинается со статьи Михаила Эпштейна¹ «Причины счастья... Мысли вразброс и вопреки». Он рассуждает о счастье жизни через ее повседневные фрагменты: запах цветка, таяние снега: «и в этом сюжете можно самому участвовать и видеть, как твои действия что-то меняют в нем». Кант и Коперник, Кандинский и Кифер участвуют в диалоге с читателем. «Чуманизм» – гуманизм, зараженный чумой тоталитаризма. Игра букв и смыслов: *амок* и *кома*, неистовство и обездвиженность, человекоугодничество и чревоугодничество («есть люди недолюбленные, а есть недолайкнутые»), – все это придает тексту, как всегда, поэтический интеллектуально-игривый и не менее глубокий тон. Образные мысли автора «вразброс и вопреки» переходят от тем экофашизма к экоциду, от квантового мышления к кантианским парадигмам, от соцсетей к киноплёнке и обратно: «кино собирает смыслы, сеть разбрасывает». Вторая навигация позволяет загребать веслами новые смыслы в волнах истории под пение современных сирен.

«Время истощенных оракулов» Михаила Блюменкранца напоминает «время мелкотравчатой интеллигенции», безжалостное выражение Сергея Хоружего. М. Блюменкранц

ссылается на Плутарха, С. Хоружий мог бы сослаться на Д.Н. Мамина-Сибиряка, любившего этот эпитет. Но все четверо говорят об инфляции слова и цене, которую платит человечество за научно-технический прогресс – информационный прогресс и антропологическую катастрофу, озвученную еще Мерабом Мамардашвили. Человек говорящий, от политического животного Аристотеля до человека, «висящего на паутине сотканных им же смыслов» Клиффорда Гирца (корабельных канатов второй навигации), становится таким, только перестав поощрять инфляцию слова.

Юрий Колкер в статье «Мы, люди игнорамнудые» пишет несколько наотмашь о людях-игнорамусах, ищущих ответы на все мировые вопросы и загадки, но не знающих, с чего начать. Андреас Буллер выступил с новым трактатом о времени, вглядываясь, точнее, вслушиваясь в него через вечность и тишину.

Владимир Порус в рассуждении о «трагическом иррационализме» Николая Бердяева и Льва Шестова уточняет мысль Эпштейна² о счастье: «Рациональность выражается стремлениями человека к счастью». После этих слов мы снова вспоминаем о судьбе Бердяева, о набережной лейтенанта Шмидта в Петрограде, о том, как шли через идеологические волны к новым задачам Питирим Сорокин, Пётр Струве, Богдан Кистяковский, о. Сергей Булгаков.

От трагического иррационализма к новоевропейскому рационализму Декарта прокладывает путь Александр Доброхотов в статье «Достоевский, Декарт и злой демон», используя метод диалектики «свободы» и «воли». Декарт для автора не столько дуалист, сколько замороженный свободой как штормом мыслитель. Поступок индивида не является суммой случайных действий, а результатом воли, наполняющей свободу не только содержанием, но и риском.

Второй раздел «Хроники Трои» начинается с эссе «Об „Илиаде“» Рахили Беспаловой, ученицы Шестова, в переводе Алексея Макушинского. Канувшее в волнах памяти имя Рахили Беспаловой, как некоторое время назад имя Симоны Вейль, вернется в большую литературу, в том числе благодаря усилиям

¹ Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

² Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

редакторов альманаха «Вторая Навигация». Сопроводительная записка Германа Броха гласит: «Дитя горечи, философия “Илиады” исключает рессентимент. Она предшествует расхождению человеческого существования с природой». Для Рахили Беспаловой поэма Гомера – произведение картезиански-дуалистское, с Победителями и Побежденными, с темой войны и изгнания, прописанной собственной биографией.

Беседу «Разделение океаном» с Мариной Глазовой ведет Елена Глазова (Корриган). Упоминаемые в ходе воспоминаний имена оживают: Юрий Левитанский, Владимир Высоцкий, Наталья Трауберг, Сергей Аверинцев, Венедикт Ерофеев, Иосиф Бродский, Александр Галич. Все они связаны с творчеством и биографией отца Елены – Юрия Глазова. Беседа завершается словами о. Александра Меня: «Вера приходит путем благодарности». «Разделение океаном» – это новые «Живые лица» Зинаиды Гippiус второй половины XX века или «Подстрочник» Лилианы Лунгиной с произнесенной благодарностью к ушедшим.

Третий раздел «В водовороте истории» – современные исторические рефлексии. Леонид Люкс пишет о польском поэте Александре Вате. Перевод сокращенной немецкой версии этой статьи был когда-то опубликован в журнале «Вопросы философии»¹. Евразийство в России, «Доктор Живаго» Пастернака, диалог Вата с Чеславом Милошем (авторизованный перевод с немецкого Бориса Хавкина), – и есть современные исторические рефлексии.

Елена Глазова в этом разделе выступает и как историк мысли. Ее труд «Соблазн массовых расстрелов: диалектика “возвышенного” в романе «Доктор Живаго» о письме Бориса Пастернака Александру Фадееву, генеральному секретарю и председателю правления Союза писателей СССР (март 1953 года), затрагивает формирование эстетической категории «возвышенного» от ее истоков: Псевдо-Лонгин, Эдмунд Берк, Иммануил Кант, Фридрих Шиллер. Перечисленные исторические кон-

цепции были скорее о первой навигации – о столкновении с непостижимым, чудовищным, удивительным на неизведанных морях. Но Глазова говорит о возвышенном во вторую навигацию – о встрече с собственным поступком «здесь и сейчас».

Завершает раздел «В водовороте истории» текст Ханса Оверслоота «Новые тектонические сдвиги в мировой политике» (перевод с английского Людмилы Сигал). Такова вторая навигация: карты маршрутов, дискуссии, вызывающие к читателю, – цель всего выпуска альманаха.

Елена СЕВРЮГИНА

НОВЫЕ «СТРАШНЫЕ» СМЫСЛЫ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Андрей Бычков. Наконец-то не конец.
– М.: Ibcus Press, 2026. – 232 с.

Еще совсем недавно Андрей Бычков получил премию своего именитого тезки, Андрея Белого, за книгу рассказов «Голая медь». И вот уже у меня в руках его новая книга с игриво-каламбурным названием «Наконец-то не конец». Какого рода каламбуры здесь таятся? Изменилось ли что-то в художественном мире «мэтра московского литературного авангарда»², или же он остался верен себе и своему стилю? Попробуем с этим разобраться.

Вроде перед нами все та же неустойчивая, дробящаяся на осколки, неизменно ускользающая сюрреалистическая реальность, все то же ощущение тревожности и все те же «хулиганские выходки»³ языка, которому неведомы законы формальной логики и элементарного здравого смысла, но... Все же что-то неуклон-

² Из аннотации.

³ «Бычков пишет так, будто язык у него не инструмент, а — живое, хулиганское, склонное к побегу существо». См.: Игорь Фунт. Когда гипербола перехлестывает параболу: меж гротеском и прозрением // Камертон. № 200. 13 июня 2026. <https://webkamerton.ru/2026/06/kogda-giperbola-perekhlyostyvaet-parabolu-mezh-groteskom-i-prozreniem>

¹ Люкс Л. Польский поэт Александр Ват о тоталитарных соблазнах и о России как «двуликом Янусе» // Вопросы философии. 2021. № 11. С. 198–208.

но поменялось, заставило несколько сместить фокус зрения в область еще большего абсурда и бессмыслицы бытия.

Больше жесткости, больше цинизма и жутковатого юмора, проваливающегося в трагизм, больше непреклонности к читателю, который может и не выдержать бремени авторского замысла – так, пожалуй, можно охарактеризовать новое творение Бычкова.

И еще больше смысловых и тематических скреп, превращающих книгу в «целостную интеллектуальную антиутопию»¹, где герои обречены стоять на *«шоссе смысла якобы все той же вынужденной трагедии»* и где их неизменно губит *«посредственность реализма, которая случается на каждом шагу»*. Своеобразным рефреном всего происходящего становится тема рока, «наезжающего» на человека, становящегося поперек его высшего предназначения, его истинного «я», оторванного от прочих судеб и жизней.

Рок у автора весьма причудлив и своенравен. И, как это и свойственно року, поведение его непредсказуемо. Он то является в облике зеленого чумазого дядьки, опоздавшего на поезд, то грозно стучится в дверь как грозный работник НКВД, то мчится на всех скоростях гигантским бензовозом, от которого невозможно уклониться. Но при этом герои еще успевают с надеждой выкрикнуть фразу, положенную в основу названия книги – что это еще «не конец». Так все рассказы, роман и диджитал-пьеса стягиваются к единому смысловому центру, с позиции которого мы и судим о цельности авторского замысла.

Параллельно с темой рока возникает и нечто иное, не менее важное. Сохраняя верность принципам литературного авангарда, Бычков одновременно вдохновляется и традицией, черпая из нее вечные образы и темы. Однако у образов этих, изрядно перекроенных современностью, эпохой войн и ковида, уже совсем иные подтексты. Казалось бы, знакомые лейтмотивы начинают чудовищно кривляться, корчить рожи, заставляя читателя плутать в дебрях непроходимого смысла.

Так в открывающем книгу рассказе «На пороге» появляется новая, «страшная» интер-

претация темы лишнего человека. Это не тот лермонтовский герой, чьи моральные принципы и жизненные установки не совпадают с мнением общества. Это реально лишний человек, который никому не нужен и которого надо реально уничтожить, раздавить – просто за то, что он переходит дорогу в неполюженном месте. Полицейский Вэнкси именно так и поступает – давит своим мощным траузером всех без разбора – монашек, клерков, детей (*«эти-то уж точно никому не нужны»*) и нисколько не сожалеет о содеянном. Напротив, он получает высшие звания и награды, уверенный в том, что выполняет благородную миссию:

«Дело в том, что лишних людей последнее время развелось довольно много. И ни короновирус, ни войны ничего не могли поделаться с этим пополняющимся количеством людей...»

Не правда ли, волосы дыбом встают от подобных жестокости и цинизма? И хочется даже отбросить книгу куда подальше и больше никогда не брать ее в руки. Но это только если воспринимать написанное с позиций реализма, в котором есть понятия сюжета, литературных персонажей, авторского пафоса. А здесь нет никакого сюжета, нет даже героя. Ибо Вэнкси – не герой, он – всего лишь идея. Олицетворение той системы, которая бьет и уничтожает, давит и додавливает – чтобы расчистить дорогу тем, кто сильнее и у кого больше власти в руках. Так чем же эта история жестче самой жизни? Чем она страшнее окружающей нас реальности? Более того – финал звучит исключительно гуманно. Сгубивший столько жизней служитель порядка спасен поцелуем любви, ибо *«спасти нас может только любовь»*. Впрочем, мотив спасения – не столь частый гость на страницах бычковых рассказов. Чаше герои страдают от безнадежности. А впрочем, их нет, как уже было сказано. Кажущаяся многоголосоица и многолюдность происходящего – не более чем очередная обманка. Есть монолог, проносимый от лица «бессознательного». Есть сюрреалистическое «я», расщепленное на множество субстанций, вступающих друг с другом в вечные пререкания, друг друга вытесняющих в поиске истины и предназначения.

Вот и следующий рассказ представляет со-

¹ Из аннотации.

бой жуткую смесь любовной истории в духе «Тысячи и одной ночи» и откровения сексуального маньяка. Майтхуна – обряд, связанный с идеей ритуального секса, где мужчина и женщина превращаются в божественную пару, сливаясь в единое целое – становится некоей навязчивой идеей, поиском тщетного выхода из тупика. Индуистские и эротические мотивы буквально пронизывают художественную ткань бычковской прозы. Но красивой восточной сказки в данном случае не получается. Мираж растаял – и на смену безудержной страсти пришли «суровые средневековые лица», суровые стены и скопцы, «монахины с наждачными лицами», которые просили отречься. Колесо сансары распалось, Шива так и не совокупился со своей Шакти, журавлиный язык остался недоступным для понимания, оставив вопрошающему лишь бесчисленное множество пустотных форм бесплодной и бессмысленной реальности:

«Ну и где ваши новости? В нигде! И ничто это все, было или не было ничто, эй вы, хирурги, много ли унесете вы в могилу, зачем работать, резать, учиться, зубрить раны пострадавших? Когда пострадавшие все равно рано или поздно умрут. Все ничто, слышите? Но никто не слышал меня, все куда-то спешили, шли, на работу, на разную, кто куда...»

О пустоте, сменяющейся поиском, речь пойдет и далее. В «Чингачгукке», например, продолжается репрезентация «страшных» образов мировой литературы. Уже в самом начале повествования сама собой напрашивается аллюзия с «Божественной комедией» Данте. «Земную жизнь пройдя до половины», герой очутился в лесу: «Было страшно в лесу. Было страшно с грибами». Однако ускорение (частное проявление того же рока) уже «рвало волосы с рельс». А паровоз в лесу – платформа, с которой заплутавшего должно бы унести в новую жизнь, к новому себе... Он должен «вывернуться заново, вывернуться за полночь»... У него мало времени, и от того процесс «родов» еще более мучителен и страшен. Мы видим только эту выворачиваемую наизнанку реальность, это не способное состояться рождение новой субстанции, более истинной и совершенной.

Так, Федор Гамбусов, он же несостоявшийся счастливый супруг, он же директор пустых стульев Святослав, должен преобразиться в Фабра с его галстуком-бабочкой. Уж не тот ли Жан Анри Фабр – французский энтомолог, наблюдавший за поведением сатурнии, более известной как ночной Павлиний Глаз? Однако после всех мучительных перерождений все закончилось одним: «Ждали Фабра... Но снова выпал Федор». Как дождь, как плохая карта, как нечто выпадающее из обоймы.

Если заблудившийся в лесу грехов герой Данте Алигьери достигает божественного Эмпирея, где может созерцать «высший свет, который лишь собой излит и постижим», то условный персонаж Бычкова, много раз умиравший понапрасну, видит перед собой все тот же «неисправный закон неисправного мира». И эту логику невозможно преодолеть – ее можно только принять. С той оговоркой, что «седой комар будет жить бесконечно».

А вот и еще один несостоявшийся герой – из диджитал-пьесы с видеоформатом. Эдакий новоявленный Икар, летящий «над землей и водой» – правда, не без помощи подпорок и тросов с крюками. Но толку-то в этом полете? Все равно толпы разъяренных и неудовлетворенных женщин утащат вниз, разденут донага, не оставив даже пресловутых тросов.

Кстати, подсчитать количество мужчин и женщин на импровизированной сцене – задача непростая и архилегкая одновременно. Один мужчина и одна женщина! Все прочие Маши, Любы, женщины и мужчины под разными номерами – не более чем результат распада героев на множество субстанций. Вполне себе сюрреалистический подход. Особенно если учесть наблюдение Игоря Фунта¹ про диджитал-пьесу, работающую «как театр, который уже не доверяет театру». Перед нами «эрнстовская» нервная современность, где «все стало видеоформатом, даже физический (и не только) позор».

Все выставлено на всеобщее обозрение, и о низменной стороне жизни, которую обычно скрывают, говорить уже не совестно. Но дело даже не только в этом. Дело в том, что основа современного театра, как и в целом искусства

¹ Игорь Фунт. Указ. соч.

– иллюзия и условность. Толпа – это тоже иллюзия, выражение идеи, для которой вполне хватило бы толстой женщины Тамары и злополучного героя, которому никак не дают взлететь. Он может быть одновременно актером, кочегаром, задроченным вонючим клерком, мальчиком Олегом (или не Олегом) – просто потому, что «наконец-то не конец» никогда не наступит, потому что, как всегда, «что-то ломается в самый ответственный момент». А еще потому, что всегда «*все вращалось вокруг одного и того же...как какая-то подлая ось*». Поэтому очередной стул будет разбиваться, а очередной мужчина будет совершенно одинаково «спотыкаться» об очередную женщину там, где «*гадства, блядства и вождельений*» значительно больше, чем здравого смысла.

«Подлая ось» магическим образом преобразуется в «бозон Хиггса» в венчающей весь этот гротесковый ужас романелле «Антигона». Здесь легендарный античный сюжет о царе Эдипе и его детях приправлен индуистской мифологией и пропущен сквозь призму хорошо известной в литературе проблемы «отцов и детей». При этом тема рока остается ведущей. Рок выезжает на первый план огромным бензовозом, которым управляют мертвые отец и мать уже не менее мертвых героев. Это реальность, налетающая со скоростью света на тех, кто обречен отвечать за ошибки прошлого, нести их на себе как тяжкий груз, заменяя ими собственную судьбу. Так сын становится отцом, дочь – матерью, не желающей видеть гибель собственных детей, Этеокла и Полиника, вкупе с их несчастной сестрой Антигоной. Герои древней трагедии, неоднократно интерпретированной множеством авторов – от Софокла до Брехта и далее – становятся образами-архетипами рока, преследующего человека, слабого и беспомощного, не способного создать «новый бозон Хиггса». Здесь уже не приходится уповать на палочку-выручалочку в виде Deus ex machina – спасения откуда-нибудь ждать бессмысленно. Что этому виной? «*Ошизелые замшиелые миры, сорванные башины, герметический клей слюны, осклизлые глюоны, карлики горбатых кварков, видите ли. Костер Варанаси!*»

Вывод прост – в каждом из нас живут Антигона, Креонт, Иокаста, Этеокл и Полиник.

Причем в одночасье. И заглушить их голоса невозможно. А найти среди них свой голос – еще труднее.

Не об этом ли и еще один рассказ-обманка – «Леопард»? Как будто бы это что-то из времен большевизма и работы карательных органов НКВД. Доносы, допросы, выбивание несуществующей правды любыми путями. Но вот читаешь-читаешь – и внезапно приходит проблеск осознания: да здесь же вообще ни разу не про то! Нет ни донощиков, ни допрашивающих, ни арестантов. А есть все тот же человек, показанный изнутри, открывающий в себе дознавателя и арестанта, страдающий от тяжести нерожденного внутри себя леопарда, стремящийся «*в бессознательности решений принять непринятое за глубину*».

Кажется, что заключительная фаза истории – и есть тот самый важный месседж, во имя которого и затеяна вся эта литературная заваруха:

Распрямляй кривое

На прямое.

На разрез бесконечности,

На блеск звезд.

Так стоят на своей крови.

Так прорастают из своей боли

Как будто где-то рядом пробежал, едва видимый, фантом Пьера Безухова, внезапно обретшего высшую истину о самом себе. Так глубоко иррациональное способно прекрасно ужиться с многовековой традицией и переиначить ее на новый лад, созвучный самой действительности.

Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что главное мы извлекаем из удивительного языка Андрея Бычкова. Это и самостоятельный герой прозы, и единственно возможный сюжет, и единственно состоявшаяся реальность, позволяющая услышать голос бессознательного, для которого законы формальной логики не существуют, да и не могут существовать.

Язык вовсе хулиганит, заигрывает с нами, нарочито перемешивая смыслы, заставляя в одном «конце» увидеть «другой», о котором вслух говорить не принято. Он саморазрушается и самовоспроизводится, создает новые смыслы и тут же их нейтрализует. Одним сло-

вом, он заменяет самого автора, становится им, демонстрируя, как уже было сказано нами в предыдущей рецензии¹, «*призрачные мерцания внутренней душевной работы*» творца:

«Этот закон повторения, карма проклятия, деление надвое – ты и каждый раз кто-то другой, необходимость что-то предпринять... Но разве это не должно когда-нибудь кончиться? Чей-то насмешливый вопрос, я хорошо знаю чей».

На этот вопрос и отвечать не надо. Он уже дан в названии книги.

Кирилл ЯМЩИКОВ

ПРОГУЛКА ВДОЛЬ ПОЛНОЧИ С ПЕРЕНОСНЫМ НЕНАСТЬЕМ ЗА ПЛЕЧАМИ

Жан-Жак Шуль. Явление призраков. Роман. Пер. с французского Анастасии Захаревич. – М.: Ibis Press, 2025. – 192 с.

Этот компактный европейский гротеск был написан шестнадцать лет назад, но признать в нём текст безусловного дня и отчётливой недели затруднительно. Даже полночи, очевидной до рези в глазах, разглядеть тут нельзя. Жан-Жак Шуль противосюжетен, словоохотлив и дурашлив, как всякий стареющий бунтарь, желающий *вспоминать*. «Явление призраков» (*Entrée des fantômes*) – двухчастная головоломка с фабульным обоснованием: главному герою, которым сам Шуль и оказывается, предлагают сыграть в ремейке «Руки Орлака» (*Orlac's Hände*, 1924), немой киноленты за авторством Роберта Вине, что подарил нам бессмертный «Кабинет доктора Калигари» (*Das Cabinet des Dr. Caligari*, 1920).

Экспрессионистский моторчик нагладен. Заводясь от какого-то заносчиво внезапного предложения, Шуль уплывает в Лихое по волнам своей памяти, где встреча с призрака-

ми неминуема (вот их явление, читатель, не ошибись). Сразу же бросаются в глаза композиционные решения: Шуль перемежает сценарные раскадровки (начало романа, встреча кардинала и манекенщицы, близкая встрече зонтика со швейной машинкой) фантомной модиянщиной и, под конец, разгуливается вее-ром, утверждает себя перволичного. В ремейке предлагает сыграть не абы кто, а действительный режиссёр, чилиец Рауль Руис, и сопровождает чилийца – внезапно, документально, фрактально, – всеми любимым Уиллем Дефо.

«Разве что, подумалось, если хирургия сексапильная... Одну такую я видел в газете, она тайка, к тому же работала в судебной медицине, копалась в кишках, как гадатели в старину, красotka, звезда, в Таиланде её называют доктор Смерть: у неё накладные разноцветные ногти и крашенные пряди волос. Я и имя запомнил: Роджана Порнтхип. Я бы поехал к ней в Таиланд под предлогом, что делаю репортаж... массаж-форсаж... я чертов романтик! Воображаю себе, будто у красотули междусобойчик со Смертью, и ходят они рука об руку, это во мне немецкий романтизм говорит. Я бы её тогда соблазнил – и Смерть заодно».

Ждать от Шуля романной конструкции в духе «Ингрид Кавен» (*Ingrid Caven*, 2000), его известного гонкуровского триумфа, не стоит. Если реконструкция частной судьбы, реальной и вымышленной, взаимодействовала с целым рядом европейских культурных мифологий (немецкая новая волна, Шрётер и Фассбиндер, переоткрытие модерна, всевечная тоска Вероники Фосс), то «Явление призраков» напоминает уже трепанацию черепа, долгую и трудную эпопею по извлечению этой самой тоски, её стихийный анамнез. Там Шуль сравнительно молод, тут он сравнительно стар, и дуальные эти категории сопрягаются дуэлью.

Почему я сказал в начале об условности книги, вырванности её из хронологии? Потому что, с одной стороны, Шуль благородно старомоден, эрудирован, выучен тонкостям обращения с публикой и её ожиданиями, – и в то же время достаточно безрассуден, чтобы творить персональное, умеренно переносное ненастье. Это проза киношника, выпендрёжника, злого ребёнка, но тем она и проворачивает чудеса. Удивляетесь, видя, как много на этих страни-

¹ Елена Севрюгина Монолог от лица бессознательного // Волга. 2026. №1-2. <https://volga-magazine.ru/1-2-2026-desc/>

цах Фассбиндера, прогоревшего, выгоревшего кометой? Да ни разу: Шуль знает в нём такого же собрата, туземца, дикаря с обязательствами провидца: европейского по традиции, но совершенно *неизвестного* художника, *tamam shud*.

«В своё время я написал, что Фассбиндер, когда курил, начинал, как Богарт, – держал сигарету тремя пальцами и прикрывал ладонью, прятал, – а заканчивал, как Бетти Дэвис, выразительно затягиваясь и раскрыв ладонь... последовательность двух жестов походила на две читаты... До того, как я перенёс образ на бумагу, он был у меня в голове, но, закудив, я сам всё воспроизвел, несколько раз, ради точности, чтобы представить картину... слова, фразы пришли мне, пока я изображал Фассбиндера. Кстати, образ Бетти Дэвис вдруг возник у меня именно при повторе её жеста: видимо, так же и актёр наполняет своих персонажей интонациями, движениями – репетирует, играет».

В ходе этой мистерии Шуль проговаривается, и не раз: взяты хотя бы утверждение о наполнении имитациями, о попытке воспроизведения чужого опыта. Определённым смыслом обрастает, если представить все известные миру «новые волны» – французскую, немецкую, японскую, румынскую, чешскую etc. – как жажду классицизма в невозможной среде. Начиная заведомым возмутителем спокойствия, на излёте лет Фассбиндер пришёл к типологии массовых форм, к обаянию простого: мелодрамы, комедии, бурлеска, музыкального клипа. Так появились его лучшие фильмы – только так и могли появиться.

Понимая, что нормальный роман – классический, от рождения к смерти, – ему уже, видимо, не написать, не избыть личным прошлым, Шуль делает понятный, объяснимый ход: превращает собственную память в музей, передвижную ярмарку имени Песочного Клоуна. «Явление призраков» чувствуется как чтение, которым перебивается большой режиссёр в отрыве от импровизации (Жан Эсташ, там, или Франсуа Трюффо), этикие маргиналии, но в маргиналиях этих объяснён и каталогизирован европейский метод, додуман, наверное, принцип докучливой эстетизации всего и вся: от барных коктейлей до барочных спектаклей.

Шуль немножко издевается.

«И что, придумаю ли я свою игру, или это будет микс – я и Петер Лорре, отзвуки Петера Лорре, лёгкий поклон герою фильма “М”?! Бывает, что писатель, обращаясь к своему сознанию, но зачастую невольно, через конструкции фраз, ритм, обороты речи, в общем – музыку, передаёт частицу души другого, уже умершего писателя, своего кумира. Вот так же, подобно профанным реликтам погребального ритуала каких-то древних племён, проявляется вдруг тембр, манера речи усопшего в голосе, в жестах родственника, который при жизни никогда ему не подражал. Конечно, это способ на мгновение его вернуть».

Минорная тональность рассказа, наблюдения, анализа тоже неминуема, если мысли твои лишь о прошлом, о вчерашнем. Шуль убеждён в слабости настоящего времени, когда обрывает сюжет о манекенщице (*la mariée était en noir*) на полуслове: так и видишь всклокоченного, седеющего дядьку, что комкает листы и бросает те в мусорную корзину. Всё неубедительно, когда фабула обходит тебя стороной, когда перспектива её гулять спешит. Можно только о себе, о других – и желательно чтобы потесней. Роман Шуля осознаёт свою надуманность и потому отдаёт элегантно, пальчик выкинь, грустью зажиточных сибаритов: ведь даже Смерть оставила их, отдавшись Другому. Тому, что не побоялся выдумать *правдивую* историю.

Пускай из хлама и кошмаров, но всё же!

«Несмотря на усталость и омрачённый рассудок, что-то внезапно подтолкнуло меня проделать тот же путь, что и год назад, в такие же дни Рождества, по ночному Парижу, когда я писал статью для *Libération*, которую назвал “Silver Phantom”, но тогда речь шла о последней модели “роллс-ройса” и ещё, наверное, о серебристой седине Джима Джармуша и его неземном облике – что-то заставило вернуться в те места, которым в своем описании я придал нечто непонятно-таинственное, на самом деле, возможно, им не свойственное».

Когда в европейскую словесность – на окраине XX столетия, – пришли модные и не стесняющие заурядных богатств писатели-вундеркинды, писатели-раздолбаи, писаки-гуляки (Кристиан Крахт, Фредерик Бегбедер, Даниэль Кельман, лощёная и закономерная *Popliteratur*), уже тогда стало понятно, что ино-

го пути, кроме пути возрождающегося недовольства, больше нет. Форма достигла предела выразительности, расплзлась и была шита заново, словно надоевшее платье, – но вот говорить стало, в сущности, не о чем. Фукуямовский the end of history предостерегал талантливых людей от поиска, и модерн казался им анахроничной концепцией, вымершим стилевым полюсом; но прошло всего несколько лет, и в пик этой тенденции загромыхал Мишель Уэльбек; контрапунктом загромыхал! Дескать, я живу скучно и безалаберно, но почему бы и не сделать из этого манифестацию обратного толка?

Почему бы не рассказать о чёрной, уже не самой очевидной полночи Говарда Филиппа Лавкрафта? Почему бы не предостеречь?

«Встретить призрака – роскошь, уготованная праздным богачам со слабыми нервами и слегка не от мира сего, – говорил я себе в такси, пока набережные, с равными промежутокми высвечиваемые огнями, двигались в противоположном направлении. К тому же, встреча лицом к лицу со своим “скелетом из шкафа” этой ночью, возродившей воспоминания о невероятных творцах немецкого кино и вселенной Шекспира, населённой призраками, и даже депрессия, колея, в которую я был загнан, – всё это должно было сделать меня особенно восприимчивым. Да ещё этот болезненно-стильный роман, который я давно пытался написать, а когда пишешь о вещах странных, они, эти странные вещи, в конце концов случаются».

«Болезненно-стильный» – вот, друзья, исчерпывающая автохарактеристика. Шуль, незаурядный художник слова, прекрасно осознаёт, что форма, обуславливающая содержание, подменяющая его собой, в какой-то момент пожрёт действительность, и не останется ничего, кроме симпатического, выцветшего хлада из рассказов Лагерквиста, ведь если лифт спускался в преисподнюю, то и дух человеческий, омрачённый формализмом, поиском словарного отчаяния, из лифта этого никогда не выберется. Апология формы, плач по форме, побег от неё сквозь джунгли, тундру и лесостепь, – таково «Явление призраков», прорех

раскидистого, огромного мира, где великаны и карлики обязательны, неминуемы.

Интересно ли читать такую прозу в отрыве, саму по себе, парией? Сомневаюсь. Да только Шуль и не преследует цель раззадорить читателя, спеленать его воспоминанием. Патрик Модiano, чью близость этой книге, несколько иронически, я утвердил в самом начале рецензии, раз за разом соображал одну конкретную историю – подбирал к ней отмычки, будто не представляя до конца, как и почему хочет её рассказать. Необыкновенный писательский фатум; редко встретишь такую последовательность, такую верность однажды призванным декорациям. Но Модiano призывал их не из-за бедности слога, не из-за дряхлости опыта; просто верил, что всё это достойно магических итераций в полутьме кафешантана.

С тесной симпатией взирает и Шуль на буйную молодость французского авангарда, на её немеркнущие грехи. Фассбиндер в них чужак, да и Бэтт Дэвис гостя полночи, но только сквозь чужое писатель навряд ли Шуля может исповедоваться достойно.

Потому что сам он есть каталог занятий и предпочтений, ранжированный список, вкусовая иерархия с призами, скидками и заискиваниями. Несомненно грустный, отчасти трагический роман «Явление призраков» был написан поздним художником в час солнечного затмения, и диск этой паузы, этой тяжёлой, но ласковой прямоты, определённо заслуживает читательского комментария: внутри головы, молчанием или риском презрения. После Годара и Товарищей случилось многое, и культура не встряла. Французы учинили *cinéma du look*, вернулись к барокко и громоыханию, но и эта манера себя исчерпала, когда Жан-Жак Бенекс снял не «Диву» (*Diva*, 1981) или «Луну в сточной канаве» (*La Lune Dans le Caniveau*, 1983), но «Приключения трупа» (*Mortel Transfert*, 2001).

Другой Жан-Жак определил печать в силуэтах умерших биографий. Сделав красиво, как может только он один.

Потому что большое время уходит, и за ним приходит нечто большее.

Контакты:

Анна Сафронова (*гл. редактор, проза*): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (*зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru

Олег Рогов (*архивные публикации, критика*): rgy@mail.ru

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 18 августа 2026 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.